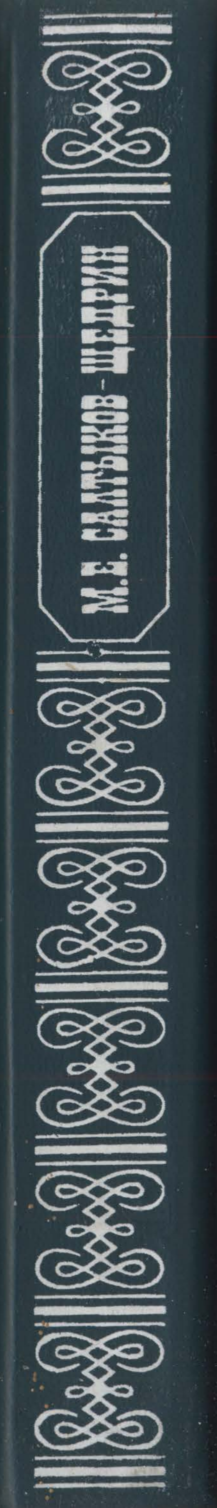
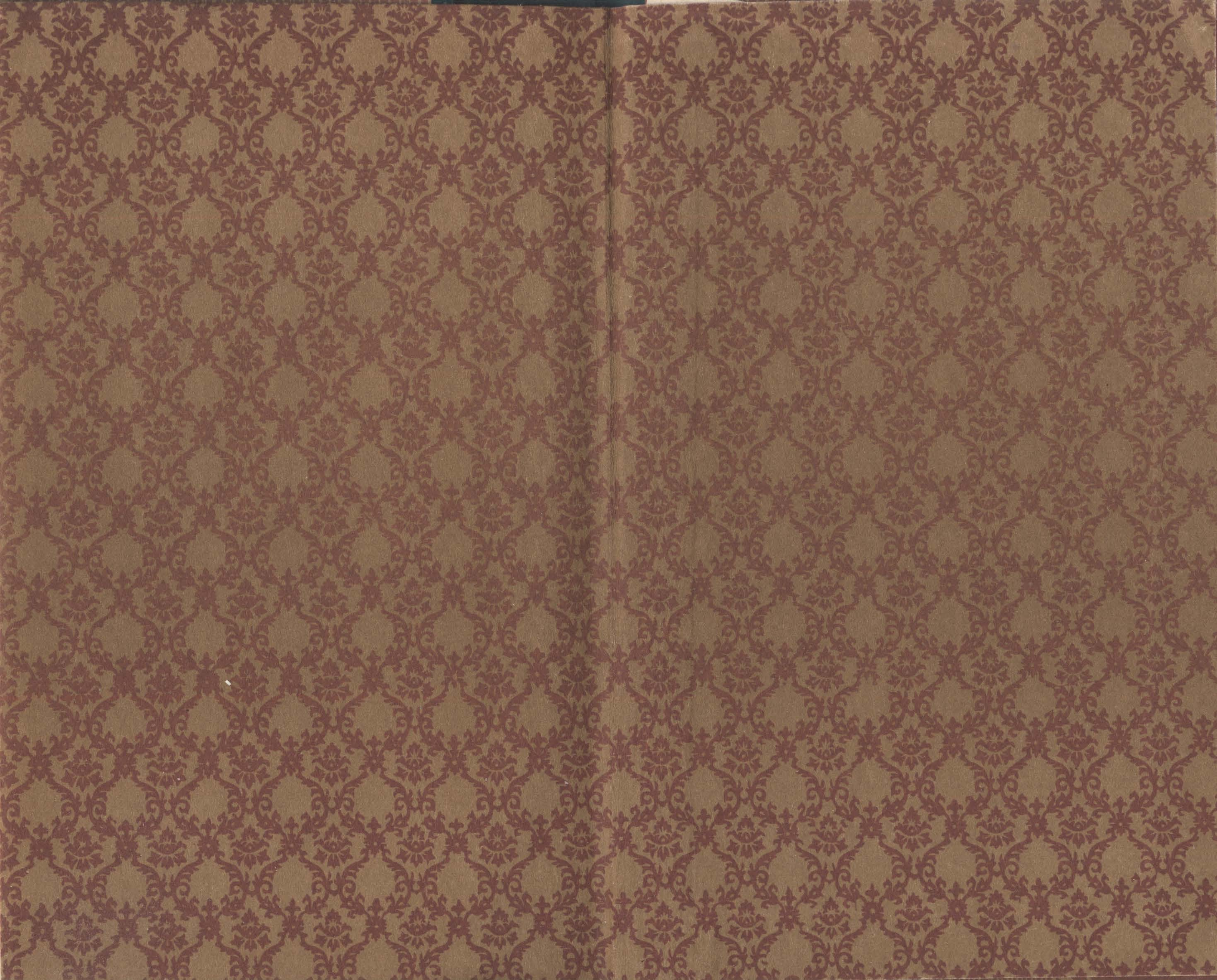


М.Е. САЛТЫКОВ—ЩЕДРИН

Дневник провинциала в Петербурге



М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

ДНЕВНИК ПРОВИНЦИАЛА В ПЕТЕРБУРГЕ

МОСКВА
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1986

Р1
С16

Вступительная статья **А. М. Туркова**

Автор комментария **Л. Р. Ланский**

Художник **Л. А. Соколов**

Портрет художника **А. С. Котлярова**

Салтыков-Щедрин М. Е.

С16 Дневник провинциала в Петербурге: Вступ. ст. А. М. Туркова; Коммент. Л. Р. Ланского.— М.: Сов. Россия, 1986.— 480 с., 1 л. портр.

Впервые сатирический роман-хроника «Дневник провинциала» появился в журнале «Отечественные записки» за 1872 год Фантасмагорические картины «водевильно-беспутной жизни» Петербурга, вернее, его чиновной и журналистской братии. либеральствующей «по возможности» и стремительно движущейся к «чего изволите», создают «трезвую картину» пореформенной эпохи, содержащую бескомпромиссный приговор самодержавному строю.

С $\frac{4702010100—250}{М-105(03)86}$ 99—86 Р1

УРОК ЗЛОБОДНЕВНОСТИ

Знаменитая толстовская характеристика российской действительности после отмены крепостного права — «...все это переворотилось и только укладывается» — меньше всего звучала для современников, людей 60—70-х годов, просто как эффектный афоризм: это был точнейший, беспощадный диагноз их состояния, умонастроения, будничных забот и гаданий о ближайшем будущем.

Помещики, которые при всех поблажках, сделанных правительством, ощущали, что почва неумолимо уходит у них из-под ног; купцы и фабриканты, еще вчера откровенно презиравшиеся «благородным» сословием, а ныне становившиеся уже предметом его тоскливой зависти; придворная и чиновничья камарилья, не упускавшая своего, когда в «высших сферах» рассматривались дела и проекты, пахнувшие миллионами; стремительно размножавшееся племя адвокатов и газетчиков, охотно торгующих своими услугами,— все это сплеталось в замысловатый клубок.

Лихорадочно ускорившийся темп экономического развития, заразительная погоня за наживой, бурные политические потрясения сильно озадачивали даже самых знаменитых писателей, склонных к воспроизведению явлений и типов, которые уже прочно устоялись.

«...Художнику долго пришлось бы ждать, пока все сложится в типические черты лиц и быта,— сетовал в одном из своим писем Гончаров.—...Современную текущую жизнь и нельзя уложить в такой прочной и серьезной форме, как драма, даже трудно и в романе...»

Однако далее следовала знаменательная «оговорка»: «Это возможно в простой хронике или, наконец, в таких блестящих, даровитых сатирах, как Салтыкова, не подчиняющихся никаким стеснениям формы и бьющих живым ключом злого, необыкно-

венного юмора и соответствующего ему сильного и оригинального языка».

Строки эти написаны в то время, когда в лучшем русском журнале той поры «Отечественные записки» появлялись очередные главы новой щедринской книги — «Дневник провинциала в Петербурге».

Она начиналась словами: «Я в Петербурге». Но кто же это — «я»?

Провинциал рекомендуется одним из тех помещиков, дворян, которые в ту пору прямо-таки нахлынули в столицу из самых разнообразных побуждений: их гнали и страх перед наступившими и предстоявшими переменами, переворачивавшими все их прежние представления об общественном миропорядке, и надежда как-то поправить пошатнувшееся благосостояние — то ли получив выгодное местечко, то ли запасшись акциями все новых и новых, стремительно возникавших предприятий и железнодорожных компаний, суливших вкладчикам золотые горы; гнала и просто жажда разузнать, откуда теперь ветер дует, к чему дело идет, да и, наконец, по укоренившейся, неистребимой привычке к сладкому житью — желание отведать всех петербургских удовольствий.

На первый взгляд рассказчик может показаться даже всего лишь «служебным» персонажем, чья роль сводится к сюжетному объединению разнообразных, пестрых тематических линий: железнодорожной горячки, наводнения консервативных проектов, направленных на то, чтобы вернуть «старые, добрые времена», внешне кипучего, а в сущности, бессодержательного, мелкотравчатого либерального краснобайства, характерного для тех лет уголовного процесса и ошеломительных мошеннических афер.

Однако будь это так, книга была бы лишена того своеобразия, которое ее отличает, например, от вроде бы во многом близких к ней по жизненному материалу очерков С. Н. Терпигорева-Атавы «Оскудение», появившихся в тех же «Отечественных записках» восемь лет спустя, в 1880 году. Талантливо написанное произведение Терпигорева по сравнению с щедринским «Дневником провинциала...» начинает казаться добротным дагеротипом (как назывались тогдашние фотоснимки).

Щедринское «неподчинение никаким стеснениям формы», отмеченное Гончаровым, начинается именно с фигуры провинциала, рассказчика. Исследователи давно обратили внимание на «изменчивость» этого образа, известную «непоследовательность» его мыслей и высказываний, казалось бы, способную только повредить цельности образа. Ан этот «минус» (если рассуждать по обычным меркам) в щедринской художественной системе оборачивается плюсом! Рассказчик — фигура неоднозначная, никак не поддающаяся педантической расшифровке, торопливой классификации.

Произведения Щедрина последнего, наиболее зрелого периода творчества, и в частности «Дневник провинциала...», часто напоминают своеобразную пьесу, где среди актеров действует и сам автор, с поразительной дерзостью, свободой и непринужденностью как бы «совмещающийся» с персонажем, доводящий до крайности прежде только проглядывавшие в нем черты, выводящий «на чистую воду» его тайные помыслы и расчеты — и вдруг, отбрасывая маску, разражающийся глубоко личным монологом, полным боли и гнева по поводу происходящего с его героем.

То, что предметом такого шаржирования, глубоко сатирического «показа» у Щедрина по большей части является выцветающий дворянский либерал, коренилось в самой действительности, в печальной эволюции, происшедшей к тому времени со многими так называемыми «людьми сороковых годов».

Это поколение представляло тогда картину пеструю и противоречивую. Встревоженные размахом освободительного движения, одни прямо перешли в ряды «охранителей» режима; другие же в растерянности то поддавались влиянию консерваторов, то испуганно отшатывались от «крайностей» реакции и горестно взывали к прежним свободолюбивым идеалам, которые сами же трусливо предали забвению.

Дневники современников этой эпохи запечатлели поразительную «диаграмму» подобных зигзагов — от панических, позорных «поддакиваний» таким оракулам охранительства, как Катков, до вполне трезвых высказываний насчет своих нынешних союзников и даже по своему собственному адресу.

Можно найти на этих страницах и такие горькие автохарактеристики, после которых самобичевания щедринского героя уже не кажутся игрой ядовитой авторской фантазии.

Метания, упования, разочарования, страхи, саморазоблачения провинциала своеобразно воспроизводят настроения дворянских либералов, неспособных преодолеть своих связей с крепостническим прошлым и его нынешними защитниками.

Не случайно герой книги не может избавиться от назойливой «дружбы» с откровенным бурбоном и ретроградом Прокопом, с его прямолинейно-циничными взглядами. Функции этой сатирической пары, этого трагикомического дуэта многообразны. Порой их разговоры и споры служат прямому выражению авторских раздумий, его живой, горькой, едкой, бьющейся в реальных противоречиях мысли, эпохи, мучительно ищущей выхода. С другой же стороны, дружба этих героев оказывается прообразом того, внешне парадоксального, единомыслия, которое, по мнению Щедрина, существовало тогда между консерваторами и либералами.

Суть консервативных вожделений, выраженных в многочисленных проектах «контрреформ», которые, по щедринскому выражению, «нагноились» в головах озлобленных крепостников, — это «уничтожение всего», то есть всего связанного с крестьянской реформой 1861 года и сопутствующими ей, пусть робкими и нерешительными, преобразованиями. Прокоп простодушно «переводит» витиеватый слог проектов на язык повседневной житейской практики: «...чтобы, значит, везде, по всему лицу земли... по зубам чтоб бить свободно было».

И не надо думать, что эти вожделенные зуботычины предназначались одному только простолюдину мужику! Размах у прожектеров был значительно больше. Откровенно кровожаден проект «о расстрелянии и благих оного последствиях» (причем этой спасительной процедуре предлагается подвергнуть не только «всех несогласно мыслящих», «всех, в поведении коих замечается скрытность и отсутствие чистосердечия», но даже и тех, «кои угрюмым очертанием лица огорчают сердца благонамеренных обывателей»). Этот проект соседствует с более изворотливым сочетанием «О необходимости оглушения

в смысле временного усыпления чувств» и даже с вроде бы совсем «частными» предложениями — «О переформировании де сиянс академии» (правда, последний проект уже начинается достаточно недвусмысленно и зловеще: «С юных лет получил я сомнение в пользе наук...», а в дальнейшем вменяют президенту академии в обязанность «некоторые науки временно прекращать, а ежели не заметит раскаяния, то отменять навсегда»).

Казалось бы, либералы занимали по всем подобным вопросам совершенно иную позицию и были так же не похожи на мракобесов, как их вожак, давний знакомый провинциала Менандр Прелестнов на грубого и наглого Прокопа.

Ныне Менандр — редактор газеты «Старейшая Всероссийская Пенкоснимательница», название которой обязано своим происхождением одному из основополагающих принципов соратников Прелестнова — «не расплываться» и «снимать пенки». Иными словами, следует ограничиться самой поверхностью, нимало не касающейся глубинного существа дела оценкой явлений и чураться малейшей попытки перейти от единичных случаев к обобщению.

И получается, в сущности, что полученный провинциалом от Прелестнова «Устав Вольного Союза Пенкоснимателей» не так уж далеко отстоит от требований консервативных прожектеров. Это, можно сказать, всего лишь грамотная их редакция вожделений. А вечер, проведенный рассказчиком среди сотрудников пенкоснимательского органа, заполнен такой же трескучей болтовней, какую он слышал, внимая ораторам «аристократического» салона. Здесь как бы отдается пугливое эхо наглых требований закоренелых ретроградов и крепостников.

«— И чего церемонятся с этою паскудною литературой! — негодуют гости заядлого консерватора — князя Оболдуй-Тараканова.

— Я, со своей стороны, полагаю, что нам следует *молчать, молчать и молчать!* (курсив.—*А. Т.*) — трусливо отзывается послушливый пенкосниматель».

Чтобы не заподозрить Салтыкова в «чрезмерном», «излишнем» преувеличении, обратимся к дневнику современницы (Е. А. Штакеншнейдер):

«Существует особая комиссия, созванная для того, чтобы снова рассмотреть законы о печатном деле,— записывает она в 1869 году,— и потому находят, что литература лучше всего сделает, если будет себя держать как можно тише и как можно меньше внушать поводов к новым стеснительным законам».

Однако «молчать» в устах прелестновых совсем не значит буквально безмолвствовать. Напротив, с их перьев низвергаются прямо-таки водопады слов, фраз, статей с продолжением. Однако все они начисто лишены сколько-нибудь значительного содержания.

Чем мельче предмет разговора, тем более горячится пенкосниматель, в полном соответствии с требованиями Устава: «По наружности иметь вид откровенный и даже смелый, внутренне же трепетать», а также: «Усиливать откровенность и смелость по мере того, как предмет, о котором заведена речь, представляет меньшую опасность для вольного обсуждения».

Нетрудно заметить, что сочинители этих либеральных «заповедей» как бы шли навстречу требованиям своих мнимых антагонистов — консерваторов, желавших, чтобы «науки имели вид краткий»:

«Рассуждая о современных вопросах, стараться, по возможности, сокращать их размеры»,— предписывается в пенкоснимательском Уставе.

Характерный отзыв о тогдашней русской журналистике содержится в одной реальной статье отнюдь не радикальной газеты «Русский мир»:

«...предметом газетных и журнальных суждений являлись по преимуществу вопросы второстепенного и частного значения, причем нельзя было не заметить, что большинство газет даже и об этих вопросах высказывалось весьма уклончиво и поверхностно, как бы опасаясь углубиться до той почвы, на которой суждение о частном явлении действительности переходит в спор о принципе».

Щедринские пенкосниматели — Неуважай-Корыто и Болиголова, досконально исследующие, «макали ли русские цари в соль пальцами, или доставали оную посредством ножа», публицисты с выразительными фамилиями Размазов и Нескладин — все они хором издают какое-то непрерывное монотонное жужжание убаюкивающего свойства и превосходно

выполняют пожелание вышеупомянутого проекта «О необходимости оглушения в смысле временного усыпления чувств»: «Необходимо, чтобы дремотное состояние было не токмо вынужденное, но имело характер деятельный и искренний».

Быть может, особенно ядовитое разоблачение пенкоснимательства сделано в той части «Дневника...», где провинциал, уверенный, будто находится под домашним арестом по политическому обвинению, решает скрасить свое вынужденное затворничество сочинением статей для газеты Менандра на всевозможные, но, разумеется, самые безобидные темы — об оспопрививании, о совмещении огородничества с разведением козлов, о геморрое и т. д. и т. п.

«Я,— признается провинциал,— упивался моей новой деятельностью, и до того всерьез предался ей, что даже забыл и о своем заключении...»

Так пенкосниматель приходит к полнейшему согласию с действительностью, которая никак не препятствует разработке излюбленных им тем и сюжетов!

Сатирический образ пенкоснимательства выявил наиболее вредные «готовности» и термин самого писателя, русского либерализма, послужил предупреждением о том, что они могут привести к откровенному прислужничеству власть имущим. «Дневник провинциала...» обозначил резкое усиление в щедринском творчестве критики подобной эволюции либерализма.

При этом, разумеется, необходимо помнить, что перед нами особая, щедринская художественная система, которой чрезвычайно свойственны гротеск, преувеличение, и что пенкоснимательство никак не фотографически точное отображение русского либерализма во всей сложности и противоречивости исторических судеб этого направления общественной мысли.

Знал Щедрин и всю тяжесть положения подцензурного русского публициста «с длинными, запутанными фразами, с мыслями, сделавшимися сбивчивыми и темными, вследствие усилий высказать их как можно яснее». Поэтому, жестоко иронизируя над деятелями типа Менандра Прелестнова, он одновременно допускал, что «это индивидуумы под-

невольные, сносящие иго пенкоснимательства лишь потому, что чувствуют себя в каменном мешке» (иными словами — в тюрьме).

Но ведь положение самого Салтыкова было не лучше! Прямой отклик на многие драматические события русской жизни часто был для него, писателя откровенно демократического направления, невозможен, хотя и общественный темперамент и совесть настойчиво взывали о необходимости такого выступления.

Однако та «принципиальная почва» (выражение самого Салтыкова), которую он никогда не покидал, давала ему возможность, обращаясь даже к «легальным» явлениям, так сопоставить и творчески преображать их, чтобы, в отличие от пенкоснимательской публицистики, «суждение о частном явлении действительности переходило в спор о принципе» и чтобы из россыпи разрозненных фактов возникала картина, содержащая в себе бескомпромиссную оценку существовавшего общественного устройства.

Так, скандальная судебная история тех лет — «мясниковское дело» — смаковалась буквально всеми органами печати. Но Салтыков сумел ядовитейшим образом сыграть и глубоко осмыслить этот судебный процесс, создав удивительный сон, который приснился его герою. Провинциалу привиделось, будто он умирает миллионером, а уже знакомый нам Прокоп начисто обкрадывает его — подобно тому, как это сделал в реальной действительности жандармский офицер Мясников по отношению к богачу Беляеву — и тоже подкупает невольного свидетеля.

На судебном процессе Мясников с братом были оправданы, и тут могло сыграть свою роль то обстоятельство, что вор был адъютантом всемогущего начальника III Отделения.

Но Салтыков не удовлетворился подобным объяснением и обобщил смысл происшедшего.

Истцы, ответчики, судьи, присяжные, оправдавшие преступников, значительная часть публики — все они, по мнению Щедрина, одним миром мазаны. Он остроумно воспользовался прозвучавшей в речи прокурора апелляцией к «суду общественной совести» в противоположность «суду общественного мнения». Сатирик увидел в этом возможность обна-

жить истинное, скрытое под лицемерно исповедуемой моралью *содержание* «общественной совести» хищнического общества.

Так появились «странные вопросы», которые в «сне провинциала» предлагаются на разрешение присяжным: «согласно ли с обстоятельствами дела поступил Прокоп...» и «не поступили ли бы точно таким же образом родственницы покойного, являющиеся в настоящем деле в качестве истиц, если бы были в таких же обстоятельствах?..».

Перенос «дела Мясниковых» по кассационной жалобе в Московский окружной суд и... очередное оправдание обвиняемых уже иным составом присяжных побудили Щедрина нарисовать гротескную картину того, как Прокопа судят уже во всех городах Российской империи по очереди.

Происходит своего рода референдум, с предельной ясностью обнаруживающий аморальность общества. Пройди сквозь такой строй какой-нибудь мелкий воришка, все прокуроры отточили бы на нем карающие мечи и ядовитые стрелы своего красноречия. Для Прокопа же эта фантастическая судебная процедура превращается в триумфальное шествие по всей стране. Чествующие его не видят и не хотят видеть его истинного неприглядного облика: подобно купцам из гоголевского «Ревизора», они славят в нем некое мифическое всемогущее существо — «господина Финансова». Им улыбается, им милостиво кивает не Прокоп, а сам господин Миллион.

Прокоп, бесстрашно пробующий пальцем, остры или тупы клинки у стоящих возле «подсудимого» жандармов,— символ наглой безнаказанности крупного хищника в тогдашней России. А весь церемониал его поездок напоминает путешествия особ царской фамилии. И недаром: повсеместное оправдание Прокопа в изображении Щедрина выглядит как венчание на царство нового властителя, принимаемого обществом с раболепным восторгом, несмотря на его зловещие замашки.

Новый сатирический «фейерверк» вспыхивает в «Дневнике провинциала...» и на основе других реальных «частных» событий, позволивших писателю гротескно воссоздать существовавшую тогда атмосферу подозрительности и сыска, опутавших и за-

путавших людей настолько, что они буквально теряют голову от страха.

В разгар работы Салтыкова над книгой, в августе 1872 года, в Петербурге происходил Международный конгресс статистиков. Незадолго до этого в «Отечественных записках» довольно прозрачно писалось о жалком состоянии этой науки в России: «Статистика, как известно, самым тесным образом связана с вопросами политико-экономического и социального быта, а между тем общий вклад нашей государственной и общественной жизни не способствует пока широкой и самостоятельной разработке этих вопросов».

Герой «Дневника...» тоже считает, что «ежели конгресс соберется в Петербурге, то предметом его может быть только *коротенькая* статистика, то есть такая, в которой несколько глав окажутся оторванными».

Однако в книге Салтыкова речь идет уже не о подтасовке тех или иных цифр или умолчании о неприглядных сторонах русской жизни: весь конгресс, изображаемый сатириком, плохонькой, белыми нитками шитой, но тем не менее достигающей своей цели мистификацией, затеянной якобы какими-то досужими шутниками. Участники конгресса сначала становятся подсудимыми и, опутанные ложными показаниями, готовы сознаться «судебной комиссии» в самых невероятных преступлениях и счастливы, когда им намекают, что они могут откупиться от «заслуженной кары», а потом со стыдом и горечью обнаруживают, что их провели: «...никакой комиссии нет и не бывало!.. Ни конгресса, ни комиссии — ничего!»

Теперь герои корят себя за легковерие, вспоминают разные мелочи, свидетельствовавшие, что все происходившее было фарсом. Но ведь, — и об этом стоит задуматься, — «шутники» разыграли судебную комедию в полном соответствии с нравами тогдашней юстиции, с ее обложными обвинениями, использованием лжесвидетелей...

Возможно, что Щедрин, лишенный возможности изобразить действительный политический процесс того времени, решил все-таки сделать это, причудливо перемешав правду с выдумкой и гремевшие в совершенно реальных судебных залах полити-

ческие обвинения с заведомой бессмыслицей.

«Я заносил в свой «Дневник» далеко не все, что видел и что происходило со мною и вокруг меня»,— сказано в заключительной части книги, где сам автор, решительно отстранив своего героя, выходит на авансцену.

Сказано, конечно, с горечью, ибо, как тут же поясняет сатирик, есть два вида людей и явлений — «один, к которому можно отнестись апологетически, но неудобно отнестись критически; другой — к которому можно сколько угодно относиться критически, но неудобно отнестись апологетически».

И если «неудобство» по отношению к первому виду, говоря словами самого Салтыкова — «торжествующих, или, как горячо скажет впоследствии Некрасов, «ликующих, праздно болтающих, умывающих руки в крови»,— сатирик все-таки преодолел и его извинения перед читателем в данном случае носят характер некоторого лукавства, понятного им обоим, то о втором «неудобстве» он говорит со всей искренностью: ни в условиях подцензурной печати, ни — что тоже нельзя забывать — в рамках резко сатирически окрашенной художественной системы писателя никак не мог быть с достаточной рельефностью нарисован — вновь говоря словами поэта — «стан погибающих за великое дело любви».

Впрочем, и это неполная правда: один могучий боец этого стана в книге есть — это сам автор.

Вся его писательская деятельность — это нескончаемый поединок с дворянско-помещичьим миром, с «чернильным» племенем чиновничества, с хищниками новой, буржуазной складки. И «Дневник провинциала в Петербурге» — одно из самых блистательных сражений, какие он дал своим противникам.

Едкий щедринский прищур, щедринская беспощадность в оценках, высота его собственных гражданских и этических идеалов, как живительный озон воздействующая на читателя даже на самых мрачных страницах, сопровождает нас в этом фантасмагорическом путешествии.

Любивший свою родину, по его выражению, до боли сердечной, писатель тяжело переживал невозможность служить ей открытым, ясным, бесцензурным словом. И однако, в этой трагической битве с

цензурой великий художник часто оказывался победителем.

Масштабные щедринские обобщения, рожденные на почве самых злободневных событий, перешагивали границы страны и времени, приобретали глобальный характер.

Многие из его образных находок прочно вошли в фонд общенационального русского языка (вспомним тех же «пенкоснимателей», помпадуров, глуповцев...).

Нередко читатели довольствуются знакомством с наиболее известными произведениями великого сатирика — «Господа Головлевы», «Пошехонская старина», сказки...

«Дневник провинциала в Петербурге» принадлежит к числу тех произведений, которые куда реже попадают в поле читательского — да и издательского! — внимания.

Между тем редко можно встретить такой сатирический роман, демонстрирующий не только «злой, необыкновенный юмор» автора, но и богатейшую фантазию, и разнообразнейший арсенал художественных средств — от «воскрешения» к новой жизни знакомых читателю литературных персонажей (вспомним, что на мнимом статистическом конгрессе присутствуют тургеневские Кирсанов, Рудин, Берсенев, Волохов, Веретьев, гончаровский Волохов) до многочисленных пародий — на статьи тогдашних публицистов, законы Российской империи.

В творчестве самого Салтыкова «Дневник провинциала...» оказался переходом от публицистически-сатирических циклов вроде «Помпадуров и помпадурш» и «Господ ташкентцев» к новой форме романа-фельетона, романа-обозрения, вершиной которого стала «Современная идиллия».

И думается, что и к книге, лежащей перед читателем, можно отнести слова, сказанные одним проницательным критиком о «Современной идиллии»,— что она «открывает бесконечные галереи для мысли».

А. ТУРКОВ

ДНЕВНИК ПРОВИНЦИАЛА В ПЕТЕРБУРГЕ

I

Я в Петербурге.

Зачем я в Петербурге? по какому случаю? — этого вопроса, по врожденной провинциалам неосмотрительности, я ни разу не задал себе, покидая наш постылый губернский город. Мы, провинциалы, устремляемся в Петербург как-то инстинктивно. Сидим-сидим — и вдруг тронемся. Губернатор сидит и вдруг надумается: толкнусь, мол, нет ли чего подходящего! Прокурор сидит — и тоже надумается: толкнусь-ка, нет ли чего подходящего! Партикулярный человек сидит — и вдруг, словно озаренный, начинает укладываться... «Вы в Петербург едете?» — «В Петербург!» — этим все сказано. Как будто Петербург сам собою, одним своим именем, своими улицами, туманом и слякотью должен что-то разрешить, на что-то пролить свет. Что́ разрешить? на что пролить свет? — этого ни один провинциал никогда не пробует себе уяснить, а просто-напросто, с бессознательною уверенностью твердит себе: вот ужо́, съезжу в Петербург, и тогда... Что тогда?

Как бы то ни было, вопрос: зачем я еду в Петербург? возник для меня совершенно неожиданно, возник спустя несколько минут после того, как я уселся в вагоне Николаевской железной дороги.

В этом вагоне сидела *губерния*, сидело все то, от чего я бежал, от лицезрения чего стремился отдохнуть. Тут были: и Петр Иваныч, и Тертий Семеныч, и сам представитель «высшего в империи сословия», Александр Прокофьич (он же «Прокоп Ляпунов») с супругой, на лице которой читается только одна мысль: «Alexandre! у тебя опять галстук набок съехал!» Это была ужаснейшая для меня минута. Все они были налицо с своими жирными затылками, с своими клинообразными кадыками, в фуражках с красными околышами и с кокардой над козырьком. Все притворялись, что у них есть нечто в кар-

мане, и ни один даже не пытался притвориться, что у него есть нечто в голове. По-видимому, это последнее обстоятельство для них самих составляло дело решенное, потому что смотреть на мир такими осовелыми глазами, какими смотрели они, могут только люди или совершенно эманципированные от давления мысли, или люди совсем наглые. А так как моих спутников нельзя же назвать вполне наглыми людьми, то очевидно, что они принадлежат к числу вполне свободных. На меня эти красные околыши произвели какое-то болезненное впечатление. Мне показалось, что я опять в нашем рязанско-курско-тамбовско-воронежско-саратовском клубе, окруженный сеятелями, деятелями и всех сортов шлющимися и не помнящими родства людьми...

Разумеется, обрадовались. Но в этих приветственных возгласах мне слышалось что-то обидное. Как будто, приветствуя меня, они в один голос говорили: а вот и еще нашего стада скотина пришла! Не потому ли эта встреча до такой степени уязвила меня, что я никогда так отчетливо, как в эту минуту, не сознавал, что ведь я и сам такой же шлющийся и не знающий, куда приткнуть голову, человек, как и они? Кайданов удостоверяет, что древние авгуры не могли удерживаться от смеха, встречаясь друг с другом. Быть может, на первых порах, оно так и было; но впоследствии, когда интерес новизны исчез, эти встречи должны были возбуждать не смех, а взаимное озлобление. Скажите, можно ли без злобы ежеминутно встречаться с человеком, которого видишь насквозь, со всем его нутром! Помилуйте! да от этого человека за тридевять земель бежать надобно, а не то что улыбаться ему!

Легко сказать, бежать! Вы бежите — а он за вами! Он, этот земский авгур, населяет теперь все вагоны, все гостиницы! Он ораторствует в клубах и ресторанах! он проникает в педагогические, экономические, сельскохозяйственные и иные собрания и даже защищает там какие-то рефераты. Он желанный гость у Елисеева, Эрбера и Одинцова, он смотрит Патти, Паску, Лукку, Шнейдер. Словом, он везде. Это какой-то неугомонный дух, от вездесущия которого не упастись нигде...

По обыкновению, как только разместились в вагонах, так тотчас же начался обмен мыслей.

— В Петербург? — спрашивает Прокоп Петра Иваныча.

— В Петербург.

— Зачем, смею спросить?

— Да так... насчет концессии одной... А вы?

— Я, признаться, тоже... от земства... А вы, Тертий Семеныч?

— Да я... как бы вам сказать... ведь и я тоже насчет концессии!

Наконец вопрос обращается и ко мне:

— В Петербург-с?

Тут-то вот именно и представился мне вопрос: зачем я, в самом деле, еду в Петербург? и каким образом сделалось, что я, убегая из губернии и находясь несомненно за пределами ее, в вагоне, все-таки очутился в самом сердце оной? И мне сделалось так совестно и конфузно, что я совершенно неосновательно ответил Прокопу:

— Да там... тоже маленькая концессия...

Тогда начались проекты самых фантастических концессий. Из Пензы в Наровчат, захватив на дороге Мокшан и Инсар; из Рязани в Михайлов, а там в Каширу, в Алексин, в Белев, в Медынь и т. д. Слышались фразы: вот бы! вот кабы! ну, уж тогда бы! и проч. Но меня так всецело поглотила мысль, зачем я-то, собственно, собрался в Петербург,— я, который не имел в виду ни получить концессию, ни защитить педагогический или сельскохозяйственный реферат,— что даже не заметил, как мы проехали Тверь, Бологово, Любань. С этою же мыслью я очутился утром на дебаркадере Николаевской железной дороги.

Но здесь случилось что-то неслыханное. Оказалось, что все мы, то есть вся губерния, останавливаемся в Grand Hôtel... Уклониться от совместного жительства не было возможности. Еще в Колпине начались возгласы: «Да остановимтесь, господа, все вместе!», «Вместе, господа, веселее!», «Стыдно землякам в разных местах останавливаться!» и т. д. Нужно было иметь твердость Муция Сцеволы, чтобы устоять против таких зазываний. Разумеется, я не устоял.

Но за то и наказана же была моя душевная рыхлость!

Вот буквально те впечатления, которые в течение

первых двух недель я испытывал в Петербурге изо дня в день.

Каждое утро, покуда я потягиваюсь и пью свой кофе, три стука раздаются в дверь моего нумера. Раньше всех стучит Прокоп.

— Ну, что! как концессия? заполучили? — обращается он ко мне своим обычным лающим голосом.

— Нет еще... да и не знаю...

— Тут, батюшка, зевать некогда! Как раз из-под носа стибрят!

Через полчаса опять стук: стучит Тертий Семеныч.

— Ну, что! заполучили?

— Не знаю, как бы сказать...

— Что ж вы мямлите-то! что мямлите! ведь этак как раз из-под носа утащат!

Проходит четверть часа: стук-стук! Идет мимо Петр Иваныч.

— Что! как концессия?

Мне делается уже весело. Я сам начинаю верить, что приехал за концессией и что есть какая-то линия между Сапожком и Касимовым, которую мне совершенно необходимо заполучить.

— Да что́, батюшка! — говорю я,— эта концессия... шут ее знает!

— Что́ вы зеваете-то! что зеваете! Прокоп вот все передние уже объездил, а вы! Хотите, я вам скажу одну вещь!

— Ах! сделайте милость!

— Там полковник один есть... Просто даже и ведомства-то совсем не того, отставной... Так вот покуда мы стоим этак в приемной, проходит мимо нас этот полковник прямо в кабинет... Потом, через четверть часа, опять этот полковник из кабинета проходит и только глазом мигнет!

— Ну, и что́ ж?

— Ну, тут его и лови!

Затем «губерния» часа на два, на три исчезает. Но не успел я одеться (бьет два часа), как опять стук в дверь! Влетает Прокоп.

— Разве так делают дела? — накидывается он на меня.— Вы вот потягиваетесь тут, а я уж во всех трех министерствах был!

— Александр Прокофьич! Неужто?

— Да-с, был-с. Только уж и ходьба!

— А что́?

— Да вот, посчитайте-ка сами ступеньки от первого этажа до четвертого, тогда увидите!

— А результат?

— Да как сказать? — покуда еще никакого! Ведь здесь, батюшка, не губерния! чтобы слово-то ему сказать, чтобы глазком-то его увидеть, надо с месяц места побегать! Здесь ведь все дела делаются так!

— Однако, это неприятно!

— А вам все чтоб было «приятно»! Вам бы вот чтоб Фаддей и носки вам на ноги надел, и сапоги бы натянул, а из этого чтоб концессия вышла! Нет, сударь, приятности-то эти тогда пойдут, когда вот линийку заполучим, а теперь не до приятностей! Здесь, батюшка, и все так живут!

Прокоп подходит к окну, видит бегущего по улице мазурика, и воображение рисует перед ним целую картину.

— Смотрите! — восклицает он,— вон он высуня язык бегает! Вы думаете, он дело делает! Пустяки, сударь! пустяки он делает! День-то деньской он пробегает, вечером прибежит домой: что я сделал? — Иной даже заплачет! Ничего, ну просто-на́просто ничего! А там пройдет и еще день, и еще, и еще... И всё-то так! и всякий-то день ничего! А через месяц, смотришь, что-нибудь у него и сформируется! Как сформируется? почему сформируется? — ничего не известно! Там бросил словечко, там глазком глянул, туда забежал, там с швейцаром покалякал — на вид оно пустяки, ан смотришь, в результате оно самое и есть!

Снова стук. Петр Иваныч влетает прямо в соболях. Щеки у него горят, кадык застыл от мороза, усы влажны.

— Ну, кажется, идет дело на лад! — говорит он весело.

— Решена? — спрашивает Прокоп, и в глазах его появляется какой-то блудящий огонь, которого я прежде не примечал.

— Решена!

— Ну, а моя еще нет!

— Теперь только бы в самую середку-то угодить!

— Да, это тоже штука. Одно средство: к тузу какому-нибудь примазаться! Уж черт его душу дери... ешь половину!

Еще стук. Влетает Тертий Семеныч и падает в изнеможении в кресло.

— Устал,— говорит он,— был везде! И у Бубновина был, и у Мерзавского был, и у сына Сирахова был!

— Ну, и что же!

— Все в один голос: полезнейшее предприятие!

— Смотри, как бы тебя с «полезнейшим-то пред приятием» не продернули! ведь это тоже народ теплый!

— Меня-то! у меня линия верная! От Корочи через Тим, Щигры да так-таки прямо в Ливны А там у меня кстати и имение есть.

— Да ты что́ возить-то по этой линии будешь?

— Уж это наше дело!

— Нет, ты скажи!

— А позвольте узнать, Александр Прокофьич что вы-то по вашей линии возить будете?

— Это от Изюма-то, через Купянку, Валуйки да в Острогожск! Да тут, батюшка, хлеба одного столь ко, что ахнешь! Опять: конопель, пенька, масло, скот, кожи! Да ты пойми: ведь в Изюме-то окруж ной суд! Члены суда будут ездить! судебные следователи! судебные пристава! Твое же острогожское имение описывать поедут!

Между тем Петр Иваныч беспокойно поглядывает на часы и вдруг вскакивает:

— Однако пора бежать!

И все трое, обращаясь ко мне, разом воскли цают:

— Вы разве не пойдете устрицы есть?

— Не знаю... Я как-то еще не думал об этом

— Ну, каким же образом после того вы концессию получить хотите! Где же вы с настоящими дельцами встретитесь, как не у Елисеева или у Эр бера? Ведь там все! Всех там увидите!

— Да ведь я... право, и дорога-то у меня плохая, кажется! Ну, что я, в самом деле, возить по ней буду!

— А вам-то что́? Это что еще за тандрессы та кие! Вон Петр Иваныч снеток белозерский хочет возить... а сооружения-то, батюшка, затевает какие! Через Чегодощу мост в две версты — раз; через Тих винку мост в три версты (тут грузы захватит) - два! Через Волхов мост — три! По горам, по долам,

по болотам, по лесам! В болотах морошку захватит, в лесу — рябчика! Зато в Питере настоящий снеток будет! Не псковский какой-нибудь, а настоящий белозерский! Вкус-то в нем какой — ха! ха!

— Смейтесь! смейтесь! а вот как заполучу дорожку, тогда будет... хи! хи!

— Мы, батюшка, нынче всю эту статистику дотла разузнали! Где что́ родится, где какое производство идет! Где мамура-ягода, где княженика-ягода! Где сырть-рыба, где сельдь, где снеток! Где мыло варят, где кожи дубят! Разносчик кричит: сельди переславские! — а мы примечаем!

Делать нечего, отправляемся вчетвером на биржу к Елисееву.

Устричная зала полна. Губерния преобладает. Кадыки, кадыки, кадыки; затылки, затылки, затылки. На столах валяются фуражки с красными околышами и кокардами. Там и сям мелькают какие-то оливковые личности, не то греки, не то евреи, не то армяне, словом, какие-то иконописные люди, которым удалось сбежать с кипарисной доски и отгуляться на воле у Дюссо и у Бореля. Они жирны, словно скот, откормленный бардою. Личности эти составляют центры, около которых образуются группы кадыков. Но самый главный центр представляет какой-то необыкновенно жирный и, по-видимому, не очень умный человек, который сидит на диване у средней стены и на груди у которого отдыхает тяжелая золотая цепь, обремененная драгоценными железнодорожными жетонами. Он уже поел и, сложа на груди руки и зажмурив глаза, предается пищеварению. По временам пройдет мимо него кадык, скажет: Анемподисту Тимофеичу! тогда он отделит от туловища одну из рук и вложит ее в протянутую руку кадыка. Хотя этот человек сидит за своим столом одиноко, но что не кто другой, а именно он составляет настоящий центр компании — в этом нельзя усомниться. Кадыки, очевидно, ни на минуту не теряют его из вида. Они и сидят за своими столами как-то не прямо, а вполоборота к нему, и говорят друг с другом, словно не друг с другом, а обращаясь к третьему лицу, которое нельзя беспокоить прямо, но без мнения которого обойтись немыслимо.

Проходя мимо него, Прокоп толкает меня в бок и шепчет каким-то испуганным голосом:

— Бубновин!

В зале сыро, наслякощенно, накурено. Словно туман стоит. Но кадыки не гогочут, по своему обычаю, а как-то сдержанно беседуют, словно заискивают.

— Аристиду Фемистоклычу! — восклицает Прокоп, расцветая при виде одного из византийских изображений, которого наружность напоминает паука, только что проглотившего муху,— как поживаете? каково прижимаете?

— Ницево! зивем!

— Девочки как?

— И девоцки!.. у нас девоцек завсегда бывает оцень достатоцно!

— Ну, и слава богу!

Мы садимся за особый стол; приносят громадное блюдо, усеянное устрицами. Но завистливые глаза Прокопа уже прозревают в будущем и усматривают там потребность в новом таком же блюде.

— Вели еще десятка четыре вскрыть! — командует он,— да надо бы и насчет вина распорядиться... Аристид Фемистоклыч! вы какое вино при устрицах потребляете?

— Сабли́... а впроцем, я могу всякое!

— Ну, и нам подавай шабли, а потом и до «всякого» доберемся!

Начинается истребление устриц под гвалт общего говора.

— Я вам докладываю: простой армейский штабс-капитан был! — ораторствует какой-то «кадык»,— в нашем городе в квартальные просился — не дали.

— А теперь третью дорогу строит! — отзывается другой «кадык»,— вот оно что́ значит ум-то!

— Да; если целовек с умом... это тоцно!..— замечает Аристид Фемистоклыч.

Он пропустил уж полсотни устриц и развалился на диване, попыхивая какую-то неслыханной красоты сигару.

— Товарищами были! в одно время в полку служили! — повествует в другом углу третий «кадык»,— вчерась встречаемся на Невском: Ты что? говорит. Так и так, говорю, дорожку бы заполучить! Приходи, говорит!

Я вглядываюсь в говорящего и вижу, что он лжет. Быть может, он и от природы не может не

лгать, но в эту минуту к его хвастовству, видимо, примешивается расчет, что оно подействует на Бубновина. Последний, однако ж, поддается туго: он окончательно зажмурил глаза, даже слегка похрапывает.

— А какая доброта-то! — продолжает хвастаться кадык,— так-таки просто и говорит: приезжай, говорит, я тебя с женой познакомлю, а потом и об дорожке потолкуем! Я, говорит, знаю, что твое дело верное!

Бубновин продолжает похрапывать.

— Шнейдершу бы вот попросить, чтобы словечко замолвила! — вдруг предлагает кто-то.

Бубновин открывает один глаз, как будто хочет сказать: насилу хоть что-нибудь путное молвили! Но предложению не дается дальнейшего развития, потому что оно, как и все другие восклицания, вроде: вот бы! тогда бы! — явилось точно так же случайно, как те мухи, которые неизвестно откуда берутся, прилетают и потом опять неизвестно куда исчезают.

Съедаются первые четыре десятка устриц, потом съедаются еще четыре десятка устриц, в промежутках съедаются два фунта свежей икры, фунт сыру, фунт семги. Выпивается по бутылке шабли на брата, потом по бутылке шампанского; в промежутках пробуются разные сорта водок. Дым синими волнами ходит по комнате, так что, несмотря на зажженный газ, почти ничего не видно. И чем больше выпивается, тем гуще делается шум. Приходят новые деятели; слышатся вопросы: «решена?», «аудиенции-то добился ли, по крайней мере?» и ответы: «а черт их разберет!», «семь дней хожу, и дальше передней ни-ни!» В пять часов мы выходим наконец на воздух.

— Где же дельцы-то? — спрашиваю я у Прокопа.

— А Бубновин?

— Да ведь вы с ним даже не говорили!

— Какой вы, батюшка, однако ж, чудно́й! разве этакого человека можно сразу! Его надобно еще приучить к себе, чтобы он, значит, к физиономии-то сначала присмотрелся! Раз скажешь ему: Анемподисту Тимофеичу! в другой: Анемподисту Тимофеичу! — ну, он и прислушивается помаленьку. Успел ты ему понравиться — дело в шляпе! Не успел —

домой поезжай! и проедаться тут нечего! Вот этот барин, что́ про Шнейдершу-то давеча молвил,— вы видели, как он на него посмотрел! Да барин-то плох! Другой бы на его месте так бы этой Шнейдершей Бубновина раззудил, что завтра и по рукам бы хлопнули!

— За чем же дело? воспользуйтесь!

— Я, батюшка, и то уж подумываю! Кончено дело! завтра же чем свет — к Бубновину! Я ему этот прожектец во всех статьях разверну!

Я возвращаюсь в свой нумер усталый, ошеломленный, полупьяный, нераздетый бросаюсь в постель и засыпаю тяжелым сном. Во сне мне видится железная дорога от Петербурга до самого устья Печоры. Локомотив, пыхтя и свистя, несется в необозримую даль; болотные трясины содрогаются, леса оглашаются бесконечным эхом, испуганные звери и птицы скрываются куда-то далеко, в непроглядный мрак. На поезде сидит жандарм и какой-то партикулярный молодой человек. И мчатся эти люди день и ночь, худо спят, на́скоро закусывают, бегут, спешат, как будто и невесть какие приятства ожидают их на устье Печоры. А с устья Печоры, в свою очередь, тоже мчится поезд, и несется на нем господин Латкин с свежею печорскою семгою и кедровой шишкой в руках, как доказательство крайней необходимости дороги в этот кишащий естественными богатствами край. И вдруг в Усть-Сысольске ужасное столкновение... Раздается треск, гром; я в ужасе мечусь на постеле и наконец вскакиваю.

В комнате темно; в дверь моего нумера действительно кто-то сильнейшим образом стучит.

Отпираю; влетает Прокоп.

— Спите, батюшка, спите! — говорит он мне укоризненно,— а я, покуда вы тут спите, у Дюссо с таким человечком знакомство свел!

— С каким еще человечком? — спрашиваю я, насилу продирая глаза.

— Да уж с таким человечком, что, ежели через неделю мое дело не будет слажено и покончено, назовите меня в глаза подлецом!

Не успеваю я ответить, как влетают разом Тертий Семеныч и Петр Иваныч.

— Ну, батюшка, слава богу! кажется, мое дело в шляпе! — говорит Тертий Семеныч.

— И меня, я полагаю, через недельку поздравить будет можно! — перебивает его Петр Иваныч.

— Ну, а теперь пора и отдохнуть! — возглашает Прокоп,— да что, впрочем, не выпить ли на ночь прощёную!

Но я решительно отказываюсь, и гости, после долгих упрашиваний, расходятся наконец по нумерам.

Я остаюсь один (бьет уж два часа) и вновь ложусь спать.

Таким образом продолжается пятнадцать дней. Кроме своего нумера и устричной залы Елисеева, я ничего не вижу. Я ни разу даже не пообедал как следует. Кроме устриц, икры, семги — ничего. Горячего ни-ни! Наконец, я чувствую, что ежели это времяпрепровождение продолжится, то я сделаюсь пьяницей. Каждый день, по малой мере, три бутылки вина, не считая водки! И это, так сказать, натощак. Перестаю наконец понимать, кто я и где я. В одно прекрасное утро просыпаюсь и ничего, положительно ничего не понимаю. Что? как? зачем? Наконец, когда уж мне вылили на голову целое ведро холодной воды (я помню, я все кричал: лей! лей!) — только тогда я понял, что я — я. Подбежал к зеркалу, смотрю — глаза налитые, совсем круглые. Значит, дошел до точки.

Нет, надо бежать. Но как же уехать из Петербурга, не видав ничего, кроме нумера гостиницы и устричной залы Елисеева? Ведь есть, вероятно, что-нибудь и поинтереснее. Есть умственное движение, есть публицистика, литература, искусство, жизнь. Наконец, найдутся старые знакомые, товарищи, которых хотелось бы повидать...

Конечно. Я предпринимаю героическое решение. В одно прекрасное утро, покуда «губерния» шнырит по разным концам города, я уплачиваю мой счет в Grand Hôtel и тайком перебираюсь в скромные chambres garnies[1], на Гороховой.

Прежде всего я отправляюсь в воронинские бани, где парюсь до тех пор, покамест не сознаю себя вполне трезвым. Затем приступаю вновь к практическому разрешению вопроса: зачем я приехал в Петербург?

[1] меблированные комнаты.

Сознаюсь откровенно: из всех названных выше соблазнов (умственное движение, публицистика, литература, искусство, жизнь) меня всего более привлекает последний, то есть «жизнь». Мы, провинциалы, — да впрочем одни ли мы? — имеем о «жизни» представление несколько двойственное. Хазовый конец этого представления составляют интересы умственные и общественные, действительной же его сущности отвечает все то, что́ льстит интересам личным и непосредственным, то есть вкусу и чувственности. На этот конец у нас и слово такое выдумано: жуировать. А жуировать совсем не значит ходить в публичную библиотеку, посещать лекции профессора Сеченова, защищать в педагогических и иных собраниях рефераты и проч., а просто, в переводе на французский язык, означает: buvons, chantons, dansons et aimons![1] Поэтому, если мы встречаем человека, который, говоря о жизни, драпируется в мантию научных, умственных и общественных интересов и уверяет, что никогда не бывает так счастлив и не живет такою полною жизнью, как исследуя вопрос о пришествии варягов или о месте погребения князя Пожарского, то можно сказать наверное, что этот человек или преднамеренно, или бессознательно скрывает свои настоящие чувства. Говорит он о пользе классического образования, а на уме у него: buvons, chantons, dansons et aimons! Говорит о податной реформе, а на уме: buvons, chantons, dansons et aimons! Все эти вопросы, системы, нововведения и проч. представляют лишь неизбежную, но сухую и горькую приправу жизни. Без них нельзя обойтись, потому что они дают одним — прекраснейшие должности с прекраснейшим содержанием; другим, не нуждающимся в содержаниях, — прекраснейшие общественные положения. Но конечный результат всех этих содержаний и положений все-таки резюмируется так: buvons, chantons, dansons et aimons. Никакое полезное предприятие немыслимо, если оно, время от времени, не освежается обедом с шампанским и устрицами. Тупа грамматика, косноязычна реторика, если их не оплодотворяет струя редерера. Даже археолог, защищая реферат о «Ярославле-сребре» — и тот думает: вот

[1] будем пить, петь, танцевать и любить!

ужó выпьем из той самой урны, в которой хранился прах Овидия! Вот где настоящая русская подоплека, а совсем не там, где бесплодно ищут ее глаголемые славянофилы. Москва поняла это в совершенстве· оттого-то в ней и едят, так сказать, пóходя

Следуя общему примеру, и я отправился на поиски «жизни» и с этою целию посетил товарищей моих по школе.

Прихожу к одному — статский советник!!

— Статский советник! — восклицаю я, — поздравляю, поздравляю!

А сам между тем чувствую, что в голосе у меня что-то оборвалось, а внутри как будто закипает. Я добрый и даже рыхлый малый, но когда подумаю, что не выйди я титулярным советником в отставку, то мог бы... мог бы... Ах, черт побери да и совсем!

— Да, душа моя, — с невозмутимою важностью отвечает мой бывший товарищ, — не могу пожаловаться, начальство ценит-таки труды мои!

«Труды твои! шиш твои труды — вот что!» — со злобою помышляю я, но вслух говорю следующее:

— Ну, а дальше... есть виды?

— Насчет видов — это покамест еще секрет. Но, конечно, с божьею помощью...

Сказав это, он устремил такой пронзительный взгляд в даль, что я сразу понял, что сей человек ни перед какими видами несостоятельным себя не окажет.

— Ну, а в настоящем как?

— А в настоящем... жуируем! Гандон, Ловатó, Шнейдер... да ты Шнейдер-то видел?

— Нет еще... я так недавно в Петербурге...

— Ты не видал Шнейдер! чудак! Чего же ты ждешь! Желал бы я знать, зачем ты приехал! Boulotte... да ведь это перл! Comme elle se gratte les hanches et les jambes... saprisiti![1] И он не видел!

В эту минуту в комнату входит другой товарищ, еще только коллежский советник.

— Смельский! ужасайся! он не видал Шнейдер!

— Ты не видал Шнейдер!

— Он не слыхал «Dites-lui»![2]

---

[1] Как она чешет себе бедра и ноги... черт побери!

[2] «Скажите ему»!

— Eh Boulotte donc! Comme elle se gratte les hanches et les jambes... cette fille! Barbare.. va![1]

Я слушаю и краснею. В самом деле, что́ делал я в течение целых двух недель? Я беседовал с Прокопом, я наслаждался лицезрением иконописного Аристида Фемистоклыча — и чего не видел! не видел Шнейдер!

— Ради бога... нельзя ли! — лепечу я в смущении.

— Ah, mon cher, c'est grave! C'est très grave, ce que tu nous demande-la[2]. Однако вот что. У нас ложа на все пятнадцать представлений, и хотя нас четверо, но для тебя, pour te désinfecter de ta chère ville natale...[3] мы потеснимся. Но помни: только для тебя! А теперь, messieurs, обедать, но за обедом, чур, много вина не пить! Помните, что сегодня идет «Barbe bleue»[4], а чтоб эту пьесу просмаковать, нужно, чтоб голова была светла да и светла!

И точно, за обедом мы пьем сравнительно довольно мало, так что, когда я, руководясь бывшими примерами, налил себе перед закуской большую (железнодорожную) рюмку водки, то на меня оглянулись с некоторым беспокойством. Затем: по рюмке хересу, по стакану доброго лафита и по бутылке шампанского на человека — и только.

На свежую голову Шнейдер действует изумительно. Она производит то, что должна была бы произвести вторая бутылка шампанского. Влетая на сцену, через какое-нибудь мгновение она уж поднимает ногу... так поднимает! ну, так поднимает!

— Adorable![5] — шепчет мой друг статский советник.

— И заметь, что у нас она в сто крат скромнее играет, нежели в Париже! — комментирует другой мой друг, коллежский советник.

И вдруг она начинает петь. Но это не пение, а

---

[1] Ах, черт побери! Как эта девушка чешет себе бедра и ноги... Варвар!

[2] Дорогой мой, это дело нешуточное. Нешуточное дело то, о чем ты у нас просишь.

[3] чтобы тебя дезинфицировать от запаха твоего милого родного города.

[4] «Синяя борода».

[5] Восхитительно!

какой-то опьяняющий, звенящий хохот. Поет и в то же время чешет себя во всех местах, как это, впрочем, и следует делать наивной поселянке, которую она изображает.

— Mais comme elle se gratte! comme elle se gratte!.. parlezmoi de ça![1] — захлебывается статский советник.

— Je vous demande un peu, si ce n'est pas là une grande actrice![2] — вторит коллежский советник и с какою-то ненавистью озирается по сторонам, как будто вызывает дерзновенного, который осмелился бы выразить противоположное мнение.

Но зала составлена слишком хорошо; никто и не думает усомниться в гениальности m-lle Шнейдер. Во время пения все благоговейно слушают; после пения все неистово хлопают. Мы, с своей стороны, хлопаем и вызываем до тех пор, покуда зала окончательно пустеет.

После спектакля ужин (уже без воздержания), и за ужином разговор.

— Mais comme elle se gratte!

— En voilà une fille!

— Et remarquez, comme elle a fait ceci...[3]

Статский советник пробует пройтись церемониальным маршем, как это делает Шнейдер, то есть вскидывая поочередно то ту, то другую ногу на плечо.

Я сам взволнован до глубины души и желаю выразить свои чувства.

— Признаюсь, господа,— говорю я,— это... это... заметили ли вы, например, какой у нее отлёт?

Я изгибаюсь головой и грудью вперед, а остальною частью корпуса силюсь изобразить «отлёт».

— Именно отлёт! C'est le vrai mot! Otliott magnifique![4]

— Ай да деревня! сидит, сидит в захолустье, да и выдумает!

— Messieurs! не говорите так легко об нашем за-

---

[1] Но как она почесывается! как почесывается!.. невозможно передать!

[2] Скажите, разве это не великая актриса!

[3] Но как она почесывается! — Вот так девушка! — И заметьте, как она сделала вот это...

[4] Вот именно! Отлет! Великолепно!

холустье! У нас там одна помпадурша есть, так у нее отлёт! Je ne vous dis que ça![1]

Я собираю пальцы в кучку и целую кончики.

— Ну, все-таки, против Шнейдер...— сомневается статский советник.

— Да разве я об Шнейдерше!.. Schneider! mais elle est unique![2] Шнейдер... это... это... Но я вам скажу, и помпадурша! Elle ne se gratte pas les hanches,— c'est vrai! mais si elle se les grattait![3] я не ручаюсь, что и вы... Человек! четыре бутылки шампанского!

Потом следуют еще четыре бутылки, потом еще четыре бутылки... желудок отказывается вмещать, в груди чувствуется стеснение. Я возвращаюсь домой в пять часов ночи, усталый и настолько отуманенный, что едва успеваю лечь в постель, как тотчас же засыпаю. Но я не без гордости сознаю, что сего числа я был истинно пьян не с пяти часов пополудни, а только с пяти часов пополуночи.

На другой день, к другому товарищу,— этот уже не просто статский, а действительный статский советник.

— Уж действительный статский!

— Да, душа моя, действительный. Благодарение богу, начальство видит мои труды и ценит их.

— Да ведь таким образом ты, пожалуй...

— И очень не мудрено. Теперь, душа моя, люди нужны, а мои правила настолько известны... Enfin qui vivra — verra[4].

Сказавши это, он поднял ногу, как будто инстинктивно куда-то ее заносил. Потом, как бы сообразив, что серьезных разговоров со мной, провинциалом, вести не приходится, спросил меня:

— Надеюсь, что ты видел Шнейдер?

— Вчера, с старыми товарищами были.

— Это в «Barbe bleue»? Délicieuse![5] не правда ли?

---

[1] О прочем умалчиваю!

[2] Но она несравненна!

[3] Она, правда, не чешет себе бедер,— но если бы она их чесала!

[4] Словом, поживем — увидим.

[5] «Синей бороде»? Восхитительно!

— Comme elle se gratte les hanches et les jambes![1]

— N'est-se pas! quelle fille! quelle diable de fille! Et en même temps, actrice! mais une actrice... ce qui s'appelle — consommée![2]

— А ты заметил, как она церемониальным маршем к венцу-то прошла!

Я пробую напомнить Шнейдершу в лицах, но при первой же попытке вскинуть ногу на плечо спотыкаюсь и падаю.

— Ну вот! ну вот! — смеется мой друг,— это хорошо, что ты так твердо запомнил, но зачем подражать неподражаемому! En imitant l'imitable, on finit par se casser le cou.

— Mais comme elle se gratte! dieu des dieux! comme elle se gratte!

— Ah! mais c'est encore un trait de génie... ça![3] Заметь: кого она представляет? Она представляет простую, наивную поселянку! Une villageoise! une paysanne! une fille des champs! Ergo...

— Mais c'est simple comme bonjour![4]

— Вот сегодня, например, ты увидишь ее в «Le sabre de mon père»[5]— здесь она не только не чешется, но даже поразит тебя своим величием! А почему? потому что этого требует роль!

— Увы! у меня нет на сегодня билета!

— Вздор! Надо, чтобы ты видел эту пьесу. Вы — люди земства, mon cher, и наша прямая обязанность — это стараться, чтоб вы всё видели, всё знали. Вот что: у нас есть ложа, и хотя мы там вчетвером, но для тебя потеснимся. Я хочу, непременно хочу, чтобы ты видел, как *она* поет «Dites-lui»![6] Я с намерением говорю: «чтоб ты видел», потому что это мало слышать, это именно *видеть* надо! А теперь идем обедать, mais soyons sobres, mon

---

[1] Как она чешет себе бедра и ноги!

[2] Не правда ли? какая девушка! какая чертовская девушка! И в то же время актриса! и актриса... что называется — безупречная!

[3] Подражая неподражаемому, кончают тем, что ломают себе шею.— Но как она почесывается! бог богов! как почесывается! — Тут опять-таки гениальная черта...

[4] Поселянку! крестьянку! дочь полей! Следовательно...— Но это просто, как день!

[5] «Сабле моего отца».

[6] «Скажите ему».

cher! parce que c'est très sérieux, ce que tu vas voir ce soir![1]

Мы обедаем впятером. Выпиваем по рюмке хересу, по стакану доброго лафита и по бутылке шампанского на человека — и только.

Я не стану описывать впечатления этого чудного вечера. *Она* изнемогала, таяла, извивалась и так потрясала «отлётом», что товарищи мои, несмотря на то что все четверо были действительные статские советники, изнемогали, таяли, извивались и потрясали точно так же, как и *она.*

— Из театра — к Борелю.

— Ну-с, что́ скажете, любезный провинциал?

— Да, messieurs, это... Это, я вам скажу... Это... искусство!

— C'est le mot. On cherche l'art, on se lamente sur son dépérissement! Eh bien! je vous demande un peu, si ce n'est pas la personification même de l'art! «Dites-lui» — parlez-moi de ça![2]

— И заметьте, messieurs, какой у нее «отлёт»!

— Otliott! c'est le mot! mais il est unique, ce cher provincial![3]

— Как и накануне, я изогнулся головой и корпусом вперед.

— Именно! именно! c'est ça! c'est bien ça![4] — кричали действительные статские советники, хлопая в ладоши.

Даже борелевские татары — и те смеялись.

— А теперь, господа, в благодарность за высокое наслаждение, доставленное мне вами, позвольте... человек! шесть бутылок шампанского!

Затем еще шесть бутылок, еще шесть бутылок и еще... Я вновь возвращаюсь домой в пять часов ночи, но на сей раз уже с ме́ньшею гордостью сознаю, что хотя и не с пяти часов пополудни, но все-таки другой день сряду ложусь в постель усталый и с отягченной винными парами головой.

---

[1] но будем воздержными, дорогой, ибо то, что ты увидишь вечером, дело нешуточное!

[2] Вот именно. Ищут искусство, сетуют на его упадок! Так вот я спрашиваю, разве это не само олицетворение искусства? «Скажите ему» — найдите что-нибудь подобное!

[3] Отлёт! вот настоящее слово! наш дорогой провинциал прямо-таки неподражаем!

[4] так, так!

Таким образом проходит десять дней. Утром вставанье и потягиванье до трех часов; потом посещение старых товарищей и обед с умеренной выпивкой; потом Шнейдерша и ужин с выпивкой неумеренной. На одиннадцатый день я подхожу к зеркалу и удостоверяюсь, что глаза у меня налитые и совсем круглые. Значит, опять в самую точку попал.

«Уж не убраться ли подобру-поздорову под сень рязанско-козловско-тамбовско-воронежско-саратовского клуба?» — мелькает у меня в голове. Но мысль, что я почти месяц живу в Петербурге, и ничего не видал, кроме Елисеева, Дюссо, Бореля и Шнейдер, угрызает меня.

«Нет, думаю, попробую еще! По крайней мере, узна́ю, что́ такое современная петербургская жизнь!»

Приняв это решение, отправляюсь в воронинские бани, где парюсь до тех пор, пока сознаю себя вполне трезвым.

Затем на целый день остаюсь дома и занимаюсь приведением в порядок желудка. И только на другой день, свежий и встрепанный, начинаю новый ряд похождений.

II

Что же такое, однако, «жизнь»?

В течение более трех недель я проделал все, что, по ходячему кодексу о «жизни», надлежит проделать, чтобы иметь право сказать: я жуировал и, следовательно, жил. Я исполнил «buvons» — ибо ни одного дня не ложился спать трезвым; я исполнил «chantons et dansons» — ибо стоически выдержал целых десять представлений «avec le concours de m-lle Schneider»[1], наконец, я не могу сказать, чтобы не было в продолжение этого времени кое-чего и по части «aimons»... А в результате все-таки должен сознаться, что не только «жизни», но даже и жуировки тут не было никакой. Мало того: по окончании всего этого жизненного процесса я испытываю какое-то удивительно странное чувство. Мне сдается, что все это время я провел в одиночном заключении!

[1] с участием м-ль Шнейдер.

И действительно, это было не более как одиночное заключение, только в особенной, своеобразной форме. Провести, в продолжение двух недель, все сознательные часы в устричной зале Елисеева, среди кадыков и иконописных людей — разве это не одиночное заключение? Провести остальные десять дней в обществе действительных статских кокодессов, лицом к лицу с несомненнейшей чепухою, в виде «Le Sabre de mon père», с чепухой без начала, без конца, без середки,— разве это не одиночное заключение? Ежели первый признак, по которому мы сознаем себя живущими в человеческом обществе, есть живая человеческая речь, то разве я ощущал на себе ее действие? Говоря по совести, все, что́ я испытывал в этом смысле, ограничивалось следующим: я безразличным образом сотрясал воздух, я внимал речам без подлежащего, без сказуемого, без связки, и сам произносил речи без подлежащего, без сказуемого, без связки. «Вот кабы», «ну, уж тогда бы» — ведь это такого рода словопрения, которые я мог бы совершенно удобно производить и в одиночном заключении. Ужели же я без натяжки могу утверждать, что меня окружало действительно людское общество, когда в моем времяпрепровождении не было даже внешних признаков общественности? Нет, это были не более как люди стеноподобные, обладающие точно такими же собеседовательными средствами, какими обладают и стены одиночного заключения. Это было не общество в действительном значении этого слова, а именно одиночное заключение, в которое, вследствие упущения начальства, ворвалось шампанское с устрицами, с пением и танцами.

А между тем кодекс, формулирующий жизнь словами: buvons, dansons, chantons et aimons — сочинен не нами. Он существует издревле, и целые поколения довольствовались им, не думая ни о чем другом и не желая ничего больше. От чего же он опротивел мне в двадцать четыре дня, а достославным моим предкам казался лучше всякого эдема? Отчего мои пращуры могли всю жизнь, без всякого ущерба, предаваться культу «buvons», а я не могу выдержать месяца, чтобы у меня не затрещала голова, чтобы глаза мои явно не изобличали меня в нетрезвом поведении, чтобы мне самому, наконец, моя

собственная персона не сделалась до некоторой степени противною? Отчего дедушка Матвей Иваныч, перед которым девка Палашка каждый вечер, изо дня в день, потрясала плечами и бедрами, не только не скучал ее скудным репертуаром, но так и умер, не насладившись им досыта, а я, несмотря на то что передо мной потрясала бедрами сама Шнейдерша, в каких-нибудь десять дней ощутил такую сытость, что хоть повеситься?

Я живо помню дедушку Матвея Иваныча. Это был старик высокий, широкоплечий, бодрый, сильный, румяный. Он вставал рано, никогда не нежился и не потягивался, но сразу одевался, выливал на голову кувшин холодной воды, выпивал красоулю и отправлялся в отъезжее поле. Там, в промежутках полевания, выпивалось до пропасти, и основанием выпивки всегда служил спирт. Очевидно, тут было от чего ошалеть самому крепкому организму, но старик возвращался домой не только без всяких признаков пресыщения, но с явным намерением выпить до пропасти и за обедом. После обеда он задавал выхрапку, продолжавшуюся часа три, потом выпивал «десертную», выслушивал старосту и отправлялся в зал. Там его ожидали сенные девушки, с девкой Палашкой во главе, и начиналось неперестающее потрясание бедрами, все в одном и том же тоне, с одними и теми же прибаутками, нынче как вчера. Как страстный любитель потрясаний, дедушка, разумеется, не мог ни устоять, ни усидеть, и потому притопывал, приплясывал, жаловал по рюмке, сам выпивал по две, и проводил таким образом время до ужина. За ужином он вел пристойный разговор с гостями, если таковые наезжали, или с домашними, если гостей не было, и выпивал с таким расчетом, чтобы иметь возможность сейчас же заснуть и отнюдь не видеть никаких снов. И расчет никогда не обманывал его: он безмятежно засыпал вплоть до утра, с наступлением которого вновь повторялся вчерашний день с тою же выпивкой, с тем же отъезжим полем и теми же потрясаниями.

А дяденька у меня был, так у него во всякой комнате было по шкапику, и во всяком шкапике по графинчику, так что все времяпровождение его заключалось в том: в одной комнате походит и выпьет, потом в другой походит и выпьет, покуда не обойдет

весь дом. И ни малейшей скуки, ни малейшего недовольства жизнью!

Десятки лет проходили в этом однообразии, и никто не замечал, что это — однообразие, никто не жаловался ни на пресыщение, ни на головную боль! В баню, конечно, ходили и прежде, но не для вытрезвления, а для того, чтобы испытать, какой вкус имеет вино, когда его пьет человек совершенно нагой и окруженный целым облаком горячего пара.

Положим, что в былое время, как говорят, на Руси рождались богатыри, которым нипочем было выпить штоф водки, согнуть подкову, переломить целковый; но ведь дело не в том, что человек имел возможность совершать подобные подвиги и не лопнуть, а в том, как он мог не лопнуть от скуки?

А мне вот скучно. Я пью у Елисеева вино первый сорт, а мне кажется, что есть и еще какое-то вино, которое представляет собою уже самый первый сорт, и мне его не дают; я смотрю на Шнейдершу, а мне кажется, что есть еще какая-то обер-Шнейдерша и что вот если бы эту обер-Шнейдершу посмотреть, так это точно... Где бы я ни находился, везде меня угнетает мысль, что есть еще нечто, что́ необходимо бы заполучить, но в чем состоит это нечто — вот этого-то именно я формулировать и не могу. Я процветал под сенью рязанско-козловско-тамбовско-саратовского клуба — и изнемогал от скуки; я наслаждался речами земских авгуров — и изнемогал от скуки; наконец, я приехал в Петербург — и опять изнемогаю от скуки. Везде чего-то недостает, как будто вся жизнь не настоящая. И вино не настоящее, и Шнейдерша не настоящая, и песни не настоящие, и любовь не настоящая, и авгуры не настоящие, и их речи не настоящие. Словом сказать, жизнь идет словно плохое театральное представление. Как будто вот наняли актеров из Александринки и сказали им: представляйте комедию. Ну, они и вьют во сне веревки за приличное вознаграждение.

Отчего дедушка Матвей Иваныч мог жуировать так, что эта жуировка не приводила его к мизантропии, а я, его потомок, не могу вкусить ни от какого плода без того, чтоб этот плод тотчас же не показался мне пресным до отвращения? Оттого ли, что в развеселое житье Матвея Иваныча входил какой-нибудь особый, нам неизвестный элемент, которого те-

перь не существует и который даже однообразию сообщал известного рода осмысленность? Или оттого, что мы, потомки дедушки Матвея Иваныча, лучше и развитее нашего пращура, что наш кругозор несколько шире и что, вследствие этого, мы не можем удовлетворяться теми дешевыми наслаждениями, которые тешили наших предков?

Вопросы эти как-то невольно пришли мне на мысль во время моего вытрезвления от похождений с действительными статскими кокодессами. А так как, впредь до окончательного приведения в порядок желудка, делать мне решительно было нечего, то они заняли меня до такой степени, что я целый вечер лежал на диване и все думал, все думал. И должен сознаться, что результаты этих дум были не особенно для меня лестны.

Элементы, которые могли оттенять внешнее однообразие жизни дедушки Матвея Иваныча, были следующие: во-первых, дворянский интерес, во-вторых, сознание властности, в-третьих, интерес сельскохозяйственный, в-четвертых, моцион. Постараюсь разъяснить здесь, какую роль играли эти элементы в том общем тоне жизни, который на принятом тогда языке назывался жуированием.

Что́ ни говорите о дворянском интересе, но он существовал. Содержание этого явления было несложное и фальшивое (потому-то оно и улетучилось так легко), но что самое явление имело очень реальное существование — в этом не может быть сомнения. Еще на нашей памяти дворянские собрания были шумны и многолюдны, и хотя предметом их было охранение только одного-единственного права, но это единственное право обладало такою способностью проникать и окрашивать все, что́ к нему ни прикасалось, что само по себе представляло, так сказать, целый пантеон прав. Говорят, что это было дурное и вредное право, и я, конечно, не стану возражать против этого. Но я веду речь не о достоинствах права, а о том, в какой мере оно могло служить подспорьем для жизни. Дедушка Матвей Иваныч недаром не пропускал ни одного собрания, недаром, периодически через каждые три года бушевал в губернском городе. Бушевание было для него не целью, а символом. Он сознавал себя представителем *своего* права, и по случаю этого права преда-

вался всякого рода необузданностям, с полною уверенностью, что они пройдут для него безнаказанно. Необузданность и безнаказанность были два понятия, которые шли рядом и взаимно друг друга оплодотворяли. Необузданность льстила грубому чувству сама по себе, а безнаказанность усложняла получаемое от необузданности удовольствие и придавала ему некоторую пикантность. Посмотрите: все люди ходят опасно и жмутся к стороне, а дедушка Матвей Иваныч один во всякое время мчится вихрем по улицам, разбивает наголову полицию и бьет в трактирах посуду! Как хотите, а такое обладание монополией необузданности не могло не льстить чувству человека, не обладавшего особенно утонченным развитием...

Сами по себе взятые, такого рода удовольствия, даже в глазах очень грубых людей, не могли казаться ни особенно разнообразными, ни особенно умными. Я думаю, что непрерывное их повторение повергло бы даже дедушку в такое же уныние, как и меня, если бы тут не было подстрекающей мысли о каких-то якобы правах. Но в том-то и дело, что эта подстрекающая мысль сказывалась на каждом шагу, напоминала о себе ежеминутно. Известно, что наши предводители дворянства считали своим долгом пикироваться с губернаторами и даже, по временам, подставлять им ножки. Если б кто-нибудь взял на себя труд обстоятельно написать историю этих пикировок, вышла бы очень интересная история, из которой всякий увидел бы, что это был просто глупый обычай, по поводу которого можно только развести руками. Обе стороны лаяли в буквальном смысле этого слова, лаяли бессознательно, беспричинно, просто потому, что исстари так уж заведено. Но ведь дело не в том, глупо или умно было содержание пикировки, а в том, что вот ни один курицын сын не смеет ее производить, а я, имярек, произвожу — и горя мне мало. Конечно, и это опять-таки вносило в жизнь наших пращуров глупость сугубую, но так как это была глупость предвзятая, то она невольным образом получала все свойства убеждения. Чтó может быть глупее, как сдернуть скатерть с вполне сервированного стола, и, тем не менее, для человека, занимающегося подобными делами, это не просто глупость, а молодечество и даже, в некотором роде,

рыцарский подвиг, в основе которого лежит убеждение: *другие* мимо этого самого стола пробираются боком, а *я* подхожу и прямо сдергиваю с него скатерть! Таким образом, натешившись вдоволь в губернии, то есть огласивши неслыханным криком собрание и неслыханным пьянством гостиницы, напикировавшись с губернатором и кинувши подачку прочим чинам, наши пращуры возвращались в свои дворянские гнезда и предавались там дворянским удовольствиям. Удовольствия эти подробно указаны выше, при описании дня дедушки Матвея Иваныча, и несложность их очевидна для всякого. Но, несмотря на эту несложность, мысль, что они дворянские, играла роль масла, питающего огонь. Человек вращался в заколдованном круге, изо дня в день, на один и тот же манер, но не падал духом и не роптал на судьбу, потому что был убежден, что вращаться таким образом *его* право и, в то же время, его долг. Да и одних ли пращуров наших поддерживала подобная мысль при отбывании скучного процесса жизни? Подите дальше, припомните всевозможные приемы, церемонии и приседания, которыми кишит мир, и вы убедитесь, что причина, вследствие которой они так упорно поддерживаются, не делаясь постылыми для самих участвующих в них, заключается именно в том, что в основе их непременно лежит хоть подобие какого-то представления о праве и долге.

К тому же наши пращуры в упомянутом выше *своем* праве видели твердыню, и видели ее не без основания. Дедушка Матвей Иваныч понимал очень отчетливо, что ежели он тверд в вере, то никто не только не тронет его, но и *не может* тронуть. Он сам сознавал себя твердыней, и кратковременные капризы его с губернатором были не больше как обоюдное развлечение двух твердынь. А так как последнему это было так же хорошо известно, как и дедушке, то он, конечно, остерегся бы сказать, как это делается в странах, где особых твердынь по штату не полагается: я вас, милостивый государь, туда турну, где Макар телят не гонял! — потому что дедушка на такой реприманд, нимало не сумнясь, ответил бы: вы не осмелитесь это сделать, ибо я сам государя моего отставной подпоручик! И губернатор, наверное, прикусил бы язык, потому что дедушкина твер-

дость в вере была такова, что вошла даже в пословицу. Припомним, что в ту пору не было ни эмансипаций, ни вольного труда, ни вольной продажи вина, и вообще ничего такого, что́ поселяет в человеческой совести разлад и зарождает в человеке печальные думы о коловратности счастия. А коль скоро нет в жизни разлада, то человек, даже без всякого давления фанатизма, имеет веру сильную и стремительную. Он смотрит в одну точку, около которой располагает и все прочие подробности жизни. А так как эта точка не только существовала для наших пращуров, но и составляла совершеннейший пантеон, то человеку, убежденному, что он находится в самом центре храма славы, весьма естественно было примиряться с некоторыми его недостатками, заключавшимися в однообразии предоставляемых им наслаждений. И отъезжее поле, и потрясающая бедрами девка Палашка, и даже хождение по комнатам, украшенным шкапиками с графинчиками,— все это выносилось безропотно, потому что во всем этом виделся символ, за которым пряталась идея о *праве и долге*.

Мы, потомки дедушки Матвея Иваныча, никаких подобного рода интересов не имеем. Мы как-то вдруг опешили и убедились, что у нас от *нашего* права не осталось ни капельки. Собрания наши малолюдны; мы не пикируемся, потому что пикироваться на манер пращуров не имеем уже повода, а каким образом пикироваться на новый манер — еще не придумали. С другой стороны, мы не срываем скатертей с сервированных столов, не услаждаемся потрясаниями доморощенных Палашек, потому что это слишком дорого стоит. Для того чтобы иметь хоть призрак тех удовольствий, которыми пользовались наши пращуры, мы должны ехать в Петербург и там, в складчину, по два рубля с рыла, облизываться на Шнейдершу, qui se gratte les jambes et les hanches. Но ведь Шнейдерша — достояние общее, а при общедоступности доставляемого ею удовольствия кто же из нас может сказать: это *моя* Шнейдерша! как, бывало, говаривал дедушка Матвей Иваныч: это моя Палашка! А в возможности подобных-то восклицаний и заключается тайна живучести тех несложных удовольствий, которые составляют удел наш. Вникните в смысл этого восклицания, вслу-

шайтесь в тон, которым оно сказано,— и вы убедитесь, что тут звучит нечто больше нежели просто удовлетворенная необузданность. Вы почувствуете, что Палашка была для дедушки не просто Палашкой, а олицетворением *его права;* что он, услаждая свой взор ее потрясаниями, приобретал не на два рубля с рыла удовольствия, а сознавал удовлетворенным свое чувство дворянина. А мы что́? Мы даже m-lle Филиппо не можем заставить спеть «L'amour — ce n'est que cela»[1], ежели этой песенки не значится в афишах. Да если бы и имели возможность заставить — что же потом? Или, быть может, есть у нас, кроме m-lle Филиппо́ и ее песенок, и другие какие-нибудь интересы, как, например: ужин с шампанским у Дюссо́, устрицы с шампанским у Елисеева и нумер в гостинице для отдохновения от пьяно проведенной ночи?

Понятно, что мы разочарованы и нигде не можем найти себе места. Мы не выработали ни новых интересов, ни новых способов жуировать жизнью, ни того, ни другого. Старые интересы улетучились, а старые способы жуировать жизнью остались во всей неприкосновенности. Очевидно, что, при таком положении вещей, не помогут нам никакие кривляния, хотя бы они производились даже с талантливостью m-lle Schneider.

Вторым оттеняющим жизнь элементом было сознание властности. Чтобы понять всю важность этого элемента, представьте себе бессребреника квартального надзирателя, обяжите его с утра до вечера распоряжаться на базаре и оставьте при нем только сладкое сознание исполненных обязанностей. Наверное, он в самый короткий срок выйдет в отставку. Помилуйте,— скажет,— из-за чего тут биться! и грошей не сбирать, да еще какие-то обязанности наблюдать! разве с ними, чертями, так можно! Но скажите тому же квартальному: друг мой! на тебя возложены важные и скучные обязанности, но для того, чтобы исполнение их не было слишком противно, дается тебе в руки власть — и вы увидите, как он воспрянет духом и каких наделает чудес! Увы! ка́к ни малоплодотворно занятие, формулируемое выражением «гнуть в бараний рог», но при отсутствии

[1] «Любовь — это вот что».

других занятий, при отчаянном однообразии общего тона жизни, и оно освежает. Дедушка Матвей Иваныч говаривал: когда я иду, то земля подо мной дрожит,— и радовался этому обстоятельству. Конечно, это была радость неразвитого человека, но это была настоящая, заправская радость, и отвергать возможность ее нет ни малейшего основания.

Есть наслаждение и в дикости лесов,—

сказал поэт, а дедушка мой, с своей стороны, мог прибавить: есть наслаждение и в сечении, разумея под этим, впрочем, не самый процесс сечения, а принцип его. Конечно, мы, по чувству учтивости, отвергаем такого рода наслаждения, но так как они существовали на нашей памяти, то понимать их все-таки можем. Если мы в настоящее время и сознаем, что желание властвовать над ближними есть признак умственной и нравственной грубости, то кажется, что сознание это пришло к нам путем только теоретическим, а подоплека наша и теперь вряд ли далеко ушла от этой грубости. Всякий слух глумится над позывами властности, но всякий же про себя держит такую речь: а ведь если б только пустили, какого бы я звону задал! Я думаю даже, что бо́льшая часть наших горестей от того происходит, что нам не над кем и не над чем повластвовать. А дедушке Матвею Иванычу было над чем и над кем повластвовать, и он понимал себя в этом отношении не пятым колесом в колеснице и не отставным козы барабанщиком. Смотрит он, например, на девку Палашку, как она коверкается, и в то же время, если не формулирует, то всем существом сознает: я с этой Палашкой что́ хочу, то сделаю: захочу — косу обстригу, захочу — за Антипку-пастуха замуж выдам!

— Палашка! хочешь за пастуха Антипку замуж!

— Помилуйте, барин! чем же я провинилась! кажется, стараюсь!

— А ну, Христос с тобой! пляши!

И Палашка ожесточеннее прежнего упирала руки в боки, прыгала, крутилась, взвизгивала, а дедушка посматривал на ее плясательные пароксизмы и думал про себя: однако важно я ее, поганку, напугал!

И таким образом, в общее однообразие жизни

прокрадывалась новая стихия, которая ее оживляла и скрашивала.

Мы, потомки дедушки Матвея Иваныча, лишены даже такого сорта оживляющих эпизодов.

— *Мы курице не можем сделать зла!* — ma parole![1] — говорил мне на днях мой друг Сеня Бирюков, — объясни же мне, ради Христа, какого рода роль мы играем в природе?

И я ничего не мог ни возразить, ни объяснить, ибо знаю, что, по утвердившемуся на улице понятию, обладание властью действительно равносильно возможности гнуть в бараний рог и что в этом смысле мы, точно, никакой власти не имеем. Или, быть может, мы имеем ее в каком-нибудь другом смысле?.. Risum teneatis, amici!

Но если такое убеждение об утраченной властности уже укоренилось в нас, то, очевидно, нам остается нести иго жизни без всякого сознания, что мы что-нибудь можем, и, напротив того, с полным и горьким сознанием, что с нами все совершить можно. Мы так и поступаем. Конечно, с нашей стороны это очень большая добродетель, и мы имеем-таки право утешать себя мыслью, что дальше от властности — дальше от зла; но ведь вопрос не о тех добродетелях, которые отрицательным путем очень легко достаются, а о той скуке, о тех жизненных неудобствах, которые составляют естественное последствие всякой страдательной добродетели. У меня был очень добродетельный дяденька, который служил заседателем в суде и которому, именно за добродетель его, было велено подать в отставку. Я живо помню, что когда это случилось, то не только сам дяденька, но и все родные были в неописанном волнении.

— Мухи не обидел! — говорил дяденька.

— Мухи не обидел! — восклицали родные.

— Мухи не обидел! — шептались между собой дворовые.

— Мухи не обидел! — рассуждали дяденькины сослуживцы.

Это было действительно сладкое сознание; но кончилось дело все-таки тем, что дяденька же должен был всех приходивших к нему с выражениями

[1] честное слово!

сочувствия угощать водкой и пирогом. Так он и умер с сладкою уверенностью, что не обидел мухи и что за это, именно за это, должен был выйти в отставку.

Не то же ли явление повторяется теперь надо мною? Дедушка Матвей Иваныч обидел многих — и жил! Я, его внук, клянусь честью, именно мухи не обидел — и чувствую себя находящимся от жизни в отставке! За что?

За что? вникните в этот вопрос; вспомните, что его повторяют многие тысячи людей, и рассудите, каковы должны быть люди, у которых не выработалось никаких других вопросов, кроме: за что?

Третье подспорье — интерес сельскохозяйственный. Надобно сознаться, что интерес этот, во времена дедушки, был обставлен очень рутинно и сам по себе занимал наших предков весьма умеренно. Но они самими условиями жизни были поставлены в центре хозяйственной сутолоки и потому, волею-неволею, не могли оставаться ей чуждыми. Не было речи ни об улучшениях, ни о преимуществах той или другой системы, ни о замене человеческого труда машинным (об исключениях, разумеется, я не говорю), но была бесконечная ходьба, неумолкаемое галдение, понукание и помыкание во всех видах и, наконец, та надоедливая придирчивость, которая положила основание пословице: свой глазок-смотрок. Этот «глазок-смотрок» очень мало видел, но смотрел, действительно, много, и этого было достаточно, чтобы наполнить время всевозможными распорядительными подробностями. Наши пращуры не хозяйничали в собственном смысле этого слова, а «спрашивали». Дедушка Матвей Иваныч так рассуждал: распорядиться работами — дело приказчика и старосты, а мое дело — с них «спросить». И действительно, «спрашивал» много, хотя в этом «спрашиванье» первое место, конечно, занимала случайность. Поедет, бывало, дедушка в беговых дрожках на пашню, наедет на пропашку или на ком не тронутой бороной земли — и «спросит». Пойдет на гумно, захватит в горсть мякины, усмотрит в ней невывеянные зерна — и опять «спросит». Все в этом *хозяйничанье* основывалось на случайности, на том, что дедушка захватывал ту, а не другую горсть мякины; но эта случайность составляла один из тех

жизненных эпизодов, совокупность которых заставляла говорить: в сельском хозяйстве вздохнуть некогда; сельское хозяйство такое дело, что только на минутку ты от него отвернись, так оно тебя рублем по карману наказало. Допустим, что это было самообольщение, но ведь вопрос не в том, правильно или неправильно смотрит человек на дело своей жизни, а в том, есть ли у него хоть какое-нибудь дело, около которого он может держаться. Дедушка, например, слыл одним из лучших хозяев в губернии, а между тем я положительно знаю, что он ни бельмеса не смыслил в хозяйстве, то есть пахал и сеял там (земли, дескать, вдоволь, рабочие руки даром — а все же хоть полтора зерна да уродится!), где нынче ни один человек со смыслом пахать и сеять не станет. Но он умел «спрашивать», и в этом заключалась вся тайна его репутации. И эта потребность «спрашивать» не сосредоточивалась на одном хозяйстве, но преследовала его всюду, окрашивала всю остальную его деятельность, сообщая ей характер неумолкающей суеты. Он везде «спрашивал», везде являл себя энциклопедистом. И хотя суета в конце концов не созидала и сотой доли того, что́ она могла бы создать, если бы была применена более осмысленным образом, но она помогала жить и до известной степени оттеняла ту вещь, которая известна под именем жуировки и которую, без этих вспомогательных средств, следовало бы назвать смертельною тоской.

Мы, потомки дедушки Матвея Иваныча, решительно никаких хозяйственных интересов не имеем. Зачем, спрашиваю я вас, пойду я на пашню или на гумно? С кого я «спрошу»? А ведь и у меня, точно так же как и у дедушки, кроме «спрашиванья», никаких других распорядительных средств по части сельского хозяйства не имеется. Поэтому, если мне и случается как-нибудь заблудиться на гумне, то я отнюдь не позволяю себе прикоснуться ни к мякине, ни к провеянному зерну. К чему? ведь это любопытство только растравит мои раны! И заочно я совершенно уверен, что провеянное зерно содержит в себе наполовину мякины, а напротив, мякина содержит наполовину невывеянного зерна,— зачем же я буду удостоверяться в этом? Лучше я буду сидеть и вздыхать. Вздыхать — это мое право, и я тем с

бо́льшим увлечением пользуюсь им, что это единственное право, которое я сам выработал и которого никто у меня не отнимет. В самом деле, не обидно ли: я не только не меньше дедушки знаю толк в сельском хозяйстве, но даже несколько больше, а между тем дедушка ежегодно ставил целый город скирдов, а у меня на гумне всего два скирдочка стоят, да и те какие-то растрепанные и накренившиеся набок. А все отчего? А оттого, милостивые государи, что как у меня, так и у дедушки, главное основание сельскохозяйственных распоряжений все-таки не что иное, как система «спрашивания», с тою лишь разницей, что дедушка мог «спрашивать», а я не могу. Следовательно, мне и хозяйничать нечего, а надлежит все бросить и как можно скорее ехать в столичный город Петербург и там наслаждаться пением девицы Филиппо́, проглатыванием у Елисеева устриц и истреблением шампанских вин у Дюссо до тех пор, пока глаза не сделаются налитыми и вполне круглыми.

Затем, четвертый оттеняющий жизнь элемент — моцион... Но права на моцион, по-видимому, еще мы не утратили, а потому я и оставляю этот вопрос без рассмотрения. Не могу, однако ж, не заметить, что и этим правом мы пользуемся до крайности умеренно, потому что, собственно говоря, и ходить нам некуда и незачем, просто же идти куда глаза глядят — все еще как-то совестно.

Таким образом, вопрос, отчего нас так скоро утомляют те несложные удовольствия, которые нимало не пресыщали наших предков, отчасти разъясняется. Но, написавши изложенное выше, я невольным образом спрашиваю себя: ужели перо мое начертало апологию доброго старого времени — апологию тех патриархальных отношений, которые так картинно выражались в крепостном праве?

Не пугайся, однако ж, о слишком либеральный читатель! Речь идет вовсе не о том. Жаль не крепостного права, а жаль того, что право это, несмотря на его упразднение, еще живет в сердцах наших. Отрешившись от него внешним образом, мы не выработали себе ни бодрости, составляющей первый признак освобожденного от пут человека, ни новых взглядов на жизнь, ни более притязательных требований к ней, ни нового права, а просто-на-

просто успокоились на одном формальном признании факта упразднения. Разве этим все сказано? Разве это конец, а не начало?

Затем, я предоставляю каждому, по собственному усмотрению, разрешить второй из поставленных выше вопросов: насколько мы лучше наших пращуров и насколько сумели расширить наш кругозор? Я же, с своей стороны, могу разрешить этот вопрос лишь следующим образом:

Да, мы лучше наших пращуров. Но лучше не сами по себе, а потому, что мы отцы детей наших, которые несомненно будут лучше и наших пращуров, и нас.

Совершенно свежий и трезвый, я вышел на улицу с твердым намерением идти на все четыре стороны, как при самом выходе, на крыльце, меня застиг Прокоп.

— Так вот он где! — загремел он своим лающим голосом,— ну, батюшка, задали вы нам задачу!

Признаюсь, при звуке этого голоса я струсил. Вот, думаю, сейчас схватит он меня в охапку и опять потащит к Елисееву.

— Мы думали, что он тихим манером концессию выслеживает, а он, прошу покорно, Шнейдершу изучает! Видели, батюшка, видели!

— Да, кстати... а ваши дела по концессии?

— Ну их!

Прокоп вдруг заволновался, и несколько секунд я думал, что у него от гнева сперло в зобу дыхание.

— Нет, вы представьте себе, какая со мной штука случилась,— воскликнул он наконец,— все дело уж было на мази, и денег я с три пропасти рассорил, вдруг — хлоп решение: вести от Изюма дорогу несвоевременно! Это от Изюма-то!

— Гм... да... Изюм... это...

— Одно слово: Изюм! Только назови, всякий поймет! Да ведь кому у нас понимать-то! вы вот что мне скажите! Кому понимать-то?

Я чувствовал, что вот-вот Прокоп сейчас ударится в либерализм, и как-то инстинктивно пролепетал: — prenez garde... on peut nous entendre...[1]

— Ну их! боюсь я их, что ли! По мне, хоть сколько хочешь подслушивай! Так вот, сударь, какие дела у нас делаются!

[1] остерегайтесь... нас могут слышать...

— Ну, и что ж теперь!

— Теперь я другую линию повел. Железнодорожную-то часть бросил. Я свое дело сделал, указал на Изюм — нельзя? — стало быть, куда хочешь, хоть к черту-дьяволу дороги веди — мое дело теперь сторона! А я нынче по административной части гусара запустил. Хочу в губернаторы. С такими, скажу вам, людьми знакомство свел — отдай всё, да и мало!

— А что?

— Да уж шабаш! Одно скверно — скучно очень, да и водки не подают. Не хотите ли, я вас сегодня вечером представлю? Сегодня в одном месте проект «об уничтожении» читать будут?

— Об уничтожении чего же?

— Ну... чего? разумеется, всего. И мировые суды чтоб уничтожить, и окружные суды чтобы побоку, и земство по шапке. Словом сказать, чтобы ширь да высь — и больше ничего!

— Что вы! да ведь это целая революция!

— А вы как об этом полагали! Мы ведь не немцы, помаленьку не любим! Вон головорезы-то, слышали, чай? — миллион триста тысяч голов требуют, ну, а мы, им в пику, сорок миллионов поясниц заполучить желаем!

Прокоп, сказав это, залился добродушнейшим смехом. Этот смех — именно драгоценнейшее качество, за которое решительно нет возможности не примириться с нашими кадыками. Не могут они злокозненствовать серьезно, сейчас же сами свои козни на смех поднимут. А если который и начнет серьезничать, то, наверное, такую глупость сморозит, что тут же его в шуты произведут, и пойдет он ходить всю жизнь с надписью «гороховый шут».

— Однако это любопытно!

— Еще как любопытно-то, умора! Нынче прожекты-то эти в моде: все пишут! Один пишет о сокращении, другой — о расширении. Недавно один из наших даже прожект о расстрелянии прислал — право!

— И что ж?

— На виду! Говорят: горяченько немного, однако кой-чем позаимствоваться можно.

— Стало быть, и вы...

— Еще бы. И я прожект о расточении написал.

Ведь и мне, батюшка, пирожка-то хочется! Не удалось в одном месте — пробую в другом. Там побываю, в другом месте прислушаюсь — смотришь, ан помаленьку и привыкаю фразы-то округлять. Я нынче по очереди каждодневно в семи домах бываю и везде только и дела делаю, что прожекты об уничтожении выслушиваю.

Говоря таким образом, мы вышли на Невский проспект и поравнялись с Домиником.

— Зайти разве? — пригласил Прокоп, — ведь я с тех пор, как изюмскую-то линию порешили, к Елисееву — ни-ни! Ну его! А у Доминика, я вам доложу, кулебяки на гривенник съешь да огня на гривенник же проглотишь — и прав! Только вот мерзлого сига в кулебяку кладут — это уж скверно!

— Признаюсь, не хотелось бы заходить. Все пьешь да пьешь... Голова как-то...

— Да разве возможно не пить! Вот хоть бы то место, куда мы сегодня поедем, разве наш брат может там хоть один час пробыть, не подкрепившись заранъше? Скучища адская, а развлечение — один чай. Кабы, кажется, не надежды мои на получение — ни одной минуты в этом постылом месте не остался бы!

Согласился. Съели по два куска кулебяки; выпили по две рюмки водки.

— Да обедаем вместе! Тут же, не выходя, и исполним все, что долг повелевает! Скверно здесь кормят — это так. И масло горькое, и салфетки какието... особливо вон та, в углу, что ножи обтирают... Ну, батюшка, да ведь за рублик — не прогневайтесь!

Одним словом, день пошел своим чередом.

Вечером Прокоп заставил меня надеть фрак и белый галстух, а в десять часов мы уже были в салонах князя Оболдуй-Тараканова.

Раут был в полном разгаре; в гостиной стоял говор; лакеи бесшумно разносили чай и печенье. Нас встретил хозяин, который, после первых же рекомендательных слов Прокопа, произнес:

— Рад-с. Нам, консерваторам, не мешает как можно теснее стоять друг около друга. Мы страдали изолированностью — и это нас погубило. Наши противники сходились между собою, обменивались мыслями — и в этом обмене нашли свою силу. Восполь-

зуемся же этою силой и мы. Я теперь принимаю *всех,* лишь бы эти *все* гармонировали с моим образом мыслей; *всех*...vous consevez?[1] Я, впрочем, надеюсь, что вы консерватор?

Признаюсь, я так мало до сих пор думал о том, консерватор я или прогрессист, что чуть было не опешил перед этим вопросом. Притом же фраза: «Я теперь принимаю *всех*» как-то странно покоробила меня. «Вот,— мелькнуло у меня в голове,— скотина! заискивает, принимает и тут же считает долгом дать почувствовать, что ты, в его глазах, не больше как — *все!*» Вот это-то, собственно, и называется у нас «сближением». Один принимает у себя другого и думает: «С каким бы я наслаждением вышвырнул тебя, курицына сына, за окно, кабы...», а другой сидит и тоже думает: «С каким бы я наслаждением плюнул тебе, гнусному пыжику, в лицо, кабы...» Представьте себе, что этого «кабы» не существует — какой обмен мыслей вдруг произошел бы между собеседниками! Быть может, соображения мои пошли бы и дальше по этому направлению, но, к счастью для меня, я встретил строгий взор Прокопа и поспешил на скорую руку сказать:

— Mais oui! mais comment donc! mais certainement![2]

Затем последовало представление княгине и какому-то крошечному старичку (дяде хозяина), который сидел отдельно на длинном кресле и имел вид черемисского божка, которому вымазали красною глиной щеки и, вместо глаз, вставили можжевеловые ягодки.

Картина, представлявшаяся моим глазам, была следующего рода. Хозяин постоянно был на ногах и переходил от одной группы беседующих к другой. Это был человек довольно высокий, тощий и совершенно прямой; но возраста его я и теперь определить не могу. Скорее всего, это был один из тех людей без возраста, каких в настоящее время встречается довольно много и которые, едва покинув школьную скамью, уже смотрят государственными младенцами. Физиономия его имела что-то кисло-надменное; речь и движения были сдержанны и как

[1] понимаете?
[2] Ну разумеется, ну как же! конечно!

бы брезгливы. Очевидно, тут все держалось очень усиленно внешнею выправкой, скрывавшей то внутреннее недоумение, которое обыкновенно отличает людей раздраженных и в то же время не умеющих себе ясно представить причину этого раздражения. Подобного рода выправка очень многими принимается за серьезность и представляет весьма значительное вспомогательное средство при составлении карьеры. Княгиня, женщина видная, очень красивая, сидела за особым établissement[1], около которого ютились какие-то поношенные люди, имевшие вид государственных семинаристов. Один из них объяснял на французском диалекте вопрос о соединении церквей, причем слегка касался и того, в каком отношении должна находиться Россия к догмату о папской непогрешимости. Тут же сидел французский attaché, из породы брюнетов, который ел княгиню глазами и ждал только конца объяснений по церковным вопросам, чтобы, в свою очередь, объяснить княгине мотивы, побудившие императора Наполеона III начать мексиканскую войну. Гости сидели и стояли группами в три-четыре человека, и между ними я заприметил несколько кадыков, которых видел у Елисеева и которые вели себя теперь необыкновенно солидно. В следующей комнате мелькали женские фигуры (то были сестры хозяина и их подруги) вперемежку с безбородыми молодыми людьми, имевшими вид ососов. По временам оттуда долетал сдержанный смех, обыкновенно сопровождающий так называемые невинные игры. Я встал около дверей и увидел странное зрелище. Посредине комнаты стоял старик-француз, который с полупомешанным видом декламировал:

Petit oiseau! qui es-tu?[2]

И затем, от лица птички, отвечал, что она — l'envoyé du ciel[3], родилась dans les airs[4] и т. д. Затем предлагал опять вопрос:

Petit oiseau! où vas-tu?[5]

---

[1] столом.
[2] Птичка! кто ты?
[3] вестница неба.
[4] в воздушном пространстве.
[5] Птичка! куда ты летишь?

И опять объяснял, что она летит, чтобы утешить молодую мать, отереть слезы невинному младенцу наполнить радостью сердце поэта, пропеть узнику весть о его возлюбленной и т. д.

Petit oiseau! que veux-tu?[1]

— Charmant! — восклицала молодая особа, — monsieur Connot! mais récitez-nous donc quelque chose de «Zaïre»!

— «Zaïre»! mesdames, — начал мсье Конно, становясь в позу, — c'est comme vous le savez, une des meilleures tragédies de Voltaire...[2]

Но я уже не слушал далее. Увы! не прошло еще четверти часа, а уже мне показалось, что теперь самое настоящее время пить водку.

Тем не менее я переломил себя и поспешил примкнуть к группе, в которой находился хозяин.

— Ваше мнение, messieurs, — говорил он, — вот насущная потребность нашего времени; вы — люди земства; вы — действительная консервативная сила России. Вы, наконец, стоите лицом к лицу с народом. Мы без вас, selon l'aimable expression russe[3] — ни взад, ни вперед. Только теперь начинает разъясняться, сколько бедствий могло бы быть устранено, если бы были выслушаны *лучшие люди* России!

— «Излюбленные», ваше сиятельство! — осклабился какой-то государственный семинарист.

— Именно «излюбленные»! — c'est le mot! Vous savez, messieurs, que du temps de Jean le Terrible il y avait de ces gens qu'on qualifiait d' «izlioublenny», et qui, ma foi, ne faisaient pas mal les affaires du feu tzar![4]

— А что́ у нас делается, князь, кабы вы изволили видеть, — чудеса! — доложил почтительным

---

[1] Птичка! чего ты хочешь?

[2] Прелестно! мсьё Конно! прочитайте же нам что-нибудь из «Заиры»! — «Заира», сударыни, как вам известно, одна из лучших трагедий Вольтера...

[3] по милому русскому выражению.

[4] вот именно! Вы знаете, господа, что во время Ивана Грозного существовали люди, которых именовали «излюбленными» и которые, право же, неплохо вели дела покойного царя!

басом Прокоп,— народ споили, рабочих взять негде, хозяйство побросали... смотреть, ваше сиятельство, больно!

— Не отчаивайтесь... ne perdez pas courage![1] Русский народ добр... au fond, notre peuple est excellent![2] Впрочем, я уже давно все предвидел и изложил в моей записке об «устранении»... Теперь я кончаю мой другой труд — «об уничтожении», который, я надеюсь... К сожалению, я не могу сегодня представить его на ваш суд, потому что недостает несколько штрихов. Но у меня есть другой небольшой труд, который я немного погодя, lorsque nous serons au complet[3], буду иметь честь прочесть вам.

— Нет, вы скажите, ваше сиятельство, куда это нас приведет?

— Боюсь сказать, но думаю выразить мысль, общую нам всем: мы быстрыми, но твердыми шагами приближаемся... en un mot, nous dansons sur un volcan![4]

— Да еще на каком волкане-то, князь! Ведь это точь-в-точь лихорадка: то посредники, то акцизные, то судьи, а теперь даже все вместе! Конечно, вам отсюда этого не видно...

— Но поэтому-то мы и просим вас, messieurs: выскажитесь! дайте услышать ваш голос! Expliquez-nous le fin mot de la chose — et alors nous verrons...[5] По крайней мере, я убежден, что если б каждый помещик прислал свой проект... mais un tout petit projet![6]... согласитесь, что это не трудно! Вы какого об этом мнения? — внезапно обратился князь ко мне...

— Mais oui! mais comment donc! un tout petit projet! Mais avec plaisir![7] — на скорую руку выговорил я, и вслед за тем употребил очень ловкий маневр, чтобы незаметным образом отделиться от этой группы и примкнуть к другой.

---

[1] не теряйте бодрости!
[2] в сущности, наш народ превосходен!
[3] когда мы будем в полном составе.
[4] одним словом, мы пляшем на вулкане!
[5] Разъясните нам суть дела — и тогда мы посмотрим...
[6] совсем маленький проект!..
[7] Да! конечно! совсем маленький проект! С удовольствием!

— Куда мы идем! — слышалось в этой другой группе, — к чему приближаемся!

— И это та самая Россия, которая, двадцать лет тому назад, цвела! Pauvre chère patrie![1]

— Тогда каждый крестьянин по праздникам щи с говядиной ел! пироги! А нынче! попробуйте-ка спросить, на сколько дворов одна корова приходится?

— Comment? Comment dites-vous?[2] — послышался голос хозяина, — прежде мужики ели щи с говядиной?.. vous en êtes bien sûr?[3]

— Точно так, ваше сиятельство. В моем собственном имении так было. А в храмовые праздники даже уток резали!

— Ссс... А теперь, вы говорите, одна корова на несколько дворов!

— Это верно-с. Да что же тут мудреного, ваше сиятельство! Сначала посредники, потом акцизные, потом судьи. Ведь это почти лихорадка-с! Вот вы недавно оттуда; как вы об этом думаете?

— Я... что́ ж... я, конечно... Mais oui! mais comment donc! mais certainement![4] — пробормотал я опять на скорую руку и тут же предпринял маневр, чтобы как-нибудь примкнуть к третьей группе.

— Народ без религии — все равно что тело без души, — шамкал какой-то седовласый младенец, — отнимите у человека душу, и тело перестает фонксионировать, делается бездушным трупом; точно так же, отнимите у народа религию — и он внезапно погрязает в пучине апатии. Он перестает возделывать поля, становится непочтителен к старшим, и в своем высокомерии возвышает заработную плату до таких размеров, что и предпринимателю ничего больше не остается, как оставить свои плодотворные прожекты и идти искать счастья ailleur's![5]

— Куда мы идем! вот что вы объясните нам!

— Без религии, без авторитетов, без истинного знания куда же можно прийти, кроме... Но я не произношу этого страшного слова; я просто зажмуриваю глаза, и говорю: Dieu, qui mène toutes choses

---

[1] Бедная дорогая родина!
[2] Как? Как вы говорите?
[3] вы в этом уверены?
[4] Ну разумеется, ну как же, конечно!
[5] в другом месте!

à bien, ne laissera pas périr notre chère et sainte Russie...[1] нашу святую, православную Русь, messieurs!

Тут уж я сам не выдержал и произнес:

— Mais oui! mais comment donc! mais certainement![2]

При этом перерыве седовласый младенец посмотрел на меня так изумленно, как будто я оскорбил его. Взор его совершенно явственно говорил: qu'est-ce qu'il veut, cet intrus, avec son «comment donc»![3] Я вспомнил недавние слова хозяина «теперь мы принимаем *всех*», и в уме моем опять мелькнуло: скотина! Нечего и говорить, что я сейчас же поспешил осчастливить своим присутствием четвертую группу.

— Земледелие уничтожено, промышленность чуть-чуть дышит (прошедшим летом, в мою бытность в уездном городе, мне понадобилось пришить пуговицу к пальто, и я буквально — à la lettre! — не нашел человека, который взял бы на себя эту операцию!), в торговле застой... скажите, куда мы идем!

В ответ слышатся вздохи.

— Я, впрочем, десять лет тому назад предвидел это. Я уже тогда всем и каждому говорил: messieurs! мы стоим у подошвы волкана! Остерегитесь, ибо еще шаг — и мы будем на вершине оного!

— Mais oui! mais certainement! mais comment donc! — отвечает кто-то за меня, покуда я маневрирую к пятой группе.

— И чего церемонятся с этою паскудною литературой! — слышится в этой группе,— ведь это, наконец, неслыханно!

— А суд, ваше превосходительство, между тем оправдывает-с!

— Ах! этот суд! вот он где у меня сидит! Этот суд!!

— Я, ваше превосходительство, записку составил, где именно доказываю, что в литературе нашей, со смерти Булгарина, ничего, кроме тлетворного направления, не существует-с.

---

[1] Бог, который направляет все к благу, не допустит гибели нашей дорогой святой Руси...

[2] Ну разумеется, ну как же! конечно!

[3] чего хочет этот пришелец со своим «как же»!

— Тлетворное — c'est le mot! C'est un malfaiteur qui tue par sa puanteur nauséabonde![1] Я со времени покойного Николая Михайловича (c'était le bon temps![2]) ничего не читаю, но на днях мне, для курьеза, прочитали пять строк... всего пять строк! И клянусь вам богом, что я увидел тут все: и дискредитирование власти, и презрение к обществу, и насмешку над религией, и космополитизм, и выхваление социализма... Ma parole! c'était tout un petit cosmos d'immondices de tout genre![3]

— Я, ваше превосходительство, именно эту самую мысль в моей записке провожу-с!

— И прекрасно делаете, друг мой! Надобно, непременно надобно, чтобы люди бодрые, сильные спасали общество от растлевающих людей! И каких там еще идей нужно, когда вокруг нас все, с божьею помощью, цветет и благоухает! N'est-ce pas, mon jeune ami?[4]

Увы! вопрос этот относился опять ко мне, и я опять не нашел никакого ответа, кроме:

— Mais oui! mais comment donc! mais certainement!

К счастью, в это время в гостиной раздалось довольно громогласное «шш». Я обернулся и увидел, что хозяин сидит около одного из столов и держит в руках исписанный лист бумаги.

— Messieurs, — говорил он, — по желанию некоторых уважаемых лиц, я решаюсь передать на ваш суд отрывок из предпринятого мною обширного труда «об уничтожении». Отрывок этот носит название «Как мы относимся к прогрессу?», и я помещу его в передовом нумере одной газеты, которая имеет на днях появиться в свет...

— Mesdemoiselles! voulez-vous bien venir écouter ce que va lire le prince![5] — обратилась княгиня в другую комнату.

Смех и шум прекратились; молодежь высыпала в гостиную.

---

[1] вот именно! Это злодей, который убивает своим вредоносным зловонием!

[2] то было доброе время!

[3] Даю слово! это был целый мирок всевозможных гадостей!

[4] Не правда ли, мой юный друг?

[5] Барышни, не хотите ли послушать, что будет читать князь!

— Надо вам объяснить, messieurs, что мы, то есть люди консервативной партии, давно чувствовали потребность в печатном органе. У нас была одно время газета, но, отчасти по недостатку энергии, отчасти вследствие некоторой шаткости понятий, она должна была прекратить свое плодотворное существование. Теперь мы решились издавать новую газету под юмористическим названием «Шалопай, ежедневное консервативно-либеральное прибежище для молодцов, не знающих, куда приклонить голову». Мы выбрали это название, потому что оно совершенно в русском, немножко насмешливом тоне... N'est-ce pas, messieurs![1]

— Из-за одного заглавия, ваше сиятельство, сколько будет пренумерантов! вот увидите! — вставил свое слово господин, который хвастался запиской о тлетворном направлении современной русской литературы.

— Итак, messieurs, приступим.

Как мы относимся к прогрессу?

«Сила совершившихся фактов, без сомнения, не подлежит отрицанию. Факт совершился — следовательно, не принять его нельзя. Его нельзя не принять, потому что он факт, и притом не просто факт, но факт совершившийся (в публике говор: *guelle lucidité*[2]). Это, так сказать, фундамент, или, лучше сказать, азбука, или, еще лучше, отправный пункт.

Итак, факт совершился!!

И мы не отрицаем его, но принимаем с благодарностью. Мы с благоговейною благодарностью принимаем все совершившиеся факты, хотя бы появление некоторых из них казалось нам прискорбным и даже легкомысленным (в публике: *avalez-moi cela, messeigneurs!*[3]). Факт совершился — и мы благодарим. Мы благодарим, потому что мы благодарны по самой природе, потому что наши предания, заветы наших отцов, наше воспитание, правила, внушенные нам с детства, — все, en un mot[4], создало нас благодарными...»

---

[1] Не правда ли, господа?
[2] какая ясность ума!
[3] извольте и это проглотить, господа!
[4] одним словом.

— Pardon! — раздается голос старого дяди, — vous avez fouré là une expression française! Mettez plutôt[1], — «одним словом...».

— C'est juste, mon oncle![2] Итак, messieurs:

«...Все, *одним словом*, создало нас благодарными. Мы не можем не благодарить, точно так же как не можем не принести наши сердца на алтарь отечества в минуту опасности. Отечество, находящееся в опасности, — это мы сами, находящиеся в опасности! И мы не принесем ему в дар сердца́ наши! мы поспешим приветствовать его врагов! Нет, мы не сделаем ни того, ни этого, потому что отечество и мы — это что-то совершенно нераздельное. Это до такой степени не подлежит отделению, в смысле умственности, как и в смысле материальности, что как отечество не может существовать без нас, так и мы не можем существовать без него. А потому, возвращаясь к первичной моей мысли, повторяю: мы благодарим, ибо это есть наша натура.

Теперь рассмотрим несколько близким образом, что́ такое есть это священное право благодарить?

Благодарить — это фимиам. Это возносящийся фимиам сердца. Точно так же, как для того, чтобы понятно писать по-русски, надобно прежде всего и преимущественнейше обзнакомиться с русским языком и памятниками грамотности, точно так же, повторяем мы, для того, чтобы благодарить, надобно иметь доброе и преданнейшее сердце. Но преданнейшее сердце не только благодарит, но и преимущественнейше предостерегает. Или, лучше сказать, не предостерегает, в грубом значении этого слова, но от благодарных чувств заявляет. Мы не отрицаем совершившихся фактов, мы благодарим, но в то же время заявляем! Мы заявляем, потому что имеем преданнейшее сердце, и потому заявление является на устах наших не в печальном образе горькой улыбки, но в прекрасном виде улыбки, исполненной доверия. Мы не осмеливаемся изречь из наших уст: довольно! ибо не можем даже знать, действительно ли есть то довольно, что нам кажется таковым. Но мы говорим: примите благоговейный фимиам, который испускают наши сердца, и ежели мы оши-

---

[1] вы ввели тут французское выражение! Скажите лучше.
[2] Правильно, дядюшка!

баемся, то дайте нашей мыслительности другое направление!»

— Encore une fois pardon![1] — вновь откликается дядя, — мне кажется, это не совсем точно! Не лучше ли сказать: «дайте другое и, конечно, *столь же благоговейное* направление нашей мыслительности»? А еще бы лучше: *нашим мыслительным благожелательностям?* N'oubliez pas, mon cher, gue vous protestez (ты мягко постилаешь, но спать на твоей постели весьма будет жестко! comme dit un sharmant proverbe russe), et tu sais gue dans ces choses-là rien n'est à négliger![2] (Присутствующие переглядываются между собой, как бы говоря: какой тонкий старик!)

— Merci, mon oncle, vous avez touché juste![3] Итак, messieurs, будем продолжать в измененной редакции:

«другое, и, конечно, столь же благоговейное направление нашим мыслительным благожелательностям.

Итак, факт совершился. Мы все видели его совершение, и сердца наши благожелательно, можно сказать, благоговейно содрогались. Теперь, мы спрашиваем себя только, должен ли повторяться этот едва совершившийся факт безгранично? и на вопрос этот позволяем себе думать, что ежели бы рядом с совершившимся фактом было поставлено благодетельное *тирé*, то от сего наши сердца преисполнились бы не менее благоговейною признательностью, каковою был фимиам, наполнявший их по поводу совершившегося факта. Мы были благодарны за факт, но мы, конечно, будем не меньше благодарить и за *тирé*, ибо, как я сказал уже выше, право благодарить есть, так сказать, лучшее и преимущественнейшее право, которое мы за собой признаем!

Совершившийся факт — это есть мудрость. *Тирé* — это есть более нежели мудрость: это мудрость в мудрости (*guelle profondeur!*[4]). Вспомним по сему случаю Наполеона III, а в настоящую минуту кня-

[1] Еще раз извините!

[2] Не забывайте, дорогой мой, что вы протестуете... (как гласит превосходная русская пословица), а ты знаешь, что в этих вещах нельзя ничем пренебрегать!

[3] Благодарю, дядюшка, вы правильно подметили!

[4] какая глубина!

зя Бисмарка. Они сие должны со временем познать, что мы теперь от себя скромным образом утверждаем. Вспомним еще великого преобразователя экономических законов Англии, Роберта Пиля, но не забудем и величайшего Вашингтона! Везде и повсюду — закон один, который есть таков: прогресс — это мудрость стремительная, уносящая за собой историю; *тирé* — это мудрость, оглядывающаяся назад, скующая историю, а не низвергающая ее в прах!

Стало быть, если мы благоговейно просим поставить *тирé*, то не только не грешим против мудрости действительной, но даже споспешествующим образом доказываем, какая от того есть приносимая польза.

Мы объяснились с нашими читателями с открытым сердцем; надеемся, что они с таковым же отнесутся и к нам. Быть может, нас будут бранить ретроградами, но мы того не боимся. Мы не имеем ничего бояться, ибо мы не ретрограды. Мы только не хотим бежать вперед сломя голову, потому что ежели все побегут и от того сломают головы, что может из сего произойти, кроме несвоевременной гибели? Вот этого именно вопроса никогда не задают себе господа слишком пламенные прогрессисты, но не мешало бы от времени до времени все оное себе припоминать. Мы говорим: не мешало бы, потому что никогда не мешает то, чтó есть само по себе полезно. А что припоминание такого рода полезно, то это несомненно доказывается приносимою им везде и повсюду бесчисленною пользой.

Затем, прощаясь с читателями до следующего нумера, в коем постараемся обстоятельнейше объяснить нашу profession de foi[1], воскликнем: с нами наше право, а затем, да пребудет над нами божие благословение!»

Хозяин умолк. В публике раздавались сдержанные восклицания: «Прекрасно!», «Мастерски!», «Bien écrit et surtout bien pensé!»[2]

Но я почти обезумел от скуки. Никогда я так ясно не сознавал, что пора пить водку, как в эту минуту. Прокоп, очевидно, следил за выражением моего ли-

---

[1] символ веры.
[2] прекрасно написано и в особенности прекрасно задумано!

ца, потому что подошел ко мне, как только кончилось чтение.

— Уйдем! на тебе лица нет! тошнит тебя, что ли! (Он вдруг начал говорить мне «ты».)

Мы вышли; нас охватила лунная, морозная петербургская ночь.

— Айда к Палкину! — скомандовал Прокоп извозчику, — я, брат, нынче все у Доминика да у Палкина развлекаюсь: напитки тут крепки. Есть устрицы у Елисеева, да ужинать у Дюссо́ тогда хорошо, когда на сердце легко. Концессию там выхлопотываешь или Шнейдершу облюбовываешь — ну, и тянет тебя к легкому напитку. А как наслушаешься прожектов «об уничтожении» да «о расстрелянии», так на сердце-то сделается так моркотно, так моркотно, что рад целую четверть выпить, чтобы его опять в прежнее положение привести! А какова статейка-то?

— Гм... да... статья... это...

Вспомнив про статью, я так обозлился, что не своим голосом закричал на извозчика: пошел!

— Да, брат, за такие статейки в уездных училищах штанишки снимают, а он еще вон как кочевряжится: «Для того, говорит, чтобы понятно писать по-русски, надобно прежде всего и преимущественнейше обзнакомиться с русским языком...» Вот и поди ты с ним!

Мы пробеседовали у Палкина до двух часов. Съели только по одному бифштексу, но выпили...

Одним словом, мы вышли на улицу, держась под руки. Кажется, даже мы пели песни.

На другой день утром, вероятно в видах скорейшего вытрезвления, Прокоп принес мне знаменитый проект «о расстрелянии и благих оного последствиях», составленный ветлужским помещиком Поскудниковым. Проекту предпослано вступление, в котором автор объясняет, что хотя он, *со времени известного происшествия,* живет в деревне не у дел, но здоровье его настолько еще крепко, что он и на другом поприще мог бы довольно многое «всеусерднейше и не к стыду» совершить. А коль скоро человек в чем-нибудь убежден, то весьма естественно, что в нем является желание в том же убедить и

других. Отсюда попытка разъяснить вопрос: *отчего все сие происходит?* а затем и осуществление этой попытки в форме предлагаемого проекта.

«Отчего все сие происходит?» — конечно, от недостатка спасительной строгости. Если бы, например, своевременно было прибегнуто к расстрелянию, то и общество было бы спасено, и молодое поколение ограждено от заразы заблуждений. Конечно, не легко лишить человека жизни, «сего первейшего дара милосердного творца», но автор и не требует, чтобы расстреливали всех поголовно, а предлагает только: «расстреливать, по внимательном всех вин рассмотрении, но неукоснительно». И тогда «все сие» исчезнет, «лицо же добродетели, ныне потускневшее, воссияет вновь, как десять лет тому назад».

Некоторые мотивы, которыми автор обусловливает необходимость предлагаемой меры, не изъяты даже чувствительности. Так, например, в одном месте он выражается так: «Молодые люди, увлекаемые пылкостью нрава и подчиняясь тлетворным влияниям, целыми толпами устремляются в бездну, а так как подобное устремление законами нашего отечества не допускается, то и видят сии несчастные младые свои существования подсеченными в самом начале (честное слово, я даже прослезился, читая эти строки!). А мы равнодушными глазами смотрим на сие странное позорище, видим гибель самой цветущей и, быть может, самой способной нашей молодежи, и не хотим пальцем об палец ударить, чтобы спасти ее. Устремим же наши спасительные ладьи для спасения сих утопающих! подадим руку помощи этим несчастным увлекающимся юношам! Сделаем все сие — и тогда с спокойной совестью скажем себе: мы совершили все для ограждения детей наших!»

Но всего замечательнее то, что и вступление, и самый проект умещаются на одном листе, написанном очень разгонистою рукой! Как мало нужно, чтоб заставить воссиять лицо добродетели! В особенности же кратки заключения, к которым приходит автор. Вот они:

«А потому полагается небесполезным подвергнуть расстрелянию нижеследующих лиц:

Первое, всех несогласно мыслящих.

Второе, всех, в поведении коих замечается скрытность и отсутствие чистосердечия.

Третье, всех, кои угрюмым очертанием лица огорчают сердца благонамеренных обывателей.

Четвертое, зубоскалов и газетчиков».

И только.

Вечером мы были на рауте у председателя общества чающих движения воды, действительного статского советника Стрекозы. Присутствовали почти всё старики, и потому в комнатах господствовал какой-то особенный, старческий запах. Подавали чай и читали статью, в которой современная русская литература сравнивалась с вавилонскою блудницей. В промежутках, между чаем и чтением, происходил обмен вздохов (то были именно не мысли, а вздохи).

— Где те времена, когда пел сладкогласный Жуковский? когда Карамзин пленял своею прозой? — вздыхал один.

— «Как лебедь на брегах Меандра...» — зажмурив глаза, вздыхал другой.

— Увы! из всей этой плеяды остался только господин Страхов! — вздыхаючи вторил третий.

— Куда мы идем? куда мы идем! — вздыхал четвертый.

Старцы задумывались и в такт покачивали головами. Очень возможное дело, что они так и заснули бы в этой позе, если бы от времени до времени не пробуждал их возглас:

— И это литература! Куда мы идем?

Я пробыл у действительного статского советника Стрекозы с девяти до одиннадцати часов и насчитал, что в течение этого времени, по крайней мере, двадцать раз был повторен вопрос: «куда мы идем?» Это произвело на меня такое тоскливое, давящее впечатление, что, когда мы вышли с Прокопом на улицу, я сам безотчетно воскликнул:

— Куда же мы в самом деле идем?

— Сегодня я сведу тебя к Шухардину, — ответил Прокоп, — а завтра, если бог грехам потерпит, направим стопы в «Старый Пекин».

Опять два бифштекса и, что́ всего неприятнее — опять возвращение домой с песнями. И с чего я

вдруг так распелся? Я начинаю опасаться, что если дело пойдет таким образом дальше, то меня непременно когда-нибудь посадят в часть.

На третий день раут у председателя общества благих начинаний, отставного генерала Проходимцева. Приходим и застаем компанию человек в двенадцать. Всё отставные провиантские чиновники, заявившие о необыкновенном усердии во время Севастопольской кампании. У всех на лице написано: я по суду не изобличен, а потому надеюсь еще послужить! Общество сидит вокруг чайного стола; хозяин читает:[1]

— А он: моя ты лада!
Есть место репе, точно,
Но сад засеять надо
За то, что он цветочный!

— Прекрасно! не в бровь, а прямо в глаз!

— Куда мы идем? скажите, куда мы идем?

— Позвольте, господа! послушайте, что дальше будет!

— Ее (рощу) порубят, лада,
На здание такое,
Где б жирные говяда
Кормились на жаркое!

— Но какой стих! Вот, наконец, настоящая-то сатира!

— Шш... шш... слушайте! слушайте!

— О, друг ты мой единый! —
Воскликнула невеста, —
Ужель для той скотины
Иного нету места?
— Есть много места, лада,
Но тот приют тенистый
Затем изгадить надо,
Что в нем свежо и чисто!

— Именно! именно! — рукоплескали отставные провиантские чиновники, и затем поднялся хохот, который и не прерывался уже до самого конца

[1] Отрывки, приводимые ниже, взяты из стихотворения графа А. К. Толстого «Баллада с тенденцией». Любопытствующие могут отыскать эту балладу в «Русском вестнике» 1871 года за октябрь. *(Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

пьесы. Особенный фурор произвело следующее определение современного материалиста.

Они ж, матерьялисты,
От имени прогресса,
Кричат, что трубочисты
Суть выше Апеллеса...

— «Суть выше Апеллеса»! Каков, господа, пошиб! Вот это я называю сатирой! Это отпор! Это настоящий, заправский отпор!

Затем все на минуту смолкли и погрузились в думы. Как вдруг кто-то завыл:

— Куда мы идем? объясните, куда мы идем?

И все, словно ужаленные, вскочили с мест и подняли такой неизреченный лай, что я поскорее схватил шляпу и увлек Прокопа в «Старый Пекин».

Бифштекс и возвращение домой с песнями.

И еще два вечера провел я в обществе испуганных людей и ничего другого не слышал, кроме возгласа: куда мы идем? Но после пятого вечера со мной случилось нечто совсем необыкновенное.

Я проснулся утром с головною болью и долгое время ничего не понимал, а только смотрел в потолок. Вдруг слышу голос Прокопа: «Господи Иисусе Христе! да где же мы?» Вскакиваю, оглядываюсь и вижу, что мы в какой-то совершенно неизвестной квартире; что я лежу на диване, а на другом диване лежит Прокоп. Мною овладел страх.

Я вспомнил слышанную в детстве историю о каком-то пустынножителе, который сначала напился пьян, потом совершил прелюбодеяние, потом украл, убил — одним словом, в самое короткое время исполнил всю серию смертных грехов.

— Где мы вчера были?— обратился я к Прокопу.

Но Прокоп стоял как бы в остолбенении и только пялил на меня свои опухшие глаза.

Я стал припоминать и с помощью неимоверных усилий успел составить нечто целое из уцелевших в моем мозгу обрывков. Да, мы отправились сначала к Балабину, потом к Палкину, оттуда к Шухардину и, наконец, в «Пекин». Но тут нить воспоминаний оборвалась. Не украли ли мы в «Пекине» серебряную ложку? не убили ли мы на скорую руку поло-

вого? не вели ли нас на веревочке? — вот этого-то именно я и не мог восстановить в своей памяти.

Я припоминал, что со мною уже был почти такой же случай в молодости. В то время я был студентом Московского университета и охотно беседовал об искусстве (святое искусство!) в трактире «Британия». Однажды, находясь в хорошей компании, я выпил, рюмку за рюмкой, рублей на двадцать ассигнациями водки и, совершивши этот подвиг, исчез. Где я был? этого я совершенно не помню, но дело в том, что через какие-нибудь полчаса я опять воротился в «Британию», но воротился... без штанов! Можно себе представить, как изумило меня это обстоятельство, когда я, переночевав в «Британии» на бильярде, на другой день проснулся! И что́ ж оказалось? — что штаны мои преспокойно лежат у меня дома! Что я нарочно приходил домой, чтобы их снять, и, совершивши этот подвиг, отправился назад в «Британию»!

— Да каким же образом это случилось? Я говорил что-нибудь? Приказывал? — допрашивал я своего слугу.

— Ничего не изволили приказывать. Изволили прийти, сняли и опять ушли-с.

— Да что же я еще-то делал?

— Изволили прийти-с, сняли и опять ушли-с.

Так вот на какие подвиги я способен...

И вдруг, в ту самую минуту, когда мне все это припоминалось, дверь нашей комнаты отворилась, и перед нами очутился расторопный малый в мундире помощника участкового надзирателя. Оказалось, что мы находимся у него на квартире, что мы ничего не украли, никого не убили, а просто-напросто в безобразном виде шатались ночью по улице.

— Каким же образом у вас-то мы очутились? — полюбопытствовал Прокоп.

— Да просто шел я, по должности, дозором-с; ну, вижу, благородные люди... не могут объяснить место жительства-с...

Никогда не бывало мне до такой степени стыдно...

III

Пользуясь моею нравственною рыхлостью, Прокоп завалил меня проектами, чтение которых чуть-чуть не навело меня на мысль о самоубийстве. Истинно, только бог спас мою душу от конечной погибели... Но буду рассказывать по порядку.

Прежде всего, при одном воспоминании о моем последнем приключении мне было так совестно, что я некоторое время не мог подумать о себе, не покрасневши при этом. Посудите сами: приехать в Петербург, в этот, так сказать, центр российской интеллигенции, и дебютировать тем, что, по истечении четырех недель, очутиться, неведомо каким образом, в квартире помощника участкового надзирателя Хватова! Я взглянул на себя в зеркало — и ужаснулся: лицо распухло, глаза заплыли и даже потеряли способность делаться круглыми. С каким-то щемящим чувством безнадежности бродил я в халате из угла в угол по моему номеру и совершенно явственно чувствовал, как меня сосет. Именно «сосет» — и ничего больше. Если б кто-нибудь спросил меня, что́ со мною делается, я положительно ничего другого не нашелся бы ответить, кроме этого странного слова «сосет». Не то тоска, не то смутное напоминание об адмиральском часе. К довершению позора, в течение целой недели, аккуратно изо дня в день, меня посещал расторопный поручик Хватов и с самою любезною улыбкой напоминал мне о моем грехопадении. Придет, сядет, закурит папироску и начнет:

— Иду, знаете, дозором, и вдруг вижу — благородные люди! И можно сказать, даже в очень веселом виде-с! Время, знаете, ночное-с... местожительства объявить не могут... Ну-с, конечно, как сам благородный человек... по силе возможности-с... Сейчас к себе на квартиру-с... Диван-с, подушки-с...

— То есть так я вам благодарен! так благодарен! — заверял я, в свою очередь, весь пунцовый от стыда, — кажется, умирать стану, а услуги вашей не забуду!

— Помилуйте! что же-с! благородные люди... время ночное-с... местожительства объявить не могут... диван, подушки-с...

И таким образом целых семь дней сряду. Придет, выкурит три-четыре папиросы, выпьет рюмку водки, закусит и уйдет. Под конец даже так меня полюбил, что начал говорить мне *ты*.

«Дедушка Матвей Иваныч! — думалось мне в эти минуты, — воображал ли ты когда-нибудь, чтоб твой потомок мог покрыть себя подобным позором! Ты, который, выходя грузным из рязанско-козловско-тамбовского клуба, не торопясь влезал в экипаж, подсаживаемый верными слугами, и затем благополучно следовал до постоялого двора, где ожидали тебя и взбитая перина, и теплое пуховое одеяло! Ты, который о самом имени полиции знал только потому, что от времени до времени приходилось посылать какого-нибудь Андрюшку-пьяницу или Ионку-подлеца в часть! Мог ли ты представить себе, что твой родной внук, как какой-нибудь беспаспортный мещанин, проведет целую ночь в самом сердце той самой полиции, о которой ты знал только понаслышке, как о вместилище клопов, блох и розог! Что этот внук будет поднят на улице (позор! у него нет ни экипажа, ни верных слуг, ни цуга лошадей!) и призрен, буквально призрен расторопным полицейским поручиком Хватовым! Что этот самый Хватов будет заявлять претензию на вечную признательность сердца со стороны твоего внука! что он будет прохаживаться с ним по водочке, и наконец, в минуту откровенности, скажет ему «ты»!

Позор!!

И вот, о реформы, горькие ваши плоды!

Каким же образом, после всего этого, утишить негодующее сердце? каким образом сдержать благородные порывы? Реформы!!

Вот Прокоп — так тот мигом поправился. Очевидно, на него даже реформы не действуют. Голова у него трещала всего один день, а на другой день он уже прибежал ко мне как ни в чем не бывало и навалил на стол целую кипу проектов.

— Читать ли? — молвил я робко, — как бы опять не запить!

— Как не читать! надо читать! зачем же ты приехал сюда! Ведь если ты хочешь знать, в чем последняя суть состоит, так где же ты об этом узнаешь, как не тут! Вот, например, прожект о децентрализации — уж так он мне понравился! так понравился!

И слов-то, кажется, не приберешь, как хорошо!

— А что́?

— Да чтобы, значит, везде, по всему лицу земли... по зубам чтоб бить свободно было... вот это и есть самая децентрализация!

Прокоп, по обыкновению своему, залился смехом.

И черт его знает, что́ это за смех у Прокопа — никак понять не могу! Действительно ли звучит в нем ирония, или это только так, избыток веселонравия, который сам собой просится наружу? Вот, кажется, и хохочет человек над децентрализацией с точки зрения беспрепятственного и повсеместного битья по зубам, а загляните-ка ему в нутро — ан окажется, что ведь он и впрямь ничего, кроме этой беспрепятственности, не вожделеет! Вот и поди разбери, как это в нем разом укладывается: и тоска по мордобитию, и несомненнейшая язвительнейшая насмешка над этою самою тоской!

— А уж ежели,— продолжал между тем Прокоп,— ты от этих прожектов запьешь, так, значит, линия такая тебе вышла. Оно, по правде сказать, трудно и не запить. Все бить да сечь, да стрелять... коли у кого чувствительное сердце — ну просто невозможно не запить! Ну, а ежели кто закалился — вот как я, например,— так ничего. Большую даже пользу нахожу. Светлые мысли есть — ей-богу!

Опять хохот, этот загадочный, расстраивающий нервы хохот!

Но так как у меня голова все еще была несвежа, то я два дня сряду просто-напросто пробродил из угла в угол и только искоса поглядывал на кипу писаной бумаги. А в груди между тем сосало, и бог знает каких усилий мне стоило, чтоб не крикнуть: водки и закусить! Воздержаться от этого клича было тем труднее, что у лакеев chambres garnies[1] есть привычка, и притом препоганая: поминутно просовывает, каналья, голову в дверь и спрашивает: что прикажете? Ну, что я могу приказать? Что могу я ответить на его вызывающий вопрос, кроме: водки и закусить! Вот дедушка Матвей Иваныч — тот точно мог разные приказания отдавать, а я — что я могу?!

[1] меблированные комнаты.

Однако, повторяю, бог спас, и, может быть, я провел бы время даже не совсем дурно, если б не раздражали меня, во-первых, периодические визиты поручика Хватова и, во-вторых, назойливость Прокопа. Помимо этих двух неприятностей, право, все было хорошо.

Я находился в том состоянии, когда голова, за несколько времени перед тем трещавшая, начинает мало-помалу разгуливаться. Настоящим образом еще ничего не понимаешь, но кое-какие мысли уж бродят. Подойдешь к печке — и остановишься; к окну подойдешь — и посмотришь. Что в это время бродит в голове — этого ни под каким видом не соберешь, а что бродит нечто — в том нет ни малейшего сомнения. По временам даже удается иное схватить. Вот сейчас мелькнуло: хорошо бы двести тысяч выиграть — и ушло. Потом: какое это в самом деле благодеяние, что откупа уничтожены,— и опять ушло. Вообще, все приходит и уходит до такой степени как-то смутно, что ни встречать, ни провожать нет надобности. И вдруг канальская мысль: не приказать ли водки?

— Ну, нет брат, шалишь! водка — это, брат, яд! Вспомни, как ты в «Старом Пекине» чуть-чуть полового не ушиб и как потом в квартире у поручика Хватова розоперстую аврору встречал!

Ушло.

И проходят таким образом часы за часами спокойно, безмятежно, даже почти весело! Все бы ходил да мечтал, а о чем бы мечтал — и сам не знаешь! Вот, кажется, сейчас чему-то блаженно улыбался, по поводу чего-то шевелил губами, а через мгновенье — смотришь, забыл! Да и кто знает? может быть, оно и хорошо, что забыл...

Вот что совсем уж нехорошо — это Прокоп, который самым наглым образом врывается в жизнь и отравляет лучшие, блаженнейшие минуты ее. Каждый день, утром и вечером, он влетает ко мне и начинает приставать и даже ругаться.

— Ну что, прочел?

— Да, право, душа моя, боюсь я...

— Что же ты после этого за патриот, коли не хочешь знать, в чем нынешняя суть состоит!

— Да запью я! чувствует мое сердце, что запью!

— Так ты помаленьку, не вдруг! Сперва «о децентрализации», потом «о необходимости оглушения, в смысле временного усыпления чувств», потом «о переформировании де сиянс академии». Есть даже прожект «о наижелательнейшем для всех сторон упразднении женского вопроса». Честью тебе ручаюсь: начни только! Пригубь! Не успеешь и оглянуться, как сам собой, без масла, всю груду проглотишь!

И я начал.

Но я приступил не вдруг. Сначала произвел наружный осмотр, причем оказалось, что все прожекты были коротенькие, на одном, много на двух листах. Потом перечитал заглавия и убедился, что везде говорилось об упразднении и уничтожении, и только один прожект трактовал о расширении, но и то — о расширении области действия квартальных надзирателей. Затем мною овладела моя обычная привычка резонировать по поводу выеденного яйца, и я уже на целые сутки сделался неспособным ни к каким дальнейшим исследованиям. Одни названия навели на меня какие-то необыкновенно тоскливые мысли, от которых я не мог отделаться ни насвистыванием арий из «Герцогини Герольштейнской», ни припоминанием особенно характерных эпизодов из последних наших трактирных похождений, ни даже закусыванием соленого огурца, каковое закусывание, как известно, представляет, во время загула, одно из самых дивных, восстановляющих средств (увы! даже и это средство отыскано не мною, непризнанным Гамлетом сороковых годов, а все тем же дедушкой Матвеем Иванычем!).

Во имя чего, думалось мне, волнуются и усердствуют из глубины своих усадьб отставные прапорщики, ротмистры, полковники? из-за чего напрягают мозги выгнанные из службы подьячие? что породило это ужаснейшее творчество, которым заражены российские грады и веси и печальный плод которого — вот эта груда прожектов, которую мне предстоит перечитать?

Вникните пристальнее в процесс этого творчества, и вы убедитесь, что первоначальный источник

его заключается в неугасшем еще чувстве жизни, той самой «жизни», с тем же содержанием и теми же поползновениями, о которых я говорил в предыдущих моих дневниках. Все мы: поручики, ротмистры, подьячие, одним словом, все, причисляющие себя к сонму представителей отечественной интеллигенции,— все мы были свидетелями этой «жизни», все воспитывались в ее преданиях, и как бы мы ни открещивались от нее, но не можем, ни под каким видом не можем представить себе что-либо иное, что не находилось бы в прямой и неразрывной связи с тем содержанием, которое выработано нашим прошедшим. Все мы хотим жить именно тем самым способом, каким жил дедушка Матвей Иваныч, то есть жить хоть безобразно (увы! до других идеалов редкие из нас додумались), но властно, а не слоняться по белу свету, выпуча глаза.

Эта перспектива «слоняния» раздражает нас. Был момент, когда мы искренно поверили, что в раскладывании гранпасьянса заключается единственно возможная, так сказать, провиденциальная роль наша в будущем. Был момент, когда мы не шутя ощутили, что почва ушла из-под ног наших и что нам остается только бежать, бежать и бежать. И теперь, при одном воспоминании об этом ужасном времени, скверно делается во рту. Но инстинкт самосохранения спас нас. Он заставил нас оглянуться и подумать. Оглянулись, подумали — видим: мы те же, да и кругом нас все то же. И мы «dansons, chantons et buvons», и кругом нас «chantons, dansons et buvons». Конечно, некоторые подробности изменились, но разве подробности когда-нибудь составляли что-нибудь существенное? Сегодня они имеют один вид, завтра — будут иметь другой. Если главная основа жизни не поколеблена, то нет ничего легче, как дать подробностям ту или другую форму — какую хочешь. Сегодня у нас — la grandeur d'âme est à l'ordre du jour[1], а завтра — alea jacta est![2] — на очереди будут: натиск и быстрота! Стало быть, ежели нам, отставным корнетам, ротмистрам и подьячим, показалось на минуту, что почва ускользает из-под наших ног, то это именно только по-

[1] величие души поставлено в порядок дня.
[2] жребий брошен!

казалось, а на самом деле ничего нового не произошло, кроме кавардака, умопомрачения, труса и т. д. Стало быть, надо только разъяснить, рассеять и затем — настоять. Мы струсили, как дети, сами не зная чего; мы призрачную жизнь, простую взбалмошную накипь, признали за нечто реальное и устойчивое. Нет! шалишь! Мы докажем миру, что все эти призраки можно рассеять совершенно просто и легко: тем же манием руки, каким и в прежние времена достославные наши предки рассевали и расточали всякого рода дурные призраки!

Отсюда — понятное раздражение против тех, которые продолжают напоминать нам о «слонянии». Как не раздражаться, если мы сами чуть-чуть не поверили этой провиденциальной роли и не обрекли себя на перспективу вечного слоняния? Надо же, наконец, дать почувствовать заблуждающимся всю тщету их надежд! И вот, как плод этого раздражения — являются прожекты об уничтожении и упразднении.

Сидят корнеты-землевладельцы в своих логовищах и немолчно скребут перьями. А так как для них связать две мысли — труд совершенно анафемский, то очень понятно, что творчество их, лишь после неимоверных потуг, находит себе какое-нибудь выражение. Мысли, зарождающиеся в усадьбах, вдали от всяких учебных пособий, вдали от возможности обмена мыслей — ведь это все равно что мухи, бродящие в летнее время по столу. Поди собери их в одну кучу. Поэтому проводится множество бессонных ночей, портится громада бумаги, для того только, чтобы в конце концов вышло: на последнем я листочке напишу четыре строчки. Но чем малограмотнее человек, тем упорнее он в своих начинаниях и, однажды задумав какой-нибудь подвиг, рано или поздно добьется-таки своего. Вожделенные «четыре строчки» несомненно будут написаны, и смысл их несомненно будет таков: уничтожить, вычеркнуть, воспретить...

В одно прекрасное утро корнет выходит к утреннему чаю и объявляет жене:

— А я, душа моя, сегодня проект свой кончил!

— Ну, и слава богу! Я знаю, ты ведь у меня умный!

— Однако и помучился-таки я над ним! Странно

это: мы, русские, кажется, на все способны, а вот проекты писать — смерть!

Почему, однако, уничтожить, вычеркнуть, воспретить, а не расширить, создать, разрешить? Тайна этого обстоятельства опять-таки заключается в слишком страстном желании «жить», в представлении, которое с этим словом соединено, и в неимении других средств удовлетворить этому представлению, кроме тех, которые завещаны нам преданием. И в счастии и в несчастии мы как-то равно нерассудительны и опрометчивы. Немного лет тому назад (это были дни нашего несчастия), когда мы находились под игом недоразумений, томительно замутивших нашу жизнь, мы не боролись, не отстаивали себя, а только унывали и испускали жалобные стоны. Откуда? что? как нужно поступить? — мы ни о чем не спрашивали себя, а только чувствовали, что нас придавило какое-то горе. Теперь, когда случайные недоразумения случайно рассеялись, когда жажда жизни (*наша* жажда жизни!) получила возможность вновь вступить в свои права, мы опять-таки не хотим подумать ни о каком внутреннем перерабатывающем процессе, не спрашиваем себя: куда? как? что из этого выйдет? — а только чувствуем себя радостными и вследствие этого весело гогочем. Нас опять придавило, но на этот раз — придавила радость. Наша не выгорела — мы приникли; наша взяла — мы подняли голову. Мы инстинктом чувствуем, что *наша взяла* — и потому хотим начать жить как можно скорее, сейчас.

Но, спрашивается, возможно ли достигнуть *нашего* идеала жизни в такой обстановке, где не только мы, но и всякий другой имеет право заявлять о своем желании жить?

Дедушка Матвей Иваныч на этот счет совершенно искренно говорил: жить там, где все другие имеют право, подобно мне, жить, — я не могу! Не могу, сударь, я стерпеть, когда вижу, что хам идет мимо меня и кочевряжится! И будь этот хам хоть размиллионер, хоть разоткупщик, все-таки я ему напомню (действием, государь мой, напомню, действием!), что телесное наказание есть удел его в этом мире! Хоть тысячу рублей штрафу заплачу, а напомню.

Такова была дедушкина мораль, и я, с своей стороны, становясь на его точку зрения, нахожу эту мораль совершенно естественно. Нельзя жить так, *как желал жить дедушка,* иначе, как под условием полного исчезновения жизни в других. Дедушка это чувствовал всем нутром своим, он знал и понимал, что если мир, по малой мере верст на десять кругом, перестанет быть пустыней, то он погиб. А мы?!

Что дедушкина мораль удержалась в нас всецело — в этом нет никакого сомнения. Но — увы! — мы уже не знаем, как устраивается та пустыня, без которой дедушкина мораль падает сама собою. Секрет этот потерян для нас навсегда — вот почему мы колеблемся, путаемся и виляем. Прямо признать за «хамами» право на жизнь — не хочется, а устроить таким образом, чтобы и волки были сыты и овцы целы, — нет умения. Нет выдержки, выработки, подготовки. Хорошо бы, конечно, такую штуку удрать, чтобы «хамы» на самом деле не жили, а только думали бы, что живут; да ведь для этого надобно, во-первых, кой-что знать, а во-вторых, придумывать, взвешивать, соображать. А у нас первый разговор: «знать ничего не хочу!» да «ни о чем думать не желаю!» Скажите, возможно ли с таким разговором даже простодушнейшего из хамов надуть?

Естественно, что при такой простоте нравов остается только одно средство оградить свою жизнь от вторжения неприятных элементов — это, откинув все сомнения, начать снова бить по зубам. Но как бить! Бить — без ясного права на битье; бить — и в то же время бояться, что каждую минуту может последовать приглашение к мировому по делу о самовольном избитии!..

До какой степени для нас всякое думанье — нож вострый, это всего лучше доказал мне Прокоп.

— Послушай, мой друг, — говорю я ему на днях, — отчего это тебе так претит, что и другой рядом с тобой жить хочет?

— А по-твоему, как? по-твоему, стало быть, другой у меня изо рту куски станет рвать, а я молчи!

— Да ведь кусков много, мой друг! И для тебя куски, и для других тоже; ведь всех кусков один не заглотаешь!

— Ну, нет-с, это аттанде. Я свои куски очень хорошо знаю, и ежели до моего куска кто-нибудь дотронется — прошу не взыскать!

— Ах, все не то! Пойми же ты наконец, что можно, при некотором уменье, таким образом устроить, что другие-то будут на самом деле только облизываться, глядя, как ты куски заглатываешь, а между тем будут думать, что и они куски глотают!

— Это как?

— То-то, душа моя, надобно сообразить, как это умеючи сделать! Я и сам, правду сказать, еще не знаю, но чувствую, что средства сыскать можно. Не все же разом, не все рассекать: иной раз следует и развязать потрудиться!

— Ну, это уж ты трудись, а я — слуга покорный! Думать там! соображать! Какая же это будет жизнь, коли меня на каждом шагу думать заставлять будут? Нет, брат, ты прост-прост, а тоже у тебя в голове прожекты... тово! Да ты знаешь ли, что как только мы начнем думать — тут нам и смерть?!

Так мы и расстались на том, что свобода от обязанности думать есть та любезнейшая приправа, без которой вся жизнь человеческая есть не что иное, как юдоль скорбей. Быть может, в настоящем случае, то есть как ограждающее средство против возможности систематического и ловкого надувания (не ее ли собственно я и разумел, когда говорил Прокопу о необходимости «соображать»?), эта боязнь мысли даже полезна, но как хотите, а теория, видящая красоту жизни в свободе от мысли, все-таки ужасна!

Кто вникнет ближе в цикл понятий, наивным выразителем которых явился Прокоп, тот поймет, почему единственным надежным выходом из всех жизненных затруднений прежде всего представляется действие, обозначаемое словом «вычеркнуть». Вычеркнуть легко, создать трудно — в этом разгадка той бесцеремонности, с которою мы приступаем к рассечению всевозможных жизненных задач.

Предположите, что в голове у вас завелась затея, что вы возлюбили эту затею и с жаром принялись за ее осуществление. Прибавьте к этому, пожалуй, что затея ваша в высшей степени женерозна, что она захватывает очень широко и что с осуществле-

нием ее легко осчастливить целый мир. В деле затей, зарождающихся на нашей почве, такого рода предположения совсем не шаржа, потому что у нас исстари так заведено: затевать так уж затевать. Но затем все-таки следует вопрос: откуда эта затея явилась? составляет ли она плод предварительной жизненной подготовки или, по крайней мере, хотя теоретически сложившегося убеждения? Или, быть может, она пришла с ветру, затем, что у прочих так водится, так чтобы и нам не стыдно было в людях глаза показать? Как ни придирчив кажется этот вопрос (когда дело идет о женерозных начинаниях, у нас даже вопросов никаких допускать не принято), но он далеко не праздный. Разрешите себе его, и вы разом получите возможность не только оценить по достоинству самую затею и исходный пункт, из которого она возникла, но и провидеть дальнейший процесс ее осуществления, со всеми ожидающими ее впереди колебаниями и неизбежным в конце концов фиаско.

Потребность в выработке новых форм жизни всегда и везде являлась как следствие не одного теоретического признания неудовлетворительности старых форм, но и реального недовольства ими. Имели ли мы, интеллигенция, повод быть недовольными этими старыми формами? — нет, говоря по совести, у нас даже повода к недовольству не существовало. Повторяю: наш кодекс жизни вполне исчерпывался формулой «chantons, dansons et buvons» — а этой формуле не только не мешали старые порядки, но даже вполне ее обеспечивали. Но, может быть, нас заставляло задумываться соседство множества людей, которым старые порядки ни в каком случае не могли быть по нутру? Бесспорно, такое соседство существовало, но мы до такой степени мало думали о нем, что даже и теперь, когда несомненность соседства уже гораздо более выяснилась, мы все-таки продолжаем столь же мало принимать его в расчет, как и прежде. Если б это было иначе, разве мы обращались бы столь легкомысленно с словами: вычеркнуть, похерить, воспретить? Разве мы позволили бы себе считать их палладиумом всевозможных мероприятий? Ясно, стало быть, что соседство тут ни при чем, или, по крайней мере, что представление о нем никогда нас созна-

тельно не тревожило. Наконец, еще третье предположение: быть может, в нас проснулось сознание абсолютной несправедливости старых порядков, и вследствие того потребность новых форм жизни явилась уже делом, необходимым для удовлетворения человеческой совести вообще?— но в таком случае, почему же это сознание не напоминает о себе и теперь с тою же предполагаемою страстною настойчивостью, с какою оно напоминало о себе в первые минуты своего возникновения? почему оно улетучилось в глазах наших, и притом улетучилось, не подвергаясь никаким серьезным испытаниям? Да, впрочем, в таких ли мы условиях воспитывались, которые могли бы серьезно породить в нас подобное сознание, составляющее, так сказать, венец нравственного и умственного развития человека?

Все эти соображения приводят к заключению очень печальному, но которое едва ли можно назвать неверным, а именно: что наша женерозность пришла к нам без особенно деятельного участия сознания. Это не женерозность, а просто желание куда-нибудь приткнуться от скуки и однообразия жизни и в то же время развлечь себя новым фасоном одежды. Мы сказали себе: пусть будет новый фасон, а что касается до результатов и применений, то мысль о них никогда с особенною ясностью не представлялась нам. Мы до такой степени не думали ни о каких результатах и применениях, что даже не задались при этом никакою преднамеренно-злостною мыслью, вроде, например, того, что новые фасоны должны только отводить глаза от прикрываемого ими старого содержания. Не было органической, кровной надобности в новых фасонах, следовательно, не было мысли о том, что они могут чему-нибудь угрожать. А следовательно, не было надобности остерегаться или надувать. Самое негодование наше было ретроспективное, и явилось уже post factum, то есть тогда, когда новая пригонка начала производить эффекты, не вполне согласные с общим тоном жизни и с нашими интимными пожеланиями. Тогда только мы начали суетиться, ахать и извергать безграмотные проекты о необходимости возвратиться к системе заушения.

При таком легком отношении к исходному пункту новой жизненной деятельности возможно ли ожи-

дать устойчивости и во всем дальнейшем ее развитии? Увы! если тут и была устойчивость, то это именно была только устойчивость легкомыслия. Сколько бы ни твердили нам, что разумный выход из известного положения, созданного хотя бы и внезапно, но тем не менее несомненно приобретшего право гражданственности — это признать его со всеми естественными результатами, которые оно может дать,— разве мы, отставные прапорщики и подьячие, способны на такое признание?

Разве мы что-нибудь предвидели, что-нибудь призывали сознательно? Нет, мы только сию минуту узнали (да и то не можем разобрать, врут это или правду говорят), что наша затея, кроме нового фасона, заключает в себе и еще нечто, а до сих пор мы думали, что это положительным образом только фасон. Да это фасон и есть; мы это дело так разумели, когда увлекались им и аплодировали ему; так хотим разуметь его и теперь. Все эти колебания и движения, на которые нам указывают как на следствие новых фасонов,— все это вздор, мираж, и ничего больше. А ежели они и впрямь, эти колебания, существуют, то из этого следует только, что новые фасоны надо отметить и возвратиться к старым. А то еще развивать! Что развивать? Фасоны-то развивать!

Рассуждая таким образом, отставные корнеты даже выходят из себя при мысли, что кто-нибудь может не понять их. В их глазах все так просто, так ясно. Новая форма жизни — фасон; затем следует естественное заключение: та же случайность, которая вызвала новый фасон, может и прекратить его действие. Вот тут-то именно и является как нельзя кстати на помощь слово «вычеркнуть», которое в немногих буквах, его составляющих, резюмирует все их жизненные воззрения.

И зато, посмотрите, какая изумительная краткость проявляется во всех этих плодах деревенского досуга! Лист, много два — и делу конец. Да и тут еще всякий беспристрастный читатель непременно почувствует не краткость, а прискорбное многословие. Всякий читатель совершенно ясно видит, что автор ничего другого не желает, кроме трех вещей: уничтожить, вычеркнуть, воспретить. Следовательно, взял бы лист бумаги, написал бы на нем эти

три слова — и дело с концом. Зачем же он примешивает тут какого-то господина Токевиля (удерживаю фамилию этого писателя в том виде, как она является в плодах деревенских досугов[1]) и даже Бисмарка, Наполеона, Вашингтона, а из отечественных публицистов: академика Безобразова и кн. Мещерского? Очевидно, он делает это в обременение читателю, думая, что так будет фасонистее.

Эта многословная краткость приводила меня в отчаяние еще в то время, когда я процветал под сенью рязанско-козловско-саратовского клуба. Видеть человека, который напруживается, у которого на лбу жилы лопнуть готовы и из уст которого вылетает бессвязное бормотание с примесью Токевиля, Наполеона и кн. Мещерского,— может ли быть зрелище более прискорбное для сердца человека, сознающего себя патриотом! С каким-то ужасом думаешь: да неужели же мы и в самом деле не можем двух мыслей порядком переварить? И отчего не можем? оттого ли, что природа обошла нас своею благосклонностью, или оттого, что откупа уничтожены, и вследствие того подешевела водка? В каждой, в каждой-таки деревне кабак — как хотите, а тут хоть кого свалит! Разве «Токевиль» в таких условиях писал свои прожекты? Разве Наполеон III заглядывал через каждые полчаса в буфет, когда диктовал свои мероприятия относительно расстреляния? А мы что делаем! Уж не потому ли у нас из всех реформ наиболее прочным образом привилась одна — это буфеты при земских собраниях?

Именно от этой многословной краткости, от этих раздражающих Токевилей и Бисмарков я бежал из провинции, и именно ее-то я и обрел опять в Петербурге. Все, что в силах что-нибудь деятельно напакостить, все, что не чуждо азбуке,— все это устремилось в Петербург, оставив на местах лишь гарнизон в тесном смысле этого слова, то есть лю-

---

[1] Токквиль положительно сделался популярнейшим из публицистов в наших усадьбах. Без него корнеты шагу ступить не могут, хотя, знают его только по слухам и устным рассказам других корнетов. Думал ли когда-нибудь знаменитый автор «L'ancien régime et la Revolution» («Старый режим и революция».— *Ред.*), что сочинение его может послужить опорною точкой при составлении «прожекта об оглушении»? *(Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

дей, буквально могущих только хлопать глазами и таращить их...

Но Прокоп говорит, что и эти невдолге приедут.

— Вот погоди немного,— предсказывает он,— зашевелятся и они! и Хлобыстовские приедут, и Дракины приедут — все прибегут!

Жутко, но должно сознаться, что пророчество Прокопа имеет некоторое основание. Я сам собственными ушами слышал, как на дебаркадере железной дороги один из Хлобыстовских коснеющим языком сказал:

— Гм... в Петербург... скоро... сейчас... фью!

Теперь для меня смысл этого бормотания совершенно ясен.

Ужели, однако ж, и сего не довольно? ужели на смену нынешней уничтожательно-консервативной партии грядет из мрака партия, которую придется уже назвать наиуничтожательнейше-консервативнейшею? А эта последняя партия, вследствие окончательной безграмотности и незнакомства с именем господина «Токевиля», даже не даст себе труда писать проекты об уничтожении, а просто будет зря махать руками направо и налево?

Привожу здесь на выдержку несколько проектов, придерживаясь в этом случае указаний Прокопа.

О необходимости децентрализации

«Избегая вредного многословия, приступаю прямо. Известно, какие неудобства всегда и везде представляла излишняя централизация. Токевиль выражается о сем прямо: «Централизация есть зло». Монтескью, подтверждая сие мнение, прибавляет: «Зло, с трудом поправимое даже деспотизмом». Наконец, английский писатель Джон Стуарт выражается так: «Централизация есть остаток варварства». Хотя же преосвященнейший Георгий Конисский, в приветственной речи покойной императрице Екатерине II, и говорит: «Солнце наше вкруг нас ходит, да мы в безмятежии почиваем», но сие отнюдь не следует относить к централизации, но к свойственному всякому верноподданному радостному чувству.

И действительно, не токмо во Франции, сей

классической стране централизации, но и у нас на каждом шагу мы видим плоды сего горького порядка вещей. Благодаря оному, каких хлопот и издержек, например, стоило, дабы выиграть тяжбу в правительствующем сенате? сколько изнурений даже и доднесь нужно перенести, дабы получить в государственном банке какое-либо удовлетворение?

В первом случае необходимо было: во-первых, ехать в уездный город и нанимать подьячего, который был бы искусен в написании просьб; во-вторых, идти в суд, подать просьбу и там одарить всех, начиная с судьи и кончая сторожем, так как, в противном случае, просьба может быть возвращена с надписанием; в-третьих, от времени до времени посылать секретарю деревенских запасов и писать ему льстивые письма; в-четвертых, в терпении стяжать душу свою. И вот, по истечении двух-трех лет, уездный суд дает наконец резолюцию, вроде той знаменитой, которая разрешила истцу «ловить в озере рыбу *удою*». Тогда надо ехать в губернский город и подавать просьбу в гражданскую палату. И здесь нанимать искусного подьячего, и здесь поголовно всех одарить, и здесь посылать деревенский запас (при расстоянии уже значительно большем) и писать льстивые письма секретарям. Наконец, года через три, издает палата резолюцию, которою тоже разрешается «ловить в оном озере рыбу *удою*». Тогда надобно направлять стопы в сенат, где, по дальности расстояний, подьячие деревенскими запасами уже не берут, а берут чистыми деньгами.

Во втором случае, ежели вы, например, имеете в банке вклад, то забудьте о своих человеческих немощах и думайте об одном: что вам предназначено судьбою ходить. Кажется, и расписка у вас есть, и все в порядке, что следует, там обозначено, но, клянусь, раньше двух-трех дней процентов не получите! И объявления писать вам придется, и расписываться, и с сторожем разговаривать, и любоваться, как чиновник спичку зажечь не может, как он папироску закуривает, и наконец стоять, стоять и стоять!

Таковы плоды централизации! Прах друга своего схоронить невозможно, предварительно не расстроив своего здоровья и не раздав пол-имения своего извозчикам!

Наши заатлантические друзья давно уже сие поняли, и Токевиль справедливо говорит: «В Америке, — говорит он, — даже самый простой мужик — и тот давно смеется над централизацией, называя ее никуда не годным продуктом гнилой цивилизации». Но зачем ходить так далеко? Сказывают, даже Наполеон III нередко в последнее время о сем поговаривал в секретных беседах с господином Пиетри.

И для чего таковое непосильное изнурение обывателей? для того ли, чтобы власть от того возвеличивалась и, возвеличиваясь, предъявляла благодетельные свои для управляемых насильства?

Нет, власть немотствует, а государственный банк, тиранствуя над своими клиентами, нисколько сим не возвеличивается!

Токевиль говорит: «Бесполезное тиранство никогда пользы принести не может».

Обыватель не может своевременно процентов получить, а зло накопляется, распространяет крыле свои, поднимает голову и в конце концов образует гидру! Обыватель тщетно расточает льстивые уверения перед сонмищем секретарей, стараясь убедить их в правоте имущественного своего иска, а зло между тем рыщет и останавливается лишь для того, чтобы выкопать бездну! Зло счастливо и беспечно: оно не получает процентов и не имеет имущественных процессов!

Примеров такого расслабленного состояния власти множество. Приведу два или три.

В селе проживает поповский сын и открыто проповедует безначалие. По правилам централизации, надлежит в сем случае поступить так: начать следствие, потом представить оное на рассмотрение, потом, буде найдены будут достаточные поводы для суждения, то нарядить суд. Затем, суд немедленно оправдывает бунтовщика, и поповский сын, как ни в чем не бывало, продолжает распространять свой яд!

Другой пример: крестьянские гуси потравили помещичий овес. По правилам централизации, помещик, для восстановления нарушенного права собственности, поступает так: во-первых, по незнанию законов, обращается в волостной суд. Там ему отказывают на том основании, что волостные суды ведают

лишь дела крестьян между собою. Делать нечего, велит помещик закладывать лошадей и, по незнанию законов, отправляется за двадцать, за тридцать верст искать правосудия к мировому посреднику. Сей, тоже по незнанию законов, принимает просьбу, но через две недели, посоветовавшись с своим письмоводителем, объявляет просителю, что ныне уже порядки не те, и направляет его к мировому судье. Тем временем овес вырос вновь, а свидетели преступления, не будучи обязаны подпиской о невыезде, разбрелись по сторонам. Руководясь сими данными и к тому же будучи филантропом, судья пишет отказ и взыскивает с просителя издержки!

Какое сердце не обольется кровью при виде сего!

Тогда как при децентрализации и поповский сын, распространяющий базналичие, и крестьяне, попустившие своим гусям наносить ущерб помещичьему хозяйству, давно были бы наказаны, и самое свидетельство о содеянных ими преступлениях соделалось бы достоянием истории!

Известный криминалист Сергий Баршев говорит: «Ничто так не спасительно, как штраф, своевременно налагаемый, и ничто так не вредно, как безнаказанность»[1]. Святая истина!

Но что же необходимо учинить, дабы ввести сию многожелаемую и спасительную децентрализацию?

На сие отвечу прямо: необходимо прежде всего вооружить власть.

Можно ли назвать власть вооруженною, если, для достижения ее, необходимо ехать за тридцать, за сорок верст, но и тут трепетать, что попадешь не туда, куда надлежит, или же что власть взглянет на все сие иронически, или отзовется неимением средств и указаний?

Можно ли назвать власть вооруженною, ежели, даже при искреннем желании помочь ближнему, она на каждом шагу стеснена всякого рода сомнительностями и пагубным формализмом?

---

[1] Напрасно мы стали бы искать этой цитаты в сочинениях бывшего ректора Московского университета. Эта цитата, равно как и ссылки па Токевиля, Монтескье и проч., сделаны отставным корнетом Толстолобовым, очевидно, со слов других отставных же корнетов, наслышавшихся о том, в свою очередь, в земских собраниях. *(Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

Можно ли назвать власть вооруженною, ежели злу, для того чтобы быть безнаказанным, стоит только поселиться подальше от становой квартиры?

Токевиль справедливо отвечает на сие: невозможно.

А между тем, при нынешней централизации, власть именно находится в сем беспомощном и, так сказать, ироническом состоянии.

Губернаторы стеснены судами, палатами, общими присутствиями. Ищут преданности и находят одно противоречие.

Исправники лишены права поступать по обстоятельствам и, не имея прочной руководящей нити, совсем никак не поступают.

Становые пристава до такой степени опутаны сетями начальственных предписаний, что вскоре самую жизнь за тягость себе почитать будут.

О дворянах-землевладельцах — умолчу.

Все жалуются и вопиют; везде говорят о власти, везде ищут сего надежного убежища и, за всем тем, не токмо не приближаются к оному, но, в похвальном стремлении всех осчастливить, постепенно все больше и больше от здравого смысла отдаляются!

И сие все при наших обширных, можно сказать, даже непреоборимых пространствах!!

А между тем, как говорит бессмертный наш баснописец Крылов: ведь ларчик просто открывался!!!

Будучи одарен многолетнею опытностью и двадцать пять лет лично управляя моими имениями, я много о сем предмете имел случай рассуждать, а некоторое даже в имениях моих приметил. Конечно, по малому моему чину, я не мог своих знаний на широком поприще государственности оказать, но так как ныне уже, так сказать, принято о чинах произносить с усмешкой, то думаю, что и я не худо сделаю, ежели здесь мои результаты вкратце попытаюсь изложить. Посему соображаю так:

Для того, чтобы искоренить зло, необходимо вооружить власть.

Для того же, чтобы власть чувствовала себя вооруженною, необходимо повсюду оную децентрализировать.

Затем, уже руководствуясь такими соображениями, предлагаю:

1) Губернаторов назначить везде из местных помещиков, яко знающих обстоятельства. Чинами при сем не стесняться, хотя бы был и корнет, но надежного здоровья и опытен.

2) По избрании губернатора, немедленно оного вооружить, освободив от всяких репортов, донесений, а тем более от советов с палатами и какими-либо присутствиями.

3) Ежели невозможно предоставить губернатору издавать настоящие законы, то предоставить издавать *правила* и отнюдь не стеснять его в мероприятиях к искоренению зла.

4) На каждых пяти верстах поставить особенного дистанционного начальника из знающих обстоятельства местных землевладельцев, которого также вооружить, с предоставлением искоренять зло по обстоятельствам.

5) Дистанционному начальнику поставить в обязанность быть праздным, дабы он, ничем не стесняясь, всегда был готов принимать нужные меры[1].

6) Уезды разделить на округа (по четыре на уезд), и в каждом округе учредить из благонадежных и знающих обстоятельства помещиков особливую комиссию, под наименованием: «комиссия для исследования благонадежности».

7) Членам сих комиссий предоставить: а) определять степень благонадежности обывателей; б) делать обыски, выемки и облавы, и вообще испытывать; в) удалять вредных и неблагонадежных людей, преимущественно избирая для поселения места необитаемые и ближайшие к Ледовитому океану;

и 8) В вознаграждение трудов положить всем сим лицам приличное и вполне обеспечивающее их содержание.

Излагая все сие, не ищу для себя почестей, но буду доволен, ежели за все подъятые мною труды предоставлено мне будет хотя единое утешение — утешение сказать: *«И моего тут капля меду есть»*.

Отставной корнет Петр Толстолобов.

---

[1] Пользу от сего я испытал собственным опытом. Двадцать пять лет я проводил время в праздности, а имения мои были так устроены, как дай бог всякому. Не оттого ли, что я всегда имел нужный досуг? *(Примеч. автора проекта.)*

— Ну, что? каково? — пристал ко мне в тот же вечер Прокоп.

— Да что ж... хорошо-то хорошо... только вот насчет Америки как-то сомнительно...

— А ну ее, Америку! Главное дело — децентрализация чтоб была... Согласен ты, что централизация — вред?

— Вред-то вред... что и говорить!

— Ну, а ежели вред, стало быть, как следует, по-твоему, поступить?

— А черт его знает, как оно там...

— То-то же вот и есть!

— Вот тоже: какой-то «английский писатель Стуарт»... черт его знает, кто он таков! Ну, да и Токевиль... воля твоя, а вряд ли он так говорил!

— Что? Токевиль-то? Да я от Петра Иваныча Дракина сам своими ушами слышал, что именно это самое у него в книжке написано! А уж если Петру Иванычу не поверить — кому же и верить?

— Н-нда... а все-таки как-то... На каждых пяти верстах по помещику, и все такое... Черт знает что!

— А я про что же говорю! Именно: черт не разберет! Ты сообрази только, какое мордобитие-то пойдет — любо!

И Прокоп залился таким раздражающим смехом, что я несколько секунд стоял как ошеломленный. Передо мной вдруг совершенно отчетливо встала вся картина децентрализации по мысли и сердцу отставного корнета Толстолобова...

Это было ужасное зрелище...

Не было ни судов, ни палат, ни присутствий — словом сказать, ничего, чем красна современная русская жизнь. Была пустыня, в которой реяли децентрализованные квартальные надзиратели из знающих обстоятельства помещиков.

Бьют, испытывают и ссылают. Потом наскоро подкрепляют силы холодными закусками и водкой и опять бьют, испытывают и ссылают.

Нет ни сапожников, ни портных, ни музыкантов, ни литераторов, ни ученых, ибо всех испытывают. Все кому-нибудь когда-нибудь нагрубили, за всеми есть какой-нибудь счетец, и потому все подлежат исследованию.

Объятый ужасом, я инстинктивно схватился за графин и сразу выпил десять рюмок очищенной.

Другой проект.

О необходимости оглушения в смысле временного усыпления чувств

«Новоявленный публицист, кн. В. Мещерский, говорит справедливо: реформы необходимы, но не менее того необходимы и знаки препинания. Или, говоря иными словами: выпустил реформу — довольно, ставь точку; потом, спустя время, опять выпустил реформу и опять точку ставь. И так далее, до тех пор, пока не исполнятся неисповедимые божии пути.

С своей стороны, скажу более: не одну, а несколько точек всякий раз ставить не мешало бы. И не непременно после реформы, но и в другое, свободное от реформ, время.

Одно не вполне ясно: каким образом все сие исполнить? В теоретичной принципиальности сия мысль совершенно верна, но в практической удовлетворительности она далеко не представляется столь же ясною и удобоприменимою.

Что такое реформа? Реформа есть такое действие, которое человеческим страстям сообщает новый полет. А коль скоро страсти получили полет, то они летят — это ясно. Не успев оставить гавань одной реформы, они уже видят открывающуюся вдали гавань другой реформы и стремятся к ней. Вот здесь-то именно, то есть на этом-то пути стремления от одной реформы к другой, и следует, по мысли кн. Мещерского, употреблять тот знак препинания, о котором идет речь. Возможно ли это?

Возможно; но дабы получить в сем случае успех, необходимо предварительно привести страсти в некоторое особливое состояние, которое поставило бы их в невозможность препятствовать постановке точек. Ибо, в противном случае, они всенепременно тому воспрепятствуют.

Страсти почувствовали силу и получили полет — возможно ли, чтоб они, чувствуя себя сильными, равнодушно взглянули, как небольшое количество благонамеренных людей будут ставить им точки? И опять, какие это точки? Ежели те точки, кои обыкновенно публицисты в сочинениях своих ставят, то разве великого труда стоит превратить

оные в запятые, а в крайнем случае и совсем выскоблить?

Стало быть, прежде всего надо ослабить силу страстей, а потом уже начать ставить точки, и притом не такие, которые можно бы выскоблить, а настоящие, действительные.

Удобнее всего это достигается посредством так называемого *оглушения.*

Многие восстают против этой системы, находя ее недостаточно человеколюбивою и прогрессивною. Но это говорят люди, которые, очевидно, знакомы с системой поверхностно или по слухам. Я же, напротив того, утверждаю: оглушение не токмо не противно либерализму, но и составляет необходимейшее от оного отдохновение.

Токевиль говорит: «Так называемое оглушение не только не противно человеческой природе, но в весьма многих случаях даже способствует восстановлению человеческих сил». А за Токевилем эту истину уже повторяют ныне все английские публицисты.

С физической стороны, оглушение причиняет боль — это правда. Но с нравственной оно успокоивает и сберегает слишком легко издерживающиеся силы. Да разве необходимо, чтоб оглушение имело характер непременно физический? разве невозможно оглушение умственное и нравственное?

Что зло повсюду распространяет свои корни — это ни для кого уже не тайна. Люди обыкновенно начинают с того, что с усмешкой отзываются о сотворении мира, а кончают тем, что не признают начальства. Все это делается публично, у всех на глазах, и притом с такою самоуверенностью, как будто устав о пресечении и предупреждении давно уже совершил течение свое. Что могут в этом случае простые знаки препинания?

Опасность так велика, что не только запятые, даже точки не упразднят ее. Наполен I на острове Св. Елены говорил: «Чем сильнее опасности, тем сильнейшие должны быть употреблены средства для их уврачевания». Под именем сих «сильнейших средств» что разумел великий человек? Очевидно, он разумел то же, что разумею и я, то есть: сперва оглуши страсти, а потом уже ставь точку, хоть целую страницу точек.

Но дабы оглушение не противоречило идеям современного человеколюбия, необходимо, чтобы оно имело характер преимущественно нравственный.

Ежели я человека, посредством искусно комбинированной системы воспрещений и сокрытий, отвлеку от предметов, кои могут излишне пленять его любознательность или давать его мысли несвоевременный полет, то этим я уже довольно много сделаю. Но «довольно много» еще не значит «все». Человек, лишенный средств питать свой ум, впадет в дремотное состояние — но и только. Самая дремота его будет ненадежная и, при первом нечаянном послаблении системы сокрытий, превратится в бдение тем более опасное, что, благодаря временному оглушению, последовало сбережение и накопление умственных сил.

Необходимо, чтобы дремотное состояние было не токмо вынужденное, но имело характер деятельный и искренний.

Если, например, приучить молодых людей к чтению сонников, или к ежедневному рассмотрению девицы Гандон (сам не видел, но из газет очень довольно знаю), или же, наконец, занять их исключительно вытерживанием азбуки в том первоначальном виде, в каком оную изобрел Таут, то умы их будут дремотствовать, но дремотствовать деятельно.

Предавшись чтению сонников, молодые люди будут ожидать от сего исполнения желаний. Одолев Таутову азбуку, они преисполнятся сладкой уверенности, что назначение человеческой жизни ими совершено сполна. О девице Гандон — уже не говорю. Во всех сих упражнениях, очевидно, будет участвовать страсть, но страсть спасительная, имеющая в предмете отличаться в изучении сюжетов безопасных и малополезных, как, например, эфиопского языка. И таким образом получится поколение дремотствующее, но бодрое и не только не препятствующее знакам препинания, но *деятельно* на постановку их согласное.

При таковом согласии реформы примут течение постепенное и вполне правильное. При наступлении благоприятного времени, начальство, конечно, и без сторонних побуждений, издаст потребную по обстоятельствам реформу, но оная уже будет встречена без сомнения, ибо всякому будет известно, что

вслед за тем последуют года, кои имеют быть употреблены на то, чтобы ставить той реформе знаки препинания. Что, кроме системы нравственного оглушения, может дать такой, превышающий всякие ожидания, результат?

Будучи вынужден, по неприятностям, оставить службу и проживая в своей чухломской усадьбе, я имел возможность много о сем предмете рассуждать и даже меняться мыслями с некоторыми уважаемыми соседями, и все мы пришли к заключению: Токевиль прав.

Законов издавать — права не имею; но преподать нечто к изданию таковых — могу.

С горестью покинул службу; с радостью вновь возвратился бы в лоно оной: но удостоюсь ли сего по трудным и превратным нынешним обстоятельствам — настоящим образом предсказать не могу.

Но ежели бы сей мой прожект оказался почему-либо неудобным — могу написать другой, более удобный».

Бывший штатный смотритель чухломских училищ титулярный советник Иван Филоверитов.

«P. S. Многие из сверстников моих давно уже архиереями; я же вынужден взяться за плуг. А у нас, в Чухломе, и овес никогда более как сам-третей не родится!!»

Я был унижен, оскорблен, раздражен...

Вот, думалось мне, ни образования, ни привычки мыслить, ни даже уменья обращаться с человеческою речью — ничего у этого человека нет, а между тем какую ужасную, ехидную мерзость он соорудил! И как свободно, естественно созрела она в его голове! Ни разу не почувствовал он потребности проверить себя, или посоветоваться с своею совестью, или, наконец, хоть из чувства приличия, сослаться на какие-нибудь факты. Нет; он имел в виду только одно: что ему предстоит сочинить пакость и что измышление его, яко пакостное, непременно найдет себе прозелитов.

Выскажи он мысль сколько-нибудь человеческую — его засмеют, назовут блаженненьким, не дадут проходу. Но он явился не с проектом о призна-

нии в человеке человеческого образа (это был бы не проект, а опасное мечтание), а с проектом о превращении человеческих голов в стенобитные машины — и нет хвалы, которою не считалось бы возможным наградить эту гнилую отрыжку старой канцелярской каверзы, не нашедшей себе ограничения ни в совести, ни в знании.

Филоверитов стоял передо мной, как живой. Длинный, змееобразный, он взвивался, складывался пополам, ползал. Голос у него был детский, плачущий, на глазах дрожали слезы крокодила. И он так вкрадчиво смотрел на меня этими глазами, как будто говорил: а хочешь, мой друг, я засажу тебя за эфиопские спряжения?

А что, если в самом деле мне ничего отныне не дадут читать, кроме сонников? Что, если ко мне приставят педагога, который неупустительно начнет оболванивать меня по части памятников эфиопской письменности?

Нет! надобно все это забыть!

Но как забыть — вот вопрос! Куда бежать, где скрыться от *его* вездесущия! На улице, в трактире, в клубе, в гостиной — *оно* везде или предшествует вам, или бежит по пятам. Везде *оно* гласит: уничтожить, вычеркнуть, запретить!

Корнет Толстолобов скользнул по поверхности; чухломец Филоверитов — прямо пронизал взором вглубь. В проекте Толстолобова чересчур много блеску; он обращает слишком мало внимания на человеческую жизнь, он слишком охотно ею жертвует. Шутка сказать! населить поморье Ледовитого океана людьми, оказавшимися, по испытании, неблагонадежными! Это, наконец, даже непрактично! Напротив того, Филоверитов прост и скромен до крайности; он смотрит на человеческую жизнь как на драгоценнейший дар творца и потому говорит: живи, но пребудь навсегда дураком! Не блестяще... но как практично!

Но ежели нельзя забыть об этих прожектах, то, во всяком случае, надобно их сжечь!

Я схватил всю кипу и с каким-то диким ожесточением бросил ее в камин. С наслаждением следил я, как сначала повалил из-под кипы густой, черный дым; как отдельные листы постепенно свертывались, коробились и бурели; как огонь, долгое

время не будучи в состоянии осилить брошенную в него массу бумаги, только лизал ее края; как, наконец, он вдруг прорвался сквозь самый центр массы и разом обхватил ее.

О, ужас! все проекты, один за другим, горели и уничтожались, но один оставался нетленным!

Напрасно огонь напрягал свои усилия, напрасно я сам, вооружившись щипцами, пихал бумагу в самую глубь камина; лист лежал чистый, невредимый, безмятежный, точь-в-точь как лежал он за пять минут перед тем у меня на письменном столе!

Очевидно, тут было какое-то указание, которому я, скрепя сердце, должен был повиноваться...

Я прочитал следующее:

О переформировании де сиянс академии

«С юных лет получил я сомнение в пользе наук, а затем, постепенно произрастая, все более и более в том сомнении утверждался, так что ныне, находясь в чине подполковника и с 1807 года в отставке, даже не за сомнение, а уже за верное для себя оное почитаю.

Вращаясь между людьми всякого звания, я всегда примечал, что лишь те из них вполне благополучны, кои держат себя в довольном от наук расстоянии. Беспечная веселость лица, любезная простота нравов и ировство в телесных упражнениях — вот качества, отличающие истинного сына природы. Обладая сим неоцененным сокровищем, простодушный поселянин смело может считать свой жребий более счастливым, нежели даже вельможа, отягченный добычей и преступлениями. Причина же сему явная та: не зная наук, поселянин о многом не догадывается, а многого и совсем не разумеет. Напротив того, вельможа всего допытывается, но, не всегда будучи рассудительным, зачастую попадает совсем не в тот пункт, куда метить надлежит. И, вследствие того, приходит в меланхолию, а со временем и в истощение сил.

Посему, самым лучшим средством достигнуть благополучия почиталось бы совсем покинуть науки, но как, по настоящему развращению нравов, уже

повсеместно за истину принято, что без наук прожить невозможно, то и нам приходится с сею мыслию примириться, дабы, в противном случае, в военных наших предприятиях какого ущерба не претерпеть. Как ни велико, впрочем, сие горе, но и оное можно малым сделать, ежели при сем, смотря по обширности и величию нашего отечества, соблюдено будет:

Первое, чтобы науки наши против всех прочих были превосходнее;

и *второе*, чтобы оные подлинно распространяли свет, а не тьму.

Но здесь представляется весьма щекотливый вопрос: как сего достигнуть?

На сие отвечаю кратко: посредством заведения таких учреждений, которые имели бы в предмете не распространение наук, но тщательное оных рассмотрение.

Казалось бы, что с сею именно целью учреждена в С.-Петербурге известная де сиянс академия, но ежели и была такова цель ее учреждения, то сколь много она от оной отдалилась!

Вместо того чтобы рассматривать науки, академия де сиянс отчасти распространяла их, отчасти же пребывала к ним равнодушною!

Причина такового упущения двоякая:

Во-первых, члены де сиянс академии, будучи в большей части из немцев, почитают для себя рассмотрение наук за нестерпимое и несносное.

Во-вторых, при обширных пространствах, занимаемых нашим отечеством, члены де сиянс академии не в силах уследить за возникающими в уездах и волостях науками, а равным образом, не имея никаких начальственных отношений к капитан-исправникам, не могут и сих последних уполномочить на то.

Очевидно, что пока сии две причины не будут устранены, дело останется все в прежнем положении!

А что положение сие нестерпимо, в том свидетельствуют три вещи:

1) В каждом селении заведен кабак, а в некоторых по два и по три.

2) На днях в Хвалынской губернии, как свидетельствует газета «Гражданин», одна дочь оставила

одного отца, дабы беспрепятственнее предаться наукам.

и 3) На днях, при моих глазах, дочь одного почтенного генерала резала лягушку и надеялась получить от сего результат.

Все таковые факты внушили мне особливую некоторую мысль, развитие которой яснее выражается из следующих пунктов.

§ 1. Цель учреждения академий

В столичном городе С.-Петербурге учреждается особливая центральная де сиянс академия, назначением которой будет рассмотрение наук, но отнюдь не распространение оных[1].

С тою же целью, повсеместно, по мере возникновения наук, учреждаются отделения центральной де сиянс академии, а так как ныне едва ли можно встретить даже один уезд, где бы хотя о причинах частых градобитий не рассуждали, то надо прямо сказать, что отделения сии или, лучше сказать, малые сии де сиянс академии разом во всех уездах без исключения объявятся.

Академиям сил, для большего удобства в предстоящих им действиях, прежде всего поставлено будет в обязанность определить:

§ 2. Что такое в науках свет?

Мнения по сему предмету разделяются на правильные и неправильные, а в числе последних есть даже много таких, кои, по всей справедливости, могут считаться дерзкими.

Дабы предотвратить в столь важном предмете всякие разногласия, всего натуральнее было бы постановить, что только те науки распространяют свет, кои способствуют выполнению начальственных предписаний. Во-первых, правило сие вполне согласуется с показаниями сведущих людей и, во-вторых, установляет в жизни вполне твердый и надежный опорный пункт, с опубликованием которого всякий,

---

[1] О составе и занятиях сей центральной академии умалчиваю, предоставляя устройство сего вышнему начальству. Скажу только, что заведение сие должно быть обширное. *(Примеч. составителя проекта.)*

кто, по малодушию или из хвастовства, вздумал бы против оного преступить, не может уже сослаться на то, что он не был о том предупрежден.

§ 3. Какие люди для рассмотрения наук наиболее пригодны суть?

Люди свежие и притом опытные.

Как сказано выше, главная задача, которую науки должны преимущественно иметь в виду,— есть научение, каким образом в исполнении начальственных предписаний быть исправным надлежит. Таков фундамент. Но дабы в совершенстве таковой постигнуть, нет надобности в обременительных или прихотливых познаниях, а требуется лишь свежее сердце и не вполне поврежденный ум. Все сие, в свежем человеке, не токмо налицо имеется, но даже и преизбыточествует.

Посему, как в президенты де сиянс академий, так и в члены оных надлежит избирать благонадежных и вполне свежих людей из местных помещиков, кои в юности в кадетских корпусах образование получили, но от времени все позабыли.

Примечание. Президентом следует избирать человека, хотя и преклонных лет, но лишь бы здравый ум был.

§ 4. Что от сего произойти может?

Следующее:

Прежде нежели свежий человек приступит к рассмотрению наук, он постарается припомнить, в каком виде преподавались оные ему в кадетском корпусе. Убедившись затем, что в его время науки имели вид краткий, он, конечно, оком несколько изумленным взглянет на бесчисленные томы, кои после того произошли. Во-первых, увидит он, что хрестоматии появились новые и притом такие, в коих заключаются зачатки революции. Во-вторых, что появилось множество наук, о коих в кадетских корпусах даже в упоминовении не бывало (в особенности одна из них вредная и, как распространительница бездельных мыслей, весьма даже пагубная, называемая «Психологией»). Третие, наконец, что партикулярные люди о таких материях явно

размышляют, о которых в прежнее время даже генералам не всегда размышлять дозволялось.

В виду сего, как он поступит?

Не знаю, как другие, но я поступил бы прямо и откровенно, то есть сказал бы: все сие навсегда прекратить!

А кто же, кроме вполне свежего человека, может таким образом поступить?

§ 5. О пределах власти де сиянс академий

Пределы власти де сиянс академий надлежит сколь возможно распространить.

Везде, где присутствуют науки, должны оказывать свою власть и де сиянс академии. А как в науках главнейшую важность составляют не столько самые науки, сколько действие, ими на партикулярных людей производимое, то из сего прямо явствует, что ни один обыватель не должен мнить себя от ведомства де сиянс академии свободным. Следственно, чем менее ясны будут границы сего ведомства, тем лучше, ибо нет ничего для начальника обременительнее, как ежели он видит, что пламенности его положены пределы.

§ 6. О правах и обязанностях президентов де сиянс академий

Президенты де сиянс академий имеют следующие права:

1) Некоторые науки временно прекращать, а ежели не заметит раскаяния, то отменять навсегда.

2) В остальных науках вредное направление переменять на полезное.

3) Призывать сочинителей наук и требовать, чтобы давали ответы по сущей совести.

4) Ежели даны будут ответы сомнительные, то приступать к испытанию.

5) Прилежно испытывать обывателей, не заражены ли, и в случае открытия таковых, отсылать, для продолжения наук, в отдаленные и малонаселенные города.

и 6) Вообще распоряжаться так, как бы в комнате заседаний де сиянс академии никого, кроме их, президентов, не было.

Обязанности же президентов таковы:

1) Действовать без послабления.

и 2) От времени до времени требовать от обывателей представления сочинений на тему: «О средствах к совершенному наук упразднению, с таким притом расчетом, чтобы от сего государству ущерба не произошло и чтобы оное, и по упразднении наук, соседей своих в страхе содержало, а от оных почитаемо было, яко всех просвещением превзошедшее».

§ 7. Об орудиях власти президента

Ближайшие орудия президента суть члены де сиянс академии.

Права их следующие:

1) Они с почтительностью выслушивают приказания президента, хотя бы оные и не ответствовали их желаниям.

2) По требованию президента являются к нему в мундирах во всякое время дня и ночи.

3) При входе президента встают с мест стремительно и шумно и стоят до тех пор, пока не будет разрешено принять сидячее положение. Тогда стремительно же садятся, ибо время начать рассмотрение.

4) Ссор меж собой не имеют.

5) В домашних своих делах действуют по личному усмотрению, причем не возбраняется, однако ж, в щекотливых случаях обращаться к президенту за разъяснениями.

6) Наружность имеют приличную, а в одежде соблюдают опрятность.

7) Науки рассматривают не ослабляючи, но не чиня по замеченным упущениям исполнения, обо всем доносят президенту.

8) Впрочем, голоса не имеют.

После того, в качестве орудий же, следуют чины канцелярии, кои пребывают в непрерывном писании. Права сих чинов таковы:

1) Они являются к президенту по звонку.

2) Рассматривать науки обязанности не имеют, но, услышав нечто от посторонних людей, секретно доводят о том до сведения президента.

3) Бумаги пишут по очереди; написав одну,

записывают оную в регистр, кладут в пакет и, запечатав, отдают курьеру для вручения; после того зачинают писать следующую бумагу и так далее, до тех пор, пока не испишут всего.

4) Голоса не токмо не имеют, но даже рта разинуть не смеют.

и 5) Относительно почтительности, одежды и прочего поступают с такою же пунктуальностию, как и члены.

Кроме сего, в распоряжении президента должна быть исправная команда курьеров.

§ 8. О прочем

Что касается прочего, то оное объявится тогда, когда де сиянс академии, в новом своем виде, по всему лицу российския державы действие возымеют. Теперь же присовокупляю, что ежели потребуется от меня мнение насчет мундиров или столовых денег, то я во всякое время дать оное готов».

Отставной подполковник Дементий Сдаточный.

Я прочитал до конца, но что после этого было — не помню. Знаю, что сначала я ехал на тройке, потом сидел где-то на вышке (кажется, в трактире, в Третьем Парголове) и угощал проезжих маймистов водкой. Сколько времени продолжалась эта история: день, месяц или год,— ничего неизвестно. Известно только то, что *забыть* я все-таки не мог.

IV

Не знаю, как долго я после того спал, но, должно быть, времени прошло не мало, потому что я видел во сне целый роман.

Но, прежде всего, я должен сказать несколько слов о сновидениях вообще.

В этом отношении жизнь моя резко разделяется на две совершенно отличные от друг друга половины: до упразднения крепостного права и после упразднения оного.

Клянусь, я не крепостник; клянусь, что еще в молодости, предаваясь беседам о святом искусстве в трактире «Британия», я никогда не мог без угрызения совести вспомнить, что все эти пунши, глинтвейны и лампопо́, которыми мы, питомцы нашей alma ma-

ter[1], услаждали себя, — все это приготовлено руками рабов; что сапоги мои вычищены рабом и что когда я, веселый, возвращаюсь из «Британии» домой, то и спать меня укладывает — раб!.. Я уж тогда сознавал, насколько было бы лучше, чище, благороднее и целесообразнее, если б лампопо́ для меня приготовляли, сапоги мои чистили, помои мои выносили не рабы, а такие же свободные люди, как я сам. А многие ли в то время сознавали это?! Я даже написал одну повесть (я помню, она называлась «Маланьей»), в которой самыми негодующими красками изобразил безвыходное положение русского крепостного человека, и хотя, по тогдашнему строгому времени, цензура не пропустила этой повести, но я до сих пор не могу позабыть (многие даже называют меня за это злопамятным), что я автор ненапечатанной повести «Маланья». И когда Прокоп или кто-нибудь другой из «наших» начинают хвастаться передо мною своими эмансипаторскими и реформаторскими подвигами, то я всегда очень деликатно даю почувствовать им, что теперь, когда все вообще хвастаются без труда, ничего не сто́ит, конечно, прикинуть два-три словечка себе в похвалу, но было время...

— Вот когда я свою «Маланью» писал, вот тогда бы попробовали вы похвастаться, господа!

Так говорю я в упор хвастуну Прокопу, и этого напоминания совершенно достаточно, чтобы заставить его понизить тон. Ибо как он ни мало развит, но все-таки понимает, что написать «Маланью» в такое время, когда даже в альбомы девицам ничего другого не писали, кроме:

О Росс! о род непобедимый!
О твердокаменная грудь! —

дело далеко не шуточное...

Тем не менее я должен сознаться, что, при всей моей ненависти к крепостному праву, сны у меня в то время были самые веселые. Либо едешь в гости, либо сидишь в гостях, либо из гостей едешь с сладкою надеждой, что в непродолжительном времени опять в гости ехать надо. Ничего огорчительного, ничего такого, что имело бы прямое отношение к «Маланье» или к бунтовским разговорам в «Бри-

[1] матери-кормилицы.

тании». Я помню, что в «Маланье» я очень живо изобразил, как некоторый Силантий томится в темной вонючей конуре. И за что томится! — за то только, что не хочет «с великим своим удовольствием» предоставить свою дочь Маланью любострастию помещика Пеночкина! Но во сне тот же самый Силантий представлялся мне уж совсем в ином виде: тут он не только не изнывает и не томится, но, напротив того, или песни поет, или бога за меня молит. «Добрый я, добрый!» — грезилось мне во сне, и на эту сладкую грёзу не оказывал влияния даже тяжкий бред моего камердинера и раба Гришки, который в это самое время, разметавшись в соседней комнате на войлоке, изнемогал под игом иного рода сонной фантазии. Ему представлялся миллион сапогов, которые он обязывался вычистить, миллион печей, которые ему предстояло вытопить, миллион наполненных помоями лоханок, мимо которых он не мог пройти, чтобы не терзала его мысль, что он, а не кто другой, должен все это вынести, вылить, вычистить и опять поставить на место для дальнейшего наполнения помоями... С искаженным от ужаса лицом он вскакивал с одра своего, схватывал в руки кочергу и начинал мешать ею в холодной печке, а я между тем перевертывался на другой бок и продолжал себе потихоньку грезить: «Добрый я! добрый!»

Теперь все это изменилось, и сновидения мои приняли характер печальный, почти трагический. Правда, что я все еще продолжаю ездить в гости, но возвращаться вечером из гостей уж не совсем безопасно. Всегда как-то так случается, что едешь лесом, а уж коль скоро снится человеку лес, то непременно приснятся и волки. Они выбегают на дорогу, скалят зубы, стучат ими, прыгают около коляски, визжат, воют и, наконец, бросаются. Я чувствую, как железные когти вонзаются в мою грудь, я вижу разинутую розовую пасть, чувствую ее шумное дыхание — и просыпаюсь... Конечно, осмотревшись кругом, я успокоиваюсь и благодарю моего создателя за то, что я не в лесу, а у себя на мягкой постели. Но едва я успеваю перевернуться на другой бок, как опять сон. Я гуляю в своем парке (известно, как опасно помещику ходить одному в своем парке с тех пор, как нет крепостных садов-

ников!), и вдруг из-за куста — волк! Опять железные когти, опять разинутая розовая пасть, опять тлетворное песье дыхание...

Положим, что все эти страхи мнимые, но если уж они забрались в область сновидений, то ясно, что и в реальной жизни имеется какая-нибудь отрава. Если человеку жить хорошо, то как бы он ни притворялся, что жить ему худо,— сны его будут веселые и легкие. Если жить человеку худо, то как бы он ни разыгрывал из себя удовлетворенную невинность — сны у него будут тяжелые и печальные. Нет сомнения, что в сороковых годах я написал «Маланью», и, следовательно, в некотором роде протестовал, но так как, говоря по совести, жить мне было отлично, то протесты мои шли своим чередом, а сны — своим. Теперь же, хотя я и говорю: ну, слава богу! свершились лучшие упования моей молодости!— но так как на душе у меня при этом скребет, то осуществившиеся упования моей юности идут своим чередом, а сны — своим. Скажу более: сны едва ли в этом случае не вернее выражают действительное настроение моей души, нежели протесты и осуществившиеся упования. Поэтому, когда я встречаю на улице человека, который с лучезарною улыбкой на лице объявляет мне, что в пошехонском земстве совершился новый отрадный факт: крестьянин Семен Никифоров, увлеченный артельными сыроварнями, приобрел две новые коровы!— мне както невольно приходит на мысль: мой друг! и Семен Никифоров, и артельные сыроварни — все это «осуществившиеся упования твоей юности»; а вот рассказал бы ты лучше, какие ты истории во сне видишь!

Печальные сны стали мне видеться с тех пор, как я был выбран членом нашего местного комитета по улучшению быта крестьян. В то время, как ни придешь, бывало, в заседание, так и сыплются на тебя со всех сторон самые трагические новости.

— Представьте себе! у соседа моего ребенка свинья съела!— говорит один член.

— Представьте себе! компаньонку моей жены волк искусал!— объясняет другой.

— А я вам доложу вот что-с,— присовокупляет третий,— с тех пор как эта эмансипация у нас завелась, жена моя нарочно по деревне гулять хо-

дит — и что ж бы вы думали? ни одна шельма даже шапки не думает перед нею ломать!

И таким образом мы жили в чаду самых разнообразных страхов. С одной стороны — опасения, что детей наших переедят свиньи, с другой — грустное предвидение относительно неломания шапок... Возможно ли же, чтобы при такой перспективе мы, беззащитные, так сказать, временно лишенные покровительства законов, могли иметь какие-нибудь другие сны, кроме страшных!

Но этого мало. В одно прекрасное утро нам объявляют, что наш собственный председатель исчез неведомо куда, но «в сопровождении»... Признаюсь, это уж окончательно сразило меня! Господи боже мой! Чтó ж это будет, если уж начали пропадать председатели! И бог знает, чего-чего не припомнилось мне по этому случаю. И анекдот о помещике, которого, за продерзость, приказано было всю жизнь возить по большим дорогам, нигде не останавливаясь. И слышанный в детстве рассказ о младенце, которого проездом родители выронили из саней в снег, и только через сутки потом из-под снегу вырыли. «И что ж бы вы думали! спит мой младенчик самым, то есть, крепким сном, и как теперича его из-под снегу вырыли, так он сейчас: «мама»!» — Так оканчивала обыкновенно моя няня рассказ свой об этом происшествии.

В следующую за пропажей председателя ночь я видел свой первый страшный сон. Сначала мне представлялось, что нашего председателя возят со станции на станцию и, не выпуская из кибитки, командуют: лошадей! Потом, виделось, что его обронили в снег... «Любопытно бы знать,— думалось мне,— отроют ли его и скажет ли он: мама! как тот почтительный младенец, о котором некогда повествовала моя няня?»

И, таким образом, получив для страшных снов прочную реальную основу, я с горестью убеждаюсь, что прежние веселые сны не возвратятся ко мне, по малой мере, до тех пор, пока не возвратится порождавшее их крепостное право.

Но возвратится ли оно?

Итак, я видел сон.

Мне снилось, что я был когда-то откупщиком, нажил миллион и умираю одинокий в chambres garnies.

Около меня стоит Прокоп и с какою-то хищническою тревогой следит за последними, предсмертными искажениями моего лица. Он то на меня посмотрит, то бросит ядовитый взгляд на мою шкатулку. По временам он обращается ко мне с словами: «Ну, ну! не бойсь! бог не без милости!» Но я, с свойственною умирающим проницательностью, слышу в его словах нечто совсем другое. Мне чуется, что Прокоп говорит: уж как ты ни отпрашивайся, а от смерти не отвертишься! так умирай же, ради Христа, поскорее, не задерживай меня понапрасну! Одно мгновение мне показалось, что на губах его мелькнула какая-то подлейшая улыбка, словно он уж заранее меня смаковал,— и ах! как не понравилась мне эта улыбка!

Наконец я испускаю последний вздох, но не успеваю еще окончательно потерять сознание, как вижу: шкатулка моя в одно мгновение ока отперта, и Прокоп торопливо, задыхаясь, вытаскивает из нее мои капиталы...

Я умер.

Читатель! не воображай, что я человек жадный до денег, что я думаю только о стяжении и что, поэтому, сребролюбивые мечтания даже во сне не дают мне покоя. Нет; я никогда не принадлежал к числу капиталистов, а тем менее откупщиков; никогда не задавался мыслью о стяжаниях и присовокуплениях, а, напротив того, с таким постоянным легкомыслием относился к вопросу «о производстве и накоплении богатств», что в настоящее время буквально проедаю последнее свое выкупное свидетельство. Я с гордостью могу сказать, что при составлении уставной грамоты пожертвовал крестьянам четыре десятины лугу по мокрому месту и все безнадежные недоимки простил. Когда я покончу с последним выкупным свидетельством, у меня останется в виду лишь несколько сот десятин худородной и отчасти болотистой земли при деревне Проплёванной[1], да еще какие-то надежды... На

[1] Название «Проплёванной» — историческое. Однажды дедушка Матвей Иванович, будучи еще корнетом, ехал походом с

что́ надежды — этого я и сам хорошенько не объясню, но что надежды никогда и ни в каком случае не оставят меня — это несомненно. Все сдается, что вот-вот совершится какое-то чудо и спасет меня. Например: у других ничего не уродится, а у меня всего уродится вдесятеро, и я буду продавать свои произведения по десятерной цене. Или еще: вдруг Волга изменит течение, поверит левей-левей, и прямо в мое имение! Деревню Проплёванную при этом, разумеется, разрушит до основания, а мои болота обратит в богатейшие заливные луга.

Но ежели не личная корысть дала основание моему сну, тем не менее основание это, до известной степени, все-таки не было чуждо реальности. Дело в том, что я много лет сряду безвыездно живу в провинции, а мы, провинциалы, обделываем свои денежные дела просто, а относимся к ним еще проще. Это совсем не то, что, например, в Петербурге, где ежели кто и ограбит умирающего родственника, то тотчас же начинает рассчитывать, сколько теперь у него шансов за получение бубнового туза на спину и сколько против такового получения. Мы грабим — не стыдясь, а ежели что-нибудь и огорчает нас в подобных финансовых операциях, то это только неудача. Удалась операция — исполать тебе, добру молодцу! не удалась — разиня! — Доста-

---

своим однополчанином, тоже корнетом, Семеном Петровичем Сердюковым. Последний, надо сказать правду, был довольно-таки прост, и дедушка хорошо знал это обстоятельство. И так как походом делать было нечего, то хитрый старик, тогда еще, впрочем, полный надежд юноша, воспользовался простотой своего друга и предложил играть в плевки (игра, в которой дедушка поистине не знал себе победителя). Развязка не заставила долго ждать себя: малыми кушами Сердюков проиграл столь значительную сумму, что должен был предоставить в полную собственность дедушки свою деревню Сердюковку. Дедушка же, в память о финансовой операции, с помощью которой он эту Сердюковку приобрел, переименовал ее в «Проплёванную». Замечательно, что мужики долгое время сердились, когда их называли «проплёванными», а два раза даже затевали бунт. Но, благодарение богу, с помощью экзекуций, все улаживалось благополучно. Впрочем, с объявлением мужицкой воли, мужики опять переименовали деревню в Сердюковку, но я, в пику, продолжаю называть их «проплёванными». Я делаю это в ущерб самому себе, потому что в отмщение за мое название они ни за какие деньги не хотят ни косить мои луга, ни жать мой хлеб; но что же делать? Пусть лучше хлеб мой останется несжатым и луга нескошенными, но зато я всегда буду высоко держать мое знамя! *(Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

точно посетить наши клубы в дни общих обедов, чтобы получить любопытнейшие по сему предмету сведения, особливо ежели соседи по бокам люди знающие и словоохотливые.

— Вот этого видите, вон того, черноволосого, что перед обедом так усердно богу молился, — он у своего собственного сына материнское имение оттягал! — скажет сосед с правой руки.

— Вот этого видите, вон того, что салфеткой брюхо себе застелил, — он родной тетке конфект из Москвы привез, а она, поевши их, через два часа богу душу отдала! — шепчет сосед с левой руки.

— А вон того видите — вон, что рот-то разинул, — он, батюшка, перед самою эмансипацией всем мужикам вольные дал, да всех их к купцу на фабрику и закабалил. Сколько деньжищ от купца получил, да мужицкие дома продал, да скотину, а земля-то вся при нем осталась... Вот ты и смотри, что он рот разевает, а он операцию-то эту в лучшем виде устроил! — снова нашептывает сосед с правой руки.

И вдруг — о, удивление! — человек, застилавший брюхо салфеткой, шлет моему левому соседу стакан шампанского. Разумеется, обмен мыслей.

— Ивану Николаевичу! каково поживаете? каково прижимаете!

— Вы как!

— Вашими молитвами. После обеда пульку составить надо.

— Не вредно.

И действительно, тотчас же после обеда брюхан и мой левый сосед сидят уже за ералашем и дружелюбнейшим образом козыряют до глубокой ночи. И кто же знает? если за брюханом есть конфета, то не считается ли за моим левым соседом целого пирога?

Каким образом создалась эта круговая порука снисходительности — я объяснить не берусь, но что порука эта была некогда очень крепка — это подтвердит каждый провинциал. Однажды я был свидетелем оригинальнейшей сцены, в которой роль героя играл Прокоп. Он обличал (вовсе не думая, впрочем, ни о каких обличениях) друга своего, Анемподиста Пыркова, в присвоении не принадлежащего ему имущества.

— Ну, брат, уж нечего тут очки-то вставлять! — ораторствовал Прокоп, — уж всякому ведь известно, как ты дядю-то мертвого под постель спрятал, а на место его другого в колпаке под одеяло положил! Чтобы свидетели, значит, под завещанием подписались, что покойник, дескать, в здравом уме и твердой памяти... Штукарь ведь ты!

— Ме... «финиссé...»[1] — умолял Пырков, простирая руки.

— Нечего «финиссé»... или уж по-французски заговорил! Уж что было, то было... Вон он и на кровати-то за покойника лежал! — вдруг указал Прокоп на добродушнейшего старичка, который, проходя мимо и увидев, что собралась порядочная кучка беседующих, остановился и с наивнейшим видом прислушивался к разговору.

— Пожалуйста, финиссé... прошу! — продолжал умолять Пырков.

— Чего финиссé! Вот выпить с тобой — я готов, да и то чтоб бутылка за семью печатями была! А других делов иметь не согласен! Потому, ты сейчас: либо конфект от Эйнема подаришь, либо пирогом с начинкой угостишь! Уж это верно!

И что ж? через какие-нибудь полчаса и Прокоп и Пырков сидели за одним столом и дружелюбнейшим образом чокались, что, впрочем, не мешало Прокопу, от времени до времени, язвить:

— А уж что ты тогда покойника под постель спрятал — это, брат, верно!

В другой раз, за обедом у одного из почетнейших лиц города, я услышал от соседа следующий наивный рассказ о двоеженстве нашего амфитриона.

— Служили они, знаете, в Польше-с... ну, молоды-с... полечки там, паненочки... сейчас руку и сердце-с. Вот только, женившись, и спохватились они, что дурно это сделали. Приданого за паненочкой — обтрепанный хвост-с, а родители у них престрогие-с. Вот и говорят они своей коханой-с: я, говорит, душенька, к старикам съезжу, а ты, говорит, после приедешь, как я подготовлю их. Сказано — сделано-с. Приезжают это в наши палестины, а тем временем родители-то уж вдову для них приготовили. Двенадцать тысяч душ-с. Задумались-с. Одна-

[1] Но... прекратите...

ко, как увидели, что от ихней теперича решительности все будущее счастие в зависимости состоит, довольно-таки твердо выговорили: согласен-с. А потом, не говоря худого слова, веселым пирком да за свадебку-с. Пошли тут пиры да банкеты; они было в Варшаву, для устройства служебных дел,— куда тебе! Наша вдовушка так во вкус вошла, что и слышать ничего не хочет-с! Только проходит три месяца, четыре-с, получают наш Петр Иваныч из Варшавы письмо за письмом-с! А, наконец, и решительное-с. «Не знаю, говорит, что́ и подумать, коханый мой Петрусь (это она по-польски его Петрусем называла), я же без тебя не могу жить, а потому и выезжаю завтрашнего числа к тебе». Ну-с, и в другое время неприятно, знаете, этакую конфету получить, а у них, кроме того, еще бал на другой день в подгородном имении на всю губернию назначен-с. Вот и открылись они Кузьме Тихонычу — вон они, с большими-то усами, по правую руку от них сидят,— так и так, говорят, устрой! И что́ же-с! на другой день идет это бал, кадрели, вальсы, все как следует,— вдруг входит Кузьма Тихоныч, подходит к хозяину и только, знаете, шепнул на ушко: аллё! И представьте себе, никто даже не заметил, как они с Кузьмой Тихонычем в Незнамовку съездили (почтовая станция так называется, верстах в четырех от их имения), как там свое дело сделали и обратно оттуда приехали. И такой это приятный бал был, что долгое время вся губерния о нем говорила! А паненочки с тех пор и след простыл. Сказывали, будто в Незнамовке стакан воды выпила-с. Так вот, сударь, какие в старину люди-то живали! Этакое, можно сказать, особливой важности дело сделалось, а они хоть бы вид подали!

. . . .

Таким образом, реальность моих сновидений не может подлежать сомнению. Если я сам лично и никого не обокрал, а тем менее лишил жизни, то, во всяком случае, имею полное основание сказать: я там был, мед-пиво пил, по усам текло... а черт его знает, может быть, и в рот попало!

Итак, продолжаю.

Я умер, но так как смерть моя произошла только во сне, то само собою разумеется, что я мог

продолжать видеть и все то, что случилось после смерти моей.

Прокоп мигом очистил мою шкатулку. Там было пропасть всякого рода ценных бумаг на предъявителя, но он оставил только две акции Рыбинско-Бологовской железной дороги, да и то лишь для того, чтобы не могли сказать, что дворянина одной с ним губернии (очень он на этот счет щекотлив!) не на что было похоронить. Все остальное запихал он в свои карманы и даже за голенищи сапогов.

Потом Прокоп посетил мой чемодан, и так как нельзя было взять вещей очень громоздких, то украл (кажется, я вправе употребить это выражение?) два батистовых носовых платка. Затем он вскрыл мой дорожный несессер и украл оттуда чайную серебряную ложку.

Исполнивши все это, Прокоп остановился посреди комнаты и некоторе время осовелыми глазами озирался кругом, как бы нечто обдумывая. Но я — я совершенно ясно видел, что у него в голове уже зреет защитительная речь. «Я не украл,— говорил он себе,— я только устранил билеты из места их прежнего нахождения!» Очевидно, он уже заразился петербургским воздухом; он воровал без провинциальной непосредственности, а рассчитывая наперед, какие могут быть у него шансы для оправдания.

Затем он отер украденным платком лицо, позвал номерного... и заплакал!!

Это были до такой степени настоящие слезы, что мне сделалось жутко. Видя, как они текут по его лоснящимся щекам, я чувствовал, что умираю все больше и больше. Казалось, я погружаюсь в какую-то бездонную тьму, в которой не может быть речи ни об улике, ни об отмщении. Здесь не было достаточной устойчивости даже для того, чтобы задержать след какого бы то ни было действия. Забвение — и далее ничего...

Но я ошибался. Мой мститель или, лучше сказать, мститель моих законных наследников был налицо.

То был номерной Гаврило. Очевидно, он наблюдал в какую-нибудь щель и имел настолько верное понятие насчет ценности Прокоповых слез, что, когда Прокоп, всхлипывая и указывая на мое бездыханное тело, сказал: «Вот, брат Гаврилушко

(прежде он никогда не называл его иначе, как Гаврюшкой), единственный друг был на земле — и тот помер!» — то Гаврило до такой степени иронически взглянул на него, что Прокоп сразу все понял.

Тогда произошел между ними разговор, который неизгладимо напечатлелся в бессмертной душе моей.

— Видел?

— Смотрел-с.

— Однако, брат, ты шельма!

— По нашей части, сударь, без того нельзя-с.

— Вот тебе три серебра!

Прокоп протянул зеленую кредитку; но Гаврило стоял с заложенными за спину руками и не прикасался к подачке.

— Что ж не берешь?

— Как возможно-с!

— Рожна, что ли, тебе нужно? Ну, сказывай!

— А вот как-с. Тысячу рублей деньгами, да из платья, да из белья — это чтобы сейчас. А впоследствии, по смерть мою, чтобы кормить-поить, жалованья десять рублей в месяц... вина ведро-с.

— Да ты очумел?

— Это как вам угодно-с. Угодно — сейчас можно людей скричать-с!

— Стой! мы вот как сделаем. Денег тебе сейчас — сто рублей...

— Никак невозможно-с.

— Да ты слушай! Денег сейчас тебе сто... ну, двести рублей. Да слушай же, братец, не торопись. Денег сейчас тебе... ну, триста рублей. Потом увезу я тебя к себе в деревню и сделаю над всеми моими имениями вроде как обер-мажордомом... понимаешь?

— А какое будет в деревне положение?

— Жалованья — пятнадцать рублей в месяц. Одежда, пища, вино — это само собой.

Гаврило, однако ж, мялся.

— Сумнительно, сударь, — наконец произнес он, — как бы после обиды от вас не было. Многие вот так-то обещают, а после, гляди, свидетелев-то на тот свет угодить норовят.

Но я уже видел, что колебания Гаврилы не могут быть продолжительны. Действительно, Прокоп набавил всего полтину в месяц — и торг был заключен. Тут же Прокоп вынул из кармана триста рублей, затем вытащил из чемодана две рубашки, все носо-

вые платки, новый сюртук (я только что сделал его у Тедески) и вручил добычу Гаврюшке.

Никогда я так ясно не ощущал, что душа моя бессмертна, и в то же время никогда с такою определенностью не сознавал, до какой степени может быть беспомощною, бессильною моя бессмертная душа!

Я мог реять в эмпиреях, мог с быстротой молнии перелетать через громаднейшие пространства, мог все видеть, все слышать, мог страдать и негодовать, но не мог одного: не мог воспрепятствовать грабежу моих наследственных и благоприобретенных капиталов.

Через час в моем номере уже ходили взад и вперед какие-то неизвестные личности (из них только одна была мне знакома — это поручик Хватов), которые описывали, опечатывали, составляли протоколы, одним словом, принимали так называемые охранительные меры. И никто из них не удивился, что в моей шкатулке оказалось всего-навсего две акции Рыбинско-Бологовской железной дороги да старинная копеечка, которою когда-то благословила дедушку Матвея Иваныча какая-то нищенка. Никому не показалось странным, что у меня нет *ни одного* носового платка. Никому не пришло в голову поинтересоваться, отчего у Прокопа так безобразно оттопырились карманы пиджака. Пришли, понюхали — и ушли. Один Хватов на мгновение как бы удивился.

— Скажите на милость!— воскликнул он, обращаясь к Прокопу,— я ведь, признаться, воображал, что они миллионщики!

— Ну да, держи карман — миллионщики! В прежнее время — это точно: и из помещиков миллионщики бывали! а с тех пор как прошла над нами эта сипация — всем нам одна цена: грош! Конечно, вот кабы дали на концессии разжиться — ну тогда слова нет; да и тут подлец Мерзавский надул!

— Сс...

— Уж так были бедны! так бедны!— лгал, в свою очередь, и Гаврюшка,— как только дотянули! Третьего дня подходят, это, ко мне: Гаврилушка, говорят, дай на два дня три целковых!

Издержки по погребению моего тела принял Про-

коп на свой счет и, надо отдать ему справедливость, устроил похороны очень прилично. Прекраснейшие дроги, шесть попов, хор певчих и целый взвод факельщиков, а сзади громаднейший кортеж, в котором приняли участие все находящиеся в Петербурге налицо кадыки. На могиле моей один из кадыков начал говорить, что душа бессмертна, но зарыдал и не кончил. Видя это, отец протоиерей поспешил на выручку.

— Достославный болярин!— произнес он, обращаясь к моему гробу,— не будем много глаголати, но скажем кратко. Что означает сие торжество? сие торжество прискорбное, ибо оно означает, что душа твоя оставила нас, друзей и присных твоих! но сие торжество и радостное, ибо отколе бежала душа твоя и куда воспарила! Она бежала от прогорькия сей юдоли и воспарила в высоты! Днесь вкушает она с трапезы благоуготованной и благоучрежденной! Вкушай же, душа! вкушай пищу благопотребную, вкушай вечно! Мы же, воспоминая о тебе, друже наш, да не постыдимся.

Эти слова были сигналом к отъезду кортежа в ближайшую кухмистерскую, где Прокоп заказал погребальный обед. Ели: щи, приготовленные кухаркой Карнеевой, московских поросят с кашей, осетрину по-русски, жареную телятину и ледник (мороженое). И я имел удовольствие видеть, как во щи капали Прокоповы слезы и нимало не портили их.

По-настоящему на этом месте мне следовало проснуться. Умер, ограблен, погребен — чего ждать еще более? Но после продолжительного пьянственного бдения организм мой требовал не менее же продолжительного освежения сном, а потому сновидения следовали за сновидениями, не прерываясь. И при этом с замечательным упорством продолжали разработывать раз начатую тему ограбления.

Душа моя не могла долее выдерживать зрелища Прокоповой безнаказанности и воспарила. А однажды воспаривши, мой дух совершенно естественно очутился в господской усадьбе при деревне Проплёванной.

На этот раз, впрочем, сонная фантазия не представила мне никаких преувеличений. Перед умственным взором моим действительно стояла моя

собственная усадьба, с потемневшими от дождя стенами, с составленными из кусочков стекла окнами, с проржавевшею крышей, с завалившеюся оранжереей, с занесенными снегом в саду дорожками, одним словом, со всеми признаками несомненной опальности, в которую ввергла ее так называемая «катастрофа».

Зимний вечер близится к концу; в окнах усадьбы там и сям мелькает свет. Я незримо пробираюсь в дом и застаю моих присных в гостиной. Тут и сестрица Машенька, и сестрица Дашенька, и племянницы Фофочка и Лёлечка. Они сидят с работой в руках и при трепетном свете сальной свечи рассуждают, что было бы, кабы, да как бы оно сделалось, если бы...

При жизни сестрицы меня ненавидели и в то же время любили. Как было им не ненавидеть меня! Я был богат, они — бедны! И чем быстрее я обогащался, тем быстрее росла моя холодность к ним. Сколько раз они умоляли меня (разумеется, каждая с глазу на глаз и по секрету от другой) дозволить им «походить» за мной, а ежели не им, то вот хоть Фофочке или Лёлечке. И я всякий раз с беспримерною в семейных летописях черствостью отказывался. Мало того: я не просто отказывался, но и язвил при этом. Еще недавно, перед самым отъездом моим в последний раз в Петербург, Дарья Ивановна, несмотря на распутицу, прискакала ко мне из Ветлуги и уговаривала довериться ей.

— Не ровён час, братец,— говорила она,— и занеможется вам, и другое что случится — все лучше, как родной человек подле! Принять, подать...

— Вот, сестра Марья тоже просится...

Я сказал это нарочно, ибо знал, что одно упоминовение имени сестрицы Машеньки выведет сестрицу Дашеньку из себя. И действительно, Дарья Ивановна немедленно понеслась на всех парусах. Уж лучше первого встречного наемника, чем Марью Ивановну. Разбойник с большой дороги — и у того сердце мягче, добрее, нежели у Марьи Ивановны. Марья Ивановна! да разве не ясно, как дважды два — четыре, что она способна насыпать яду, задушить подушками, зарубить топором!

— Разве примеры-то эти, братец, не бывали?!

Тем не менее я остался глух ко всем просьбам

и предложениям и зато имел удовольствие видеть, какая глубокая ненависть блестела в глазах обеих сестриц, когда они прощались со мной, отправляясь обратно в Ветлугу.

Но в то же время они не могли и не любить меня. Кошка усматривает вдали кусок сала, и так как опыт прошлых дней доказывает, что этого куска ей не видать, как своих ушей, то она естественным образом начинает ненавидеть его. Но, увы! мотив этой ненависти фальшивый. Не сало она ненавидит, а судьбу, разлучающую ее с ним. Напрасно старается она забыть о сале, напрасно отворачивается от него, начинает замывать лапкой мордочку, ловить зубами блох и проч. Сало такая вещь, не любить которую невозможно. И вот она принимается любить его. Любить — и в то же время ненавидеть...

А разве я не был именно таким куском сала для моих сестриц?

Они до того любили меня, что ради меня даже друг друга возненавидели. Не существовало на свете той клеветы, того подозрения, о которых не было бы заявлено в наших интимных семейных беседах. И Фофочка и Лёлечка — все переплелось, перепуталось в этой бесконечной сети любвей и ненавистей, которую нерукотворно сплела семейная связь. «И лег и встал», «по́ходя ворует», «грабит», «добро из дому тащит» — таков был созданный временем семейный наш лексикон, и ежели этот бессмысленный винегрет всевозможных противоречий, уверток и оговорок мог казаться для постороннего человека забавным, то жить в нем, играть в нем деятельную роль — было просто нестерпимо.

— И что вы грызетесь! — говорил я им иногда под добрую руку,— каждой из вас по двугривенному дать — за глаза довольно, а вы вот думаете миллион после меня найти и добром поделить не хотите: все как бы одной захапать!

— Это не я, братец, это сестрица Даша! Это она завистлива; а мне что! Я и своим предовольна-довольна! — оправдывалась сестрица Марья Ивановна.

— Это не я, братец, это сестрица Маша! мне что! Это она завистлива, а я и своим предовольна-довольна! — в свою очередь, оправдывалась сестрица Дарья Ивановна.

И таким образом, в взаимных поклёпах шло время, покуда мои миллионы не очутились в руках Прокопа.

Итак, сестрицы сидели в гостиной усадьбы Проплёванной и толковали. Взаимное горе соединило их, но поводы для взаимной ненависти чувствовались еще живее. Для каждой каждая представлялась единственною причиной обманутых надежд и случившегося разорения. Если бы не Машенькины интриги — братец наверное отказал бы свой миллион Дашеньке, и наоборот. Хотя же усадьба Проплёванная и принадлежала им несомненно, но большого утешения в этом они не видели. Во-первых, трудно поделить землю: кому отдать просто худородную землю, кому — болота и пески? Во-вторых, дом: неминучее дело продать его за бесценок на своз. Отдать Машеньке — будет протестовать Дашенька; отдать Дашеньке — будет протестовать Машенька. Кончится тем, что придется выписать из Петербурга адвоката, который и присудит себе Проплёванную за труды. Следовательно, в будущем виделись только ссоры, утучнение адвоката и бесконечное, безвыходное галдение. И куда делся этот миллион! Вот кабы он был налицо, так тогда, точно, поделить было бы не трудно! Вот вам, Марья Ивановна, пятьсот тысяч, а вот вам, Дарья Ивановна, пятьсот тысяч. Это была такая светлая, такая лучезарная возможность, что на ней сестрицы позабывали даже о взаимной вражде своей.

— Сам! сам перед отъездом в Петербург говорил: миллиона, говорит, добром поделить не хотите! — восклицает сестрица Марья Ивановна и от волнения даже вскакивает с места и грозится куда-то в пространство кулаком.

— Сама собственными ушами слышала, как говорил: миллиона, говорит, добром поделить не хотите! — вторит с невольным увлечением сестрица Дарья Ивановна.

Фофочка, Лёлечка, Нисочка, Аннинька пожимают плечиками и, шепелявя на институтский манер, произносят:

— Это ужасно! Это уж бог знает что!

— И куда этот миллион девался!

— Точно в прорву какую этот миллион провалился!

— То есть руку на отсеченье отдаю, что Прокопка-мерзавец его украл!

— Он, он, он! Кому другому украсть, как не ему, мерзавцу!

— Сказывают, наш-то пьяница так и не расставался с ним в последнее время! Куда наш пропоец идет — глядишь, и подлец за ним следом!

— А я так слышала: еще где до свету, добрые люди от заутрени возвращаются, а они уж в трактир пьянствовать бегут! Вот и допьянствовался, голубчик!

— У нашего-то, говорят, даже глаза напоследок от пьянства остановились!

— Как не остановиться! с утра до вечера водку́ жрал! Тут хоть железный будь, а глаза выпучишь!

Я слушаю эти разговоры, и мне делается так жаль, так жаль моих бедных сестриц! Правда, что они не совсем-то вежливо обо мне отзываются, но ведь и я с ними поступил... ах, как я поступил! Шутка сказать — миллион! Чье сердце не содрогнется при этом слове! И как удачно этот Прокоп дело обделал! Ни малейшего усложнения! Ни взлома, ни словоохотливой любовницы, ни даже глупой родственницы, которая иначе не помирилась бы, как на подложном завещании, и потом стала бы этим завещанием его же, Прокопа, всю жизнь шпиговать! Ничего! Взял, украл — и был таков!

Но часы бьют одиннадцать, и сестрицы расходятся по углам. Тем не менее сон долгое время не смежает их глаз; как тени, бродят они, каждая в своем углу, и всё мечтают, всё мечтают.

— Уж кабы я на месте Прокопки-подлеца была,— мечтает сестрица Марья Ивановна,— уж, кажется, так бы... так бы! Ну, вот ни с эстолько этой Дашке-паскуде не оставила бы!

Сестрица отмеривает на мизинце самую крохотную частицу и как-то так загадочно улыбается, что нельзя даже определить, что в этой улыбке играет главную роль: блаженство или злорадство.

— Уж кабы я на месте подлеца Прокопки была,— с своей стороны, мечтает сестрица Дарья Ивановна,— уж, кажется, так бы... так бы! Ну, вот ни с эстолько эта Машка-паскуда от меня бы не увидела!

И тоже отмеривает крохотную частицу на ми-

зинце, и тоже улыбается загадочною блаженно-злорадною улыбкой...

Минутное сожаление, которое я только что почувствовал было к сестрицам, сменяется негодованием. Мне думается: если несомненно, что украла бы Маша, украла бы Даша, то почему же нельзя было украсть Прокопу? Разве кража, совершенная «кровными», имеет какой-нибудь особенный вкус против кражи, совершенной посторонними?

И в уме моем невольно возникает вопрос: что могло бы случиться, если б мой миллион был устранен из своего первоначального помещения не Прокопом, а, например, сестрицей Машей?

Во-первых, для меня или, лучше сказать, для моего тела — последствия были бы самые скверные.

Хотя я и знаю, что Прокоп проедает свое последнее выкупное свидетельство, но покуда он еще не проел его, он сохраняет все внешние признаки человека достаточного, живущего в свое удовольствие. Следовательно, обокравши меня, он, по крайней мере, имел полную возможность дать полный простор чувству благодарности, наполнявшему его сердце. Он *мог* нанять прекраснейшие дроги для моего гроба, *мог* устроить для меня погребение с шестью попами и обедом у кухмистера. И если б выискался вольнодумец, который сказал: вот как свободно может человек распоряжаться награбленными деньгами!! — Прокоп мог бы, в виде опровержения, вынуть из кармана *свое собственное* выкупное свидетельство и сунуть его вольнодумцу под нос: вот оно!

Напротив того, ограбь меня сестрица Маша — о великолепии, сопровождавшем мое погребение, не могло бы быть и помину. Будучи состояния бедного и погребая брата, оставившего после себя только старинную копеечку да две акции Рыбинско-Бологовской железной дороги, она, для того только, *чтобы не обличить саму себя*, обязывалась бы продолжать притворяться нищей и сократить расходы по погребению до последней крайности. Прощай попы, прощай факельщики, прощай великолепный кортеж кадыков! Кто знает, не было ли бы мое тело в таком случае погребено где-нибудь на острове Голодае? И имела ли бы тогда возможность душа моя парить, негодовать, ликовать и вообще испытывать всякого рода ощущения, как она делает это теперь,

когда тело мое, по милости Прокопа, погребено в 1-м классе Волковского кладбища?

Стало быть, с точки зрения моего тела, еще бабушка надвое сказала, выгоднее ли было бы, если б меня обокрала сестрица Маша, а не Прокоп.

Во-вторых, *для моего капитала* — последствия были бы едва ли менее невыгодны. Обладая *своим собственным* выкупным свидетельством, Прокоп, под его эгидой, имеет полную возможность пустить в ход мои деньги. Он может и у Бореля кредит себе открыть, и около Шнейдерши походить, а пожалуй, чего доброго, и концессию получить. И никто не имеет юридического основания сказать: вот как человек на награбленные деньги кутит! А так как я и сам при жизни любил, чтоб мой капитал имел обращение постоянное и быстрое, то душа моя может только радоваться, что в руках Прокопа он не прекращает своего течения, не делается мертвым.

Напротив того, сестрица Маша прежде всего вынуждена была бы скрыть мои таланты от всех взоров, потому что всякому слишком хорошо известно, что собственно у нее нет даже медного гроша за душой. Но скрыть — этого еще недостаточно. Она обязывалась даже теперешние свои расходы сократить до невозможности, потому что подозрительные глаза сестрицы Даши, с бдительностью аргуса, следили бы за каждым ее шагом. Купила Маша фунт икры — сейчас Даша: а Машка-воровка нынче уж икру походя ест! Сшила Маша Нисочке ситцевое платьице — сейчас Даша: а видели вы, как воровка-то наша принцессу свою вырядила?! Чем могло бы кончиться это ужасное преследование? А вот чем: в одно прекрасное утро, убедясь, что украденный капитал принес ей только терзания, Маша с отчаянья бросила бы его в отхожее место... Каково было бы смотреть на это душе моей!

Стало быть, как ни кинь, а выходит, что даже лучше, что меня обокрал Прокоп, а не сестрицы.

Но в ту минуту, когда я пришел к этому заключению, должно быть, я вновь перевернулся на другой бок, потому что сонная моя фантазия вдруг оставила родные сени и перенесла меня, по малой мере, верст за пятьсот от деревни Проплёванной.

Я очутился в усадьбе Прокопа. Он сидел у себя

в кабинете; перед ним, в позе более нежели развязной, стоял Гаврюшка.

Прокоп постарел, поседел и осунулся. Он глядел исподлобья, но когда, по временам, вскидывал глаза, то от них исходил какой-то хищный, фальшивый блеск. Что-то среднее между «убью!» и «боюсь!» — виделось в этих глазах.

Очевидно было, что устранение моих денег из первоначального их помещения не прошло ему даром и что в его жизнь проникло новое начало, дотоле совершенно ей чуждое. Это начало — всегдашнее, никогда не оставляющее человека, совершившего рискованное предприятие по присвоению чужой собственности, опасение, что вот-вот сейчас все кончится, соединенное с чувством унизительнейшей зависимости вот от этого самого Гаврюшки, который в эту минуту в такой нахальной позе стоял перед ним.

И действительно, стоило лишь взглянуть на Гаврюшку, чтоб понять всю горечь Прокопова существования. Правда, Гаврюшка еще не сидел, а стоял перед Прокопом, но по отставленной вперед ноге, по развязно заложенным между петлями сюртука пальцам руки, по осовелым глазам, которыми он с наглейшею самоуверенностью озирался кругом, можно было догадываться, что вот-вот он сейчас возьмет да и сядет.

— На что ж это теперича похоже-с! — докладывал Гаврюшка, — я ему говорю: предоставь мне Аннушку, а он, вместо того чтоб угождение сделать...

— Да пойми ты, ради Христа! разве могу я его заставить? такие ли теперь порядки у нас? Вот кабы лет пятнадцать долой — ну, тогда точно! Разве жалко мне Аннушки-то?

— Это как вам угодно-с. И прежде вы барины были, и теперь барины состоите... А только доложу вам, что ежели, паче чаянья, и дальше у нас так пойдет — большие у нас будут с вами нелады!

— Да опомнись ты! чего тебе от меня еще нужно! Сколько ты денег высосал! сколько винища одного вылакал! На-тко с чем еще пристал: Аннушку ему предоставь! Ну, ты умный человек! ну, скажи же ты мне, как я могу его принудить уступить тебе Аннушку? Умный ли ты человек или нет?

— Опять-таки, это как вам угодно. А я, с своей стороны, полагаю так: вместе похищение сделали — вместе, значит, и отвечать будем.

— Вот видишь ли, как ты со мной говоришь! Ну, как ты со мной говоришь! Кабы ежели ты настоящий человек был — ну, смел ли бы ты со мной так говорить! Где у тебя рука?

— Где же рука-с! при мне-с!

— То-то вот «при мне-с»! Разве так отвечают? Разве смел бы ты мне таким родом ответить, кабы ты человек был! «При мне-с»! А я вот тебе, свинье, снисхожу! Зачем снисхожу? Оказал ты мне услугу — я помню это и снисхожу! Вот и ты, кабы ты был человек, а не свинья, тоже бы понимал!

— А я, напротив того, так понимаю, что с моей стороны к вам снисхождениев не в пример больше было. И коли ежели из нас кто свинья, так скорее всего вы против меня свиньей себя показали!

Я ожидал, что Прокоп раздерет на себе ризы и, во всяком случае, хоть одну скулу, да своротит Гаврюшке на сторону. Но он только зарычал, и притом так деликатно, что лишь бессмертная душа моя могла слышать это рычание.

— Для тебя ли, подлец, мало делается! — говорил он, делая неимоверные усилия, чтоб сообщить своему голосу возможно мягкие тоны, — мало ли тебе в прорву-то пихали! Вспомни... искариот ты этакий! Заставил ли я тебя, каналья ты эдакая, когда-нибудь хоть пальцем об палец ударить? И за что только тиранишь ты меня, бесчувственный ты скот?

— Это как вам угодно-с. Только я так полагаю, что, ежели мы вместе похищение делали, так вместе, значит, следует нам и линию эту вести. А то какой же мне теперича, значит, расчет! Вот вы, сударь, на диване теперича сидите — а я стою-с! Или опять: вы за столом кушаете, а я, как какой-нибудь холоп, — в застольной-с... На что похоже!

И Гаврюшка до того забылся, что начал даже кричать. А так как он с утра был пьян (очевидно, с самого дня моего погребения он ни одной минуты не был трезв), то к крику присоединились слезы.

Прокоп некоторое время смотрел на него с выпученными глазами, но наконец-таки обнял всю необъ-

ятность Гаврюшкиных претензий и не выдержал, то есть с поднятыми дланями устремился к негодяю.

— Вон... курицын сын! — гремел он, не помня себя.

— Это как вам угодно-с. Только какое вы слово теперича мне сказали... ах, какое это слово! Ну, да и ответите же вы передо мной за это ваше слово!

Гаврюшка с шиком повернулся на каблуках и не торопясь вышел из кабинета. А Прокоп продолжал стоять на месте, ошеломленный и уничтоженный. Наконец он, однако ж, очнулся и быстро зашагал по комнате.

— Каждый день так! каждый день! — слышалось мне его невнятное бормотание.

Прокоп был несчастлив. Он украл миллион и не только не получил от того утешения, но убедился самым наглядным образом, что совершил кражу исключительно в пользу Гаврюшки. Он не мог ни одной копейки из этого капитала употребить производительно, потому что Гаврюшка был всегда тут и, при первой попытке Прокопа что-нибудь приобрести, замечал: а ведь мы вместе деньги-то воровали. Стало быть, положение Прокопа было приблизительно такое же, как и то, которое душа моя рисовала для сестрицы Марьи Ивановны, если б не Прокоп, а она украла мои деньги. Везде и всегда Гаврюшка! Он болтал без умолку, и если еще не выболтал тайны во всем ее составе, то о многом уже дал подозревать. Самое присутствие Гаврюшки в имении, льготы, которыми он пользовался, нахальное его поведение — все это уже представляло богатую пищу для догадок. Дворовые уже шепчутся между собою, а шепот этих людей — первый знак, что нечто должно случиться. Прокоп видел это, и у него готова была лопнуть голова при мысли, что из его положения только два выхода: или самоубийство, или...

И Прокоп все шагал и шагал, как будто усиливаясь прогнать ехидную мысль.

— И кто же бы на моем месте не сделал этого! — бормотал он, — кто бы свое упустил! Хоть бы эта самая Машка или Дашка — ну, разве они не воспользовались бы? А ведь они, по настоящему-то, даже и сказать не могут, зачем им деньги нуж-

ны! Вот мне, например... ну, я... что бы, например... ну, пятьдесят бы стипендий пожертвовал... Театр там «Буфф», что ли... тьфу! А им на что? Так, жадность одна!

Но ехидная мысль: или самоубийство, или... раз забравшись в голову, наступает все больше и больше. Напрасно он хочет освободиться от нее при помощи рассуждений о том, какое можно бы сделать полезное употребление из украденного капитала: она тут, она жжет и преследует его.

— Позвать Андрея! — наконец кричит он в переднюю.

Андрей — старый дядька Прокопа, в настоящее время исправляющий у него должность мажордома. Это старик добрейший, неспособный муху обидеть, но за всем тем Прокоп очень хорошо знает, что ради его и его интересов Андрей готов даже на злодеяние.

— Надо нам от этого Гаврюшки освободиться! — обращается Прокоп к старому дядьке.

— И что за причина такая! — вздыхает на это Андрей.

— Ну, брат, причина там или не причина, а надо нам от него освободиться!

— В шею бы его, сударь!

— Кабы можно было в шею, разве стал бы я с тобой, дураком, разговаривать!

Наступает несколько минут молчания. Прокоп ходит по кабинету и постепенно все больше и больше волнуется. Андрей вздыхает.

— Надо его вот так! — наконец произносит Прокоп, делая правою рукой жест, как будто прищелкивает большим пальцем блоху.

— Да ведь и то, сударь, с утра до вечера винище трескает, а все лопнуть не может! — объясняет Андрей и, по обыкновению своему, прибавляет: — И что за причина такая — понять нельзя!

Опять молчание.

— Дурману бы... — произносит Прокоп, и какими-то такими бесстрастными глазами смотрит на Андрея, что мне становится страшно.

Я вижу, что преступление, совершенное в минуту моей смерти, не должно остаться бесследным. Теперь уже идет дело о другом, более тяжелом преступлении, и кто знает, быть может, невдолге этот самый Андрей... Не потребуется ли устранить

и его, как свидетеля и участника совершенных злодеяний? А там Кузьму, Ивана, Петра? Душа моя с негодованием отвращается от этого зрелища и спешит оставить кабинет Прокопа, чтобы направить полет свой в людскую.

Там идет говор и гомон. Дворовые хлебают щи; Гаврюшка, совсем уже пьяный, сидит между ними и безобразничает.

— Мне бы, по-настоящему, совсем не с вами, свиньями, сидеть надо! — говорит он.

— Что говорить! И то тебя барин ужо за стол с собой посадит! — поддразнивает его кто-то из дворовых.

— А то не посадит! Посадит, коли прикажу! Барин! велик твой барин! Он барин, а я против него слово имею — вот что!

— Какое же такое слово, Гаврилушка? И что такое ты против барина можешь, коли он тебя сию минуту и всячески наказать, и даже в Сибирь сослать может?

— А таково слово... вор!!

Речь эта несколько озадачивает дворовых, но так как крепостное право уж уничтожено, то смущение, произведенное словом «вор», проходит довольно быстро. К Гаврюшке начинают приставать, требовать объяснений. Дальше, дальше...

И вот, в тот самый вечер, камердинер Семен, получивши от Прокопа затрещину за то, что, снимая с него на ночь сапоги, нечаянно тронул баринову мозоль, не только не стерпел, по обыкновению, нанесенного ему оскорбления, но прямо так-таки и выпалил Прокопу в лицо:

— От вора да еще плюхи получать — это уж не порядки!

При такой неожиданной апострофе Прокоп до того растерялся, что даже не нашелся сказать слова в ответ.

Вся его жизнь прошла перед ним в эту ночь. Вспомнилось и детство, и служба в гусарском полку, и сватовство, и рождение первого ребенка... Но все это проходило перед его умственным взором как-то смутно, как бы для того только, чтобы составить горький контраст тому безвыходному положению, ужас которого он в настоящую минуту испытывал на себе. Одна только мысль была совершен-

но ясна: зачем я это сделал? но и она была до того очевидно бесплодна, что останавливаться на ней значило только бесполезно мучить себя. Но бывают в жизни минуты, когда только такие мысли и преследуют, которые имеют привилегию вгонять человека в пот. Другая мысль, составлявшая неизбежное продолжение первой: вот сейчас... сейчас, сию минуту... вот! — была до того мучительна, что Прокоп стремительно вскакивал с постели и начинал бродить взад и вперед по спальной.

— Всех! — бормотал он, — всех!

Однако ж нелепость этой угрозы была до того очевидна, что он едва успевал вымолвить ее, как тут же начинал скрипеть зубами и с каким-то бессильным отчаянием сучить руками.

— Всем! — продолжал он, вдруг изменяя направление своих мыслей, — всем с завтрашнего же дня двойное жалованье положу! А уж Гаврюшку-подлеца изведу! Изведу я тебя, мерзкий ты, неблагодарный ты человек!

Прокоп шагал и скрипел зубами. Он злобствовал тем более, что его же собственная мысль доказывала ему всю непрактичность его предположений. Разве Гаврюшка один! — подсказывала этам мысль. — Нет, он был один только до тех пор, пока немотствовали его уста. Теперь, куда ни оглянись, — везде Гаврюшки! Сегодня их двадцать; завтра — будет сто, тысяча. Да опять и то: за что им платить? за что? Разве они что-нибудь заслужили? Разве они видели, помогли, скрыли? Ну, Гаврюшка... это так! Он видел, и все такое... Он был вправе требовать, чтоб ему платили! А то, на-тко сбоку припеку, нашлась целая орава охотников — и всем плати!»

— Да будь я анафема проклят, если хоть копейку вы от меня увидите... м-м-мерзавцы! — задыхается Прокоп.

И он шагает, шагает без сна до тех пор, пока розоперстая аврора не освещает спальни лучами своими.

Утром он узнает, что Гаврюшка исчез неизвестно куда...

А сестрица Марья Ивановна уж успела тем временем кой-что пронюхать, и вот, в одно прекрасное утро, Прокопу докладывают, что из города приехал к нему в усадьбу адвокат.

Адвокат — молодой человек самой изящной наружности. Он одет в щегольскую коротенькую визитку; волосы аккуратно расчесаны à la Jésus[1]; лицо чистое, белое, слегка лоснящееся; от каждой части тела пахнет особыми, той части присвоенными, духами. Улыбка очаровательная; жест мягкий, изысканный; произношение такое, что вот так и слышится: а хочешь, сейчас по-французски заговорю! Прокоп в первую минуту думает, что это жених, приехавший свататься к старшей его дочери.

— Я приехал к вам, — начинает адвокат, — по одному делу, которое для меня самого крайне прискорбно. Но... vous savez...[2] вы знаете... наше ремесло.... впрочем, au fond[3], что же в этом ремесле постыдного?

Сердце Прокопа болезненно сжимается, но он перемогает себя и прерывает речь своего собеседника вопросом:

— Позвольте... в чем дело-с!

— Итак, приступим к делу. В сущности, это безделица — une misère! И ежели вы будете настолько любезны, чтоб пойти на некоторые уступочки, то безделица эта уладится сама собой... et ma foi! it n'en sera plus guestion![4] Итак, приступим. Несколько времени назад, в chambres garnies, содержимых некоторою ревельскою гражданкою Либкнехт, умер один господин, которого молва называла миллионером. Я вам сознаюсь по совести: существование этих миллионов еще не доказано, но в то же время, entre nous soit dit[5], оно *может* быть доказано, и доказано без труда. Итак, в видах упрощения наших переговоров, допустим, что это уж дело доказанное, что миллионы были, что, во всяком случае, они *могли* быть, что, наконец...

— Позвольте-с... умер... миллионы... Не понимаю, при чем же тут я? — все еще храбрится Прокоп.

— Я понимаю, что вам понять не легко, но, в то же время, надеюсь, что если вы будете так добры подарить мне несколько минут внимания, то дело, о

---

[1] как у Христа!
[2] вы знаете...
[3] в сущности.
[4] и, право же, об этом не будет больше речи!
[5] между нами говоря.

котором идет речь, для вас самих будет ясно, как день. Итак, продолжаю. В нумерах некоей Либкнехт умер некоторый миллионер, при котором, в минуту смерти, не было ни родных, ни знакомых — словом, никого из тех близких и дорогих сердцу людей, присутствие которых облегчает человеку переход в лучшую жизнь. Здесь был только один человек, и этот-то один человек, который называл себя другом умиравшего, и закрыл ему глаза...

— Прекрасно-с! это прекрасно-с! Называл себя другом! закрыл глаза! Скажите, какое важное преступление! — все еще бодрил себя Прокоп.

— Покуда преступления, действительно, еще нет. Закрыть глаза другу — это даже похвально. Да и вообще я должен предупредить вас, что я и в дальнейших действиях этого друга не вижу ничего такого... одним словом, непохвального. Я не ригорист, Dieu merci[1]. Я понимаю, что только богу приличествует судить тайные побуждения человеческого сердца, сам же лично смотрю на человеческие действия лишь с точки зрения наносимых ими потерь и ущербов. Конечно, быть может, на суде, когда наступит приличная обстоятельствам минута — я от всего сердца желаю, чтобы эта минута не наступила никогда! — я тоже буду вынужден квалифицировать известные действия известного «друга» присвоенным им в законе именем; но теперь, когда мы говорим с вами, как порядочный человек с порядочным человеком, когда мы находимся в такой обстановке, в которой ничто не говорит о преступлении, когда, наконец, надежда на соглашение еще не покинула меня...

— Ну да! это значит, что вам хочется что-нибудь с меня стянуть — так, что ли?

— «Стянуть» — ce n'est pas le vrai mot[2], но сознаюсь откровенно, что если бы вы пошли на соглашение, я услышал бы об этом с большим, с величайшим, можно сказать, удовольствием!

— С кем же на соглашение? с Машкой? с Дашкой?

— В настоящую минуту я еще не нахожу удобным открыть вам, кто в этом деле истец. Вообще,

[1] благодарение богу.
[2] это не то слово.

с потерпевшею стороной... Я полагаю, что покамест это и для вас совершенно безразлично.

— Однако, брат, ты фификус! — вдруг произносит Прокоп с какою-то горькою иронией.

Но видно, что краткое введение молодого адвоката уже привело его в то раздраженное состояние, когда человеку, как говорится, ни усидеть, ни устоять нельзя. С судорожным подергиванием во всем организме, с рычанием в груди вскакивает он со стула и начинает обычное маятное движение взад и вперед по комнате. По временам из уст его вылетают легкие ругательства. А молодой человек между тем так ясно, так безмятежно смотрит на него, как будто хочет сказать: а согласись, однако, что в настоящую минуту нет ни одного сустава в целом твоем организме, который бы не болел!

— А знаете ли вы, сударь, русскую пословицу: «С сильным не борись, с богатым не тянись»? — вопрошает наконец Прокоп, останавливаясь перед молодым человеком.

— Помилуйте! я затем и адвокат, чтобы знать все прекраснейшие наши пословицы!

— Ну-с, и что же!

— И за всем тем намерений своих изменить не могу-с. Я отнюдь не скрываю от себя трудностей предстоящей мне задачи; я знаю, что мне придется упорно бороться и многое преодолевать; но — ma foi![1] — я надеюсь! И поверите ли, прежде всего, я надеюсь на вас! Вы сами придете мне на помощь, вы сами снимете с меня часть того бремени, которое я так неохотно взял на себя нести!

— Ну, уж это, кажется... дудки!

— Нет-с, это совсем не так странно, как может показаться с первого взгляда. Во-первых, вам предстоит публичный и — не могу скрыть — очень и очень скандальный процесс. При открытых дверях-с. Во-вторых, вы, конечно, без труда согласитесь понять, что пожертвовать десятками тысяч для вас все-таки выгоднее, нежели рисковать сотнями, а быть может — кто будет так смел, чтобы прозреть в будущее! — и потерей всего вашего состояния!

— «Десятками тысяч!» однако это штука! Ни дай, ни вынеси за что — плати десятки тысяч!

---

[1] клянусь!

— Позвольте, мы, кажется, продолжаем не понимать друг друга. Вы изволите говорить, что платить тут не за что, а я, напротив того, придерживаюсь об этом предмете совершенно противоположного мнения. Поэтому я постараюсь вновь разъяснить вам обстоятельства настоящего дела. Итак, приступим. Несколько времени тому назад, в Петербурге, в Гороховой улице, в chambres garnies, содержимых ревельской гражданкою Либкнехт...

— Да ты видел, что ли, как я украл?

— Pardon!.. Я констатирую, что выражение «украл» никогда не было мною употреблено. Конечно, быть может, в суде... печальная обязанность... но здесь, в этой комнате, я сказал только: несколько времени тому назад, в Петербурге, в Гороховой улице, в chambres garnies...

Любопытно было видеть, с какою милою непринужденностью этот молодой и, по-видимому, даже тщедушный мышонок играл с таким старым и матерым котом, как Прокоп, и заставлял его жаться и дрожать от боли. Наконец Прокоп не выдержал.

— Стой! — зарычал он в неистовстве, — срыву? сколько надобно?

— Помилуйте... срыву! разве я дал повод предполагать?

— Да ты не мямли; сказывай, сколько?

— Ежели так, то, конечно, я буду откровенен. Прежде всего, я охотно допускаю, что исход процесса неизвестен и что, следовательно, надежды на обратное получение миллиона не могут быть названы вполне верными. Поэтому потерпевшая сторона *может* и даже *должна* удовлетвориться возмещением лишь части понесенного ею ущерба. В этих видах, а равно и в видах округления цифр, я полагал бы справедливым и достаточным... ограничить наши требования суммой в сто тысяч рублей.

— На-тко! выкуси!

Прокоп сделал при этом такой малоупотребительный жест, что даже молодой человек, несмотря на врожденную ему готовность, утратил на минуту ясность души и стал готовиться к отъезду.

— Стой! пять тысяч на бедность! Довольно?

Молодой человек обиделся.

— Я решительно замечаю, — сказал он, — что мы

не понимаем друг друга. Я допускаю, конечно, что вы можете желать сбавки пяти... ну, десяти процентов с рубля... Но предлагать вознаграждение до того ничтожное, и притом в такой странной форме...

— Ну, сядем... будем разговаривать. За что же я, по-вашему, вознаграждение-то должен дать?

— Я полагаю, что этот предмет нами уже исчерпан и что насчет его не может быть даже недоразумений. Дело идет вовсе не о *праве* на вознаграждение — это право вне всякого спора,— а лишь о размере его. Я надеюсь, что это наконец ясно.

— Ну, хорошо. Положим. Поддели вы меня — это так. Ходите вы, шатуны, по улицам и примечаете, не сблудил ли кто,— это уж хлеб такой нынче у вас завелся. Я вот тебя в глаза никогда не видал, а ты мной здесь орудуешь. Так дери же, братец, ты с меня по-божески, а не так, как разбойники на больших дорогах грабят! Не все же по семи шкур драть, а ты пожалей! Ну, согласен на десяти тысячах помириться? Сказывай! сейчас и деньги на стол выложу!

Молодого человека слегка передергивает. С минуту он колеблется, но колебание это длится именно не больше одной минуты, и твердость духа окончательно торжествует.

— Извольте,— говорит он,— для вас девяносто тысяч. Менее — ей-богу — не в состоянии!

— Да ты говори по совести! Ведь десять тысяч — это какие деньги! Сколько делов на десять тысяч сделать можно? Ведь и Дашке твоей, и Машке — обеим им вместе красная цена грош! Им десяти-то тысяч и не прожить! Куда им! пойми ты меня, ради Христа!

— Я все очень хорошо понимаю-с, но позвольте вам доложить: тут дело идет совсем не о каких-то неизвестных мне Машках или Дашках, а о восстановлении нарушенного права! Вот на что я хотел бы обратить ваше внимание!

— Ну да, и восстановления и упразднения — все это мы знаем! Слыхали. Сами прожекты об упразднениях писывали!

Я не стану описывать дальнейшего разговора. Это был уж не разговор, а какой-то ни с чем не сообразный сумбур, в котором ничего невозможно было разобрать, кроме: «пойми же ты!», да «слыха-

но ли?», да «держи карман, нашел дурака!» Я должен, впрочем, сознаться, что требования адвоката были довольно умеренны и что под конец он даже уменьшил их до восьмидесяти тысяч. Но Прокоп, как говорится, осатанел: не идет далее десяти тысяч — и баста. И при этом так неосторожно выражается, что так-таки напрямки и говорит:

— Миллион просужу, а тебе, прохвосту, копейки не дам!

С тем адвокат и ушел.

Дальнейшие подробности этого замечательного сновидения представляются мне довольно смутно. Помню, что было следствие и был суд. Помню, что Прокоп то и дело таскал из копилки деньги. Помню, что сестрица Машенька и сестрица Дашенька, внимая рассказам о безумных затратах Прокопа, вздыхали и облизывались. Наконец, помню и залу суда

Речи, то пламенные, то язвительные, неслись потоком; присяжные заседатели обливались потом; с Прокоповой женой случилась истерика; Гаврюшка, против всякого чаяния, коснеющим языком показывал:

— Ничего этого не было, и никому я этого не говорил. Я человек пьяный, слабый, а что жил я у их благородия в обермажордомах — это конечно, и отказу мне в вине не было — это завсегда могу сказать!

Наконец, формулированы и вопросы для присяжных...

Но какие это были странные вопросы! Именно только во сне могло представиться что-нибудь подобное!

Вопрос первый. Согласно ли с обстоятельствами дела поступил Прокоп, воспользовавшись единоличным своим присутствием при смертных минутах такого-то (имярек), дабы устранить из первоначального помещения принадлежавшие последнему ценности на сумму, приблизительно, в миллион рублей серебром?

Вопрос второй. Не поступили ли бы точно таким же образом родственницы покойного, являющиеся в настоящем деле в качестве истиц, если бы были в таких же обстоятельствах, то есть единолично присутствовали при смертных минутах миллионовладельца и имели легкую возможность секретно

устранить из первоначального помещения принадлежавший ему миллион?

Душа моя так и ахнула.

Через минуту ответы уж были готовы (до такой степени присяжные заседатели были тверды в вере!).

На *первый вопрос:* да; строго согласно с обстоятельствами дела.

На *второй вопрос:* да, поступили бы, и притом не оставя даже двух акций Рыбинско-Бологовской железной дороги.

Один из заседателей простер свое усердие до того, что, не удовольствовавшись сим кратким исповеданием своих убеждений, зычным голосом воскликнул:

— Свое — да упускать! этак и по миру скоро пойдешь!

Прокоп сиял; со всех сторон его обнимали, нюхали и осыпали поцелуями.

Один молодой адвокат глядел как-то томно и был как бы обескуражен; хотя же я и слышал, как он сквозь зубы процедил:

— Ну, нет, messieurs, еще роббер не весь сыгран! О, нет! сыграна еще только первая партия!

Но внутренно он, конечно, скорбел, что не примирился с Прокопом на десяти тысячах.

Я проснулся с отяжелевшею, почти разбитою головой. Тем не менее хитросплетения недавнего сна представлялись мне с такою ясностью, как будто это была самая яркая, самая несомненная действительность. Я даже бросился искать мой миллион и, нашедши в шкатулке последнее мое выкупное свидетельство, обрадовался ему, как родному отцу.

— Однако-таки оставил! — вырвалось у меня из груди.

Но через минуту я опять вспомнил о миллионе и, продолжая бредить, так сказать, наяву, предался размышлениям самого горького свойства.

«Как жить? — думалось мне, — как оградить свою собственность? как обеспечить права присных и кровных? «Согласно с обстоятельствами дела»! — шутка сказать! Разве можно украсть не согласно

с обстоятельствами дела? Нет, надо бежать! Непременно, куда-нибудь скрыться, затеряться, забыть! Не денег жалко — нет! Деньги — дело наживное! Вот выйду из номера, стану играть оставшимися двумя акциями Рыбинско-Бологовской железной дороги — и доиграюсь опять до миллиона! Не денег — нет! — жаль этого дорогого принципа собственности, этого, так сказать, палладиума... Но куда бежать? в провинцию? Но там Петр Иваныч Дракин, Сергей Васильевич Хлобыстовский... Ведь они уже притаились... они уже стерегут! Я вижу отсюда, как они стерегут!!»

И я готов был окончательно расчувствоваться, как в комнату мою, словно буря, влетел Прокоп.

— Обложили! — кричал он неистово, — обложили!

— Кого? когда? каким образом?

— Сами себя! на этих днях! кругом... Ну, то есть, просто вплотную!

Но об этом в следующей главе.

V

Очевидно, речь шла или о подоходном налоге, или о всесословной рекрутской повинности. А может быть, и о том и о другом разом.

Прокоп был вне себя; он, как говорится, и рвал и метал. Я всегда знал, что он ругатель по природе, но и за всем тем был изумлен. Таких ругательств, какие в эту минуту расточали уста его, я, признаюсь, даже в соединенном рязанско-тамбовско-саратовско-воронежском клубе не слыхивал.

— Успокойся, душа моя! — умолял я его, — в чем дело?

— Да ты, с маймистами-то пьянствуя, видно, не слыхал, что на свете делается! Сами себя, любезный друг, обкладываем! Сами в петлю лезем! Солдатчину на детей своих накликаем! новые налоги выдумываем! Нет, ты мне скажи — глупость-то какая!

— Напротив того, я вижу тут прекраснейший порыв чувств!

— Фофан ты — вот что! Везде-то у вас порыв чувств, все-то вы свысока невежничаете, а коли поближе на вас посмотреть — именно только глупость одна! Ну, где же это видано, чтобы человек тосковал о том, что с него денег не берут или в солдаты его не отдают!

— Однако, согласись, что нельзя же допускать такую неравномерность! ведь берут же деньги с *других*! отдают же *других* в солдаты!

— Да ведь *других*-то и порют! Порют ведь, милый ты человек! Так отчего же у тебя не явится порыва чувств попросить, чтобы и тебя заодно пороли?!

Признаюсь откровенно, вопрос этот был для меня не нов; но я как-то всегда уклонялся от его разрешения. И деньги, покуда еще не требуют, я готов отдать с удовольствием, и в солдаты, покуда еще не зовут на службу, идти готов; но как только зайдет вопрос о всесословных поронцах (хотя бы даже только в теории), инстинктивно как-то стараешься замять его. Не лежит сердце к этому вопросу — да и полно! «Ну, там как-нибудь», или: «Будем надеяться, что дальнейшие успехи цивилизации» — вот фразы, которые обыкновенно произносят уста мои в подобных случаях, и хотя я очень хорошо понимаю, что фразы эти ничего не разъясняют, но, может быть, именно потому-то и говорю их, что действительное разъяснение этого предмета только завело бы меня в безвыходный лабиринт.

Эта боязнь взглянуть вопросу прямо в лицо всегда угнетала меня. И я тем более не могу простить ее себе, что в душе и даже на бумаге я один из самых горячих поклонников равенства. Уж если драть, так драть всех поголовно и неупустительно — нельзя сказать, чтоб я не понимал этого. Но я не имею настолько твердости в характере, чтоб быть совершенно последовательным, то есть просить и даже требовать для самого себя права быть поротым. Иногда я иду даже далее идеи простого равенства перед драньем и формулирую свою мысль так: уж если не драть одного, то не будет ли еще подходящее не драть никого? Кажется, что́ может быть радикальнее! Но и тут опять овладевает мною малодушие... Да как это никого не драть? Да ведь эдак, пожалуй, мы и бога-то позабудем! И кончается дело тем, что я порешаю с моими сомнениями при помощи заранее проштудированных фраз: ну, там как-нибудь... будем надеяться, что дальнейшие успехи цивилизации... с одной стороны, оно, конечно, и т. д.

Так точно поступил я и теперь.

— Послушай, душа моя,— сказал я Прокопу,— какая у тебя, однако ж, странная манера! Ты всегда поставишь вопрос на такую почву, на которой просто всякий обмен мыслей делается невозможным! Ведь это нельзя!

И, говоря таким образом, я постепенно так разгорячился, что даже возвысил голос и несколько раз сряду в упор Прокопу повторил:

— Это нельзя! нет, это нельзя!

— Что нельзя-то? Ты не грозись на меня, а сказывай прямо: отчего ты не просишь, чтобы тебя, по примеру «других», пороли? Ну, говори! не виляй!

— Послушай, если я еще в сороковых годах написал «Маланью», то, мне кажется, этого достаточно... Наконец, я безвозмездно отдал крестьянам четыре десятины очень хорошей земли... Понимаешь ли — *безвозмездно!!*

— Ну, а я «Маланьи» не писал и никакой земли безвозмездно не отдавал, а потому, как оно там — не знаю. И поронцы похулить не хочу, потому что без этого тоже нельзя. Сечь — как не сечь; сечь нужно! Да сам-то я, друг ты мой любезный, поротым быть не желаю!

— Но я не понимаю, какое же может быть отношение между поронцами, как ты их называешь, и, например, всесословною рекрутскою повинностью?

— Где тебе понять! У тебя ведь порыв чувств! А вот как у меня два сына растут, так я понимаю!

Прокоп был в таком волнении, в каком я никогда не видал его. Он был бледен и, по-видимому, совершенно искренно расстроен.

— Я это дело так понимаю,— продолжал он,— вот как! Я сам, брат, два года взводом командовал — меня порывами-то не удивишь! Бывало, подойдешь к солдатику: ты что, такой-сякой, рот-то разинул!.. Это сыну-то моему! А! хорош сюрприз!

— Но позволь... ведь успехи цивилизации...

— Какие тут успехи цивилизации, тут убивства будут — вот что! «Что ты рот-то разинул!» — ах, черт подери! Ты понимаешь ли, как в наше время на это благородные люди отвечали!

Действительно, я вспомнил, что когда я еще был

в школе, то какой-то генерал обозвал меня «щенком» за то только, что я зазевался, идя по улице, и не вытянулся перед ним во фронт. И должен сознаться, что при одном воспоминании об этом эпизоде моей жизни мне сделалось крайне неловко.

— Или опять этот подоходный налог! — продолжал Прокоп, — с чего только бесятся! с жиру, что ли? Держи карман — жирны!

При этих словах я вдруг вспомнил о своем миллионе и невольным образом начал рассчитывать, сколько должно сойти с меня налогу, если восторжествует система просто подоходная, и сколько — ежели восторжествует система подоходно-поразрядная.

— А ведь знаешь ли, — сказал я, — я сегодня во сне видел, что у меня миллион!

— Ну, разве что во сне...

— А если бы, однако ж, у тебя был миллион — что бы тогда?

— Ну, тогда, пожалуй, и подоходный и поразрядный — катай на все!

— Однако непоследователен же ты, душа моя!

— Да пойми же, ради Христа, ведь тогда...

Прокоп, по-видимому, хотел объяснить, что из дарового миллиона, конечно, ничего не сто́ит уступить сотню-другую тысяч; но вдруг опомнился и уставился на меня глазами.

— Фу, черт! — воскликнул он, — да, никак, ты еще не очнулся! о каких это ты миллионах разговариваешь?

— Нет, ты не виляй! ты ответь прямо: ежели бы...

— «Ежели бы»! Мало чего, ежели бы! Вот я каждую ночь в конце июня да в конце декабря во сне вижу, что двести тысяч выиграл, только толку-то из этих снов нет!

— А ну, как выиграешь?

— Кабы выиграть! Уж таких бы мы делов с тобою наделали!

— Я бы сейчас у Донона текущий счет открыл!

— Донон — это само собой. Я бы и в Париж скатал — это тоже само собой. Ну, а и кроме того... Вот у меня молотилка уж другой год не молотит... а там, говорят, еще жнеи да сеноворошилки какие-

то есть! Это, брат, посерьезнее, чем у Донона текущий счет открыть.

— Винокуренный завод хорошо бы устроить. Про костяное удобрение тоже пишут...

— Уж как бы не хорошо! Ты пойми, ведь теперь хоть бы у меня земля... ну, какая это земля? Ведь она холодная! Ну, может ли холодная земля какой-нибудь урожай давать? Ну, а тогда бы...

Разговор как-то вдруг смяк, и мы некоторое время молча похаживали по комнате, сладко вздыхая и еще того слаще соображая и вычисляя.

— И отчего это у нас ничего не идет! — вдруг как-то нечаянно сорвалось у меня с языка,— машин накупим — не действуют; удобрения накопим видимо-невидимо — не родит земля, да и баста! Знаешь что? Я так думаю, чем машины-то покупать, лучше прямо у Донона текущий счет открыть — да и покончить на этом!

— А что ты думаешь, ведь оно, пожалуй...

Сказавши это, Прокоп опять взглянул на меня изумленными глазами, словно сейчас пробудился от сна.

— Слушай! не мути ты меня, Христа ради! — сказал он,— ведь мы уж и так наяву бредим.

— Отчего же и не побредить, душа моя! ведь прежнего не воротишь, а если не воротишь, так надо же что-нибудь на место его вообразить!

— Тоска! Тоски мы своей избыть не можем — вот что!

Я знал, что когда Прокоп заводит разговор о тоске, то, в переводе на рязанско-тамбовско-саратовский жаргон, это значит: водки и закусить! — и потому поспешил распорядиться. Через минуту мы дружелюбнейшим образом расхаживали по комнате и постепенно закусывали.

— Не понимаю я одного,— говорил я,— как ты не признаёшь возможности внезапного порыва чувств!

— Кто? я-то не признаю? я, брат, даже очень хорошо понимаю, что с самой этой эмансипации мы ничем другим и не занимаемся, кроме как внезапными порывами чувств!

— Ну видишь ли! Сидим мы себе да помалчиваем; другой со стороны посмотрит: «Вот, скажет, бесчувственные!» А мы вдруг возьмем да и вскочим: бери всё!

— Нам, значит, чтоб ничего!

— А зачем нам? Жить бы только припеваючи да не знать горя-заботушки — чего еще нужно?

Начался разговор о сладостях беспечального жития, без крепостного права, но с подоходными и поразрядными налогами, с всесословною рекрутскою повинностью и т. д. Мало-помалу перспективы, которые при этом представились, до того развеселили нас, что мы долгое время стояли друг против друга и хохотали. Однако ж, постепенно, серьезное направление мыслей вновь одержало верх над смешливостью.

— А знаешь ли, что́ мне пришло в голову,— вдруг сказал я,— ведь, может быть, это они неспроста?

— Что такое неспроста?

— А наши-то обкладывают себя. Вот теперь они себя обкладывают, а потом и начнут... и начнут забирать!

— Да что забирать-то?

— Как что! чудак-ты! Да просто возьмут да и скажут: мы, скажут, сделали удовольствие, обложили себя, что называется, вплотную, а теперь, дескать, и вы удовольствие сделайте!

— Держи карман!

— Нет, да ты вникни! ведь это дело очень и очень статочное! Возьми хоть Петра Иваныча Дракина — ну, станет ли он себя обкладывать, коли нет у него про запас загвоздки какой-нибудь?!

— Та и есть загвоздка, что будет твой Петр Иваныч денежки платить, а сыну его будут «что ты рот-то разинул?» говорить.

— Однако ж деньги-то ведь не свой брат! Коли серьезно-то отдавать их придется... ведь это ой-ой-ой!

— Ничего! обойдемся! А коли тошно придется — пардону попросим!

— Нет! как хочешь, а что-нибудь тут есть! Петр Иваныч — он прозорлив!

Но Прокоп, который только что перед тем запихал себе в рот огромный кусок колбасы, сомнительно покачивал головой.

— Вот разве что,— наконец произнес он,— может, новых мест по этому случаю много откроется. Вот это — так! против этого — не спорю!

— Зачем же тут места?

— А как же. Наверное, пойдут счеты да отчеты, складки да раскладки, наблюдения, изыскания... Одних доносов сколько будет!

— Гм... а что ты думаешь! ведь, пожалуй, это и так!

— Верно говорю. Сначала вот земство тоже бранили, а теперича сколько через это самое земство людей счастливыми себя почитают!

— Что же! если даже только места — ведь и это, брат, штука не плохая!

— Что говорить. И я в раскладчики пойду, коли доброе жалованье положат!

— А я доносы буду разбирать, коли тысячи две в год дадут! Стало быть, черт-то и не так страшен, как его малюют! Вот ты сюда прибежал — чуть посуду сгоряча не перебил, а посмотрел да поглядел — ан даже выгоду для себя заприметил!

Прокоп молча перебирал пальцами, как будто нечто рассчитывал.

— С тебя что́ возьмут? — продолжал я, — ну, триста, четыреста рублей, а жалованья-то две-три тысячи положат! А *им* ведь никогда никакого жалованья не положат, а всё будут брать! всё брать!

— И так-то, брат, будут брать, что только держись! Это верно.

— Ну, вот видишь ли!

Беседуя таким образом, мы совершенно шутя выпили графинчик и, настроив себя на чувствительный тон, пустились в разговоры о меньшей братии.

— Меньшая братия — это, брат, первое дело! — говорил я.

— Меньшая братия — это, брат, штука! — вторил Прокоп.

И — странное дело! — ни мне, ни Прокопу не было совестно. Напротив того, я чувствовал, как постепенно проходила моя головная боль и как мысли мои всё больше и больше яснели. Что же касается до Прокопа, то лицо его, под конец беседы, дышало таким доверием, что он решился даже тряхнуть стариной и, прощаясь со мной, совсем неожиданно продекламировал:

В надежде славы и добра
Иду вперед я без боязни!

— Так-то, брат! — завершил он, — надо теперь бежать домой да письма писать. А то ведь и место наметишь, а его у тебя из-под носа выхватят!

Несмотря на будничный исход, разговор этот произвел на меня возбуждающее действие. Что́, в самом деле, кроется в этом самообкладывании? подкоп ли какой-нибудь или только внезапный наплыв чувств?

«Или, быть может, — мелькало у меня в голове, — дело объясняется и еще проще. Пришло какому-нибудь либералу-гласному в голову сказать, что налоги, равномерно распределяемые, суть единственные, которые, по справедливости, следует назвать равномерно распределенными! — другим эта мысль понравилась, а там и пошла пильня в ход».

Прежде всего, я, разумеется, обратился за разрешением этих вопросов к истории нашей общественности.

Имели ли наши предки какое-нибудь понятие о подкопах? Конечно, имели, ибо фрондерство исстари составляло характеристическую черту наших дедушек и бабушек. Они фрондировали в дворянских собраниях, фрондировали в клубах, фрондировали, устраивая в пику предержащим властям благородные спектакли и пикники. Но им никогда не приходило на мысль (по крайней мере, история не дает ни одного примера в этом роде), что самообкладывание есть тоже вид фрондерства, из которого могут выйти для них какие-то якобы права. Как люди грубые и неразвитые, они предпочитали пользоваться правами вполне реальными (не весьма нравственными, но все-таки реальными), нежели заглядываться на какие-то якобы права, сущность которых до того темна, что может быть выражена только словами: «кабы», да «если бы», да «паче чаяния, чего боже сохрани». Поэтому они обкладывали не себя, а других, обкладывали всякого, кого им было под силу обложить, обкладывали без энтузиазма и без праздной политико-экономической игры слов. И если бы, например, дедушке Матвею Иванычу кто-нибудь предложил поступиться своим правом обкладывать других и, взамен того, воспользовать-

ся правом обложить самого себя, он наверное сказал бы: помилуй бог! какая же это мена!

И что всего страннее, даже мужик, в качестве искони обкладываемого лица, долженствовавший знать до тонкости все последствия обложения,— и тот никогда не возвышался до мысли, что, чем более его обложат, тем больше выйдет из этого для него якобы прав. Как человек, стоящий на реальной почве, он знал, что двойное, например, обложение приведет за собой для него только одно право: право быть обложенным вдвое — и больше ничего. Поэтому он нес тяготы, доколе возможно, то есть до тех пор, пока у него в сусеке водилась «пушнина». Как скоро иссякала и пушнина, он или просил пощады, или бунтовал на коленях; но ни в мольбе о пощаде, ни в бунте на коленях все-таки никакого подкопа не видел и видеть не мог.

Одним словом, и обкладывающие и обкладываемые — все стояли на реальной почве. Одни говорили: мы обкладываем, другие — нас обкладывают, и никто из этого простейшего акта внутренней политики никаких для себя якобы прав не ожидал. Напротив того, всякий молчаливо сознавал, что самое нестерпимое реальное положение все-таки лучше, нежели какие-то «якобы права».

Затем, были ли наши предки доступны так называемому наплыву чувств?— Я полагаю, что и на этот вопрос никто не решится отвечать отрицательно. Деды наши не были скопидомы и не тряслись над каждою копейкой, из чего можно было бы заключить, что они не были способны к самообложению из энтузиазма. Напротив того, по большей части это были широкие русские натуры, из числа тех, которым, при известной степени возбуждения, самое море по колена. Бабушка Дарья Андреевна отказала цирюльнику Прошке каменный дом в Москве за то только, что он каким-то особенным образом умел взбивать ей букли. Дяденька Петр Петрович подарил заезжему человеку, маркизу де Безе, пятьдесят дворов (замечательно, что дяденька и тут не удержался, чтобы не пошутить: подарил все дворы через двор, так что вышла неслыханнейшая чересполосица, расхлебывать которую пришлось его же наследникам) за то, что он его утешил.

— Дарю тебе, голоштаннику, пятьдесят дворов,— сказал он при этом,— чтобы не ездил ты на будущее время по помещикам на штаны собирать!

— Oh, monseigneur!— захлебнулся в ответ растерявшийся француз, воздевая руки.

Стало быть, ни в энтузиазме, ни в презрении к металлу недостатка не было, только применение их было несколько иное, нежели в настоящее время. «Бей в мою голову!», «За все один в ответе!» — такого рода восторженные восклицания были до того общеупотребительны, что ни в ком даже не возбуждали удивления. Взирая на эти подвиги человеческой самоотверженности (я совершенно вправе назвать их таковыми, потому что большинство их все-таки оканчивалось в уголовной палате), никто не восклицал: какое великодушие!— но всякий считал их делом вполне обыкновенным, нимало не выходящим из общего репертуара привилегированных занятий. Но и за всем тем, повторяю, никому из наших предков и на мысль не приходило обкладывать самих себя, хотя в некоторых случаях подобное самообкладывание, в смысле удовлетворения внезапному наплыву чувств, могло обойтись даже дешевле, нежели, например, подарок пятидесяти мужицких дворов заезжему маркизу де Безе.

Но ежели ни фрондерство, ни наплыв чувств не могли произвести самообкладывания, то нужно ли доказывать, что экономические вицы, вроде того, что равномерность равномерна, а равноправность равноправна,— были тут ни при чем? Нет, об этом нет надобности даже говорить. Как люди интересов вполне реальных, наши деды не понимали никаких вицев, а, напротив того, очень хорошо понимали, что равномерность именно потому и называется равномерностью, что она никогда не бывает равномерною.

Очевидно, стало быть, что мысль о самообкладывании принадлежит всецело нам, потомкам наших предков, и должна быть рассматриваема как результат: во-первых, способности выдерживать наплыв чувств, несколько большей против той, которую обладали наши предки, во-вторых, вечно присущей нам мысли о якобы правах и, в-третьих,

нашей страсти к политико-экономическим вицам.

Что наплыв чувств, и притом с подкладкой более или менее либеральною, составляет главную основу нашей теперешней жизни — против этого я никаких возражений не имею. Всякая либеральная восторженность есть плод той привычки к обобщениям, которою предки наши, как люди неразвитые, обладать не могли. Им жилось, по-своему, хорошо, но у них был очень важный недостаток: они не понимали, что другие тоже имеют основание желать, чтобы и им жилось хорошо. Они смотрели на вещи исключительно с точки зрения их конкретности и никогда не примечали тех невидимых нитей, которые идут от одного предмета к другому, взаимно уменьшают пропорции явлений и делают их солидарными. Поэтому они были, так сказать, поставлены даже вне возможности обобщать.

Мы, в этом отношении, стоим неизмеримо выше наших предков. Мы не только фактически констатируем, что между жизненными явлениями существуют соединительные нити, но и понимаем, что, в каких бы благоприятных условиях ни стоял человек, он не может быть вполне счастливым, если его окружают несчастливцы. И что же? — странное дело! даже этот несомненный шаг вперед на пути развития мы каким-то образом сумели свести на нет! Мы обобщаем, но приступаем к обобщению не прямо, а, так сказать, сбоку, или, еще точнее, с задней стороны. Мы не говорим: выгоды, которыми я пользуюсь, справедливо распространить и на других, но говорим: невыгоды, которые стесняют жизнь других, я нахожу справедливым распространить и на меня! Допустим, что когда мы формулируем подобные положения, то нами руководит самый чистый и искренний либерализм, но спрашивается: не примешивается ли к этому либерализму и известная доля легкомыслия? нет ли тут чего-то похожего на распущенность, на недостаток мужества, на совершенную неспособность взглянуть на вопрос с деятельной стороны?..

Затем, перехожу к третьему предположению: к предположению о каких-то задних мыслях.

Есть убеждение, что жизненные приобретения никогда не достигаются иначе, как окольными путями. Поэтому благоразумные люди постоянно вопиют

к людям менее благоразумным: остерегитесь! подождите! придет время, когда и наш грош сделается двугривенным!

Я ничего не имею ни против подобных полезных предостережений вообще, ни в особенности против самочинного превращения гроша в двугривенный. Пускай себе превращается – это для меня все равно, тем более что я и на двугривенный смотрю не как на особенно ценную монету. Но я совершенно вправе утверждать, что в обобщении невыгод, неудобств и стеснений не только нет окольного пути, но есть даже отсутствие всякого пути. Если бы кто, посредством самоубийства, вздумал доказывать свое право на жизнь – многое ли бы он доказал? Он доказал бы только, что существовал на свете несчастливец, который не нашел другого выхода из жизненных запутанностей, кроме самого простого: смерти. В самом крайнем случае, это личный протест — и ничего больше. Общее значение (впрочем, все-таки весьма маленькое) этот личный протест мог бы иметь только тогда, если б он имел возможность отыскать для себя вполне яркое и образное выражение, то есть когда бы все подготовлявшие самоубийство причины могли быть выслежены и констатированы. Но представьте себе, что в бóльшей части случаев такого рода протесты сводятся к «найденному на берегу реки Пряжки телу неизвестного человека»! Какое странное фиаско! «Тело неизвестного человека»! – и это протест! Что же в нем, однако ж, есть поучительного? И какой практический результат может быть достигнут *подобным* окольным путем?

Но сторонники мысли о подкопах и задних мыслях идут еще далее и утверждают, что тут дело идет не об одних окольных путях, но и о сближениях. Отказ от привилегий, говорят они, знаменует величие души, а величие души, в свою очередь, способствует забвению старых распрей и счетов и приводит к сближениям. И вот, дескать, когда мы сблизимся... Но, к сожалению, и это не более, как окольный путь, и притом до того уже окольный, что можно ходить по нем до скончания веков, все только ходить, а никак не приходить.

Я отнюдь не хочу сказать, что человечество, на какой бы низкой степени развития оно ни стояло,

не способно оценивать приносимые жертвы. Нет, оно относится к ним сочувственно, но все-таки лишь к таким жертвам, которые имеют характер положительный, а не отрицательный. Такие *положительные* жертвы вовсе не невидаль и не утопия: это жертвы, приносимые, во-первых, знанием, охотно делящимся своими сокровищами с незнанием, и, во-вторых, деятельным сочувствием к интересам, не находящим себе, вследствие несчастно сложившихся обстоятельств, ограждения и защиты. Если я сижу в деревне, умно веду свое хозяйство и не отказываю в добром совете нуждающемуся — я, очевидно, приношу жертву *положительную.* Если я выслушиваю жалобу человека, попавшегося впросак, угнетенного, обиженного, принимаю эту жалобу к сердцу, предпринимаю ходатайства, хлопоты — я тоже приношу жертву *положительную.* Такие жертвы *всегда* оцениваются по достоинству, и человек, который приносит их, будет почтен даже в том случае, если он несомненно платит налогов на три копейки меньше против сущей справедливости. Но представьте себе, что я умею только раскладывать гранпасьянс и этот недостаток умственных сокровищ предполагаю заменить гривенником! Представьте себе, что к одному несчастливцу приходит другой несчастливец и начинает утешать его, говоря: посмотри! я столько же несчастлив, как и ты! Ужели тут есть какая-нибудь жертва? а если и есть жертва, то какое же она может принести за собой утешение?

Увы! это будет утешение самое микроскопическое, а быть может, даже и не совсем хорошего качества. Утешаться общим равенством перед несчастием можно лишь сгоряча; те же люди, которые в подобных утешениях видят нечто удовлетворяющее, суть люди несомненно злые и испорченные и, во всяком случае, не настолько умные, чтобы отличать облегчения мнимые от облегчений реальных...

Но в том случае, о котором идет речь в настоящее время, даже и такого поистине злого утешения не может быть. Тщетно будем мы ожидать забвений и сближений при помощи самообкладывания: зоркий глаз несчастливца действительного очень тонко сумеет угадать несчастливца мнимого. Он раз-

личит тут все до последней мелочи, до последней утаенной копейки, и в этой работе расследования дойдет до обличения таких подробностей, которых на деле, быть может, и нет. Обыкновенное простодушие он возведет на степень преднамеренного поддразнивания; в так называемом внезапном наплыве чувств увидит систему, задуманную издалека. А коль скоро люди вступают на темный путь подозрений, то ничего хорошего от них ждать уж нельзя. Вместо прежней, исторической распри, которую желали устранить, но к которой так или иначе успели уже приглядеться, явится распря новая, которая тем менее доступна будет соглашениям, что в основание ее, положим, неправильно, но *непременно,* лягут слова: преднамеренность и обман.

Таким образом, достаточных оснований, которые оправдывали бы надежды на сближения, нет. А ежели нет даже этого, то о каких же задних мыслях может идти речь?!

Следовательно, и предположение о наплыве чувств, и предположение о неизвестных, но крайне хитрых и либеральных целях,— оказываются равно несостоятельными.

Остается, стало быть, предположение о наклонности к политико-экономическим вицам. Но одна мысль о возможности чего-либо подобного была так странна, что я вскочил как ужаленный.

Ужели?!

Ужели афоризм, утверждающий, что равномерность равномерна, а равноправность равноправна, до того обольстителен, что может кого-нибудь увлекать?

Я гнал от себя эту ужасную мысль, но в то же время чувствовал, что сколько я ни размышляю, а ни к каким положительным результатам все-таки прийти не могу. И то невозможно, и другое немыслимо, а третье даже и совсем не годится. А между тем факт существует! Что же, наконец, такое?

Мучимый сомнениями, я почувствовал потребность проверить мои мысли, и притом проверить в такой среде, которая была бы в этом случае вполне компетентною.

Я вспомнил, что у меня был товарищ, очень

прыткий мальчик, по фамилии Менандр Прелестнов, который еще в университете написал сочинение на тему «Гомер как поэт, человек и гражданин», потом перевел какой-то учебник или даже одну страницу из какого-то учебника и наконец теперь, за оскудением, сделался либералом и публицистом при ежедневном литературно-научно-политическом издании «Старейшая Всероссийская Пенкоснимательница». Открытие это освежило и ободрило меня. Наконец-то, думалось мне, я буду в самом сердце всероссийской интеллигенции! И, не откладывая дела в долгий ящик, я побежал к Прелестнову.

Я уж не раз порывался к Прелестнову с тех пор, как приехал в Петербург, но меня удерживала свойственная всем провинциалам застенчивость перед печатным словом и его служителями. Нам и до сих пор еще кажется, что в области печатного слова происходит что-то вроде священнодействия, и мы были бы до крайности огорчены, если бы узнали за достоверное, что в настоящее время это дело упрощено до того, что стоит только поплевать на перо, чтобы вышла прелюбопытнейшая передовая статья.

Лично же для меня трепет перед печатным словом усложняется еще воспоминанием о том, что я и сам когда-то собирался сослужить ему службу. Экземпляр «Маланьи», отлично переписанный и великолепно переплетенный, и доднесь хранится у меня, и по временам — надо ли в том сознаться? — я втихомолку кой-что из него почитываю. Иногда я до того упиваюсь красотами моего произведения, что в голове моей вдруг мелькнет дерзкая мысль: а не махнуть ли в типографию? Но не успеет эта мысль зародиться, как мне уже делается вполне ясною вся ее несостоятельность. Увы! время «Маланий» прошло безвозвратно! Никто теперь так не пишет, никто так не мыслит, и уж, конечно, никто не переписывает своих «Маланий» набело и не переплетает их! Очевидно, что вход в литературу закрыт для меня навсегда и что мне остается только скитаться по берегу вечно кипящего моря печатного слова и лишь издали любоваться,

как более счастливые пловцы борются с волнами его!

«Маланья» написана неуклюже и формой своей напоминает старинные топорной работы помещичьи экипажи. В ней затискано множество подробностей и отступлений, которые положительно загромождают архитектуру повести. И кузов выпятился безобразно назад, и козлы построены такие, что ни влезть ни слезть, и мешочков понавешено множество, а подножек чуть не четыре этажа. С первого взгляда трудно даже определить, что это такое: дом, корабль или экипаж. Что-то тут и звенит, и громыхает, что-то грозит перекувырнуться вверх дном, но что именно — хоть целый день ломай голову, не отыщешь. Все это я сознаю совершенно ясно, но тем не менее утверждаю, что ежели сравнение с экипажем тут уместно, то это был все-таки *свой собственный* экипаж, а не извозчичий.

Нынче, даже в литературе, пошли на Руси в ход экипажи извозчичьи. Почистили сбрую, покрасили подержанные экипажи с графскими гербами, завели приобретенных по случаю, после отъезжающих кокоток, кровных рысаков: ваше сиятельство! прокачу! И вот вы мчитесь, мчитесь во все лопатки, и нигде вас не тряхнет, ничем не потревожит, не шелохнет. Молодец-лихач ни обо что не зацепится, держит в руках вожжи бодро и самоуверенно, и примчит к вожделенной цели так легко, что вы и не заметите. Мысли у него коротенькие, фразы коротенькие; даже главы имеют вид куплетов. Так и кажется, что он спешит поскорее сделать конец, потому что его ждет другой седок, которого тоже нужно на славу прокатить. Слышно: пади! поберегись! — и ничего больше. Через две-три минуты — приехали.

Ну, куда же тут соваться с «Маланьей»!

Взирая на этих людей, с такою легкостью мчащихся по улице мостовой, я ощущаю невольную робость. Вот люди, мнится мне, которые не зарыли своих талантов в землю, но, имея за душой грош, сумели, с помощью одних быстрых оборотцев, преобразить его в двугривенный! Правда, что это всетаки только двугривенный, но ведь и двугривенный... воля ваша, а для гроша и это неслыханный успех! И кто же может предвидеть, что станется

с этим двугривенным в будущем! Вглядитесь в него хорошенько: ведь он и теперь чуть ли не выглядит уж рублем!

И когда я подумаю, что если бы меня в свое время не обескуражили цензора, то и я, постепенно оборачиваясь, мог бы в настоящую минуту быть обладателем целого литературного двугривенного,— мной овладевает какая-то положительно дурная зависть. И я бы мчался теперь неведомо куда, мчался бы на подержанных графских дрожках, блестя почищенною сбруей на купленном по случаю кокоткином рысаке! Но мне на первом же шагу закричали: стой! и тем, так сказать, навсегда прекратили мое теченье. Оскорбленный, я изнемогал с тех пор или в деревне, или под сению рязанско-тамбовско-саратовского клуба, и все упивался воспоминаниями о «Маланье». О, «Маланья!» о, юнейшее из юнейших, о, горячейшее из горячейших произведений, одно воспоминание о котором может извлечь токи слез из глаз его автора! А время между тем шло, не внося в мои взгляды никаких усовершенствований. Появились коротенькие фразы, изобретены коротенькие мысли, а я все упорно оставался при четырехэтажных периодах и хитросплетенных силлогизмах. Собственные экипажи давно заброшены, проданы в лом... а я и до сего дня ношусь с своею «Маланьей» да с воспоминаниями о неизмеримом пьянстве и бесконечных спорах в трактире «Британия»!

Понятно, стало быть, почему я, литератор неудавшийся, литератор с длинными, запутанными фразами, с мыслями, сделавшимися сбивчивыми и темными, вследствие усилий высказать их как можно яснее, робею и стушевываюсь перед краткословными и краткомысленными представителями новейшей русской литературы. Мысль, что любой из этих господ может кого угодно, с помощью самой коротенькой фразы, и осчастливить и сконфузить,— преследует меня. А так как коротенькие фразы, в сущности, даже усилий никаких не требуют, то представьте себе, сколько тут можно разбросать двугривенных, нимало не трогая самого капитала, который так и останется навсегда неразменным двугривенным! О Бутков! о Достоевский! о Аполлон Григорьев! О вы, немазано-колеснейшие, о вы, скри-

пяще-мыслящие прорицатели сороковых годов! как бы стушевались, сконфузились вы перед лобанчиками[1] современной русской литературы!

От Прелестнова пахло публицистикой, просонками и головною болью. Так как он редижировал отдел «Нам пишут» и, следовательно, постоянно находился под угрозой мысли: а что, если и завтра опять сообщат, что в Шемахе произошло землетрясение? — то лицо его приняло какое-то уныло-озабоченное выражение. Две фразы были совершенно ясно написаны на этом лице: первая «о чем бишь я хотел сказать?» и вторая «ах, не забыть бы, что́ из Иркутска пишут!» Тем не менее, когда Прелестнов увидел меня входящего, то лицо его на мгновение просветлело.

— «Британия»! — воскликнул он, простирая ко мне руки.

— Санковская! Мочалов! «Башмаков еще не износила»! — отозвался я с не меньшим увлечением.

— Давно ли? И не побывать? не грех ли? Помнишь «Маланью»?

Мы долгое время стояли рука в руку и смотрели друг на друга светящимися глазами. Наконец рукам нашим стало тепло, и мы бросились обнимать друг друга и целоваться.

— Хорошее было это время! — говорил он, сжимая меня в объятиях.

— Еще бы! Ты писал диссертацию «Гомер как поэт, человек и гражданин», я...

— А ты... ты вдохновлялся «Маланьей»! Ты был поэт! О! это было время святого искусства!.. А впрочем, ведь и теперь... ведь не оскудела же русская земля деятелями! не правда ли? ведь не оскудела?

— Где же, голубчик, оскудеть! возьми: ведь больше семидесяти миллионов жителей, и ежели на каждый миллион хоть по одному Ломоносову...

---

[1] «Лобанчиком» в сороковых годах называлась в русской торговле французская монета с изображением одного из Бурбонов, как известно, обладавших большими открытыми лбами. Монета эта была почти всегда стертая и ходила несколько ниже, нежели двадцатифранковики позднейших чеканов. *(Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

— Не правда ли? вот и я постоянно твержу: не оскудеет она, говорю! Так ли?

— Помилуй! как оскудеть!

— Полководцев, говорят, нет,— будут, говорю!

— Будут!

— Администраторов, говорят, подлинных нет,— будут, говорю!

— Будут!

— Денег, говорят, нет,— будут, говорю!

— Еще бы! и пословица говорит: нет денег — перед деньгами!

— Перед нами времени-то сколько?

— Мало ли перед нами времени!

Мы поцеловались опять.

— Только вот голова болит!— продолжал он,— постоянно болит! Корреспонденции эти, что ли... а впрочем, какой это бодрый, крепкий народ — корреспонденты!

— Коренники!

— У нас есть один екатеринославский корреспондент — ну, просто можно зачитаться его корреспонденциями!

— Что и говорить! екатеринославцы — они молодцы! В наше время ярославцы молодцами слыли... помнишь, половые?— ведь все были ярославцы! И все один к одному! Мяса́ какие у них были — не уколупнешь!

— Ну, екатеринославцы... те по части публицистики!

— Да, брат, везде прогресс! не прежнее нынче время! Поди-ка ты нынче в половые — кто на тебя как на деятеля взглянет! Нет! нынче вот земство, суды, свобода книгопечатания... вон оно куда пошло!

Под влиянием воспоминаний я так разгулялся, что даже совсем позабыл, что еще час тому назад меня волновали жестокие сомнения насчет тех самых предметов, которые теперь возбуждали во мне такой безграничный энтузиазм. Я ходил рядом с Прелестновым по комнате, потрясал руками и, както нелепо захлебываясь, восклицал: «Вон оно куда пошло! вон мы куда метнули!»

— Не правда ли?— вторил, в свою очередь, Прелестнов,— не правда ли, как легко дышится!

— Уж чего легче надо!

— И как светло живется!

— Уж чего же...

— Банки, ссудо-сберегательные кассы, артельные сыроварни... а сколько в одном Ледовитом океане богатств скрыто... о, черт побери!

Мы поцеловались еще раз.

— Только, брат, расплываться не надо — вот что! — прибавил он с некоторою таинственностью, — не надо лезть в задор! Тише! Тише!

— То есть как же это: не расплываться?

— Ну да; вот, например, ежели взялся писать о ссудосберегательных кассах — об них и пиши! Чтоб ни о социализме, ни об интернационалке... упаси бог!

— Это вследствие свободы печати, что ли?

— Ну да, и свобода печати, да и вообще... расплываться не следует!

Лицо Прелестнова приняло строгое выражение, как будто он вдруг получил из Екатеринославля совершенно верное известие, что я имею намерение расплываться. Мне, с своей стороны, показалось это до крайности обидным.

— Да я разве... расплываюсь? — спросил я, смотря на него изумленными глазами.

— То-то! то-то! время «Маланий», брат, нынче прошло! Ну да, впрочем, не в том дело. Я очень рад тебя видеть, но теперь некогда: надо корреспонденцию разбирать. Кстати: из Кишинева пишут, что там в продолжение целого часа было видимо северное сияние... каков фактец!

— Да... фактец — ничего!

— Ну-с, так вот что: приходи ты ко мне завтра вечером, и тогда...

Лицо Прелестнова из строгого вдруг сделалось таинственным. Видно было, что он хотел нечто сообщить мне, но некоторое время не решался.

— Впрочем, от тебя скрываться нечего, — наконец сказал он, — с некоторого времени здесь образовалось общество, под названием «Союз Пенкоснимателей»... но ради бога, чтоб это осталось между нами!

Он произнес это так тихо, что я даже побледнел.

— И это общество... запрещенное? — спросил я.

— То есть как тебе сказать... оно, конечно... Цели нашего общества самые благонамеренные... Ве-

дем мы себя, даже можно сказать, примернейшим образом... Но — странное дело! — для правительства все как будто неясно, что от пенкоснимателей никакого вреда не может быть!

— Гм... и завтра у тебя сборище?

— Ну да, ты увидишь тут всех.

— Отлично. А у меня кстати несколько вопросов есть.

— Прекрасно. Стало быть, до завтра. Завтра мы все порешим. Только, чур, не расплываться! Помни, что время «Маланий» прошло! А покуда вот тебе писаный устав нашего общества.

Мы опять обнялись, поцеловались и, смотря друг на друга светящимися глазами, простояли рука в руку до тех пор, пока нам не сделалось тепло.

Наконец, однако ж, я вышел. Но когда я уже был внизу лестницы, Прелестнов, должно быть, не выдержал, выбежал на площадку и сверху закричал мне:

— Смотри же! не расплываться! «Маланью» нужно оставить! Оставить «Маланью» нужно!

Я не шел домой, а бежал.

«Тайное общество! — думалось мне, — и какое еще тайное общество! Общество, цель которого формулируется словами: «не расплываться» и «снимать пенки»! Великий боже! в какие мы времена, однако ж, живем!»

А ведь какой был прекраснейший малый, этот Прелестнов, в то незабвенное время, когда он писал свою диссертацию «Гомер, как поэт, как человек и как гражданин»! Совсем даже и не похож был на заговорщика! А теперь вот заговорщик, хитрец, почти даже государственный преступник! Какое горькое сплетение обстоятельств нужно было, чтоб произвести эту метаморфозу!

Я как сейчас помню некоторые выдержки из его достопамятной диссертации.

«Гомер! кто не испытывал высокого наслаждения, читая бессмертную «Илиаду»? Гомер — это море, или, лучше сказать, целый океан, как он же безбрежный, как он же глубокий, а быть может, даже бездонный!»

Далее:

«Но Гомер безбрежен не только как поэт, но и как человек. Ежели мы хотим представить себе идеал человека, то, конечно, не найдем ничего лучшего, как остановиться на величественном образе благодушного старца, в котором, как в море, отразилась седая древность времен».

И еще далее:

«Но Гомер был в то же время и гражданин. Он не скрывает своего сочувствия к оскорбленному Менелаю, что же касается до его патриотизма, то это вопрос настолько решенный, что всякое сомнение в нем может возбудить лишь *гомерический* хохот».

И проч. и проч.

И этот человек — заговорщик! Этот человек не настолько свободен, чтобы ясно сказать, что в городе имярек исправник ездит на *казенных* лошадях! Этот человек, защитник Гомера, как человека, поэта и гражданина,— один из деятельных членов разбойнической банды «Пенкоснимателей»!

И что это за банда такая?! настоящая ли разбойничья, или так, вроде оффенбаховской, при которой Менандр разыгрывает роль Фальзакаппы?!

О, Менандр! что же таится в душе твоей? что кроется в этом тихо дремлющем заливе, в котором так весело смотрится «наш екатеринославский корреспондент»? Снятся ли ей сны о подкопах, или просто закипает неясный наплыв неясных чувств? О, Менандр!!

Прибежав домой, я с лихорадочною поспешностью вынул из кармана данную мне Прелестновым рукописную тетрадку и на заглавном листе ее прочитал:

Устав Вольного Союза Пенкоснимателей

Но в глазах у меня рябило, дух занимало, и я некоторое время не мог прийти в себя. Однако ж две-три рюмки водки — и я был уже в состоянии продолжать.

«Устав» разделен на семь параграфов, в свою очередь подразделенных на статьи. Каждая статья

снабжена объяснением, в котором подробно указываются мотивы, послужившие для статьи основанием.

«Устав» гласил следующее:

§ 1. Цель учреждения Союза и его организация

Ст. 1. За отсутствием настоящего дела и в видах безобидного препровождения времени, учреждается учено-литературное общество под названием «Вольного Союза Пенкоснимателей».

Объяснение. В журнале «Вестник Пенкоснимания», в статье «Вольный Союз Пенкоснимателей перед судом общественной совести», сказано: «В сих печальных обстоятельствах какой исход предстоял для русской литературы? — По нашему посильному убеждению, таких исходов было два: во-первых, принять добровольную смерть, и во-вторых, развиться в «Вольный Союз Пенкоснимателей». Она предпочла последнее решение, и, смеем думать, поступила в этом случае не только разумно, но и вполне согласно с чувством собственного достоинства. Зачем умирать, когда в виду еще имеется обширное и плодотворное поприще пенкоснимания?»

Ст. 2. Никакой организации Союз не имеет. Нет в нем ни президентов, ни секретарей, ни даже совокупного обсуждения общих всем пенкоснимателям интересов, по той простой причине, что из столь невинного занятия, каково пенкоснимание, никаких интересов проистечь не может.

Союз сей — вольный по преимуществу. Каждому предоставляется снимать пенки с чего угодно и как угодно, и эта уступка делается тем охотнее, что в подобном занятии никаких твердых правил установить невозможно.

Объяснение. В той же статье далее говорится: «Что же такое этот «Вольный Союз Пенкоснимателей», который, едва явившись на свет, уже задал такую работу близнецам «Московских ведомостей»? Имеет ли он в виду проведение каких-либо разрушительных начал? Или же представляет собой, как уверяют некоторые доброжелатели нашей прессы, хотя и невинное, но все-таки недозволенное законом тайное общество? Мы смело можем ответить на эти вопросы: ни того, ни другого предположить нельзя.

Пенкоснимательство составляет в настоящее время единственный живой общественный элемент; а ежели оно господствует в обществе, то весьма естественно его господство и в литературе. Пенкосниматели всюду играют видную роль, и литература обязана была раскрыть им свои двери сколь возможно шире. И она сделала это тем бестрепетнее, что пенкосниматели суть вполне вольные люди, приходящие в литературный вертоград с одним чистым сердцем и вполне свободные от какой бы то ни было мысли. Поэтому говорить о какой-то организации, о каких-то тайных намерениях — просто смешно. Этим чистым людям самая мысль об организации должна быть противна».

§ 2. О членах Союза

Ст. 1-я. В члены Союза Пенкоснимателей имеет право вступить всякий, кто может безобидным образом излагать смутность испытываемых им ощущений. Ни познаний, ни тем менее так называемых идей не требуется. Но ежели бы кто, видя, как извозчик истязует лошадь, почел бы за нужное, рядом фактов, взятых из древности или из истории развития современных государств, доказать вред такого обычая, то сие не токмо не возбраняется, но именно и составляет тот высший вид пенкоснимательства, который в современной литературе известен под именем «науки».

Объяснение. Там же: «Чувство, одушевляющее пенкоснимателя, есть чувство наивной непосредственности. А так как чувство это доступно всякому, то можно себе представить, как громадно должно быть число пенкоснимателей! Но само собою разумеется, что в тех случаях, когда это чувство является во всеоружии знания и ищет применений в науке, оно приобретает еще бóльшую цену. Хорош пенкосниматель-простец, но ученый пенкосниматель — еще того лучше. Появление сих последних на арене нашей литературы есть признак утешительный и, смеем думать, даже здоровый. Пора наконец убедиться, что наше время — не время широких задач и что тот, кто, подобно автору почтенного рассуждения: «Русский романс: Чижик! чижик! где ты был? — перед судом здравой критики», сумел

прийти к разрешению своей скромной задачи — тот сделал гораздо более, нежели все совокупно взятые утописты-мечтатели, которые постановкой «широких» задач самонадеянно волнуют мир, не удовлетворяя оного».

Ст. 2-я. Отметчики и газетные репортеры, то есть все те, кои наблюдают, дабы полуда на посуде в трактирных заведениях всегда находилась в исправности, могут вступать в Союз даже в том случае, если не имеют вполне твердых познаний в грамматике.

Объяснение. В передовой статье, напечатанной об этом предмете в газете «Старейшая Всероссийская Пенкоснимательница», сказано: «Газетный репортер есть, так сказать, первообраз истинного литературного пенкоснимателя, от которого все прочие (ученые, публицисты, беллетристы и проч.) заимствуют свои главные типические особенности. Вся разница (оговаривается, впрочем: разница очень значительная) заключается лишь в большем или меньшем объеме произведений тех и других. Какою бы эрудицией ни изумлял, например, автор «Исследования о Чурилке», но ежели читатель возьмет на себя труд проникнуть в самые глубины собранного им драгоценного матерьяла, то на дне оных он, несомненно, увидит отметчика-пенкоснимателя. Поэтому нам кажется, что ограничить, относительно отметчиков, возможность вступать в Союз Пенкоснимателей было бы несправедливо даже в том случае, если бы люди сии и не вполне безукоризненно расставляли знаки препинания. Скажем более: это значило бы подрывать самые основы Союза, лишая содействия таких лиц, от которых он получил свои главнейшие типические особенности». По этому же поводу в газете «Истинный Российский Пенкосниматель» говорится следующее: «В литературе нашей много наделал шуму вопрос: следует ли отметчиков и газетных репортеров считать членами «Вольного Союза Пенкоснимателей»? И, по-видимому, весь сыр-бор загорелся из того, что много-де встречается таких репортеров, которые даже грамотно писать не умеют. Мы позволяем себе думать, однако ж, что даже возбуждение подобных вопросов представляет нечто в высшей степени странное. В чем заключается истинная цель пен-

коснимательства? — Она заключается в облегчении литератора, в освобождении его от некоторых стеснительных уз. А в чем же мы можем найти облегчение более действительное, как не в свободе от грамматики, этого старого, изжившего свой век пугала, которого в наш просвещенный век не страшатся даже вороны и воробьи?»

§ 3. О приличнейшей для пенкоснимательства арене

Ст. 1. Рассеянные по лицу земли, лишенные организации, не связанные ни идеалами, ни ясными взглядами на современность — да послужат российские пенкосниматели на славном поприще российской литературы, которая издревле всем без пороху палящим приют давала!

Объяснение. Об этом предмете газета «Зеркало Пенкоснимателя» выразилась так: «Где самое сподручное поприще для пенкоснимателя? — очевидно, в литературе. Всякая отрасль человеческой деятельности требует и специальной подготовки, и специальных приемов. Сапожник обязуется шить *непременно* сапоги, а не подобие сапогов, и, чтобы достигнуть этого, *непременно* должен знать, как взять в руки шило и дратву. Напротив того, публицист очень свободно может написать не передовую статью, а лишь подобие оной, и нимало не потерять своей репутации. Отсюда ясно, что одна литература может считать себя свободною от обязательства изготовлять работы вполне определенные и логически последовательные. Составленная из элементов самых разнообразных и никаким правилам не подчиненных, она представляет для пенкоснимательства арену тем более приличную, что на оную, в большинстве случаев, являются люди, неискушенные в науках, но одушевляемые единственно жаждой как можно более собрать пенок и продать их по 1 к. за строчку».

§ 4. Об обязанностях членов Союза

Ст. 1. Обязанности сии суть:

Первое. Не пропуская ни одного современного вопроса, обо всем рассуждать с таким расчетом, чтобы никогда ничего из сего не выходило.

Объяснение. В газете «Старейшая Всероссийская Пенкоснимательница» читаем: «Странный вы человек, читатель! Как хотите вы, чтобы мы высказывались ясно, когда, с одной стороны, нам угрожает за это административная кара, а с другой стороны, мы и сами вполне ясных представлений о вещах не имеем?!» Об этом же предмете, в еженедельном издании «Обыватель Пенкоснимающий», в статье «Отповедь ,,Старейшей Всероссийской Пенкоснимательнице‘‘» (служащей ответом на предыдущую статью), сказано: «С одной половиной этой мысли мы имеем полную готовность согласиться весьма безусловно. Что ж делать! Старейшая наша Пенкоснимательница всегда имеет такие мысли, что лишь половина оных надлежащую здравость имеет, другая же половина или отсутствует, или идет навстречу первой, как два столкнувшиеся в лоб поезда железной дороги, нечаянно встречущиеся. Итак, если мы положим руку на сердце, то оно скажет нам, что мы действительно истинно здравых понятий о вещах в своем яснопостижении обладать не можем. Это так. Но чтобы за сие нас ожидала какая-то административная кара — это никогда!! Это не есть в пределах возможности!!»

Второе. По наружности иметь вид откровенный и даже смелый, внутренно же трепетать.

Объяснение. В газете «Зеркало Пенкоснимателя» говорится: «Одно из величайших затруднений для успехов пенкоснимательства в будущем заключается в следующем. Читатель любит, чтобы беседующий с ним публицист имел вид открытый и даже смелый; цензура, напротив, не любит этого. Каким образом пройти между Харибдой и Сциллой? Каким образом, с одной стороны, не растерять подписчиков, а с другой — не навлечь на себя кару закона? — в этом именно и заключается задача современного пенкоснимателя. До сих пор единственное практическое решение этой задачи было таково: смелый вид иметь лишь по наружности, а внутренно трепетать. Соглашаясь вполне с правильностью такого решения, мы, с своей стороны, полагали бы нелишним, для большей смелости, прибегать при этом к некоторым фразам, которые, по мнению нашему, могли бы с успехом послужить для достижения обеих высказанных выше целей. Фразы эти суть: «мы предупреж-

дали», «мы предсказывали», «мы предвидели» и т. д. Примененные к делу пенкоснимательства, эти фразы никакой в цензурном отношении опасности не представляют, а между тем публицисту придают вид бодрый и отчасти даже проницательный».

Третье. Усиливать откровенность и смелость по мере того, как предмет, о котором заведена речь, представляет меньшую опасность для вольного обсуждения. Так, например, по вопросу о неношении некоторыми городовыми на виду блях надлежит действовать с такою настоятельностью, как бы имелось в виду получить за сие третье предостережение.

Объяснение. Газета «Истинный Российский Пенкосниматель» выражается по этому поводу так: «В сих затруднительных обстоятельствах литературе ничего не остается более, как обличать городовых. Но пусть она помнит, что и эта обязанность не легкая, и пусть станет на высоту своей задачи. Это единственный случай, когда она не вправе идти ни на какие сделки и, напротив того, должна выказать ту твердость и непреклонность, которую ей не дано привести в действие по другим вопросам».

Четвертое. Рассуждая о современных вопросах, стараться, по возможности, сокращать их размеры.

Объяснение. В газете «Старейшая Всероссийская Пенкоснимательница» читаем: «Наклонность расплываться и захватывать вширь исстари была самым важным, так сказать, органическим нашим недостатком. Рассматривая, например, поступок городового бляха № 000, мы никак не упустим, чтобы не зацепить по дороге и весь почтенный институт городовых. Понятно, какое раздражение должен породить подобный неосновательный образ действий не только в гг. городовых, но и в гг. участковых и околоточных надзирателях, их непосредственных начальниках. Поэтому, в виду благодетельного поворота нашей литературы в смысле пенкоснимательства, мы не обинуясь и во всеуслышание говорим: не раздражайте! Говорите сколько угодно о бляхе № 000, но не касайтесь института. Silenzio! Prudenzia![1] — как поют хористы в итальянской опере. Не раздражайте».

[1] Молчание! Благоразумие!

Пятое. Ежеминутно обращать внимание читателя на пройденный им славный путь. Но так как при сем легко впасть в ошибку, то есть выдать славное за неславное и наоборот, то наблюдать скромность и осмотрительность.

Объяснение. «Обыватель Пенкоснимающий» выражается так: «С тех высот, на коих мы находимся, полезно, хотя бы и с головокружением, взглядывать на путь, который уже пройден нами. Оглянемся — и что́ ж увидим? Увидим бездну, в которой многое и прекрасно и своевременно, многое же только прекрасно, хотя, быть может, и не столь своевременно. Но назовем ли мы прекрасное безусловно прекрасным, а несвоевременное безусловно несвоевременным? Нет, мы остережемся от такого опрометчивого поступка, омрачущего нашу совесть! Ибо мы не знаем, действительно ли прекрасно для читателя то, что мы считаем прекрасным для себя. Мы опасаемся, как бы не назвать прекрасным то, что для читателя совсем не есть потребно, и непотребным то, что для него всегда было прекрасно, и теперь оставалось бы таковым, если бы не внезапность обстоятельств, изменившая все к наилучшему (см. соч. Токквиля: «L'ancien régime et la Révolution»). И если бы кто-нибудь взял на себя труд заверять нас, что все сие есть бессмыслица, то мы на сие ответствовали бы: «судите сами! Мы же, с божьею помощью, и впредь таковое намерены говорить!» На эту заметку «Зеркало Пенкоснимателя» возражало: «Из целого леса бессмыслиц, которыми переполнена заметка почтенной газеты, выделяется только одна светлая мысль: нужно обращать внимание русского общества на пройденный им славный путь, но не следует делать никакой критической оценки этому пути. Эта мысль справедлива уже по тому одному, что не все вкусы одинаковы, а следовательно, трудно угадать, кому из подписчиков нравится арбуз, а кому — свиной хрящик».

Шестое. Обнадеживать, что в будущем ожидае читателей еще того лучше.

Объяснение. В фельетоне газеты «Пенкосниматель нараспашку» сказано: «Не знаю, как вы, читатель, но я преисполнен веры в будущее. Я совсем не разделяю взглядов тех мрачных людей, которые на все смотрят с подозрительностью. Фи! какой это

скучный и необтесанный народ! Напротив того, я совершенно ясно вижу то время, когда грудь России вдоль и поперек исполосуется железными путями, когда увидят свет бесчисленные богатства, скрывающиеся в недрах земли, и бесконечными караванами потянутся во все стороны. Уже повезли в Ташкент наши плисы и ситцы — почему бы вслед за ними не проникнуть туда и изданиям общества распространения полезных книг? То-то порадуется русский мужичок, когда отдаленный Самарканд будет носить ситцевые рубахи его изделия, а кичливый сын туманного Альбиона облечется в плисовые шаровары, изготовленные в самом сердце России — в Москве — золотые маковки! Москва! чье сердце не трепещет при твоем имени!»

Седьмое. Проводить русскую мысль, русскую науку, и высказывать надежду, что «новое слово» когда-нибудь будет сказано.

Объяснение. Журнал «Пенкоснимательная Подоплёка», в статье «Корреспонденция из Вильно», выражается так: «Обрусение — вот наша задача в этом крае, но обрусение действительное, сопровождаемое инкюлькированием настоящего русского духа. Мы не верим более Петербургу, ибо какой же там русский дух?! Петербург указывает нам на Запад и предлагает нашу общественность перестроить на манер тамошней. Странное дело! Не все ли это равно, что предложить человеку надеть заношенное исподнее белье его соседа!» На это газета «Зеркало Пенкоснимателя» возражала следующее: «Стремление создать *свою* мысль, *свою* науку — весьма похвально. Мы не имеем права успокоиться до тех пор, пока у нас не будет *своей* арифметики, *своей* химии, *своей* астрономии и проч. Но сравнение западной цивилизации с чужим поношенным бельем все-таки не выдерживает критики. Оно неосновательно уже по тому одному, что недоброжелатели наши могут возразить нам, что на Западе белье никогда не доводится до степени полной заношенности, и что ежели за кем есть грешок в некоторой неопрятности, то это именно за нами. Итак, не станем напрашиваться на ненужные возражения и останемся при основной и несомненно верной мысли: да, мы призваны создать новую науку и сказать дряхлеющему миру новое, обновляющее слово! Не будем

заимствоваться от соседей их заношенным исподним бельем, но не станем дорожить и собственным таковым же! «Новое слово» — вот все, что от нас требуется в настоящий момент. Чем скорее оно будет сказано, тем лучше!»

Осьмое. Всемерно опасаться, как бы все сие внезапно не уничтожилось.

Объяснение. В газете «Старейшая Всероссийская Пенкоснимательница» читаем: «Мы так молоды и неопытны, что не жалеть об нас было бы совершенно бесполезною жестокостью. Скажем более: мы от души сожалеем о тех, которые не находят в себе достаточно гражданского мужества, чтоб пожалеть об нас, о нашей молодости и неопытности. Это люди злые и жалкие. Представьте себе ребенка, который едва собрался встать на ноги и которого вдруг ткнут пальцем в грудь, — естественно, что он упадет и ушибется. Не то ли же самое может случиться и с нашим молодым обществом, если мы будем обращаться с ним без надлежащей осторожности? Мы приглашаем наших противников подумать об этом серьезно, и делаем это тем с бóльшим основанием, что и помимо литературы найдется довольно охотников тыкать в бедного новорожденного, называющегося русским обществом».

Девятое. Опасаться вообще.

Объяснение. В той же газете говорится: «Как ни величественно зрелище бури, уничтожающей все встречающееся ей на дороге, но от этой величественности нимало не выигрывает положение того, кто испытывает на себе ее действие. Вот почему благоразумные люди не вызывают бурь, а опасаются их: они знают, что стоит подуть жестокому аквилону — и их уж нет! Мы советуем нашим противникам подумать об этом, и ежели они последуют нашему совету, то, быть может, поймут, что роль пенкоснимателя (то есть человека опасающегося по преимуществу) далеко не столь смешна, как это может показаться с первого взгляда. В этой роли есть даже много трагического».

§ 5. О правах членов Союза

Ст. 1. Права членов «Вольного Союза Пенкоснимателей» прямо вытекают из обязанностей их. Посему и распространяться об них нет надобности.

Объяснение. В газете «Истинный Российский Пенкосниматель» читаем: «Нам говорят о правах; но разве может быть какое-нибудь сомнение относительно права, коль скоро обязанность несомненна? Очевидно, тут есть недоразумение, и люди, возбуждающие вопрос о правах, не понимают или не хотят понять, что, принимая на себя бремя обязанностей, мы с тем вместе принимаем и бремя истекающих из них прав. Это подразумевается само собой, и напоминать о сем — значит лишь подливать масла в огонь. Не будем же придираться к словам, но постараемся добропорядочным поведением доказать, что мы одинаково созрели и для обязанностей, и для прав».

§ 6. Что сие означает?

Ст. 1. Вопрос этот ближе всего разрешается «Старейшею Всероссийскою Пенкоснимательницею», которая, задавшись вопросом: «во всех ли случаях необходимо приходить к каким-либо заключениям?» — отвечает так: «Нет, не во всех. Жизнь не мертвый силлогизм, который во что бы ни стало требует логического вывода. Заключения, даваемые жизнью, не зависят ни от посылок, ни от общих положений, но являются ex abrupto и почти всегда неожиданно. Поэтому, ежели мы нередко ведем с читателем беседу на шести столбцах и не приходим при этом ни к каким заключениям, то никто не вправе поставить нам это в укор. Укорителям нашим мы совершенно резонно ответим: каких вы требуете от нас заключений, коль скоро мы с тем и начали нашу речь, чтобы ни к каким заключениям не приходить?»

§ 7. Цель учреждения Союза и его организация[1]

Ст. 1. За отсутствием настоящего дела и в видах безобидного препровождения времени, учреждается учено-литературное общество под названием «Вольный Союз Пенкоснимателей».

---

[1] Этот параграф составляет дословную перепечатку § 1-го и существует только в первом издании «Устава», где он, очевидно, напечатан по недосмотру корректора. Во втором издании он исключен; но помещаю его как потому, что у меня в руках было первое издание, так и потому, что напоминание о цели учреждения Союза в конце «Устава» как нельзя более уместно. *(Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

. . . .

Я кончил. Не знаю, как это случилось, но едва я успел дочитать последнее слово «Устава», как мной овладел глубочайший сон.

В этом сне я пробыл до тех пор, когда пробил час ехать к Прелестнову.

Что происходило потом — до следующей главы.

VI

«Так вот вы каковы! — думалось мне, покуда я шел к Прелестнову, — заговорщики! почти что революционеры!»

Вот к чему привело классическое образование! вот что значит положить в основание дальнейшей деятельности диссертацию «Гомер как человек, как поэт и как гражданин»! Ум, вскую шатающийся, ум, оторванный от действительности, воспитанный в преданиях Греции и Рима, может ли такой ум иметь что-нибудь другое в виду, кроме систематического, подрывающего основы общественности, пенкоснимательства?

А что, ежели они... да с оружием в руках! Страшно подумать!

А мы-то сидим в провинции и думаем, что это просто невинные люди, которые увидят забор — поют: забор! забор! увидят реку — поют: река! река! Как бы не так — «забор»! Нет, это люди себе на уме; это люди, которые в совершенстве усвоили суворовскую тактику. «Заманивай! заманивай!» — кричат они друг другу, и все бегут, все бегут куда глаза глядят, затылком к опасности!

И как хитро все это придумано! По наружности, вы видите как будто отдельные издания: тут и «Старейшая Всероссийская Пенкоснимательница», и «Истинный Российский Пенкосниматель», и «Зеркало Пенкоснимателя», а на поверку выходит, что все это одна и та же сказка о белом бычке, что это лишь рубрики одного и того же ежедневно-еженедельно-ежемесячного издания «Общероссийская Пенкоснимательная Срамница»! Каков сюрприз!

Но этого мало. Мало того что родные братья притворяются, будто они друг другу только седьмая вода на киселе, — посмотрите, как они враждуют друг с другом! «Мы, — говорит один, — и только од-

ни мы имеем совершенно правильные и здравые понятия насчет института городовых, а вам об этом важном предмете и заикаться не следует!» — «Нет, — огрызается другой, — истинная компетентность в этом деле не на вашей, а на нашей стороне. Мы первые подали мысль о снабжении городовых свистками — а вы, где были вы, когда мы предлагали эту спасительную меру? И после этого вы осмеливаетесь утверждать, что мы не имеем сказать ничего плодотворного по вопросу о городовых! Но мы отдаем наш спор на суд публики и ей предоставляем решить, какого названия заслуживает взводимая на нас нахальная ложь!»

Читая эти вдохновенные речи, мы, провинциалы, задумываемся. Конечно, говорим мы себе, эти люди невинны, но вместе с тем как они непреклонны! посмотрите, как они козыряют друг друга! Как они способны замучить друг друга по вопросу о выеденном яйце!

Обман двойной! во-первых, они не невинны; во-вторых, совсем не непреклонны, и ежели затеяли между собой полемику, то единственно, как говорится, для оживления своих столбцов и страниц.

Невинны! на чем основано это мнение? На том ли, что все они славословят и поют хвалу? На том ли, что все в одно слово прорицают: тише! не расплывайтесь! не заезжайте! не раздражайте?! Прекрасно. Я первый бы согласился, что нет никакой опасности, если бы они кричали «тише!» — каждый сам по себе. Но ведь они кричат все вдруг, кричат единогласно — поймите это, ради Христа! Ведь это уж скоп! Ведь этак можно с часу на час ожидать, что они не задумаются кричать «тише!» — с оружием в руках! Ужели же это не анархия?!

Да; это люди опасные, и нечего удивляться тому, что даже сами они убедились, что с ними нужно держать ухо востро. Но сколько должно накопиться горечи, чтобы даже на людей, кричащих: тише! — взглянуть оком подозрительности?! чтобы даже в них усмотреть наклонности к каким-то темным замыслам, в них, которые до сих пор выказали одно лишь мастерство: мастерство впиваться друг в друга по поводу выеденного яйца!

Что же касается до непреклонности, то мне невольно припомнилось, как в былое время мой друг,

Никодим Крошечкин, тоже прибегал к полемике «в видах оживления столбцов издаваемой им газеты».

То было время господства «Британии» и эстетических споров. Никодим редижировал какую-то казенную газету, при которой, для увеселения публики, имелся и литературный отдел. На приобретение материала для этого отдела Никодиму выдавалась какая-то неизмеримо малая сумма, с помощью которой он и обязывался три дня в неделю «оживлять столбцы газеты». Приятелей у Крошечкина было множество, но, во-первых, все это были люди необыкновенно глубокие, а потому «как следует писать об этом предмете, братец, времени нет, а коротенько писать — не стоит руки марать»; а во-вторых, все они проводили время по большей части в «Британии» и потому не всегда бывали трезвы. Таким образом, Никодим и остался один, как рак на мели. Бился он, бился — и вдруг нашелся. К величайшему удивлению, мы стали замечать, что Никодим ведет газету на славу, что «столбцы ее оживлены», что в ней появилась целая стая совершенно новых сотрудников, которые неустанно ведут между собой живую и даже ожесточенную полемику по поводу содержания московских бульваров, по поводу ненужности посыпания песком тротуаров в летнее время и т. д. Заинтригованные в высшей степени, мы все хором приступили к Никодиму с вопросом: что сей сон значит? — И что ж оказалось! — Что он, Никодим, просто-напросто полемизирует сам с собою! Что он в одном своем лице соединяет и Корытникова, и Иванова, и Федула Долгомостьева, и Прохожего, и Проезжего и т. д. Что сначала он напишет статью о необходимости держать бульвары в чистоте и уязвит при этом Московскую городскую думу, а в следующем нумере накинется сам на себя и совершенно убедительно докажет, что все это пустяки и что бульвары прежде всего должны служить в качестве неисчерпаемого вместилища человечьего гуано!

И вот теперь, когда я ближе ознакомился с «Уставом Вольного Союза Пенкоснимателей» и сопоставил начертанные в нем правила с современною литературною и журнальною действительностью, я не мог воздержаться, чтобы не воскликнуть: да это Никодим! это он, под разными псевдонимами полемизирующий сам с собою!

Признаюсь, мне даже сделалось как будто неловко. Ведь это, наконец, бездельничество! — думалось мне, и ежели в этом бездельничестве нет ни организации, ни предумышленности — тем хуже для него. Значит, оно проникло в глубину сердец, проело наших пенкоснимателей до мозга костей! Значит, они бездельничают от полноты чувств, бездельничают всласть, бездельничают потому, что действительно ничего другого перед собой не видят!

Но как они, от нечего делать, едят друг друга — это даже ужасно. Загляните, например, в «Старейшую Всероссийскую Пенкоснимательницу», и первое, что вас поразит, — это смотр, который она периодически делает всем прочим органам пенкоснимательства. Что побуждает ее к тому? то ли, что ее разделяет бездна от прочих пенкоснимателей? — нет, этой бездны нет, да и она сама, в минуты откровенности, коснеющим языком проговаривается, что, в сущности, каждый пенкосниматель равен каждому пенкоснимателю. Очевидно, стало быть, ей хочется только отличиться, отвести глаза, оживить свои столбцы, даже рискуя собственными боками. Ей хочется, чтобы публика, благодаря общему затишью, слышала, как она жует во сне собственные рукава.

Теперь этот наглый обман выяснился для меня с какою-то безнадежною выпуклостью... Но, признаюсь, и прежде, когда я был еще в провинции, меня уже смущали некоторые неясные сомнения на этот счет. Едва ли не десять лет сряду, каждое утро, как мне подают вновь полученные с почты óрганы русской мысли, я ощущаю, что мною начинает овладевать тоскливое чувство. Иногда мне кажется, что вот-вот я сейчас услышу какое-то невнятное и ненужное бормотание о том, о сем, а больше ни о чем; иногда сдается, что мне подают детскую пеленку, в которой новорожденный младенец начертал свою первую передовую статью; иногда же просто-напросто я воочию вижу, что в мой кабинет вошел дурак. Пришел, сел и забормотал. И я не могу указать ему на дверь, я должен беседовать с ним, потому что это дурак привилегированный: у него за пазухой есть две-три новости, которых я еще не знаю!

И эти-то люди обозревают друг друга! эти люди,

ради оживления каких-то столбцов, язвят и чернят друг друга! Они, которым следовало бы целовать друг друга взасос! Проказники!

У каждого из этих апостолов самоедства сидит в голове маковое зернышко, которое он хочет во что бы то ни стало поместить; каждый из них имеет за душой материала настолько, чтобы изобразить: на последнем я листочке напишу четыре строчки! — зато уж и набрызжет же он в этих четырех строчках! И посмотрите, с какою серьезностью какой-нибудь мудрый Натан воробьиного царства произносит свои: «Позволительно думать, что возбуждение подобных вопросов едва ли своевременно», или: «По нашему мнению, это не совсем так»! Мудрейший из воробьев! кто тебя? не все ли равно, кто, как и с чего снимает пенки?

Какая громадная разница с Никодимом! Когда Никодим полемизировал сам с собою, уличал самого себя в неправде и доказывал свою собственную несостоятельность, — он не вставал на дыбы, не артачился и не похвалялся, что идет на рать. Он откровенно говорил: мне дают мелкую монету и требуют, чтобы я действовал так, как бы имел в распоряжении своем монету крупную, — понятное дело, что я не могу удовлетворить этому требованию иначе, как истязуя самого себя. Так объяснялся Никодим, и мы очень хорошо понимали его объяснения. Мы понимали, что он относится к своему занятию вполне объективно, что он резко отделяет свое внутреннее «я» от того горького дела, к которому прицепила его судьба, отделяет настолько же, насколько отделял себя в те времена каждый молодой либерал-чиновник от службы в департаментах и канцеляриях, которые он всякое утро посещал. Внутренно Никодиму было решительно все равно, стоят ли будочники при будках, или же они расставлены по перекресткам улиц; поэтому он мог смело и не расходуя своих убеждений доказывать, раз, что полезно, чтобы будочники находились при будках, и два, что еще полезнее, если они расставлены по перекресткам. Следовательно, ежели современные российские пенкосниматели и заимствовали у Никодима внешние приемы «оживления столбцов», то они совершенно забыли о той объективности, которая скрывалась за этими приемами. По-

добно Никодиму, они самоедствуют, но при этом горячатся, встают на дыбы, и — о, верх самохвальства! — изо всех сил доказывают, что у них даже в помышлении ничего другого не имеется, кроме мысли о необходимости снабжения городовых свистками. О, заговорщики! кто же поверит вам?

«Тише! не расплывайся! не раздражай!» — это ли не карбонарство? Этого ли мало для возбуждения в самом кротком начальнике подозрительности?

Таковы были вопросы, которые застали меня на подъезде дома, в котором жил Прелестнов. Я обернулся: сзади меня расстилалось зеркало Невы, все облитое тихим мерцанием белой майской ночи. Воздух был недвижим; деревья в соседнем саду словно застыли; на поверхности реки — ни малейшей зыби; с другой стороны реки доносился смутный городской гомон и стук; здесь, на Выборгской, — царствовала тишина и благорастворение возду́хов. А не удрать ли на тоню или на острова? — мелькнуло у меня в голове. Но пенкоснимательная мысль: я должен исполнить свой долг! — уже безвозвратно отравила мое существование. Я позвонил.

В кабинете у Менандра было довольно много народа и страшно накурено. Тут были люди всякого роста и всяких комплекций, но на всех лицах было написано присутствие головной боли. У всех цвет лица был тусклый, серый, а выражение озабоченное, как бы скорбящее о гресех; все страдали геморроем, следствием слишком усидчивого пенкоснимательства. Все великие наши пенкосниматели были тут налицо, все те, которые даже одну минуту опасаются провести праздно: так велика вереница пустяков, которые им предстоит разрешить. В тот момент, когда я вошел, Менандр рассказывал собравшейся около него кучке о своем путешествии по Италии.

— Представьте себе, — говорил он, — небо там синее, море синее, по морю корабли плывут, а над кораблями реют какие-то неизвестные птицы... но буквально неизвестные! à la lettre!

— Позвольте! не об этих ли птицах писал Страбон? — пустил кто-то догадку.

— Нет, это не те. Кювье же хотя и догадывался,

что это простые вороны, однако Гумбольдт разбил его доводы в прах... Но что всего удивительнее — в Италии и вообще на юге совсем нет сумерек! Идете по улице — светло; и вдруг — темно!

— И апельсины на воздухе растут? — полюбопытствовал некто.

— Еще бы. Я сам видел дерево, буквально обремененное плодами. Ну, все равно, что у нас яблоки, или, вернее, даже не яблоки, а рябина.

В эту минуту хозяин заметил мое присутствие.

— А! старый друг! господа! бывший товарищ по университету! написал когда-то повесть, на которую обратил внимание Белинский — рекомендовал он меня, и, в свою очередь, представил мне присутствующих: — Иван Николаевич Неуважай-Корыто, автор «Исследования о Чурилке»! Семен Петрович Нескладин, автор брошюры «Новые суды и легкомысленное отношение к ним публики»! Петр Сергеич Болиголова, автор диссертации «Русская песня: Чижик! чижик! где ты был? — перед судом критики»! Вячеслав Семеныч Размазов, автор статьи «Куда несет наш крестьянин свои сбережения?»...

Но тут со мной случилось что-то совершенно неловкое. Раскланиваясь и пожимая руки во все стороны, я до того замотался, что принял последнюю рекомендацию за вопрос, обращенный ко мне. И потому совершенно невпопад отвечал:

— Да в казначейство, я полагаю...

На этот раз, однако ж, мой легкомысленный ответ не повлек за собой никакого реприманда. Напротив того, насупленные лица пенкоснимателей как-то снисходительно осклабились, и все они очень радушно пожали мне руку.

Прерванный на минуту разговор возобновился; но едва успел Менандр сообщить, что ладзарони лежат целый день на солнце и питаются макаронами, как стали разносить чай, и гости разделились на группы. Я горел нетерпением улучить минуту, чтобы пристать к одной из них и предложить на обсуждение волновавшие меня сомнения. Но это положительно не удавалось мне, потому что у каждой группы был свой вопрос, поглощавший все ее внимание.

— Так вы полагаете, что Чурилка?.. — шла речь в одной группе.

Центром этой группы был Неуважай-Корыто. Это был сухой и длинный человек, с длинными руками и длинным же носом. Мне показалось, что передо мной стоит громадных размеров дятел, который долбит носом в дерево и постепенно приходит в деревянный экстаз от звуков собственного долбления. «Да, этот человек, если примется снимать пенки, он сделает это... чисто!» — думалось мне, покуда я разглядывал его.

— Не только полагаю, но совершенно определительно утверждаю, — объяснял между тем Неуважай-Корыто, — что Чуриль, а не Чурилка, был не кто иной, как штабский дворянин седьмого столетия. Я, батюшка, пол-Европы изъездил, покуда, наконец, в королевской мюнхенской библиотеке нашел рукопись, относящуюся к седьмому столетию, под названием: «Похождения знаменитого и доблестного швабского дворянина Чуриля»... Ба! да это наш Чурилка! — сейчас же блеснула у меня мысль... И поверите ли, я целую ночь после этого был в бреду!

— Понятное дело. Но Добрыня... Илья Муромец... ведь они *наши?*

Собеседник, произнося: «они *наши?»* — очевидно, страдал. Он и опасался и надеялся; ему почему-то ужасно хотелось, чтобы *они* были *нашими*, и в то же время в душу уже запалзывали какие-то скверные сомнения. Но Неуважай-Корыто с суровою непреклонностью положил конец колебаниям, «ни в каком случае не достойным науки».

— Напротив того, — отдолбил он совершенно ясно, — я положительно утверждаю что и Добрыня, и Илья Муромец — все это были не более как сподвижники датчанина Канута!

— Но Владимир Красное Солнышко?

— Он-то самый Канут и есть!

В группе раздался общий вздох. Совопросник вытаращил на минуту глаза.

— Однако ж какой свет это проливает на нашу древность! — произнес он тихим, но все еще не успокоившимся голосом.

— Я говорю вам: камня на камне не останется! Я с болью в сердце это говорю, но что же делать — это так! Мне больно, потому что все эти Чурилки, Алеши Поповичи, Ильи Муромцы — все они с детст-

ва волновали мое воображение! Я жил ими... понимаете, жил?! Но против науки я бессилен. И я с болью в сердце повторяю: да! ничего этого нет!

Собеседники стояли с раскрытыми ртами, смотря на обличителя Чурилки, как будто ждали, что вот-вот придет новый Моисей и извлечет из этого кремня огонь. Но тут Неуважай-Корыто с такою силой задолбил носом, что я понял, что мне нечего соваться с моими сомнениями, и поспешил ретироваться к другой группе.

В другой группе ораторствовал Болиголова, маленький, юркенький человечек, который с трудом мог устоять на месте и судорожно подергивался всем своим корпусом. Голос у него был тоненький, детский.

— Ужели же, наконец, и «Чижик, чижик! где ты был»?! — изумлялись окружающие пенкосниматели.

— Подлог-с!

— Позвольте-с! Но каким же образом вы объясните стих «на Фонтанке воду пил»? Фонтанка — ведь это, наконец... Наконец, я вам должен сказать, что наш почтеннейший Иван Семенович живет на Фонтанке!

— И пьет оттуда воду! — сострил кто-то.

— Подлог! подлог! и подлог-с! В мавританском подлиннике именно сказано: «на Гвадалквивире воду пил». Всю Европу, батюшка, изъездил, чтобы убедиться в этом!

— Это удивительно! Но как вам пришло на мысль усомниться в подлинности «Чижика»!

— Ну, уж это, батюшка, специальность моя такова!

— Однако какой странный свет это проливает на нашу народность! Все чужое! даже «Чижика» мы не сами сочинили, а позаимствовали!

— Говорю вам: камня на камне не останется! С болью в сердце это говорю, но против указаний науки ничего не поделаешь!

И т. д. и т. д.

В третьей группе шел разговор таинственного свойства. Сообщались по секрету сведения о каких-то кознях, предпринимаемых против каких-то учреждений; слышались соболезнования, жалобы, вздохи.

— Я сам сейчас оттуда,— полушепотом объяснял Нескладин, автор брошюры «Новые суда и легкомысленное отношение к ним публики».

— И что ж?

— Дело очень простое. Существуют два проекта: один об уничтожении, другой об упразднении. Теперь весь вопрос в том, который из этих проектов пройдет.

Все в немом негодовании оглянулись друг на друга. И вдруг кому-то пришло на мысль:

— Но тайный советник Кузьма Прутков!! ужели он допустит до этого?!

— Я именно сейчас от него!

— И говорили с ним?

— Да; и он мне сказал прямо: любезный друг! о том, чтобы устранить *оба* проекта,— не может быть и речи; но, вероятно, с божьею помощью, мне удастся провести проект об упразднении, а «уничтожение» прокатить!

— Но ведь и это уже будет значительный успех!

— Конечно. Но он прибавил к этому еще следующее: во всяком случае, мой друг, я тогда только могу ручаться за успех, если пресса наша будет вести себя с *особенною* сдержанностью. Слово «особенною» старик даже подчеркнул.

Известие это производит в группе общее впечатление.

— И я полагаю,— продолжает все тот же Нескладин,— что нам ничего более не остается, как последовать этому благоразумному совету!

Собеседники несколько минут мнутся, и в комнате слышится какое-то неясное жужжание. Как будто влетел комар и затянул свою неистово-назойливую проповедь о том, о сем, а больше ни о чем. Наконец один из собеседников, более решительный, выступает вперед и говорит:

— Я, с своей стороны, полагаю, что нам следует молчать, молчать и молчать!

— Молчать!— восклицают хором прочие.

— Не следует забывать, господа,— вставляет свое слово вдруг появившийся Менандр,— что в нас воплощается либеральное начало в России! Следовательно, нам прежде всего надо поберечь самих себя, а потом позаботиться и о том, чтоб у на-

шего бедного, едва встающего на ноги общества не отняли и того, что у него уже есть!

— Молчать! молчать! и молчать!

— Надобно, наконец, иметь настолько гражданского мужества, чтобы взглянуть действительности прямо в глаза, — продолжает Менандр, — надо понять, что ежели мы будем разбрасываться, как это, к сожалению, до сих пор было, то сам тайный советник Кузьма Прутков окажется вне возможности поддержать нас.

— И тогда у нас отнимут и то, что мы в настоящее время имеем.

— И будут совершенно правы, потому что люди легкомысленные, не умеющие терпеть, ничего другого и не заслуживают. А между тем это будет потеря очень большая, потому что если соединить в один фокус все то, что мы имеем, то окажется, что нам дано очень и очень многое! Вот о чем не следует забывать, господа!

— Очень и очень многое! — восклицают хором все пенкосниматели и, как бы после принятого важного решения, вдруг все рассыпаются по комнате. У всех светлые лица, все с беспечною доверчивостью глядят в глаза будущему; некоторые бьют себя по ляжкам и повторяют: очень и очень многое!

Я смотрел во все глаза и, конечно, старался стать на один уровень со всеми. И может быть, это удалось бы мне (я очень хорошо помню, что и сам раз или два уж ударил себя по ляжке с восклицанием: очень и очень многое!), но меня пугал Неуважай-Корыто. Этот загадочный человек, очевидно, олицетворял собою принцип радикализма в пенкоснимательстве. Объездить Европу для того, чтобы доказать швабское происхождение Чурилки, — согласитесь, что в этом есть что-то непреклонное! И если бы, вместо Чурилки, этому человеку поместить в голову какую-нибудь подлинную мысль, то из него мог бы выйти своего рода... Робеспьер! Уж он не отступит! он не отстанет до тех пор, пока не высосет из Чурилки всю кровь до последней капли!

Тем не менее я сделал попытку сблизиться с этим человеком. Заметив, что Неуважай-Корыто и Болиголова отделились от публики в угол, я напра-

вил в их сторону шаги свои. Я застал их именно в ту минуту, когда они взаимно слагали друг другу славословия.

— Однако задали вы, Иван Николаевич, задачу московским буквоедам! — приветствовал Болиголова.

— Да и вы, Петр Сергеич, кажется, поусердствовали! — отвечал Неуважай-Корыто.

— Я думаю, что теперь, когда Чурилке нанесен такой решительный удар, немного останется от прежних трудов по части изучения российских древностей!

— Ну-с, я вам доложу, что и «Чижик»... ведь это своего рода coup de massue...[1] Ведь до сих пор никто и не подозревал, что Испания была покорена при звуках песни «Чижик, чижик! где ты был?»!

Я счел этот момент удобным, чтоб вступить в разговор.

— Итак, — сказал я, — и Чурилка и Чижик погребены?

Оба посмотрели на меня такими веселыми глазами, какими смотрят на ученика, совершенно неожиданно обнаружившего понятливость.

— Погребены — это так, — продолжал я, — но, признаюсь, меня смущает одно: каким же образом мы вдруг остаемся без Чурилки и без Чижика? Ведь это же, наконец, пустота, которую необходимо заместить?

Неуважай-Корыто насупил брови.

— Ну-с, на этот счет наша наука никаких утешений преподать вам не может, — сказал он сухо.

— Позвольте-с; я не смею не верить показаниям науки. Я ничего не имею сказать против швабского происхождения Чурилки; но за всем тем сердце мое совершенно явственно подсказывает мне: не может быть, чтоб у нас не было *своего* Чурилки!

Болиголова и Неуважай-Корыто удивленно переглянулись между собою. Моя дерзость, очевидно, начинала пугать их.

— И все-таки я не могу вас утешить, — сказал последний и, как бы желая дать мне почувствовать, что аудиенция кончилась, запел:

Парис преле-е-стный,
Судья изве-е-стный!

---

[1] ошеломляющий удар.

Но сейчас же вспомнил, что оффенбаховская музыка не к лицу такой серьезной птице, как дятел, и затянул из «Каменного Гостя»:

Ведь я не го!
Сударственный преступник!

Пропев это, он обдал меня надменно-ледяным взором и отошел.

Я очутился в самом неловком положении. Я только однажды в жизни был в подобном положении, и именно когда меня представляли одному сановнику, который *мог* (буде заблагорассудил бы) подать мне руку, но которому я *ни в каком случае не имел права* протягивать свою руку. Но я не знал этого правила — и протянул. И вдруг я почувствовал, что рука моя так и остается на весу, в тщетном ожидании взаимного пожатия. Ах, как мне было тогда стыдно! За кого стыдно, за себя или за сановника, — не знаю, но, во всяком случае, чувство, которое я испытывал, было самого неприятного свойства.

Точно то же ощущал я теперь. Зачем я говорил с этим гордым, непреклонным пенкоснимателем? — думалось мне. За что он меня сразил? Что́ обидного или неприличного нашел он в том, что я высказал сомнения моего сердца по поводу Чурилки? Неужели «наука» так неприступна в своей непогрешимости, что не может взглянуть снисходительно даже на тревоги простецов?

Увы! покуда я рассуждал таким образом, молва, что в среду пенкоснимателей затесался свистун, который позволил себе неуважительно отнестись к «науке», уже успела облететь все сборище. Как все люди, дышащие зараженным воздухом замкнутого кружка, пенкосниматели с удивительною зоркостью угадывали человека, который почему-либо был им несочувствен. И, раз усмотревши такового, немедленно уставляли против него свои рога. Я должен был убедиться, что не только Болиголова и Неуважай-Корыто недоумевают, каким образом я очутился в их обществе, но что и прочие пенкосниматели перешептываются между собой и покачивают головами, взглядывая на меня. Тем не менее я решился исполнить свой долг до конца, и потому, же-

лая сделать новую попытку к общению, подошел с этою целью к Нескладину.

— Если я не ошибаюсь, — сказал я, — вы изволили давеча выразить опасение, что у нас с часу на час могут отнять даже и то, что мы имеем?

— Выразился-с. А вы изволите сомневаться в этом?

— Нет, я не сомневаюсь. О! я далеко не сомневаюсь! Я готов написать не шесть, а шестьсот шесть столбцов передовых статей, в которых надеюсь главнейшим образом развивать мысль, что все на свете сем превратно, все на свете коловратно...

— Ну-с, в чем же затруднение?

— Но я не понимаю одного: почему вы предпочитаете проект упразднения проекту уничтожения?

— Д-д-да-с! так вот в чем дело! А почему вы, смею вас спросить, утверждаете, что дважды два — четыре, а не пять?

На одно мгновение вопрос этот изумил меня; но Нескладин глядел на меня с такою ясною самоуверенностью, что мне даже на мысль не пришло, что эта самоуверенность есть не что иное, как продукт известного рода выработки, которая дозволяет человеку барахтаться и городить вздор даже тогда, когда он чувствует себя окончательно уличенным и припертым к стене. Выдержавшие подобного рода дрессировку люди никогда не отвечают прямо, и даже не увертываются от вопросов: они просто, в свою очередь, ошеломляют вас вопросами, не имеющими ничего общего с делом, о котором идет речь. Признаюсь, я в эту минуту испытывал именно подобное ошеломление.

— Извините, — бормотал я, — я не знал... Действительно, дважды два — это так... Я хотел только сказать, что сердце мое как-то отказывается верить, что упразднение...

— А так как я имею дело с фактами, а не с тревогами сердца, то и не могу ничего сказать вам в утешение!

Произнося эти слова, Нескладин совершенно бесцеремонно обратился к одному из единомышленников, взял его под руку и отошел прочь.

— Стало быть, это условлено: мы будем под-

держивать «упразднение»? — слышался мне его удаляющийся голос.

Нет сомнения, я потерпел решительное фиаско. Я дошел до того, что не понимал, где я нахожусь и с кем имею дело. Что это за люди? — спрашивал я себя: просто ли глупцы, давшие друг другу слово ни под каким видом не сознаваться в этом? или это переодетые принцы, которым правила этикета не позволяют ни улыбаться не вовремя, ни поговорить по душе с человеком, не посвященным в тайны пенкоснимательской абракадабры? или, наконец, это банда оффенбаховских разбойников, давшая клятву накидываться и скалить зубы на всех, кто к ней не принадлежит?

Вероятно, лицо мое выражало очень большое недоумение, потому что Менандр поспешил ко мне на выручку.

— А ведь я, брат, проврался! — сказал я ему уныло.

— А я еще предупреждал тебя! — укорял он меня, — говорил я тебе, что расплываться не следует! Да забудь же ты хоть на несколько часов о «Маланье»!

— Но мог ли я думать, что у вас на этот счет так строго!

— Еще бы! Такое серьезное дело затеяли — да чтобы без дисциплины! Мы, брат, только и дела делаем, что друг за другом присматриваем! Впрочем, это еще может уладиться. Только, ради же бога, душа моя! не расплывайся! Признай, наконец, авторитет «науки»!

И Менандр от полноты души засуетился.

— Господа! — сказал он, — вот мой приятель! он провинциал и, следовательно, как человек дикий, не знает наших обычаев. Но это не мешает ему интересоваться некоторыми вопросами, и между прочим вопросом о распределении налогов. Он владелец деревни Проплёванной — так, кажется? — и потому, как член рязанско-тамбовско-саратовского клуба... то бишь земства... естественным образом желает стать на ту точку зрения, с которой всего удобнее взглянуть на этот вопрос. Поэтому я попросил бы Ивана Петровича Нескладина прочитать статью, которую он приготовил по этому предмету для нашей газеты. Господа! прошу присесть!

Кресла шумно задвигались, и когда все более или менее удобно расселись вокруг большого круглого стола, Нескладин прочитал:

Санкт-Петербург. 30-го мая.

«Что налоги, равномерно распределенные, суть те, которые, по преимуществу, заслуживают наименования равномерно распределенных, — в этом, при настоящем положении экономической науки, никто не сомневается, кроме разве каких-нибудь бесшабашных свистунов, которые даже в этой простой и для всех вразумительной истине готовы заподозрить экономическое празднословие. Но мы и не обращаемся к свистунам; мы с гомерическим хохотом встречаем нахальные выходки этих отпетых людей, а ежели не клеймим их презрением, то только потому, что слишком хорошо знаем литературные приличия. Только не могут сомневаться, что равномерность равномерна, кто в состоянии усомниться даже в том, что белое бело и черное черно. С такими людьми не стоит тратить слов. Прикрываясь и даже гордясь незнанием литературных приличий (которые в их глазах, выражаясь их же литературным слогом, не стоят выеденного яйца), они способны предать дерзкому, бессодержательному глумлению все, что представляет собой несомненную победу цивилизации над варварством. *(Превосходно! Очень хорошо! Браво!)*

Итак, говорим мы, аксиома, утверждающая, что равномерность равномерна, находится вне спора, и не о ней намерены мы повести речь с почтенною газетою «Зеркало Пенкоснимательности», которая делает нам честь считать нас в числе ее противников почти по всем вопросам нашей общественной жизни.

Мы намерены говорить о следующем: «Зеркало Пенкоснимательности» утверждает, что лучшие крайние сроки для взноса налогов суть сроки, определенные ныне действующими по сему предмету узаконениями, то есть: 15-го января и 15-го марта; мы же, напротив того, утверждали, что сроки эти надлежит на две недели отдалить, то есть назначить их 1-го февраля и 1-го апреля. Вот в чем спор. Конечно, «Зеркало Пенкоснимательности», быть может, имеет очень полновесные причины называть се-

бя более компетентным судьей в этом деле. Быть может, оно черпает свои сведения из таких источников, о которых мы даже понятия не имеем. Но все это тайны, углубляться в которые нам не позволяют литературные приличия...»

— Позвольте! — не вытерпел я, — но ведь вы сами черпаете сведения от тайного советника Кузьмы Пруткова!

— Ах, душа моя, как ты, однако ж, горяч! Ведь это, наконец, невозможно! — укорил меня Менандр. — Тайный советник Прутков! да знаешь ли ты, что это один из либеральнейших людей нашего времени! что, быть может, он сам на днях получит разом три предостережения!

Я должен был поникнуть головой; Нескладин продолжал:

«Все это тайны, углубляться в которые нам не позволяют литературные приличия. Но мы находим в себе настолько гражданского мужества, чтобы сказать нашему противнику: ваше превосходительство! вы введены в заблуждение! *(Общий смех, в котором участвую и я.)* И мы делаем это тем с большим удовольствием, что искренно уважаем этого бодрого и смелого противника, который даже при слове «субсидия» не смущается духом. Мы даже убеждены, что наши бесшабашные свистуны поставят нам это в укор, что они воспользуются нашею почтительностью, чтоб поднять нас на смех, подобно тому как уже и поступили они на днях с одним из наших уважаемых сотрудников, столь доблестно отличившимся в защите четырех негодяев, сознавшихся в умерщвлении одного почтенного земледельца[1]. Но это не помешает нам следовать по избранному раз пути, не смущаясь ни наглостью смеха, ни нахальством инсинуаций...

Итак (да простят читатели некоторые повторе-

[1] В следующем затем нумере «Старейшей Российской Пенкоснимательницы» было напечатано: «В городе разнеслись слухи, что автор передовой статьи, появившейся вчера в нашей газете, есть г. Нескладин, то есть сам знаменитый защитник четырех знаменитых негодяев. Считаем долгом заявить здесь, что это наглая и гнусная клевета. Мы не имеем надобности отстаивать г. Нескладина против набегов наших литературных башибузуков, но говорим откровенно: мы перервем горло всякому (если позволят наши зубы), кто осмелится быть не одного с нами мнения о наших сотрудниках» *(Примеч. М Е. Салтыкова-Щедрина.)*

ния в нашей статье: они необходимы), «Зеркало Пенкоснимательности» утверждает, что лучшие сроки для платежа налогов суть те, которые издавна установлены законом. В подкрепление этой мысли почтенная газета приводит следующее: 1) привычку платить и 2) сравнительное благосостояние, которое, будто бы, постигает плательщика именно в сроки пятнадцатого января и пятнадцатого марта. Разберем эти доводы с тем вниманием, которого они заслуживают. Но напомним при этом читателю, что нас постигло уже два предостережения, тогда как другие журналы, быть может менее благонамеренные по направлению (литературные приличия не позволяют нам назвать их), еще не получили ни одного. *(Браво! Браво! Ядовито и в то же время вполне согласно с литературными приличиями!)*

Итак — приступим к первому доводу.

Нам говорят: обыватели привыкли платить именно в январе и в марте — и мы охотно соглашаемся, что в этом возражении есть известная доза справедливости. Но что же такое, однако ж, привычка? С одной стороны — это начало всепроникающее и до такой степени подчиняющее себе *всего* человека, что субъект, находящийся под игом привычки, готов не только платить налоги, но и совершать преступления. «Человек есть животное привычки», — сказал великий Бюффон, и сказал святую истину. С этой стороны, конечно, полезно и даже необходимо принимать во внимание народные обычаи и даже суеверия, и не мы будем утверждать что-нибудь противное этой святой истине. Но, с другой стороны, если взглянуть на дело пристальнее, то окажется, что привычка платить налоги, по самому свойству своему, никогда не укореняется настолько, чтобы нельзя было отстать от нее. Положим, что здесь идет речь не о том, чтобы навсегда отстать от привычки платить (только бесшабашные наши свистуны могут остановиться на подобной дикой мысли), но и за всем тем, положа руку на сердце, мы смеем утверждать: отдалите, по мере возможности, сроки платежа податей — и вы увидите, как расцветут сердца земледельцев!

Но нам говорят: привычка — вторая натура. Назначьте для плательщика другие сроки, он все-таки понесет в казначейство свои сбережения в ян-

варе и в марте. На это мы можем ответить одно: тем лучше! Как не догадываются наши почтенные противники, что, чем раньше несут плательщики в казначейство свои избытки, тем лучше для них и для казны. Пускай несут — милости просим! Это хорошо для плательщиков — потому что через это они избавляются от опасений военной экзекуции; это хорошо и для казны, потому что издержки экзекуции хотя и падают, главным образом, на обывателей, но косвенно задевают и государственное казначейство. Но ведь истинный государственный взгляд на вещи должен иметь в виду не только тех бодрых и смелых людей, которые привыкли серьезно смотреть на свои обязанности к государственному казначейству, но и тех, которые, не столько вследствие преступности воли, сколько под влиянием слабохарактерности, утратили этот здоровый инстинкт. И так как последние, несмотря на принимаемые против них меры, все-таки составляют довольно значительное меньшинство, то мы не понимаем, зачем идти навстречу экзекуциям, когда еще остается неиспытанным одно совершенно безвредное и ни для кого не обидное средство, а именно отдаление на две недели последних сроков для взноса налогов? Две недели! понимаете ли, только две недели! И ни одной минуты больше! *(Совершенно справедливо! прекрасно! браво!)*

Приступим теперь ко второму доводу. Во-первых, нам указывают на какие-то климатические условия; но это доказательство до того уже несостоятельно, что нет даже надобности и распространяться о нем. В самом деле, что значит выражение: «платить налоги»? Для тех, до кого оно относится, это выражение означает: перенести деньги из того помещения, в котором они дотоле находились, в другое, более для них подходящее. Спрашиваем по совести: могут ли и в какой мере действовать тут климатические условия? Во-вторых — и это возражение очень серьезное, — нам говорят, это благоденствие постигает плательщика преимущественно в январе и в марте. Но на чем основано такое внезапное заключение? — поистине мы не понимаем этого. По нашему мнению, если плательщик постигнут благоденствием в январе, то нет резона не быть ему постигнутым и в декабре, и в июле, и во все прочие месяцы. Но

нам возражают: вы сами знаете, что в июле плательщик благоденствием не постигнут, — тогда мы спрашиваем: отчего? что же это за благоденствие, которое постигает плательщика только в ту минуту, когда ему надлежит нести в казначейство деньги?

Вот тут-то мы и настигаем вас, наши уважаемые противники. Мы недаром предлагаем вам вопрос: отчего? потому что разрешение его лежит на вашей ответственности. Вы находитесь слишком в исключительном положении относительно известных сфер, чтобы уклониться от солидарности с ними. Поэтому мы имеем полное право требовать именно от вас ответа на наш вопрос, или, лучше сказать, не ответа, а оправдания. *(Браво! Отлично!)* Мы требуем этого во имя великих пенкоснимательных начал, которых мы служим представителями, и не перестаем требовать, хотя бы нам угрожали за это бесчисленными предостережениями! Мы примем эту кару закона без ропота, но и без удовольствия, и позволим себе только спросить, почему предостережения постигают именно нас, а не «Истинного Пенкоснимателя», например? Ни для кого не тайна, что эта газета, издаваемая без цензуры, тем не менее пользуется услугами таковой; ни для кого не тайна, что она всячески избегает вопросов, волнующих весь пенкоснимательный мир; ни для кого, наконец, не тайна, что лучшие статьи по части пенкоснимательства (как, например, замечательнейшая статья «О необходимости содержания в конюшнях козлов») были помещены не в ней, а у нас или в дружеских нам литературных органах! Что же за причина того предпочтения, которым пользуется эта уважаемая газета? *(Прекрасно! Отлично! Браво!)*

Но мы отвлеклись от главного предмета нашей статьи, и должны сознаться, что две причины побудили нас к такому уклонению. Прежде всего — принципы справедливости. По-видимому, нам нет дела до того, кто и сколько получил предостережений, а равно и до того, кто и каким образом снимает пенки. Но это только по-видимому. Нам было бы несравненно приятнее быть самим на месте счастливцев, снимающих пенки в веселии сердца своего, нежели снимать таковые, посыпав главу пеплом, как мы это делаем. Во-вторых, к величайшему нашему удивлению, нас упрекают в каком-то про-

стодушии и даже утверждают, что за простодушие-то мы и подвергаемся каре закона. Но этот упрек во всех отношениях несправедлив. Мы не только не простодушны, но, напротив того, обделываем свои дела, как дай бог всякому. *(Отлично! отлично!)* Мы и журналы издаем, и на суде защищаем, а быть может, участвуем и в акционерных компаниях. На нашей стороне все образованное русское чиновничество — и кто же знает? — быть может, не далеко то время, когда мы будем снимать пенки в размерах не только обширных, но и неожиданных... И ужели, наконец, правительство настолько непроницательно, чтобы стеснять нас в проявлении такого совершенно неопасного для него качества, как простодушие? Вот в том-то и дело, милостивые государи, что мы далеко не так просты, как это может показаться, судя по некоторым из наших передовых статей!

Но мы отвлеклись опять, и потому постараемся сдержать себя. Не станем бродить с пером в руках по газетному листу, как отравленные мухи, но выскажем кратко наши надежды и упования. По нашему мнению, от которого мы никогда ни на одну йоту не отступим, самые лучшие сроки для платежа налогов — это первое февраля и первое апреля. Эти же сроки наиболее подходящие и для экзекуций. И мы докажем это таким множеством фактов, которые заставят замолчать наших слишком словоохотливых противников.

Факты эти мы надеемся изложить в целом ряде статей, которые и будут постепенно появляться в нашей газете».

Нескладин кончил и необыкновенно чистыми, ясными глазами смотрел на всех. Пенкосниматели были в восторге и поздравляли счастливого передовика, предвкушая заранее тот ряд статей, который он обещал им. Но я, признаюсь, был несколько смущен. Я испытывал то самое ощущение, которое испытывает человек, задумавший высморкаться, но которому вдруг помешали выполнить это предприятие. Я, так сказать, уж распустил уши: я ожидал, что вот-вот услышу ссылки на «Статистический временник» министерства внутренних дел, на примеры Англии, Франции, Италии, Пруссии, Соединенных Штатов; я был убежден, что будет навеки нерушимо доказано, что в апреле и феврале

происходят самые выгодные для плательщиков сделки, что никогда базары не бывают так людны, и что, наконец, только нахалы, не знающие литературных приличий, могут утверждать, и т. д.,— и вдруг пауза, сопровождаемая лишь угрозой целого ряда статей! Каково жить в ожидании выполнения этой угрозы!

Казалось, и Менандр отчасти разделял мое чувство. По крайней мере, физиономия его в эту минуту не выражала особенной восторженности.

— Статья превосходна,— сказал он,— но жаль, что вы прервали вашу речь на самом интересном месте!

— А я, напротив того, сделал это даже с умыслом!— отвечал Нескладин, улыбаясь язвительно.

— Именно, именно!— подхватили прочие пенкосниматели.

— Статья, которая обещает другую статью,— объяснил Нескладин,— из которой, в свою очередь, должна выйти третья статья, и так далее,— всегда производит особенное впечатление на тех, до кого она касается.

— Совершенно справедливо!

— Она держит противников в тревоге, а для публики составляет своего рода загадку. Ведь мне ничего бы не стоило разом написать столбцов десять или двенадцать, но я именно хотел сначала несколько заинтересовать публику, а потом уж и зарядить дней на двадцать!

— Да; очень может быть, что вы и правы!— както уныло отозвался Менандр.

— Вторая статья у меня уж почти готова, то есть готовы рамки. «В прошедший раз мы обещали нашим читателям», «таким образом, из сравнения статистических данных оказывается», «об этом интересном предмете мы побеседуем с читателем в следующий раз» — все это уж сложилось в моей голове. Затем остается только наполнить эти рамки — и дело с концом.

После этого вечер, видимо, начинал приходить к концу, так что некоторые пенкосниматели уже дремали. Я, впрочем, понимал эту дремоту и даже сознавал, что, влачи я свое существование среди подобных статей, кто знает — быть может, и я давно бы заснул непробудным сном. Ни водки, ни закус-

ки — ничего, все равно как в пустыне. Огорчение, которое ощутил я по этому случаю, должно быть, сильно отразилось на моем лице, потому что Менандр отвел меня в сторону и шепнул:

— Пусть уйдут! Мы с тобой выпьем и закусим.

И действительно, едва скрылся в переднюю последний гость, как Менандр повел меня в столовую, где была накрыта роскошная закуска, украшенная несколькими бутылками вина.

— Помянем, брат, доброе старое время! — воскликнул Менандр, наливая рюмку водки, — хорошо тогда было!

— А теперь разве...

— Да как тебе сказать! Уважаю я этих господ, очень уважаю, а коли правду сказать, прескучно с ними! Не едят, не пьют, всё передовые статьи пишут!

— А мы с тобой и до сих пор помним старую пословицу: «Потехе время и делу час»!.. Так, что ли, душа моя?

— Да, голубчик, этак-то лучше. Право, иногда зло меня берет! Брошу, думаю, всех этих анафем! Хоть в лес, что ли, от них уйти!

— Ну, брат, это такие молодцы, что и в лесу сыщут!

— Отыщут, дружище! отыщут! (Менандр как-то безнадежно вздохнул.) Кстати: как тебе понравилась статья Нескладина?

— Да как бы тебе сказать? Странно как-то. В заголовке, во-первых, *Санктпетербург,* во-вторых, *30-го мая,* — зачем это? Ведь, коли говорить правду, статья нимало не проиграла бы, если б в заголовке поставить: *Остров Голодай, 31-го мартобря.*

— Именно, брат, *мартобря.* Жилы они из меня этим мартобрем вытянули. Как ни возьмешь в руки газету — так от нее мартобрем и разит!

— А я ведь вчера подумал, что ты один из искреннейших пенкоснимателей! А ты, брат, как видно, тово...

— Ах, жизнь они мою отравили! Самого себя я проклял с тех пор, как они меня сетями своими опутали... Ты еще не знаешь, какой ужасный человек этот Неуважай-Корыто!

Эта исповедь поразила меня, но сомневаться в искренности ее было невозможно.

Менандр действительно страдал; на глазах у него были слезы, а когда он произнес фамилию Неуважай-Корыто, то даже затрясся весь.

— Ну, скажи на милость,— продолжал Менандр с возрастающею горечью,— разве Белинский, Грановский... ну, Добролюбов, Писарев, что ли... разве писали они что-нибудь подобное той слюноточивой канители, которая в настоящее время носит название передовых статей?

— Знаешь, оно не то чтобы что... а действительно глуповато как-то!

— Глуповато! нет, ты заметил ли, что этот Нескладин нагородил? Это, брат, уж не глуповато, а глуповатище! Выпьем, брат, вот что!

Выпили.

— Ты не знаешь, как они меня истязают! Что они меня про себя писать и печатать заставляют! Ну, вот хоть бы самая статья «О необходимости содержания козла при конюшнях» — ну, что в ней публицистического! А ведь я должен был объявить, что автор ее, все тот же Нескладин, один из самых замечательных публицистов нашего времени! Попался я, брат,— вот что!

Выпили вновь.

— Ты не знаешь,— продолжал Менандр,— есть у меня вещица. Я написал ее давно, когда был еще в университете. Она коротенькая. Я хотел тогда поместить ее в «Московском наблюдателе»; но Белинский сказал, что это бред куриной души... Обидел он меня в ту пору... Хочешь, я прочту ее тебе?

— Сделай милость, голубчик!

Менандр вскочил и устремился в кабинет.

— Вот она,— сказал он, возвращаясь ко мне с листочком почтовой бумаги,— и называется «История маленького погибшего дитяти». Одну минуту внимания — и ты узнаешь исповедь моей души.

Вслед за тем он всхлипывающим от волнения голосом прочитал:

История маленького погибшего дитяти

Новелла

«Жило на свете маленькое дитя. И оно задолжало. Оно любило леденцы, грецкие орехи и пастилу в палочках. И когда продавец сластей приступил к

нему с требованием уплаты, дитя, опасаясь тюрьмы, обратилось к могущественным людям, указывая на свое рубище и на свои способности. И что оно без пастилы жить не может. Тогда могущественные люди сказали ему: хорошо! мы поможем тебе! Но ты должно поступить в шайку пенкоснимателей и отнимать жизнь у всякого, кто явится противником пенкоснимательству! И оно поступило в шайку пенкоснимателей и поклялось отнимать жизнь; но таковой до сих пор ни у кого отнять не могло. Такова история маленького погибшего дитяти».

Конец

— Теперь ты меня понял, надеюсь? Вот еще когда я провидел это гнусное пенкоснимательство! — воскликнул Менандр, грузно приникая головой к столу.

Я сжал его руку, и так как горе его было неподдельно, то постарался утешить его.

— Послушай, друг мой! — сказал я, — обстоятельства привели тебя в лагерь пенкоснимателей — это очень прискорбно, но делать нечего, от судьбы, видно, не уйдешь. Но зачем ты непременно хочешь быть разбойником? Снимал бы себе да снимал пенки в тиши уединения — никто бы и не подумал препятствовать тебе! Но ты хочешь во что бы то ни стало отнимать жизнь!! Воля твоя, а это несправедливо.

— Кто? я-то хочу отнимать жизнь? Господи! да кабы не клятва моя! Ты не поверишь, как они меня мучают! На днях — тут у нас обозреватель один есть — принес он мне свое обозрение... Прочитал я его — ну, точно в отхожем месте часа два просидел! Гроша у него за душой нет, а он так и лезет, так и скачет! Помилуйте, говорю, зачем? по какому случаю? Недели две я его уговаривал, так нет же, он все свое: нет, говорит, вы клятву дали! Так и заставил меня напечатать!

— Странно мне во всем этом одно: если вы, как ты уверяешь, выступаете прямо с намерением отнимать жизнь у всякого, кто не занимается пенкоснимательством, то отчего же и у вас не отнимут жизни? ведь это, кажется, очень нетрудно!

— Нет, брат, теперь это очень и очень даже

трудно. Если бы прихлопнули нас в то время, когда мы только что начинали разводить нашу канитель,— ну, тогда, точно, это было бы нетрудно. Тогда и публике оно было бы понятнее, да и у нас коекакая совесть еще была. А теперь, когда мы и сами вошли во вкус, да и публику отуманило наше пенкоснимательство,— ничего ты с нами не поделаешь! Как ты ни прижимай меня к стене — во-первых, с меня нечего взять... гол, братец, я как сокóл! а во-вторых, я все-таки до последнего издыхания буду барахтаться и высовывать тебе язык! Я, брат, отлично эту штуку понял, что покуда я барахтаюсь — какие бы я пошлости ни говорил, публика все-таки скажет: эге! да этот человек барахтается, стало быть, что-нибудь да есть у него за душой! Впрочем, что толковать об этом! выпьем!

Менандр несколько раз прошелся взад и вперед по комнате, потер себе лоб и сказал:

— Да; нет мне от них спасения! Эй! Кто тут! отнести статью господина Несладина в типографию! Теперь газета наша обеспечена. Он, по крайней мере, нумеров пятнадцать будет закатывать по семи столбцов!

Менандр посмотрел на меня и разразился хохотом.

— А я еще тебя хотел завербовать в нашу газету!— воскликнул он,— нет, уж лучше ты не ходи... не ходи ты ко мне, ради Христа! Не раздражай меня! Белинский! Грановский! Добролюбов... и вдруг Неуважай-Корыто! Черт знает что такое!

Менандр вытянул руку во всю величину и повторил: Неуважай-Корыто! Я, в свою очередь, взглянул на него: он был пьян.

Между тем розоперстая аврора уже смотрела во все окна и напоминала о благодеяниях сна.

— Прощай, брат!.. Пожалуйста! прошу тебя, ты ко мне не приходи! Покойной тебе ночи, а я пойду екатеринославскую корреспонденцию разбирать. Там, брат, нынче сурки все поля изрыли — вон оно куда пошло!

Мы вошли в переднюю, и, о ужас!— застали там самого Неуважай-Корыто, который спал на лавке или притворялся спящим.

— Он нас подслушивал!— шепнул мне Менандр.

Неуважай-Корыто между тем протирал глаза и бормотал:

— А я калоши искал, да, кажется, и заснул. Боже! четвертый час! А мне еще нужно дописать статью «О типе древней русской солоницы»! Менандр Семеныч! а когда же вы напечатаете мою статью: «К вопросу о том: макали ли русские цари в соль пальцами или доставали оную посредством ножей»?

Но Менандр смотрел на него осовелыми глазами и мычал что-то совсем несообразное...

— Закусывали?! — язвительно заметил Неуважай-Корыто и стал отыскивать калоши.

В углу, действительно, стояли огромные зимние боты, в которые Неуважай-Корыто и обул свои ноги, к величайшему изумлению «веселого мая», выглядывавшего в окна.

Мы очутились на улице вдвоем с Неуважай-Корыто. Воздух был влажен и еще более неподвижен, нежели с вечера. Нева казалась окончательно погруженною в сон; городской шум стих, и лишь внезапный и быстро улетучивавшийся стук какого-нибудь запоздавшего экипажа напоминал, что город не совсем вымер. Солнце едва показалось из-за домовых крыш и разрисовывало причудливыми тенями лицо Неуважай-Корыто. Верхняя половина этого лица была ярко освещена, тогда как нижняя часть утопала в тени.

Несколько минут мы шли молча.

— Нет, вы решительно не понимаете меня! — вдруг воскликнул Неуважай-Корыто, круто останавливаясь. И, видя, что лицо мое выражает недоумение, продолжал: — Не зная пенкоснимательства, вы, конечно, не можете постичь те наслаждения, которые сопряжены с этим занятием!

— Да; я почти незнаком с этим делом...

— Вот почему оно и кажется вам легкомысленным. Вы не знаете восторгов, которые охватывают все существо человека, когда он вдруг, совершенно неожиданно для самого себя, открывает, что Чурилка — совсем не Чурилка.

Он снял с себя картуз; волоса на голове у него растрепались; глаза горели диким блеском.

— Вы думаете, что тут дело идет только о Чурилке? — продолжал он, — нет, тут захватываются

авторитеты... эти презренные, ненавистные кумиры, которыми мы, к стыду нашему, до сих пор еще поклоняемся. Нет, я не просто пенкосниматель... я радикал пенкоснимательства! Погодин! Карамзин! Бодянский! Забелин! вы все, которые с помощью Чурилок нашли себе доступ в храм истории,— я проклинаю вас! А меня даже мальчишки на улицах дразнят, что я занимаюсь Чурилками! И никто не хочет понять, что Чурилка — только предлог, который позволяет мне удовлетворить моей страсти разрушения! Погодин! проклинаю! проклинаю! проклинаю!

Последнее заклинание он выкрикнул так громко, что дремавший вблизи городовой проснулся и сделал под козырек.

— Знаете ли вы,— продолжал он,— что я боготворю Оффенбаха! Оффенбах — да ведь это само отрицание! А между тем я вынужден защищать Даргомыжского и Кюи — не горько ли это?

— Позвольте! но ежели вы нашли в себе достаточно силы, чтобы отставить Чурилку, то почему бы вам не поступить точно таким же образом и относительно Кюи?

— Не могу! тут есть одно недоразумение!

Неуважай-Корыто повертелся несколько секунд на месте, как бы желая нечто объяснить, потом поспешно надел картуз на голову, махнул рукой и стал быстро удаляться от меня. Через минуту, однако ж, он остановился.

— Но эта минута настанет! — крикнул он мне,— я уничтожу их! Я утоплю в ложке воды и Даргомыжского, и Цезаря Кюи! Я сниму с них маску!! Сниму!!

VII

Некомпетентность «пенкоснимателей» в вопросах жизни не подлежала сомнению. Ясно, что это люди унылые, безнадежно ограниченные и притом злые и упорные. Они способны бесконечно ходить вокруг живого дела, ни разу не взглянув ему в лицо. В литературе, сколько-нибудь одаренной жизнью и сознающей свое воспитательное значение, существование подобных деятелей было бы немыслимо; в литературе, находящейся в состоянии

умертвия, они имеют возможность не только играть роль, но даже импонировать и детские пеленки, детский разрозненный лепет «ба-ля-ма-а» выдавать за ответы на запросы жизни.

Среди этой груды мертвых тел Неуважай-Корыто — единственная личность, к которой можно чувствовать симпатию. По крайней мере, это человек убежденный и чего-нибудь достигающий. Он, не переставая долбить в одну точку, рано или поздно непременно что-нибудь выдолбит. Его специальность — царство мертвых. В этом царстве, сражаясь с Чурилками и исследуя вопрос о том, макали ли русские цари в соль пальцами, он может совершить тьму подвигов, не особенно славных и полезных, но, в применении к царству теней, весьма приличных. Но зачем понадобилось ему участие в деле, имеющем претензию на жизнь? Или Менандру во что бы то ни стало необходимо было, чтоб в этом сонмище мертвых тел, притворяющихся живыми, было хоть одно подлинно мертвое тело?

Я уверен, что Неуважай-Корыто глубоко презирает и Менандра, и Нескладина, и всех остальных притворщиков. Притворство не в его характере. Зачем притворяться живыми, когда мы мертвы и когда нет положения более почтенного, как положение мертвого человека? — так убеждает он своих сопенкоснимателей. И ежели он, за всем тем, якшается с ними, то потому только, что как ни изловчаются они казаться живыми, все-таки не могут не быть мертвыми.

Разочаровавшись в Менандре, я решился не обращаться более к литературе. К чему? — литература умерла или убита; она отказалась от поисков в области мысли и всецело обратилась к пенкоснимательству. Пенкоснимательство — не какое-нибудь частное явление; это болезнь данной минуты. Это общее понижение мыслительного уровня до той неслыханной степени, которая сама себе отыскала название пенкоснимательства. Очевидно, что литературная мысль утратила ясность и сделалась неспособною не только давать практические решения по вопросам жизни, но даже определять характер и значение последних. Литература уныло бредет по заглохшей колее и бессвязно лепечет о том, что́ первое попадется под руку. Творчество заменено словосочинением;

потребностью страстной руководящей мысли заменена хладным пережевыванием азбучных истин. Каким горьким процессом дошла литература до современного несносного пенкоснимательного бормотания? Было ли тут насильство, или же измельчание произошло вследствие непростительного самопроизвольного неряшества?

Что внешний гнет играл здесь немалую роль — в этом не может быть ни малейшего сомнения. Но, признаюсь, в моих глазах едва ли не важнее вопрос: сопровождалось ли это вынужденное измельчание какой-нибудь попыткой ускользнуть от него? Была ли попытка оградить литературную самостоятельность от случайностей, или, по малой мере, обеспечить писателя на случай вынужденного бездействия? Вот на эти-то вопросы я и не берусь отвечать. Я могу только догадываться, что ежели литература, даже по вопросам самосохранения, неспособна прийти к единомыслию, а способна только предаваться взаимным заушениям по поводу выеденного яйца, то ее вынужденное измельчание равняется измельчанию самопроизвольному.

Мы со всех сторон слышим жалобы на ненадежность литературной профессии, и между тем ни один из ожиревших каплунов, занимающихся антрепренерством пенкоснимательства, пальца о палец не ударит, чтоб прийти на помощь или, по малой мере, возбудить вопрос об устранении этой ненадежности. Литературное дело идет заведенным издревле порядком к наибыстрейшему наполнению антрепренерских карманов, а писатель-труженик, писатель, полагающий свою жизнь в литературное дело, рискует, оставаясь при убеждении, что печать свободна, в одно прекрасное утро очутиться на мостовой...

Но как бы там ни было, а в результате оказывается какое-то безнадежное утомление. Писателю не хочется писать, читателю — противно читать. Взял бы бросил все и ушел — только куда бы ушел? Необходимость что-нибудь высказать является результатом не внутренней подстрекающей потребности духа, а известным образом сложившихся внешних обстоятельств. Нужно к известному сроку дать известное количество печатного материала — в этом

одном вся задача. Это бремя, не имеющее в себе ничего привлекательного, а в большинстве случаев даже небезопасное. Понятно, что выходит бессвязный детский лепет, с тою разницею, что последний естествен и свободен, тогда как так называемые капитальные произведения литературы имеют характер жалкой вымученности. Понятно также, что и читатель пропускает мимо все эти так называемые капитальные произведения русской журналистики и обрушивается на мелкие известия и стенографические отчеты. Тут, по крайней мере, он имеет дело с фактом, не отравленным пенкоснимательными рассуждениями о том, что все на свете сем превратно, все в сем свете коловратно.

Но для пенкоснимателей это время все-таки самое льготное.

Повторяю: в литературе, сколько-нибудь одаренной жизнью, они не могли бы существовать совсем, тогда как теперь они имеют возможность дать полный ход невнятному бормотанию, которым преисполнены сердца их. Наверное, никто их не прочитает, а следовательно, никто и не обеспокоит вопросом: что сей сон значит? Стало быть, *для них* выгода очевидная.

Прежде всего положение пенкоснимателей относительно так называемых «карательных мер» самое благонадежное, и ежели они за всем тем жалуются, что им дано мало свободы, то это происходит отчасти вследствие дурной привычки клянчить, а отчасти вследствие того, что они все-таки забывают, что при большей свободе *они совсем не могли бы существовать*. В самом деле, что такое «пенкосниматели»? — Это недоконченный, лишенный самостоятельной жизни организм, который может водиться только в запертом наглухо и никогда не проветриваемом помещении. Откройте окна и двери, пустите струю свежего воздуха — и паразиты мгновенно исчезнут. Ужели же пенкосниматели навеки осуждены не понимать, что ежели современное их существование не вполне совершенно, то все-таки оно лучше, нежели то *не*существование, на которое они были бы обречены при более благоприятных для печатного слова условиях?

Что бы ни говорили пенкосниматели, никто не

поверит, чтобы относительно свободы тянуть канитель когда-нибудь и где бы то ни было возможны были препятствия. Если же таковые, к удивлению, и встречаются, то это не больше как плод минутного недоразумения, рассеять которое не составляет никакого труда. И пенкосниматели, и их случайные каратели стоят так близко друг к другу, что серьезной вражды между ними невозможно предположить. Иногда они не понимают друг друга — это, конечно, дело возможное; но причина этого явления заключается не в чем-либо существенном, а просто в том озорстве, которому, по временам и притом всегда без надобности, предаются пенкосниматели. Им хочется казаться самостоятельными, не быв оными, — и вот они начинают критиковать, придираться и дразнить. Так, например, если действительность в известных случаях гласит: за такое-то деяние — семь лет каторги, то пенкосниматель непременно сочтет за долг доказывать, что было бы и справедливее и целесообразнее уменьшить этот срок до шести лет одиннадцати месяцев двадцати девяти дней двадцати трех часов пятидесяти пяти минут. Но мало того, что он будет утверждать это, он станет упрекать действительность в бесчеловечии, начнет дразниться своим открытием, будет без конца приставать с ним и оттачивать об него свое гражданское мужество. И действительно в конце концов, по недоразумению, так раздразнит, что сейчас ему — в лоб камнем. Ясно, однако ж, что этот камень повредит ему лоб совсем не за сбавку пяти минут каторги, а за то: не дразнись! Не проедайся! не приставай!

Следовательно, нужно только перестать дразнить — и дело будет в шляпе. Не пенкоснимательство пугает, а претит лишь случайный вкус того или другого вида его. Один вид на вкус сладковат, другой кисловат, третий горьковат; но и тот, и другой, и третий — все-таки представляют собой видоизменения одного и того же пенкоснимательства — и ничего больше.

Вторая выгода, которою пользуются пенкосниматели, заключается в том, что их ни под каким видом ни уследить, ни уличить невозможно. Нет у них ничего, а потому и ухватить их не за что.

Одна из характеристических черт пенкоснимательства — это враждебное отношение к так называемым утопиям. Не то чтобы пенкосниматели прямо враждовали, а так, галдят. Всякий пенкосниматель есть человек не только ограниченный, но и совершенно лишенный воображения; человек, который самой природой осужден на хладное пережевывание первоначальных, так сказать, обнаженных истин. Наделите самого ограниченного человека некоторым количеством фантазии, он непременно устроит себе уголок, в котором будет лелеять какую-нибудь заветную мечту. Мечты эти будут, конечно, не важные: он будет мечтать или о возможности выиграть двести тысяч, или о том, что хорошо было бы завоевать Византию, или о том, наконец, в Москве или в Киеве надлежит быть сердцу России. Но, во всяком случае, у него будет нечто свое, заветное, к чему можно отнестись критически, чем можно разбередить его умственные силы. Пенкосниматель не только свободен от всех мечтаний, но даже горд этой свободой. Он не понимает, что утопия точно так же служит цивилизации, как и самое конкретное научное открытие. Он уткнулся в забор и ни о чем другом, кроме забора, не хочет знать. Не хочет знать даже, существуют ли на свете иные заборы, и в каком отношении находятся они к забору, им созерцаемому. И всех, кто напоминает ему об этих *иных* заборах, он называет утопистами, оговариваясь при этом, что только литературные приличия не дозволяют ему применить здесь название жуликов. «Ковыряй тут, а не в ином месте, ибо только тут обретешь искомый навоз!» — вещает он глубокомысленно и забрызжет с ног до головы всякого, кто позволит себе не последовать его вещаниям.

Таким образом, с точки зрения фантазии, пенкосниматель неуязвим. Нет у него ее, а следовательно, и доказывать ему необходимость этого элемента в литературе и жизни — значит только возбуждать в нем смех, в котором простодушие до такой степени перемешано с нахальством, что трудно отличить, на которой стороне перевес.

Бог с ними, однако ж, с утопиями, если уж этому выражению суждено наводить страх на всех, кому нужны страшные слова, чтобы замаскировать ими

духовную нищету. Но ведь и помимо утопий есть почва, на которой можно критически отнестись к действительности, а именно та почва, на которой стоит сама действительность. Ограничьте конкретность факта до самой последней степени, доведите ее до самой нищенской наготы,— вы все-таки не отвергнете, что даже оскопленный пенкоснимательными усилиями факт имеет и свою историю, и свою современную обстановку, и свои ближайшие последствия, не касаясь уже отдаленного будущего. Разъяснить эту обстановку факта, определить путь, которому он должен следовать, не извращая своего внутреннего смысла,— все это уже совсем не утопия, а именно та самая почва факта, на которой он стоит в действительности. Но пенкосниматель, постоянно твердя о конкретности фактов, даже и здесь выказывает лишь бессилие. Твердя о конкретности, он разумеет совсем не конкретность, а разрозненность, а потому все, что имеет вид обобщения, что напоминает об отношении и связи,— все это уже не подходит под *его* понятие о конкретности и сваливается в одну кучу, которой дается название «утопия». Наше время — не время широких задач! — гласит он без всякого стыда: не расплывайся! не заезжай! не раздражай! Взирай прилежно на то, что у тебя лежит под носом, и далее не дерзай!

Как ни противна эта мутная пена слов, но она представляет своего рода твердыню, за которою, с полною безопасностью, укрывается бесчисленное пенкоснимательное воинство. Благодаря этой твердыне, пенкосниматель выскальзывает из рук своего исследователя, как вьюн, и уследить за случайными эволюциями его бродячей мысли все равно что уследить неуследимое. Конечно, коли хотите, и тут должна же существовать известная логическая последовательность, как была такова и у тех харьковских юношей, которые от хорошего житья задумали убить ямщика; но для того, чтобы открыть эту последовательность и вынести для нее оправдательный вердикт, необходимо быть или всеоправдывающим присяжным будущего, или, по малой мере, присяжным харьковского окружного суда.

Возьмитесь за любое литературное издание

пенкоснимательного пошиба, и вы убедитесь, как трудно отнестись критически к тому, что́ никогда не знало никакого идеала, никогда не сознавало своих намерений. Это болото, в котором там и сям мелькают блудящие огоньки. Вот как будто брезжит нечто похожее на мысль; вот кажется, что пенкосниматель карабкается, хочет встать на какую-то точку. А ну-ко еще! еще, милый, еще! — восклицаете вы, мысленно натуживаясь вслед за пенкоснимателем. И вдруг, хвать-похвать, — туман, то есть бесконечное и лишенное всякого содержания бормотание! И заметьте, что пенкосниматель никогда не обескуражится своим бессилием, никогда не замолчит. Нет, он будет судить и рядить без конца; не может прямо идти — заедет в сторону; тут ползолотника скинет, там ползолотника накинет, и при этом будет взирать с такою ясностью, что вы ни на минуту не усомнитесь, что он и еще четверть золотника накинуть может, если захочет. Или вдруг на кого-нибудь накинется и начнет полемизировать, полемизировать точь-в-точь, как полемизируют между собой обыватели рязанско-тамбовско-саратовского клуба.

— Почему же вы так полагаете, Сидор Кондратьевич?

— Да уж так!

— Однако, Сидор Кондратьевич, нельзя же утверждать или отрицать, приводя в доказательство «да уж так»!

— Да уж помяните вы мое слово!

И он не выйдет из своего «да уж так!» до последнего издыхания, и дотоле не сочтет себя побежденным, доколе будет сознавать себя способным разевать рот и произносить «помяните мое слово!»

Поэтому, и с точки зрения конкретного факта, пенкосниматель точно так же обнажен, как и на почве утопий. От утопий он отворачивается, к конкретному же факту хотя и имеет приверженность, но приверженность слепую, чуждую сознательности. В обоих случаях он неуязвим, как и любой из уличных обывателей. Факт, представленный не одиноко, а в известной обстановке, для него такая же смешная абстракция, как Фаланстер или Икария. Требуйте от него отчета, доказывайте, прижимайте к

стене — он все будет барахтаться и произносить свое «да уж так!». И над вами же, в заключение, вдосталь нахохочется. Нет, скажет, ты меня не поймаешь! Ловок ты, а я вот тебе каждый день язык показывать буду — и хоть ты что хочешь, а ничего со мной не поделаешь!

Но есть и еще почва, на которой пенкосниматель неуязвим,— это почва либерализма. Либерализм — это своего рода дойная корова, за которою, при некоторой сноровке и при недостатке бдительного надзора, можно жить припеваючи, как живали некогда целые поколения людей с хозяйственными наклонностями, прокармливаясь около Исакиевского собора. Пенкосниматель выражается не особенно ясно, но всегда с таким расчетом, чтобы загадочность его была истолкована в либеральном смысле. Он умеет кстати подпустить: «мы говорим с прискорбием», или «ничто так не огорчает нас, как нападки на наши молодые, еще не окрепшие учреждения», и, разумеется, никогда не промолвится, что крепостной труд лучше труда свободного или что гласное судопроизводство хуже судопроизводства при закрытых дверях. Нет, никогда; ибо склады либерализма известны ему в точности. Конечно, он все-таки ничего не смыслит ни в действительной свободе, ни в действительной гласности, но так как он произносит свои афоризмы совершенно так, как бы находился в здравом уме и твердой памяти, то со стороны может казаться, что он, пожалуй, что-нибудь и смыслит. И таким образом, в результате оказывается бесконечный обман, имеющий подкладкой одно самоуверенное нахальство. Вам говорят о благодеяниях свободного труда, но в то же время приурочивают его действие к такой бесконечно малой сфере, что, в сущности, выходит лишь замаскированный крепостной труд. Вам повествуют о выгодах гласного суда, а на поверку выходит, что речь сводится к рекламам в пользу такого-то адвоката и судьи. И вся эта обнаженная канитель тянется с такою солидностью, что делается жутко за человеческую мысль. Дважды два — четыре, проповедует пенкосниматель и совершенно искренно верит, что дальше этой истины ничего уж нет, и что доискиваться каких-либо дальнейших комбинаций есть дело прихоти и продерзостного мальчишества.

Все эти три неуязвимости достойно прикрываются четвертою: солидностью. Способность говорить солидно и уверенно самые неизреченные пошлости есть именно та драгоценная способность, которою в совершенстве обладает всякий пенкосниматель. Это василиск празднословия, при встрече с которым надобно выбирать одно из двух: или плюнуть и бежать от него прочь, или обречь себя на выслушивание его. Никогда ни по какому вопросу он не придет к ясному выводу, но в то же время никогда ни по какому вопросу не спасует. Он будет плавно и мерно выпускать фразу за фразой и ожиданием вывода или заведет в ловушку, или доведет до исступления. Поэтому полезнее всего — это избегать всяких встреч с пенкоснимателями, ибо только этим способом можно оградить себя от дьявольского наваждения. Но существуют люди слабые (увы! вселенная кишит ими!), которые не могут устоять перед взорами этих василисков и потому ввергаются в бездну празднословия. Вот в этих-то слабохарактерных личностях пенкосниматели и черпают ту силу, которая так изумляет исследователей современности. И будут черпать ее до тех пор, пока литература не почувствует себя свободною от кошмара, который давит ее, или пока совсем не потонет в океане бессмысленного бормотания...

Я долго блуждал по Выборгской, заглянул в Лесной, но вспомнил, что здесь главный очаг наших революций, и отправился на Охту, где отяжелелыми от сна глазами оглядел здания пороховых заводов.

Проведенный вечер не выходил из головы моей. Впрочем, из всех индивидуумов, которые играли в нем роль, я оплакивал лишь двоих: русскую литературу и Менандра. Все прочие были так счастливы и довольны собой, казались до того на своем месте, что и жалеть об них не было ни малейшего повода. Они кружились и играли, как мошки на солнце, и, кружась и играя, конечно, довлели сами себе, как выражалась критика сороковых годов. Пенкоснимательство было их назначением, их провиденциальною ролью. Они родились именно тогда, когда началось пенкоснимательство, и умрут тогда, когда пенкоснимательство кончится. Но литература, но

Менандр... воля ваша, а я и до сих пор не могу примириться с мыслью, что они самопроизвольно заразились этою язвою. Мне все кажется, что это индивидуумы подневольные, сносящие иго пенкоснимательства лишь потому, что чувствуют себя в каменном мешке.

Сравните литературу сороковых годов, не делавшую шага без общих принципов, с литературой нынешнею, занимающеюся вытаскиваем бирюлек; сравните Менандра прежнего, оглашавшего стены «Британии» восторженными кликами о служении высшим интересам искусства и правды, и Менандра нынешнего, с тою же восторженностью возвещающего миру о виденном в Екатеринославле северном сиянии. Какая непроглядная пропасть лежит между этими сопоставлениями!

Я не говорю, чтоб полезно и желательно было всецело воскресить сороковые годы с их исключительным служением всякого рода абстрактностям, но не те или другие абстрактности дороги мне, а темперамент и направление литературы того времени. Никто не посмел бы крикнуть тогда: «наше время не время широких задач!» напротив того всякий рвался захватить как можно шире и глубже. Говорят, что расплывчивость сороковых годов породила множество монстров, которые и дают себя знать теперь в качестве неумолимых гонителей всякого живого развития. Я и не отрицаю, что такие монстры действительно существуют, но отрицаю, чтоб их можно было считать представителями сороковых годов. Это схоластики, увлекавшиеся буквою и никогда не понимавшие ее смысла. Они только поддакивали, когда глубоко убежденные люди утверждали, что дело литературы заключается в разработке общих руководящих идей, а не подробностей. Но, увы! убежденные люди безвременно сошли в могилу, а схоластики остались, да еще остались старые болтуны, которые, как давно заброшенные часы, показывают всё тот же час, на котором застал их конец пятидесятых годов.

Правда, что тогда же был и Булгарин, но ведь и Булгарины бывают разные. Бывают Булгарины злобствующие и инсинуирующие, но бывают и добродушные, в простоте сердца переливающие из пус-

того в порожнее на тему, что все на свете коловратно и что даже привоз свежих устриц к Елисееву и Смурову ничего не может изменить в этой истине. Кто же может утверждать наверное, что современная русская литература не кишит как злобствующими, так и простосердечными Булгариными?

Среди этих горьких размышлений я очутился на Невском уже тогда, когда часы на Публичной библиотеке показывали одиннадцать. К довершению всего, у Петропавловской лютеранской церкви я неожиданно наткнулся на Прокопа, о котором думал, что он уже несколько дней тому назад отправился восвояси хлопотать о месте по части новых налогов.

— Ба! какими судьбами! а я думал, что ты уж уехал домой! — воскликнули мы оба в один голос.

А между тем из церкви выезжал довольно людный печальный кортеж. Невский в этом месте был запружен войсками, которые, при появлении траурных дрог, выстроились и под звуки похоронного марша двинулись по направлению к Смоленскому кладбищу.

— Что же ты здесь делаешь? ведь я думал, что ты уж давно дома и об месте хлопочешь, — обратился я к Прокопу.

— Нельзя, братец, делов много. Видишь, вот генерала хороню.

— Какого еще генерала?

— Фон Керль прозывался, из немцев. Признаться сказать, я только с неделю тому назад с ним в департаментской приемной познакомился, а четвертого дня, слышу, он холостым выстрелом застрелился.

— Ты врешь, душа моя!

— Истинным богом. Пистон разорвало, а он с испугу подумал, что его убило, да и умер.

— А вот еще сомневаются в существовании души! Ну, мог ли бы случиться такой факт, если б души не было? Но что за причина, что он покусился на самоубийство?

— Да года три сряду все по кавалерии числился; ну, натурально, местов искал, докладные записки во все министерства подавал. В губернаторы уж очень хотелось попасть! Мне бы, говорит, ваше превосхо-

дительство, какую-нибудь немудрящую губернию, в Петрозаводск или в Уфу... право!

— Скажите на милость! и не дали!

— Не дали. А он между тем, в ожидании, все до нитки спустил. Еще накануне происшествия я водил его на свой счет в греческую кухмистерскую обедать — смотреть жалость! Обносился весь! говорит. А теперь, гляди, с какой помпой хоронят!

— В самом деле, какая несправедливость! Отчего бы не дать? Ведь нынче, говорят, от губернаторов все отошло!

— Вот и он тоже говорил. Нынче, говорит, все от губернаторов отошло. Нужно только так иметь да хорошего вице-губернатора. А на другой день, слышу, застрелился!

— И хороший, ты говоришь, генерал был?

— Одно слово, через Валдайские горы однажды перешел!

— Не через Балканские ли, душа моя?

— Верно говорю: через Валдайские. Через Балканские — это прежде бывало, а нынче и через Валдайские — спасибо скажи!

Кортеж между тем удалялся, и звуки похоронного марша уж довольно смутно доносились до нас.

— Ну, брат, я бегу! — спохватился Прокоп,— да ты что, свободен, что ли?

— Спать хочется, а то какие же у меня дела!

— Ну его, сон! успеем выспаться, как в деревню вернемся. Айда со мной на Смоленское! Там, брат, в кухмистерской на казенный счет поминки устроены, так кстати закусим и выпьем.

Я с минуту колебался, но времени впереди было так много, времени ничем не занятого, вполне пустопорожнего... Оказывалось решительно все равно, чем ни наполнить его: отданием ли последнего долга застрелившемуся холостым выстрелом генералу или бесцельным шаганием по петербургским тротуарам, захаживанием в кондитерские, чтением пенкоснимательных передовых статей, рассматриванием проектов об упразднении и посещением различного рода публицистических раутов. В самом деле, не рискнуть ли на Смоленское?

— Мы вот как сделаем,— продолжал между тем искушать Прокоп,— сперва генералу честь отдадим и в кухмистерской закусим, потом отправимся обедать к Дороту, а там уж и на Минералы рукой подать! Каких, брат, там штучек с последними кораблями привезли! Наперед говорю: пальчики оближешь!

Но согласие и без того уже виделось в глазах моих...

Похороны были, так сказать, выморочные. По-видимому, и сам покойный генерал был выморочный, ни в каком ведомстве не нужный генерал. Переход через Валдайские горы, в свое время составивший славу Фон Керля, был давно забыт; только немногие из сослуживцев, да и то большею частью из состоящих по кавалерии, почтили память усопшего. Ни родственников, ни хозяев печального торжества не было; распоряжался казначей того ведомства, на счет которого хоронили Фон Керля, но и его действия заключались единственно в уплате издержек по церемонии. Впрочем, на закуске, в ближайшей к кладбищу кухмистерской, было довольно оживленно. Собрались большею частью люди ни мне, ни Прокопу неизвестные, но нас так усердно потчевали, как будто мы были ближайшие родные покойного. Прокоп, по обыкновению, лгал, то есть утверждал, что сам присутствовал при том, как Фон Керль застрелился, и собственными ушами слышал, как последний, в предсмертной агонии, сказал: «Отнесите господину министру внутренних дел последний мой вздох и доложите его превосходительству, что хотя я и не удостоился, но и умирая остаюсь при убеждении, что для Петрозаводска... лучше не надо!»

Некоторые из сослуживцев-генералов облизнулись при этом, а один из них сказал:

— Вы обязаны исполнить волю покойного! Быть может, его высокопревосходительство тронется этим и хотя в отношении к другим будет не столь взыскателен!

— Непременно-с! непременно-с! — уверял Прокоп,— помилуйте! какого еще к черту губернатора надо!

По сцеплению идей, зашел разговор о губернаторстве, о том, что нынче от губернаторов все

отошло и что, следовательно, им нужно только иметь такт. Прокоп стал было утверждать, что и совсем их не нужно, но потом сам убедился, что во-первых, некому будет взыскивать недоимки, а во-вторых, что без хозяина, во всяком случае, как-то неловко. От губернаторства разговор опять возвратился к покойному и к славнейшему подвигу его жизни: к переходу через Валдайские горы.

— Скажите, пожалуйста! вы были свидетелем этого перехода? — обратился к Прокопу один из генералов.

— Еще бы! Я тогда юнкером в Белобородовском полку состоял; но так как покойный всегда особенно меня жаловал, то я у него почти за адъютанта служил. Только вот стоим мы, как сейчас помню, в Яжелбицах...

— Так, так! Это было при Яжелбицах! — воскликнули в один голос все генералы, словно чем-то обрадованные.

— Ну-с, стоим мы этак в Яжелбицах, а в это время, надо вам сказать, рахинские крестьяне подняли бунт за то, что инженеры на их село шоссе хотели вести[1]. Ну-с, хорошо. Только смотритель Яжелбицкой станции и говорит покойному: не угодно ли, говорит, вашему высокоблагородию — он тогда еще полковником был — ухи из форелей откушать? у нас, говорит, преотменные в озере ловятся! Разумеется, сейчас за мной: так и так, как ты думаешь, успеем ли мы уху съесть? «И думать, говорю, об ухе нечего!» Ну, поморщился мой полковник — сами вы знаете, господа, какой он охотник покушать был,— однако видит, что моя правда, воздержался! Было это дело у нас, доложу вам, пятого июля, немного спустя после полдён...

— Так, так! Пятого июля! Так и в истории этого похода сказано!

— Ну, вот видите! Не лгу же я! Да и зачем лгать, коли сам собственными глазами все видел! Только вот, смотрю я, солнышко-то уж книзу идет, а нам в тот же день надо было покончить с Рахиным, чтобы разом, знаете, раздавить гидру — да и шабаш!

---

[1] Яжелбицы и Рахино — станции на Петербургско-Московском шоссе *(Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

— Совершенно справедливо! Бунты — тут первое дело натиск и быстрота! А потом — вольным шагом, и по домам! — воскликнули генералы.

— Ну-с, только вот и говорит мой полковник смотрителю: нет, говорит, старик! мне, говорит, надо к двум часам вот эту гору взять, а к пяти часам чтобы в Рахино! Когда там покончим, тогда и уху к вам есть прибудем. А вы, господа, изволите ли знать Яжелбицкую-то гору?

— Как же, как же! ужаснейшая гора! — воскликнули генералы, из которых некоторые даже отмеривали руками.

— Ответивши таким манером смотрителю, покойный улыбнулся этак и говорит солдатикам: «А что, ребята, к пяти часам будем в Рахине?» Ну, разумеется: ради стараться! Сейчас — барабаны! Песенники вперед! на приступ! гора к черту! — и к пяти часам у нас уж кипел горячий бой под Рахиным! К шести часам гидра была при последнем издыхании, а в девять полковник уже был в Яжелбицах и говорил мне: ну, теперь я надеюсь, что и ты не скажешь, что я ухи не заслужил? И скушал разом целых три тарелки!

— Браво! браво! ну и нам теперь самое время выпить за покойного!

Быть может, время так и прошло бы в мирном веселии, если б Прокоп не выпил несколько лишних рюмок хересу и под их наитием не вздумал вступить в религиозный спор.

— Одно жаль,— сказал он,— не в нашей русской вере помер! Говорил я ему еще накануне смерти: окрестись, говорю, Карл Иваныч! Вспомни, куда ты идешь! По крайности, в царство небесное попадешь! с людьми будешь!

Генералы, из которых большинство были немцы, обиженно переглянулись между собой.

— Но позвольте узнать,— спросил один из них,— какие основания вы имеете, чтобы так низко ставить нашу святую евангелическую религию?

— Да такие основания, что она и не религия совсем!

— Однако имеете ли вы доказательства в пользу вашего мнения?

— Каких там еще доказательств! Не религия — и все тут! Ну, первое доказательство: ваша вера та-

инства погребения не признает — на что похоже!

— Но позвольте вам доложить, что такого таинства и в вашей русской религии не находится!

— Ну, уж это дудки!

— Однако ж это ужасно! — воскликнули хором генералы.

— У нас над покойником-то поют! — упорствовал Прокоп,— и дьякон и поп — честь честью в могилу кладут! А у вас что! пришел ваш пастор, полопотал что-то, даже закусить с нами не захотел! На что похоже!

— Позволь, душа моя,— вступился я,— ведь действительно и у нас таинства погребения нет!

— Ну, нет так нет — не в том штука! А вот мы в святого духа верим, а вы, немцы, не верите!

— Позвольте же вам доложить...

— Нечего тут докладывать! Этак вы скажете, что и чухна белоглазая — и та в бога верит!

— Но это ужасно!

— Ужасно-то оно ужасно, только не нам! Вам будет ужасно — это так!

— Но позвольте вам сказать, милостивый государь, что мы так точно верим в святого духа, как бы он сейчас между нами был!

— Ну, между нами-то, пожалуй, сейчас его и нет! Это, брат, враки! А вот, что вы в Николая Чудотворца не верите — это верно!

— Но Николай — это совсем другое дело! Николай — это был очень великий человек!

— Боговдухновенный, сударь! Не «великий человек», а боговдухновенный муж! «Правило веры, образ кротости, воздержания учителю!» — вот что-с! — произнес Прокоп строго.— А по-вашему, по-немецки, все одно: Бисмарк великий человек, и Николай Чудотворец великий человек! На-тко выкуси!

Глаза у генералов постепенно расширялись; чиновники похоронного ведомства потихоньку посмеивались, а Прокоп разгорячался все больше и больше.

— Скажи это я, русский,— ораторствовал он,— давно бы у меня язык отнялся! А с вас, с немцев, все как с гуся вода!

Слово за слово, генералы так обиделись, что при-

цепили палаши, взяли каски и ушли. Прокоп остался победителем, но поминовенная закуска расстроилась. Как ни упрашивал казначей-распорядитель еще и еще раз помянуть покойного, строптивость Прокопа произвела свое действие. Чиновники боялись, что он начнет придираться и, пожалуй, даже не отступит перед словом «прохвосты». Мало-помалу зала пустела, и не более как через полчаса мы остались с Прокопом вдвоем.

— Ну, скажи, пожалуйста, какая тебе была охота поднимать всю эту историю? — укорял я Прокопа.

— А по-твоему, в рот им смотреть?

— Как ты странно, душа моя, рассуждаешь! совсем с тобой правильного разговора вести нельзя!

— Нет, ты мне ответь: в рот, что ли, им смотреть! А я тебе вот что говорю: надоела мне эта немчура белоглазая! Я, брат, патриот — вот что!

— Но ведь здесь...

— И здесь, и там, и везде... везде я им нос утру! Поди-тка что выдумали: двести лет сряду в плену у себя нас держат!

Спорить было бесполезно, ибо в Прокопе все чувства и мысли прорывались как-то случайно. Сегодня он негодует на немцев и пропагандирует мысль о необходимости свергнуть немецкое иго; завтра он же будет говорить: чудесный генерал! одно слово, немец! и даже станет советовать: хоть бы у немцев министра финансов на подержание взяли — по крайности, тот аккуратно бы нас обремизил!

Когда мы вышли, солнце еще не думало склоняться к западу. Я взглянул на часы — нет двух. Вдали шагали провиантские и другие чиновники из присутствовавших на обеде и, очевидно, еще имели надежду до пяти часов сослужить службу отечеству. Но куда деваться мне и Прокопу? где приютиться в такой час, когда одна еда отбыта, а для другой еды еще не наступил момент?

— К Дороту, что ли? — раздумывал Прокоп,— да там, поди, и татары еще дрыхнут! А надо где-нибудь до пяти часов провести время! Ишь чиновники-то! ишь, ишь, ишь, как улепетывают! Счастливый народ!

Делать нечего, я должен был пригласить его ко мне.

— Ну, вот, и спасибо! Вздремнем часок, другой, а там и опять марш!

Но надежде на восстановляющий сон не суждено было осуществиться с желаемою скоростью. Прокоп имеет глупую привычку слоняться по комнате, садиться на кровать к своему товарищу, разговаривать и вообще ахать и охать, прежде нежели заснет. Так было и теперь. Похороны генерала, очевидно, настроили Прокопа на минорный тон, и он начал мне сообщать новость за новостью, одна печальнее другой.

— Да ты знаешь ли,— сказал он,— что на этих днях в Калуге семнадцать гимназистов повесились?

— Что ты! Христос с тобой!

— Верно говорю, что повесились. Не хотят полатыни учиться — и баста!

— Да врешь ты! Если б что-нибудь подобное случилось, неужто в газетах не напечатали бы!

— Так тебе и позволили печатать — держи карман! А что повесились — это так. Вчера знакомый из Калуги на Невском встретился: все экзамены, говорит, выдержали, а как дошло до латыни — и на экзамен не пошли: прямо взяли и повесились!

— Однако, брат, это черт знает что!

— И я то же говорю. Такое, брат, это дело, такое дело, что я вот и не дурак, а ума не приложу.

Прокоп потупился, и некоторое время, сложив в раздумье руки, обводил одним указательным пальцем около другого.

— Нынче и дети-то словно не на радость,— продолжал он,— сперва латынь, потом солдатчина. Не там, так тут, а уж ремиза не миновать. А у меня Петька смерть как этой латыни боится.

— Ну, принудил бы себя! что за важность!

— И я ему то же говорил, да ничего не поделаешь. Помилуйте говорит, папенька, это такой проклятый язык, что там что ни слово, то исключение. Совсем, говорит, правил никаких нет!

— Да нельзя ли попросить, чтоб простили его?

— Просил, братец! ничем не проймешь! Одно ладят: нынче, говорят, и свиней пасти, так и то Корнелия Непота читать надо. Ну, как мне после этого немцев-канальев не ругать!

Прокоп опять задумался, и некоторое время в комнате царствовало глубокое молчание, прерываемое лишь вздохами моего друга.

— А то слышал еще, Дракин, Петр Иванович, помешался? — вновь начал Прокоп.

— Господи! да откуда у тебя всё такие новости?

— Вчера из губернии письмо получил. Читал, вишь, постоянно «Московские ведомости», а там всё опасности какие-то предрекают: то нигилизм, то сепаратизм... Ну, он и порешил. Не стоит, говорит, после этого на свете жить!

— Скажите на милость! А какой здоровый был!

— Умница-то какая — вот ты что скажи! С губернатором ли сцепиться, на земском ли собрании кулеврину подвести — на все первый человек! Да что Петр Иванович — этому, по крайней мере, было с чего сходить, а вот ты что скажи: с чего Хлобыстовский, Петр Лаврентьевич, задумываться стал?

— Неужто и он?

— Да, и от чего стал задумываться... от «Петербургских ведомостей»! С реформами там нынче всё поздравляют, ну вот он читал-читал, да и вообрази себе, что идет он по длинному-длинному коридору, а там, по обеим сторонам, всё пеленки... то бишь всё реформы развешены! Эхма! чья-то теперь очередь с ума сходить!

Новое молчание, новые вздохи.

— И что, братец, нынче за время такое! Где ни послышишь — везде либо запил, либо с ума сошел, либо повесился, либо застрелился. И ведь никогда мы этой водки проклятой столько не жрали, как теперь!

— От скуки, любезный друг!

— Именно, брат, от скуки. Скажу теперича хоть про себя. Ну, встанешь это утром, начнешь думать, как нынче день провести. Ну, хоть ты меня зарежь, нет у меня делов, да и баста!

— Да и у меня, душа моя, их немного.

— Вот, говорят, от губернаторов все отошло: посмотрели бы на нас — у нас-то что осталось! Право, позавидуешь иногда чиновникам. Был я намеднись в департаменте — грешный человек, все еще поглядываю, не сорвется ли где-нибудь дорожка,— только сидит их там, как мух в стакане. Вот сидит он за столом, папироску покурит, ногами поболтает,

потом возьмет перо, обмакнет, и чего-то поваракает; потом опять за папироску возьмется, и опять поваракает — ан времени-то, гляди, сколько ушло!

— А нам с тобой деваться некуда!

— Пристанищев у нас нет никаких — оттого и времени праздного много. А и дело навернется — тоска на него глядеть! Отвыкли. Все тоска! все тоска! а от тоски, известно, одно лекарство: водка. Вот мы и жрем ее, чтобы, значит, время у нас свободнее летело.

— Да, душа моя, видно, остались мы с тобой за штатом!

— Не за штатом, а просто ни при чем. Ну, скажи на милость, кабы у тебя *свое* дело было, ну, пошел ли бы ты генерала хоронить? Или опять эти Минералы,— ну, поехал ли бы ты за семь верст киселя есть, кабы у тебя *свой* интерес под руками был?

— Так за чем же дело стало? Возьмем да и не поедем сегодня на Минералы!

— Ну, стало быть, в Шато-де-Флёр поедем, а уж туда либо сюда — не минешь ехать.

— Да отчего же! Посидим дома, пошлем за обедом в кухмистерскую, напьемся чаю, потолкуем... Может быть, что-нибудь да и найдется!

— Ничего не найдется. О том, что ли, толковать, что все мы под богом ходим, так оно уж и надоело маленько. А об другом — не об чем. Кончится тем, что посидим часок да и уйдем к Палкину, либо в Малоярославский трактир. Нет уж, брат, от судьбы не уйдешь! Выспимся, да и на острова!

Увы! Я должен был согласиться, что план Прокопа все-таки был самый подходящий. О чем толковать, когда никаких своих дел нет? А если не о чем толковать, то, значит, и дома сидеть незачем. Надо бежать к Палкину, или на Минерашки, или в Шато-де-Флёр, одним словом, куда глаза глядят и где есть возможность забыть, что есть где-то какие-то дела, которых у меня нет. Прибежишь — никак не можешь разделаться с вопросом: зачем прибежал? Убежишь — опять-таки не разделаешься с вопросом: зачем убежал? И всё-то так.

Наконец я заснул.

Чертог сиял...

В саду, однако ж, было почти темно. Отблеск огней, которыми горело здание минеральных вод, превращал полумрак майской ночи в настоящую мглу. Публика с какою-то безнадежною апатией колотилась взад и вперед, не рискуя пускаться в аллеи более отдаленные и кружась в районе света, выходящего из окон здания. Тут же, на площадке, волочили свои шлейфы современные Клеопатры из Гамбурга. По бокам площадки, около столиков, ютились обоего пола посетители и истребляли всякого рода влагу. В разных местах, на покрытых эстрадах, мерцали огни, и раздавались звуки музыки, которые, благодаря влажности воздуха, даже в небольшом расстоянии доходили до слуха в виде треска. Несмотря на то что толпа была довольно компактная, говор стоял до такой степени умеренный, что мы, войдя в сад, после шума и стука съезда, были как бы охвачены молчанием. По временам слышалось бряцание палаша и раздавался крик: человек! похожий на крик иволги в глухом лесу. Сырость была несносная, пронизывающая.

Странное дело! я и прежде нередко посещал это заведение, и довольно коротко знаю его публику, но и до сих пор, входя в сад, не могу избавиться от чувства некоторой неловкости. Посмотришь кругом — публика ведет себя не только благонравно, но даже тоскливо, а между тем так и кажется, что вот-вот кто-нибудь закричит «караул», или пролетит мимо развязный кавалер и выдернет из-под тебя стул, или, наконец, просто налетит бряцающий ташкентец и предложит вопрос: «А позвольте, милостивый государь, узнать, на каком основании вы осмеливаетесь обладать столь наводящей уныние физиономией?» А там сейчас протокол, а назавтра заседание у мирового судьи, а там апелляция в съезд мировых судей, жалоба в кассационный департамент, опять суд, опять жалоба,— и пошла писать. Положим, что подобные происшествия случаются редко, тем не менее тревожное чувство, подсказывающее возможность чего-нибудь в этом роде, несомненно существует, и я уверен, существует не у меня одного.

В этот вечер тревожное чувство давало себя знать как-то сильнее обыкновенного. Очевидно, я одичал,

одичал в Петербурге, в самом разгаре всякого рода утех. В течение полугода я испытал все разнообразие петербургской жизни: я был в воронинских банях, слушал Шнейдершу, Патти, Бланш Вилэн, ходил в заседания суда, посетил всевозможные трактиры, бывал на публицистических и других раутах, присутствовал при защите педагогических рефератов, видел в «Птичках певчих» Монахова и в «Fannu Lear» Паску, заседал в Публичной библиотеке и осмотрел монументы столицы, побывал во всех клубах, а в Артистическом был даже свидетелем скандала; словом сказать, только в парламенте не был, но и то не потому, чтобы не желал там быть, а потому, что его нет. И несмотря на все это, я одичал. Может быть, это от вина, а может быть, и от того, что разговоры постоянно слышу какие-то пенкоснимательно-несообразные,— как бы то ни было, но куда бы я ни пришел, везде мне кажется, что все глаза устремлены на меня, и во всех глазах я читаю: а ты зачем сюда пожаловал? И вот, как только мелькнет этот вопрос в моей голове, мне делается совестно. И я начинаю робеть и смущаться, и воображать, что вот этот, например, усатый господин, который, гремя палашом, мчится в мою сторону, мчится не иначе как с злостным намерением выдернуть из-под меня стул.

Напрасно напрягал я взоры в темноту — я никого не мог различить. Даже кокотки были как будто все на одно лицо, и только по большей или меньшей смелости жаргона можно было различить большую или меньшую знаменитость. Были такие, около которых раздавалось непрерывное бряцание,— это, конечно, самые счастливые, имевшие в перспективе ужин у Бореля и радужную бумажку; но были и такие, которые кружились совсем-совсем одни и, быть может, осуждены были на последние два двугривенных нанять ваньку, чтоб вернуться на Вознесенский проспект или в Подьяческую. Прокоп был счастливее меня; он как-то и в тьму ухитрялся проникнуть, и беспрестанно толкал меня в бок, спрашивая: «Это кто?.. вон, высокий в плаще?» или: «А этот вон, в белом жилете, с закрученными усиками... это директор департамента, кажется? Ну да, он! он и есть!»

Мы с полчаса самым отчаянным образом бреме-

нили землю, и в течение всего этого времени я не имел никакой иной мысли, кроме: «А что бы такое съесть или выпить?» Не то чтобы я был голоден,— нет, желудок мой был даже переполнен,— а просто не идет в голову ничего, кроме глупой мысли о еде. Вот долетел до ушей треск контрабаса, и вдруг опять все стихло, хотя и видно, что на эстраде какой-то мужчина не переставая махает палочкой, а другие мужчины то поднимают, то опускают смычки. А мы всё ходим и ходим, как будто чего-то ждем. Наконец, несмотря на то что прошло с приезда не более двадцати минут, начинаем ощущать адскую усталость. И вот в ту самую минуту, когда я уже порешил, что самое подходящее в настоящем случае: выпить коньяку,— раздался звонок, призывающий в залу представлений. Господи! как же обрадовались мы этому звонку! с каким импетом рванулись в залу театра! и как рванулись вместе с нами все эти бесприютные, чающие движения воды, которые ни к чему в жизни не могли приладиться, кроме бряцания, кокоток и шампанского!

Вдруг, при входе в зал, среди толпы, я встречаю того самого товарища, который, если читатель помнит, водил меня смотреть Шнейдершу. Он был окружен еще двумя-тремя старыми товарищами, которые, по обыкновению, юлили около него.

— А! провинциал! А я ведь думал, что ты давно в своей классической Проплёванной! Пришел смотреть Claudia? Quelle verve! Sapristi![1]

Затем Нагибин (фамилия моего товарища) нагнулся к моему уху и таинственно шепнул:

— А ведь я к вам, в губернию... mais chut![2]

— Как? уже помпадуром?! Поздравляю!!

— Да, душа моя. Я решился принять. Ce n'est pas le bout du monde, j'en conviens, mais en attendant, c'est assez joli...[3] Я на тебя надеюсь! Ты будешь содействовать мне! C'est convenu![4] Впрочем, отсюда мы отправляемся ужинать к Донону, и, разумеется, ты с нами!

---

[1] Какое вдохновение! Черт побери!

[2] но тсс!

[3] Это не бог весть что, согласен, но в ожидании лучшего это недурно...

[4] По рукам!

Сказав это, Нагибин пожал мне руку и проследовал с своими спутниками в первые ряды.

Признаюсь, это известие взволновало меня. Откровенно говоря, первое чувство, заговорившее во мне, было дрянное чувство зависти. Ну, за что? — думалось мне: за что? Вот он теперь «Le sire de Porc-Epic»[1] будет слушать, с кокотками переглядываться — ну, и сидел бы тут, и переглядывался бы! И самое место тебе, молокососу (я даже забыл, что, называя Нагибина молокососом, я, как сверстник его, и себя причисляю к сонму таковых), здесь сидеть! А ты, вместо того, помпадурш будешь разводить, будешь содрогаться при виде царствующего в Тетюшах и Наровчате вольномыслия и повсюду станешь внедрять руководящие догматы Porc-Epic'a. Но через короткое время зависть улеглась, и взволнованное чувство обратилось исключительно к моей собственной личности. А что, думалось мне, ведь ежели бы я не закоснел в чине титулярного советника, ведь и я бы... Конечно, живя в провинции, я и пообносился, и одичал, и во французском диалекте не без изъянцев; но ежели бы меня приодеть, пообчистить, я бы и теперь... О, черт побери! именно я мог бы, даже очень мог бы и помпадурш разводить, и содрогаться от вольномыслия Чебоксар, и кричать «фюить!». Затем, переходя от смягчения к смягчению, я дошел наконец до того, что даже ощутил радость по случаю назначения Нагибина. По крайней мере, говорил я себе, у меня друг будет! Он будет поверять мне свои тайны: по утрам мы будем вместе содрогаться и изыскивать меры, а вечером к помпадуршам станем ездить!

А между тем Прокоп все время ел меня глазами. По странной игре природы, любопытство выражалось в его лице в виде испуга, и выражение это сохранялось до тех пор, пока не полагался конец мучившей его неизвестности.

— Кто это? — спросил он меня, блуждая глазами.

— Мой друг, Нагибин. Он, брат, к нам в помпадуры...

Лицо Прокопа совсем перекосило от испуга.

---

[1] «Повелителя Дикобраза».

— Чудак! что же ты меня не представил? — упрекнул он меня.

Мы уселись где-то в шестом или седьмом ряду, и Прокоп никогда не роптал на себя так, как теперь, за то, что пожалел полтора рубля и не взял места во втором ряду, где сидели мои друзья.

— Не, что мы здесь увидим! — бормотал он, — эти вещи надо непременно из первых рядов смотреть!

Зала была почти полна, но Прокоп как-то ухитрился сквозь массу голов устроить себе coup d'oeil[1] в сторону Нагибина. Он приподнимался всем корпусом, чтоб досыта наглядеться хоть на затылок будущего обладателя сердец рязанско-тамбовско-саратовского клуба.

— Да, этот подтянет! — говорил он.

— Да, душа моя, Нагибин шутить не любит!

— Этот маху не даст! Ну, а эти... которые с ним... кто такие?

— Это тоже старые товарищи, и, вероятно, все по очереди у нас перебывают.

— Перебывают — это верно. Однако завтра, чуть свет, напялю мундир и явлюсь. Нельзя.

Шел общий, густой говор; передвигали стульями; слышалось бряцание палашей и картавый французский говор; румяные молодые люди, облокотясь на борты лож, громко хохотали и перебрасывались фразами с партером; кокотки представляли собой целую выставку, но поражали не столько изяществом, сколько изобилием форм и какою-то тупою сытостью; некоторые из них ощипывали букеты и довольно метко бросали цветами в знакомых кавалеров.

Но вот занавес поднялся. Относительно нелепости содержания «Le sire de Porc-Epic» может быть сравнен разве с «Fanny Lear», с тою лишь разницею, что последняя имеет претензию на серьезность, а «Porc-Epic» с тем и писан, чтоб украсить сцену колоссальною глупостью. Разобрать что-нибудь в этом сумбуре — нет возможности, кроме того, что г. Теофиль дает г. Ру пощечину ягодицами, что совсем даже неправдоподобно. Claudia звенела, сыпала пощечинами, и с какою-то исступленною востор-

[1] подсматривание.

женностью поднимала ноги. Но вот «Porc-Epic» посрамлен; гремят трещотки, бубны, тазы, барабаны, занавес опускается.

Зачем я приехал?!

Но несмотря на то, что этот вопрос представлялся мне чуть не в сотый раз, я все-таки и к Донону поехал, и с кокотками ужинал, и даже увлек за собой Прокопа, предварительно представив его Нагибину как одного из представителей нашего образованного сословия.

Нагибин принял Прокопа с тою дружескою любезностью, которою отличаются вообще помпадуры новейшего закала, а во время нашего переезда к Донону (мы ехали в четвероместной коляске) был даже очарователен. Он не переставал делать Прокопу вопросы, явно свидетельствовавшие, что он очень серьезно смотрит на предстоящую ему задачу.

— Ваша губерния плодородная? — любопытствовал он.

— Была, вашество, прежде, а теперь... Нынче, вашество, не плодородие, а вольные мысли в ходу-с. Вот ежели вы изволите нас подтянуть, так оно, может быть, и воротится, плодородие-то...

— Постараюсь-с. Но не скрываю от себя, что задача будет трудная, потому что зло слишком глубоко пустило корни... Ну-с, а скажите, и лес в вашей губернии растет?

— Рос, вашество, прежде... богатые леса были! А теперь и лесок как-то тугонько идет. У меня, однако ж, в парке еще не все липки мужики вырубили.

— Гм... однако и липа растет?!

Потом пошли расспросы: можно ли иметь на месте порядочную говядину (un roastbeef, par exemple![1]), как следует поступить относительно вина, а также представляется ли возможность приобрести такого повара, который мог бы удовлетворить требования вкуса более или менее изысканного.

— Не скрою от вас, — говорил Нагибин, — я смотрю на свою роль несколько иначе, нежели рутинеры прежнего времени. Я миротворец, медиатор, благосклонный посредник — и больше ничего. Смягчать раздраженные страсти, примирять враж-

[1] ростбиф, например!

дующие стороны, наконец, показывать блестящие перспективы — вот как я понимаю мое назначение! Or, je vous demande un peu, s'il u a quelque chose comme un bon diner pour apaiser yes passions![1]

С своей стороны, Прокоп рисовал картины самого мрачного свойства.

— Все прежде бывало, вашество! — ораторствовал он,— и говядина была, и повара были, и погреба с винами у каждого были, кто мало-мальски не свиньей жил! Прежде, бывало, ростбиф-то вот какой подадут (Прокоп расставил руки во всю ширину), а нынче, ежели повар тебе бёф-брезе изготовит — и то спасибо скажи! Батюшка-покойник без стерляжьей-то ухи за стол не саживался, а мне и с окуньком подадут — нахвалиться не могу!

— Скажите пожалуйста! стало быть, задача моя труднее, нежели я предполагал?

— Чего же, вашество, хуже! У меня до эмансипации-то пять поваров на кухне готовило, да народ-то всё какой! Две тысячи целковых за одного Кузьму губернатор Толстолобов давал — не продал! Да и губернатор-то какой был: один целый окорок ветчины съедал! И куда они все подевались!

— Однако ведь вы кушаете же? — с некоторым беспокойством спрашивал Нагибин.

— Кушаем-то кушаем. У меня и нынче повар,— что ж! ничего повар. Да страху-то у него, вашество, нет!

Как только Прокоп произнес слово «страх», разговор оживился еще более и сделался общим. Все почувствовали себя в своей тарелке. Начались рассуждения о том, какую роль играет страх в общей экономии народной жизни, может ли страх, однажды исчезнув, возродиться вновь, и наконец, что было бы, если бы реформы развивались своим чередом, а страх — своим, взаимно, так сказать, оплодотворяя друг друга.

— Реформы, вашество, ничего! — либеральничал Прокоп,— и не такие бы реформы можно вытерпеть, кабы страх был!

На эту речь Нагибин ответил крепким пожатием руки.

---

[1] А, скажите, есть ли что-либо лучше, чем добрый обед, чтобы утишить страсти!

— Я с вами согласен,— сказал он,— без страха нельзя. Но я постараюсь!

— Трудненько будет, вашество!

— Трудно — я это знаю. Но я привык. Я привык к борьбе, и даже жажду борьбы! Но скажу прямо: не хотел бы я быть на месте того, кто меня вызовет на борьбу! Sapristi, messieurs! Nous verrons! nous verrons qui de vous ou de moi aura le panache![1]

И Нагибин так свирепо погрозил кому-то в воздухе, что в воображении моем вдруг совершенно отчетливо нарисовалась целая картина: почтовая дорога с березовой аллеей, бегущей по сторонам, тройка, увлекающая двоих пассажиров (одного — везущего, другого — везомого) в безвестную даль, и наконец тихое пристанище, в виде уединенного городка, в котором нет ни настоящего приюта, ни настоящей еды, а есть сырость, угар, слякоть и вонь...

— Фюить!!

На Конюшенном мосту мои мечты были снова прерваны жалобами, которые изливал Прокоп.

— Даже климат,— говорил он,— и тот против прежнего хуже стал! Помещиков обидели — ну, они, натурально, все леса и повырубили! Дождей-то и нет. Месяц нет дождя, другой нет дождя — хоть ты тресни! А не то такой вдруг зарядит, что два месяца зги не видать! Вот тебе и эмансипация!

Нагибин слушал эти ламентации и улыбался. Ему приятно было думать, что устранение всех этих бедствий: и недостатка поваров, и бездождия, и излишества дождя — все это лежало на нем одном.

— Да-с, тяжело ваше положение, messieurs,— произнес он задумчиво,— но я надеюсь, что с божьей помощью, и сильный общим доверием...

Конца фразы я не расслышал, потому что в эту самую минуту мы въехали в ворота ресторана.

Было около часу ночи, и дононовский сад был погружен в тьму. Но киоски ярко светились, и в них громко картавили молодые служители Марса и звенели женские голоса. Лакеи-татары, как тени, бесшумно сновали взад и вперед по дорожкам. На-

---

[1] Черт побери, господа! Еще посмотрим, посмотрим, на чьей стороне будет победа!

гибин остановился на минуту на балконе ресторана и, взглянув вперед, сказал:

— Совершенно как в «Тысяче одной ночи»! не правда ли?

А Прокоп тем временем шептал мне на ухо:

— У тебя деньги есть?

— Есть, а что?

— Чудак! надо же честь оказать!

Я пошел побродить по дорожкам и потому не присутствовал при процессе заказывания ужина. До слуха моего долетали: «écrevisses à la bordelaise»[1], «да перчику, перчику чтобы в меру», «дупеля есть?», «земляники, братец, оглох, что ли?», «на первый раз три крюшона...» Но на меня нашел какой-то необыкновенный стих: я вдруг вздумал рассчитывать. Припомнил, сколько я в таком-то случае денег даром бросил, сколько в таком-то месте посеял, столько у меня еще остается, и наконец достанет ли... При этом вопросе я почувствовал легкий озноб... Достанет ли? В каком смысле достанет ли? Ежели в обширном... о, черт побери! и зачем это я начал рассчитывать! Но, раз начавшись, работа мысли уже не могла скоро прерваться. Не сладив с расчетами, я обратился к будущему и должен был сознаться, что отныне нигде: ни в рязанско-тамбовско-саратовском клубе, ни даже в Проплёванной — нигде не избежать мне ни Минерашек, ни Донона, ни Шато-де-Флёра. Нагибин непреклонен, он не положит оружия, доколе останется хоть один медвежий угол, в котором не восторжествовали бы «les grands principes du Porc-Epic»[2]. А так как я его друг, то, очевидно, было бы даже «подло», если бы я не содействовал этому торжеству. Вопрос, значит, не в том, чтобы избежать торжеств, а в том, во что они обойдутся мне в остальное время живота моего? Опять расчеты, и опять озноб... И в заключение — вопрос: да сколько же мне жить остается? А ну, как я Мафусаилов век проживу?

Озноб, озноб и озноб...

Я в самом грустном расположении духа вернулся к моим товарищам и нашел компанию в значительно увеличенном составе. Новыми лицами ока-

---

[1] раки по-бордоски.
[2] великие принципы Дикобраза.

зались: адвокат Ненаедов, устьсысольский купеческий сын Беспортошный и знаменитая девица Сюзетта. Сюзетта председательствовала в банкете и была пьяна. Купеческий сын, в качестве временного нанимателя, сидел возле нее и говорил:

— Мамзель Сузетта! покажите господам ручку! Какова ручка-то, господа! Почтенный! Крушончик еще! Да земляницы-то не жалейте!

В эту самую минуту я вошел.

— Где ты пропадал? — набросился на меня Прокоп.

— Monsieur a eu mal au ventre![1] — решила Сюзетта для первого знакомства.

— Bravo, Suzette! — воскликнули собеседники.

— Госпожа Сузетта! сделайте ваше одолжение! скажите самые эти слова по-русски-с! — убеждал купеческий сын.

— У гаспадин живот болел!

— И превосходно-с. Значит, первое дело — померанцевки. Пожалуйте! А как мы уж по крушончику на брата сокрушили, так и вы, господин, нас догнать должны. Почтенный! крушончик для господина... Да земляницы-то не жалейте!

Начался обычный кутеж наших дней, кутеж без веселости и без увлечения, кутеж, сопровождающийся лишь непрерывным наполнением желудков, и без того уже переполненных. Сюзетта окончательно опьянела. Сначала она пропела «L'amour — ce n'est que cela»[2], потом, постепенно возвышая температуру репертуара, достигла до «F....... nous». Наконец, по просьбе Беспортошного, разом выплюнула весь лексикон ругательных русских слов. Купеческий сын таращил на нее глаза и говорил:

— Ишь, шельма, как чисто по-русски выговаривает!

В таких занятиях прошло добрых три часа. Наконец купеческий сын стал придираться и окончательно набросился на Ненаедова.

— Для чего я тебя нанял? — приставал он, — нет, ты ответь, для чего я тебя нанял? А хочешь, я сейчас скажу, какие такие договоры промеж нас были, когда я тебя в услужение брал?

---

[1] У господина заболел живот!

[2] «Любовь — это вот что».

Ненаедов краснел и бледнел. Одну минуту я даже думал, что он обидится.

Когда мы разъезжались, по улицам уже шло то смутное движение, которое предшествует пробуждению большого города.

— А! какова Сюзетта! как, шельма, ругается! — воскликнул Прокоп, садясь со мной на извозчика.

Но на этот раз я не выдержал.

— Послушай, душа моя,— сказал я,— завтра я позову вот этого самого извозчика и велю ему все ругательства, которые мы слышали, при тебе повторить. А ты отдай ему те сто рублей, которые ты взял у меня, чтоб заплатить за ужин.

VIII

Я целый месяц не вел дневника своим похождениям и, признаюсь, даже теперь не могу с ясностью выразуметь, что́ происходило со мной за это время.

Я был жертвой двух мистификаций сряду. Целый месяц я волновался, хлопотал и думал, что живу в самом реальном значении этого слова. Сначала я был членом VIII международного статистического конгресса (в качестве делегата от рязанско-тамбовско-саратовского клуба), участвовал во всех его трудах, доказывал негодность употребляемых ныне приемов для исследования трактирной промышленности, беседовал с Левассёром, Кеттле́, Фарром и проч. Потом вдруг, каким-то чудом, декорации переменились. Оказалось, что вместо статистического конгресса я чуть было не сделался членом опаснейшего тайного общества, имевшего целию ниспровержение общественного порядка, и что только по особенной божьей милости я явился пред лицом суда не в качестве главного обвиняемого, а лишь в качестве пособника и попустителя. Что Кеттле́ совсем не Кеттле́, а пензенский помещик Капканчиков, что Левассёр — отставной корнет Шалопутов, Корренти — шарманщик Корподибакко и т. д. И что все эти господа — эмиссары от интерналки... Но этого мало: в самый разгар процесса, в ту минуту, когда я уже начинал питать уверенность, что невинность моя доказана, декорации опять внезапно переменяются, и являются новые, среди которых я вижу себя... дураком! Ни конгресса, ни процесса —

ничего этого не было. Был неслыханнейший, возмутительнейший фарс, самым грубым образом разыгранный шайкою досужих русских людей над ватагой простодушных провинциальных кадыков, в числе которых, к величайшей обиде, оказался и я...

Только в обществе, где положительно никто не знает, куда деваться от праздности, может существовать подобное времяпровождение! Только там, где нет другого дела, кроме изнурительного пенкоснимательства, где нет другого общественного мнения, кроме беспорядочного уличного говора, можно находить удовольствие в том, чтобы держать людей, в продолжение целого месяца, в смущении и тревоге! И в какой тревоге! В самой дурацкой из всех! В такой, при одном воспоминании о которой бросается в голову кровь!

Представьте себе такое положение: вы приходите по делу к одному из досужих русских людей, вам предлагают стул, и в то время, как вы садитесь — трах! — задние ножки у стула подгибаются! Вы падаете с размаху на пол, расшибаете затылок, а хозяин с любезнейшею улыбкой говорит:

— Скажите, какой случай! Человек! скотина! Сколько раз было говорено, чтоб этот стул убрать! Извините, пожалуйста!

Вы усаживаетесь на другой стул, и любезный хозяин предлагает вам чаю. Не подозревая коварства, вы глотаете из стоящего пред вами стакана — о ужас! — это не чай, а помои! А хозяин с тою же любезностью утешает вас:

— Ах, извините, пожалуйста! Это стакан с водой, в который я обыкновенно сбрасываю пепел от папирос! Человек! Скотина! Сколько раз было говорено, чтоб стакан этот убирать!

И так далее, и так далее.

Ежели мистификаторы упорны и пользуются здоровьем, они могут свести человека с ума. По крайней мере, я испытал это отчасти на себе. Теперь, после двух сыгранных со мной фарсов, я не могу сесть, чтоб не подумать: а ну, как этот стул вдруг подломится подо мной! Я не могу ступить по половице, чтоб меня не смущала мысль: а что, если эта половица совсем не половица, а только подобие ее, устроенное с исключительной целью, чтоб я провалился и расквасил себе нос!

Есмь я или не есмь? в нумерах я живу или не в нумерах? Стены окружают меня или какое-нибудь обманчивое подобие стен? Как ни просты эти вопросы, но ни на один из них я положительного ответа дать не берусь. Я знаю только одно: что передо мною бездна, называемая «русским досужеством», бездна, которая всегда готова меня поглотить, потому что я сам, наравне с другими, участвовал в ее устройстве.

Куда деваться от шалунов? как оградить себя от них? Жаловаться? — но представьте же себе процесс, в котором десяток молодых шалопаев, при открытых дверях, будут, в самых художественных образах, изъяснять, каким вы оказали себя дураком! И представьте себе, кроме того, что вы даже ничего не имеете сказать против этого! Потому что вы действительно вели себя как дурак, и нет в деле ни одного обстоятельства, которое бы не уличало вас в этом! Это сознаёт и председатель суда, и прокурор, и даже собственный ваш защитник, выступающий в роли частного обвинителя. На всех лицах только одно слово и написано: дурак! Нет нужды, что вы были жертвой дураков еще более бесспорных — это обстоятельство еще более отягчает вашу вину. Зачем связывался с дураками — дурак! Как не рассмотрел, что тебя окружают дураки,— дурак! Как не понял, когда даже шухардинские половые — и те догадались, что русские досужие люди над тобой шутки шутят,— дурак! Дурак — и больше ничего.

Словом сказать, вы выигрываете процесс, вы сознаёте себя вполне удовлетворенным перед лицом юстиции и в то же время, выходя из залы заседания, несомненно чувствуете себя... дураком! И даже не простым дураком, а, так сказать, штемпелеванным. Потому что вы утверждены в этом звании приговором суда. Потому что не было ни обвиненного, ни свидетеля, ни даже жалобщика, которого показание не резюмировало бы в одном слове: дурак! Потому что вся аудитория хохотом выхохатывала это слово, и ввиду святости места вам даже нельзя было сказать этой хохочущей братии: чему хохочете! над собой хохочете!

Но буду рассказывать по порядку.

Когда разнесся слух, что в Петербурге имеет быть VIII международный статистический конгресс, мной прежде всего овладело естественное чувство гордости. Стало быть, и мы не лыком шиты, коль скоро к нам то и дело наезжают то «братья», то «друзья», то «гости». Положим, что для братьев славян и для заатлантических друзей мы могли служить орудием демонстрации, но жрецы статистики — какую демонстрацию могли они иметь в виду, выбирая себе местопребыванием Петербург? Очевидно, они ни о чем другом не думали, кроме роскошного пира науки, который нигде не мог быть устроен с таким удобством, как в Петербурге. Стало быть, если отныне кто-нибудь назовет нас кадетами цивилизации, то мы можем смело сказать тому в глаза: нет, мы не кадеты! к нам обращали взоры братья славяне! с нами братались заатлантические друзья! у нас, наконец, без всякой задней мысли отдыхали современные гиганты статистики!

Конечно, было тут и не без опасений — как бы не осрамиться перед иностранными гостями,— но когда мы стали с Прокопом считать по пальцам, сколько у нас статистиков, то просто даже остолбенели от удивления. Сколько рассеяно статистиков по министерствам и губерниям, статистиков, получающих определенное содержание, и следовательно, вполне достоверных! Сколько, сверх того, статистиков не вполне достоверных, а вольнопрактикующих, которые по собственной охоте ведут счет питейным заведениям и потом печатают в газетах свои труды в форме корреспонденции из Острогожска, Калязина, Ветлуги и проч.? Наконец, сколько «Прохожих», «Проезжих», «Иксов», «Зетов» и других трудолюбцев, при трепетном свете лампады разработывающих достопримечательности Лаишева, Кадникова, Обояни и иных?

— Если всех-то счесть, так, пожалуй, и пальцев на руках не хватит! — воскликнул Прокоп, когда мы кончили обозрение наших статистических сил,— да и народ-то, брат, всё какой — уж эти не выдадут!

Таким образом, оставалось только гордиться и торжествовать. Но, увы! опасения — такая вещь, которая, однажды закравшись в душу, уже не легко покидает ее. Опровергнутые в одной форме, они отыщут себе другую, третью и т. д. и будут смущать человека до тех пор, пока действительно не доведут его до созна-

ния эфемерности его торжества. Нечто подобное слу чилось и со мной.

Не знаю почему, но мне вдруг показалось, что ежели конгресс соберется в Петербурге, то предметом его может быть только *коротенькая* статистика, то есть такая, в которой несколько глав окажутся оторванными. Ведь статистика, думалось мне, наука почти всеобъемлющая; следовательно, предметом ее может быть не одно движение народонаселения, не одно сухое перечисление фабрик и заводов, но и другие, более деликатного свойства, общественные явления. Положим, что и явление самое деликатное можно обесцветить, запрятав его в графу и выразив в виде голой цифры, но ведь и цифры порою бывают так красноречивы, что прямо ведут к аттестациям, вроде «хорошо», «дурно», «благоприятно», «неблагоприятно» и т. д. Ловко ли будет нам признать нормальность и полезность подобных аттестаций? И, раз признавши их нормальность, можно ли будет впоследствии (когда он надоест) счесть для себя необязательным этот контроль, идущий бог весь откуда и руководящийся бог весь какими предписаниями?

Возьмем для примера хоть научно-литературное развитие страны. Как ни трудно подчиняется этот предмет цифирным определениям, но несомненно, что такие определения существуют, а следовательно, статистика, даже самая скромная, не имеет ни малейшего права игнорировать их. С одной стороны, во всякой стране издается известное число газет и журналов, печатается известное число книг. С другой стороны, во всякой же стране, за немногими исключениями, существуют учреждения, обязанность которых главнейшим образом заключается в наблюдении, чтобы в литературе не было допускаемо случаев так называемого превышения власти. Статистика не может пройти молчанием эти явления; они слишком крупны и ярки, чтобы их игнорировать. Но как же поступит она по их поводу? Конечно, она прежде всего констатирует число наблюдающих за литературой чиновников, сумму получаемого ими содержания, классы занимаемых ими должностей и мундиры, тем должностям присвоенные. Разумеется, я ничего не сказал бы против статистики, если б она ограничилась исключительно одними этими фактами; но в том-то и дело, что статистика, да вдоба-

вок «международная», всегда идет далее тех границ, которые предписываются благоразумием. Описавши мундиры чиновников, она перейдет к их деятельности, а вступивши на эту почву, найдет, что деятельность эта выразилась в стольких-то предостережениях, скольких-то закрытиях, и т. д. Вот тогда-то, собственно, и начнется так называемое «красноречие цифр». Хорошо, если цифры останутся только цифрами, то есть будут себе сидеть в подлежащих графах да поджидать очереди, когда их, наравне с прочими, включат в учебники; но ловко ли будет, если какой-нибудь «иностранный гость», отведавши нашего хлеба-соли, вдруг вздумает из цифр вывести и для нас какую-то аттестацию? Я уступаю заранее, что аттестация эта будет формулирована словами: «похвально» и «благоприятно», но приятен ли будет самый факт *возможности аттестации?* — вот в чем вопрос, и вопрос настолько важный, что над ним стоит очень и очень крепко призадуматься. Я, по крайней мере, думаю, что эта возможность обоюдуострая и что мы в равной мере рискуем получить и благоприятные и неблагоприятные отметки. Тут все зависит от того, сохранил ли иностранный гость благодарное воспоминание о нашем гостеприимстве или не сохранил. Нет, лучше уж совсем изъять главу о духовном развитии из программы занятий международного конгресса, нежели подвергаться риску выслушиванья каких-то аттестаций от людей, которые, быть может, и мундира-то порядком носить не умеют!

Другой пример подобной же скабрёзности представляет вопрос о неприкосновенности и общедоступности домашнего очага. В некоторых странах вопрос этот разрешается в пользу неприкосновенности, в других — в пользу общедоступности, но, во всяком случае, то или другое решение имеет известные практические последствия, которые отражаются на народной жизни и выражаются в форме фактов и цифр. Статистика была бы недостойна имени науки, если б она не занялась этими цифрами и фактами и не занесла их в графы свои. И вот опять выступает на сцену красноречие цифр, опять является возможность аттестации и соединенных с нею опасений, сохранил ли иностранный гость благодарное воспоминание о нашем гостеприимстве

или не сохранил? Ужели же, из-за какой-нибудь статистики, единственно ради ее полноты, мы станем мучиться сомнениями? Risum teneatis, amici?[1] Гораздо проще и эту главу изъять из программы занятий конгресса — и дело с концом.

Третий, еще более скабрёзный вопрос представляют публичные сборища, митинги и т. д., которые также известным образом отражаются на народной жизни и, конечно, не меньше питейных домов имеют право на внимание статистики. Не изъять ли, однако ж, и его? Потому что ведь эти статистики — бог их знает! — пожалуй, таких сравнительных таблиц наиздают, что и жить совсем будет нельзя!

Словом сказать, вопрос за вопросом, их набралось такое множество, что когда поступил на очередь вопрос о том, насколько счастлив или несчастлив человек, который, не показывая кукиша в кармане, может свободно излагать мнения о мероприятиях становых приставов (по моему мнению, и это явление имеет право на внимание статистики), то Прокоп всплеснул руками и так испугался, что даже заговорил по-французски.

— Финисé! — усовещевал он меня,— пожалуйста финисé! ну, что там! чего так? Еще услышат,— что хорошего!

И вдруг я получаю через Прокопа печатное приглашение лично участвовать в VIII международном статистическом конгрессе, в качестве делегата от рязанско-тамбовско-саратовского клуба! Разумеется, что при одном виде этого приглашения у меня «в зобу дыханье сперло»; сомнения исчезли, и осталось лишь сладкое сознание, что, стало быть, и я не лыком шит, коль скоро иностранные гости вспомнили обо мне!

Ослепление мое было так велико, что я не обратил внимания ни на странность помещения конгресса, ни на несообразность его состава, ни на загадочные поступки некоторых конгрессистов, напоминавшие скорее ярмарочных героев, нежели жрецов науки. Я ничего не видел, ничего не помнил. Я помнил только одно: что я не лыком шит и, следовательно, не плоше всякого другого вольнопрактикующего

[1] Не смешно ли?

статистика могу иметь суждение о вреде, производимом вольною продажей вина и проистекающем отсюда накоплении недоимок.

Конгресс помещался в саду гостиницы Шухардина — это была первая странность. В самом деле, мы, которые так славимся гостеприимством, ужели мы не могли найти более приличного помещения, хотя бы, например, в залах у Марцинкевича, которые, кстати, летом совершенно пусты?

Вторая странность заключалась в том, что, кроме Кеттлé, Левассёра, Фарра, Энгеля и Корренти, которым меня тотчас же представил Прокоп, все остальные члены конгресса были в фуражках с красными околышами. То были делегаты от Лаишева, Чухломы, Кадникова и проч. Судите, какой же мог быть международный конгресс, в котором главная масса деятелей явно тяготела к Ливнам, Карачеву, Обояни и т. д.?

Третья странность: Кеттлé кстати и некстати восклицал: fichtre sapristi! и ventre de biche![1] Фарр выказывал явную наклонность к очищенной; Энгель не переставал тянуть пиво, а Левассёр, едва явился на конгресс, как тотчас же взял в руки кий и сделал клапштосом желтого в среднюю лузу!..

Четвертая странность: шухардинские половые не только не обнаруживали никакого благоговения, но даже шепнули мне на ухо, не пожелают ли иностранные гости послушать арфисток...

Но, повторяю, ничто в то время не поразило меня: до такой степени я был весь проникнут мыслью, что я не лыком шит.

Я пришел на конгресс первый, но едва успел углубиться в чтение «Полицейских ведомостей», как услышал прямо у своего уха жужжание мухи. Отмахнулся рукой один раз, отмахнулся в другой; наконец, поднял голову... о, чудо! передо мной стоял Веретьев! Веретьев, с которым я провел столько приятных минут в «Затишье»!

— Веретьев! боже! какими судьбами! — воскликнул я, простирая руки.

— Делегат от Амченского уезда, рекомендуюсь! — отвечал он, бросая искоса взгляд на накрытый в стороне стол, обремененный всевозможными сортами закусок и водок.

[1] черт возьми! черт побери! ко всем чертям!

— Как? статистик? Браво!

Вместо ответа Веретьев зажужжал по-комариному, но так живо, так натурально, что передо мной разом воскресло все наше прошлое.

— А Маша?.. помнишь? — спросил я в неописанном волнении.

— Теперь, брат, она уже не Маша, а целая Марьища...

— Позволь, но ведь Маша утопилась!

— Это все Тургенев выдумал. Топилась, да вытащили. После вышла замуж за Чертопханова, вывела восемь человек детей, овдовела и теперь так сильно штрафует крестьян за потраву, что даже Фет — и тот от нее бегать стал![1]

— Скажите пожалуйста! Но что же мы стоим! Человек! рюмку водки! большую!

Веретьев потупился.

— Не надо! — произнес он угрюмо,— зарок дал!

— Как! ты! не может быть!

Не успел я докончить своего восклицания, как в сад вошли... молодой Кирсанов и Берсенев! Кирсанов был одет в чистенький вицмундир; из-под жилета виднелась ослепительной белизны рубашка; галстух на шее был аккуратно повязан; под мышкой он крепко стискивал щегольской портфёль. За ним, своей мечтательной, милой походкой с перевальцем, плелся Берсенев, и тоже держал под мышкой довольно поношенный портфёль, который, вдобавок, постоянно у него выползал. Как ни неожиданна была для меня эта встреча, но, взглянувши на Кирсанова поближе, я без труда понял, что при скромности и аккуратности этого молодого человека, ему самое место — в статистике. Несколько более смутило меня появление Берсенева. Это человек мечтательный и рыхлый, думалось мне,— у которого только одно в мысли: идти по стопам Грановского. Но идти не самому, а чтоб извозчик вез. Вот и теперь на нем и рубашка криво сидит, и портфёль из-под мышки ползет... ну, где ему усидеть в статистике!

— Делегат от Ефремовского уезда,— рекомен-

[1] По последним известиям, факт этот оказался неверным По крайней мере, И. С. Тургенев совершенно иначе рассказал конец Чертопханова в «Вестнике Европы» за ноябрь 1872 г *(Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

довался между тем Кирсанов, подавая мне руку, как старому знакомому.

— Очень рад! очень рад! Уже статистик! Давно ли?

— Месяца два тому назад. Я должен, впрочем, сознаться, что в нашем уезде статистика еще не совсем в порядке, но надеюсь, что, при содействии начальника губернии, успею, в непродолжительном времени, двинуть это дело значительно вперед.

— Ваш батюшка? Дяденька?

— Благодарю вас. Батюшка, слава богу, здоров и по-прежнему играет на виолончели свои любимые романсы. Дядя скончался, и мы с папашей ходим в хорошую погоду на его могилу. Феничку мы пристроили: она теперь замужем за одним чиновником в Ефремове, имеет свой дом, хозяйство и, по-видимому, очень счастлива.

— Да... но скажите же что-нибудь о себе!

— Благодарю вас, я совершенно счастлив. Полтора года тому назад женился на Кате Одинцовой и уже имею сына. Поэтому получение места было для меня как нельзя более кстати. Знаете: хотя у нас и довольно обеспеченное состояние, но когда имеешь сына, то лишних тысяча рублей весьма не вредит.

— Базаров... помните?

Кирсанова передернуло при этом вопросе, и он довольно сухо ответил мне:

— Мы с папашей и Катей каждый день молимся, чтобы бог простил его заблуждения!

— Ну... а вы, Берсенев! — обратился я к Берсеневу, заметив, что оборот, который принял наш разговор, не нравится Кирсанову.

— Я... вот с ним... — лениво пробормотал он, как бы не отдавая даже себе отчета, от кого или от чего он является делегатом.

«Ну, брат, не усидеть тебе в статистике!» — мысленно повторил я и вскинул глазами вперед. О, ужас! передо мной стоял Рудин, а за ним, в некотором отдалении, улыбался своею мягкою, несколько грустной улыбкою Лаврецкий.

— Рудин! да вы с ума сошли! ведь вы в Дрездене на баррикадах убиты! — воскликнул я вне себя.

Толкуйте! Это все Тургенев сказки рассказывает! Он, батюшка, четыре эпизода обо мне написал,

а эпизод у меня самый простой: имею честь рекомендоваться — путивльский делегат. Да-с, батюшка, орудуем! Возбуждаем народ-с! пропагандируем «права человека-с»! воюем с губернатором-с!

— И очень дурно делаете-с,— заметил наставительно Кирсанов,— потому что, строго говоря, и ваши цели, и цели губернатора — одни и те же.

— Толкуй по праздникам! Ведь ты, брат, либерал! Я знаю, ты над передовыми статьями «Санкт-Петербургских ведомостей» слезы проливаешь! А по-моему, такими либералами только заборы подпирать можно!

— Лаврецкого... не забыли? — прозвучал около меня задумчивый, как бы вуалированный голос.

Но, не знаю почему, от Лаврецкого, этого истого представителя «Дворянского гнезда», у меня осталось только одно воспоминание: что он женат.

— Лаврецкий! вы?! как здоровье супруги вашей?

— Благодарю вас. Она здорова и здесь со мною в Петербурге. Знаете, здесь и Изомбар и Андриé... ну, а в нашем Малоархангельске... Милости просим к нам; мы в «Hôtel d'Angleterre»; жена будет очень рада вас видеть.

— Ах, боже мой! Лаврецкий... вы! Лиза... помните?

— Лизавета Михайловна скончалась. Признаюсь вам, это была большая ошибка с моей стороны. Увлечь молодую девицу, не будучи вполне уверенным в своей свободе,— как хотите, а это нехорошо! Теперь, однако ж, эти увлечения прошли, и в занятиях статистикой...

Но этому дню суждено было сделаться для меня днем сюрпризов. Не успел я выслушать исповедь Лаврецкого, как завидел входящего Марка Волохова. Он был непричесан, и ногти его были не чищены.

— Волохов!!! и вы здесь!

— А вы как об нас полагали?

— Да... но вы... делегат!..

— Ну да, делегат от Балашовского уезда... что ж дальше! А вы, небось, думали, что я испугаюсь! Я, батюшка, ничего не испугаюсь! Мне, батюшка, черт с ними — вот что!

Сказав это, он отвернулся от меня и, заметив Рудина, процедил сквозь зубы:

— Балалайка бесструнная!

В сад хлынула вдруг целая толпа кадыков в фуражках с красными околышками и заслонила собой моих знакомцев. Мне показалось, что в этой толпе мелькнула даже фигура Собакевича. Через полчаса явился Прокоп в сопровожении иностранных гостей, и заседание началось.

Первое заседание прошло шумно и весело. Члены живо разобрали между собой подлежащие разработке предметы и организовались в отделения; затем определен был порядок заседаний (число последних ограничено семью). В заключение, Энгель очень приятно изумил, выпив бутылку пива и сказав по-русски:

— Ишо́ одна бутилк!

На что Фарр очень метко и любезно рипостировал:

— И мене ишо́ один румк!

Организовавшись как следует, мы заключили наш avant-congrès[1], съевши по порции ботвиньи и по порции поросенка. При этом Прокоп очень любезно извинился, что на сей раз, по множеству других организаторских занятий, еда ограничивается только двумя блюдами, а Левассёр чрезвычайно польстил нашему национальному самолюбию, сказав:

— Mais non! mais pas du toit! mais donnez-moi tous les jours du parasseune — et vous ne m'entendrez jamais dire: assez![2]

Мы встали из-за стола сытые и довольно пьяные, постановив на прощание:

1) Ни к каким издержкам по устройству закусок и обедов иностранных гостей не привлекать.

2) Интернировать иностранных гостей в chambres garnies на Мещанской, с предоставлением им ежедневно по полпорции чаю или кофею утром и по стольку же вечером, а издержки на этот предмет отнести на счет делегатов от градов, весей и клубов.

3) Завтрашний день начать осмотром Казанского собора, затем вновь собраться к Шухардину, где, после заседания, имеет быть обеденный стол (menu: селянка московская, подовые пироги, осетрина по-русски, грибы в сметане, жареный поросенок с ка-

---

[1] предсъездовское собрание.

[2] Что вы, что вы! давайте мне каждый день поросенка и вы никогда не услышите от меня: довольно!

шей и малина со сливками). После обеда — катанье на извозчиках.

Дорóгой, пока мы шли с Прокопом домой, он был в таком энтузиазме, что мне большого труда стоило усовестить его.

— Да, брат, эти будут почище братьев славян! — говорил он,— заметил ли ты, как этот бестия Левассёр: la république, говорит, il n'y a que ça![1] Я так и остолбенел!

— А знаешь ли, какая мне мысль пришла в голову: как только все дела здесь прикончим, покажем-ка мы иностранным гостям Москву!

— А что ты думаешь! ведь следует!

— Еще бы! Ну, разумеется, экстренный train[2] на наш счет; в Москве каждому гостю нумер в гостинице и извозчик; первый день — к Иверской, оттуда на политехническую выставку, а обедать к Гурину; второй день — обедня у Василия Блаженного и обед у Тестова; третий день — осмотр Грановитой палаты и обед в Новотроицком. А потом экстренный train к Троице, в Хотьков... Пение-то какое, мой друг! Покойница тетенька недаром говаривала: уж и не знаю, говорит, на земле ли я или на небесах! Надо им все это показать!

— Бесподобно! То-то я давеча сижу и думаю, что чего-то недостает! Ан вон оно что: в Москву!

— Ты одно то подумай: здешние ли поросята или московские!

— Где уж здешним!

— Или опять осетрина! Ну, где ж ты здесь такой осетрины достанешь, чтобы целое звено — сплошь все жир!

— Сказано, в Москву,— и дело с концом!

На другой день мы все, кроме Марка Волохова, собрались в Казанский собор. Причем я не без удивления заметил, что Левассёр очень отчетливо положил три земных поклона и приложился к иконе.

— Смотри-ка! Левассёр-то! по-нашему молится! — толкнул меня в бок Прокоп, – et vous... comme nous?[3] - прибавил он, обращаясь к гостю.

Но удивлению нашему уже совсем не стало пре-

---

[1] республика и только!
[2] поезд
[3] и вы как мы?

делов, когда Левассёр (вероятно, застигнутый врасплох) совершенно чисто по-русски ответил:

— Да-с, моя маменька от этой иконы в молодости исцеление получила...

Но вслед за тем он вдруг спохватился, хлопнул себя по ляжке и залопотал:

— Ah! sapristi! je crois qu'à force d'entendre parler russe, je commence moi-même à parler cette langue comme ma langue maternelle! Mais oui, messieurs! Mais comment donc! Ah! fichtre... prosternons-nous! Adorons, ventre de biche! la tolérance en matiér de religion... tolerantia et prudentia... je ne vous dis que ça![1]

И представьте себе, как ни груб был этот факт самоуличения, но даже он не открыл наших глаз: до такой степени мы были полны сознанием, что и мы не лыком шиты!

Второе заседание началось с объявления Кеттлé, что он пятьдесят лет занимается статистикой и нигде не встречал такого горячего сочувствия к этой науке, как в России. «Поэтому,— присовокупил он любезно,— я просто прихожу к заключению, что Россия есть настоящее месторождение статистики...»

— Messieurs, un verre de champagne![2] Милости просим! Человек! шампанского! Господин Кеттлé! ваше здоровье! Votre santé! Vous acceptez, n'est-ce-pas? Du champagne!![3]

— Mais... j'en prendrai avec plaisir[4],— скромно отвечал маститый старец, но скромность эта была так полна чувства собственного достоинства, что мы сразу поняли, что не мы почтили старца, но старец почтил нас.

Когда бокалы были осушены, встал Фарр и вынул из бокового кармана лист разграфленной бумаги. Этот лист он показал всем делегатам и объяснил, что такова форма для производства народной переписи, доставшаяся VIII международному конгрессу

[1] Ах! черт побери! я так много слышу русской речи, что, кажется, я сам начинаю говорить на этом языке, как на своем родном. Клянусь, господа! Уверяю вас! Ах! черт возьми... преклонимся! Воздадим поклонение, черт побери! терпимость в деле религии... терпимость и благоразумие... Вот что я вам скажу.

[2] Господа! бокал шампанского!

[3] Ваше здоровье! Вы выпьете, не правда ли? Шампанского!

[4] С удовольствием

в наследие от такового ж, имевшего свое местопребывание в Гааге. Но в форме этой он, Фарр, замечает, однако ж, один очень важный недостаток, заключающийся в том, что, при исчислении народонаселения по занятиям и ремеслам, в ней опущен довольно многочисленный класс людей, известный под именем «шпионов».

Я взглянул на Прокопа: он совершенно посоловел и дико озирался. К счастью, половые куда-то разошлись, так что он скоро оправился и довольно спокойно произнес:

— С своей стороны, я полагал бы этот неприятный разговор оставить. Неужто, господа, у вас за границей и разговоров других нет!

И он уже предложил приступить к следующему, по порядку, предмету суждений, как встал Левассёр и, по существу, решил дело в пользу Прокопа.

— Messieurs, — сказал он, — l'espionnage a été reconnu de touis temps comme l'un des plus vifs stimutents de la vie politique. Déjà l'antique Jéroboam promettait des scorpions à ses peuples, ce qui, traduit en langue vulgaire, ne saurait, signifier autre chose qu'espions. Ensuite, nous trouvons dans Aristophane des preuves irrécusables que les Grecs ne connaissaient que trop ce moyen gouvernemental et qu'ils donnérent aux espions le surnom sonore des sycophantes. Mais c'est aux césars de l,antique Rome que la science de l'espionnage est redevable de son plus grand developpement. Au dure de Tacite, du temps de Néron, de Caligula et autres il n'y avait presque pas un seul homme dans tout l'Empire qui ne fût espion ou ne dèsirât de l'être. Ces majestueux romains, qui ne commençaient pas autrement leurs blagues qu'en disant: «civis Romanus sum», se sont fait au métier de l'espionnage comme s'ils étaient les plus majestueux des chenapans. Enfin, notre belle France est là pour attester que l'espionnage n'est jamais de trop dans un pays dont la vie politique est à son apogèe. Chez nous, messieurs, presque tout le monde s'entreespionne, ce qui n'empêche pas la vie sociale d'aller son train. La solidarité de l'espionnage fait qu'on n'en ressent presque pas l'inconvénient. Voici l'historique de ce phénoméne social qui porte le nom malsonnant de l'espionnage. Mais si nous constatons ici les résultats pratiques du métier, nous devons en même temps constater que

jamais ces résultats ne pourraient être ni si grands, ni si accomplis, si les espions s'avisaient d'agir ouvertement... la, le coeur sur la main! Oui, messieurs, c'est une occupation qui ne saurait être pratiquée que sous le voile du plus grand mystére! Otez le mystére — et adieu l'espionnage. Il n'est plus — et avèc lui tombe tout le prestige de la vie politique. Point d'espionnage — point d'accusations, point de procés, point de proscriptions! La vie politique reste, pour ainsi dire, en suspens. Tout passe, tout tombe, tout s'évanouit. Voilá pourquoi je ne partage pas l'opinion, exprimée par mon honorable collégue, M-r Farr. Je comprends três bien sa pensée: il est par trop champion de la statistique pour ne pas gémir en voyant que cette science conserve encore des points inexpliqués et obscurs. Mais Dieu, dans sa divine sagesse, en a jugé autrement. Il a voulu que la statistique conserve à jamais quelques points inachevés pour que nous autres, humbles travailleurs, de la science, ayons toujours quelque chose à eclaircir ou à achever. Aussi je conclus, en disant: messieurs! nous avons toute une rubrique, où se classent les chenapans et autres gens sans foi ni loi! Cette rubrique n'est-elle pas assez large pour que les espions y trouvent leur place naturelle? Oh, messieurs, classons les y hardiment, et puis disons leurs: allez, gens sans aveu et faites votre vil mélier! la statistique ne veut pas vous connaitre![1]

[1] Шпионаж был признан во все времена одним из самых живых стимулов политической жизни. Уже древний Иеробоам обещал скорпионы своим народам, что в переводе на обыкновенный язык не могло значить ничего другого, как шпионов. Далее мы находим у Аристофана неопровержимые доказательства, что греки очень признавали это средство управления и что они дали шпионам звучное прозвище сикофантов. Но лишь в эпоху цезарей античного Рима наука шпионажа достигла наибольшего своего расцвета. По словам Тацита, со времен Нерона, Калигулы и других не было почти ни одного человека во всей империи, который не был бы шпионом или не желал бы им быть. Эти величественные римляне, которые не начинали своей хвастливой болтовни иначе, как говоря· «Я, римский гражданин», достигли в шпионаже такой высоты, как если бы они были величайшими из мошенников. Наконец, наша прекрасная Франция свидетельствует, что шпионаж никогда не бывает чрезмерным в стране, политическая жизнь которой достигает своего апогея. У нас, господа, почти все шпионят друг за другом, что не мешает общественной жизни идти своим путем Так как шпионят все, то в этом занятии почти не чувствуют ничего неприличного. Приведу историческую справку о том социальном явле

Речь эта произвела эффект необычайный. Крики: bravo! vive la France![1] (Прокоп, по обыкновению, ошибся и крикнул: vive Henri IV![2]) неслись со всех сторон. Сейчас же все побежали к закусочному столу и буквально осадили его.

— Je crois que ça s'appelle lassassine! Lassassine et parasseune — il faut que je me souvienne de ça![3] — сказал Левассёр, держа на вилке кусок маринованной лососины.

— Oh, mangez, messieurs![4] — упрашивал какой-то делегат (кажется, ветлужский),— человек! лососины принесите! пожалуйста, mangez!

Заседание кончилось; начался обед.

Никогда я не едал таких роскошных подовых пирогов, как в этот достопамятный день. Они были с говядиной, с яйцами и еще с какой-то дрянью, в которой, впрочем, и заключалась вся суть. Румяные, пухлые, они таяли во рту и совершенно незаметно проходили в желудок. Фарр съел разом два

нии, которое носит неблагозвучное имя шпионажа. Но если мы говорим о практических результатах этого ремесла, мы должны в то же время констатировать, что никогда бы эти результаты не могли быть ни такими большими, ни такими исчерпывающими, если бы шпионы начали действовать открыто... на виду, не маскируясь. Да, господа, это деятельность, которой можно заниматься только под покровом величайшей тайны! Отнимите тайну — и прощай шпионаж. Его более нет – а вместе с ним падает весь престиж политической жизни. Нет шпионажа — нет обвинений, нет процессов, нет преследований! Политическая жизнь, так сказать, замирает. Все проходит, все падает, все бездействует. Вот почему я не разделяю мнения, выраженного моим почтенным коллегой, господином Фарром. Я очень хорошо понимаю его мысль: он слишком большой приверженец статистики, чтобы не горевать, что эта наука содержит еще необъяснимые и темные места. Но бог, в своей божественной мудрости, судил об этом иначе. Он захотел, чтобы статистика всегда имела некоторые необработанные данные для того, чтобы мы, смиренные работники науки, всегда имели возможность что-либо разъяснить или закончить. Итак, я заключаю, говоря: господа! у нас есть целая графа, в которую мы относим мошенников и прочих людей без религии и нравственности. Разве эта графа не столь обширна, чтобы в ней не нашли себе естественного места шпионы? О господа, поместим их смело туда, и потом скажем: «Идите, бесчестные люди, и творите ваше низкое ремесло! статистика не хочет вас знать!»

[1] браво! да здравствует Франция!

[2] да здравствует Генрих IV!

[3] Кажется, это называется лососиной? Лососина и поросенок нужно это запомнить!

[4] Кушайте, господа!

пирога, а третий завернул в бумажку, сказав, что отошлет с попутчиком в Лондон к жене.

— La Russie — voilà où est la véritable patrie de la statistique![1] — в экстазе повторил Кеттлé.

После обеда — езда на извозчиках, а окончание дня в «Эльдорадо».

— C'est ici que le sort du malheureux von-Zonn a été décidé! ah, soyons sur nos gardes![2] — вздохнул Левассёр, что́ не помешало ему сделать честь двум девицам, предложив им по рюмке коньяку.

На третий день — осмотр Исакиевского собора, заседание у Шухардина и обед там же (menu: суп с потрохами, бараний бок с кашей, жареные каплуны и малиновый дутик со сливками); после обеда катанье на яликах по Неве.

Исакиевский собор произвел на гостей самое приятное впечатление.

— C'est fort, c'est solide, c'est riche, c'est ébouriffant![3] — беспрестанно повторял Левассёр, — et ça doit coûter un argent fou![4]

Кеттлé же до того умилился духом, что произнес:

— Ah! si je n'etais pas catholique romain, je voudrais être catholique grec![5]

На что Прокоп, который с некоторого времени получил настоящую манию приглашать иноверцев к познанию света истинной веры, поспешил заметить:

— А что же, ваше превосходительство! с легкой бы руки!

Заседание началось чтением доклада делегата от тульско-курско-ростовского клуба, по отделению нравственной статистики, о том, чтобы в ведомость, утвержденную собиравшимся в Гааге конгрессом, о числе и роде преступлений была прибавлена новая графа для включения в нее так называемых «жуликов» (jouliks).

— Jouliks! je ne comprends pas ce mot[6], — с свойственною ему меридиональною живостью протестует Левассёр.

---

[1] Россия — вот истинная родина статистики!

[2] Здесь была решена участь несчастного фон Зона! ах, будем осторожны!

[3] Он огромный, внушительный, роскошный, поразительный!

[4] он, вероятно, обошелся чудовищно дорого!

[5] Ах, не будь я католиком, я хотел бы быть православным!

[6] Жулик! я не понимаю этого слова!

— Ce n'est précisement ni un voleur, ni un escroc; c'est un individu qui tient de l'un et l'autre. A Moscou vous verrez cela, messieurs[1] — объясняет докладчик.

Встает Фарр и опять делает скандал. Он утверждает, что заметил на континенте особенный вид проступков, заключающийся в вскрытии чужих писем. «Не далее как неделю тому назад, будучи в Париже,— присовокупляет он,— я получил письмо от жены, видимо подпечатанное». Поэтому он требует прибавки еще новой графы.

Тетюшский делегат поднимается с своего места и возражает, что это неудобно.

— Why?[2] — вопрошает Фарр.

— Неудобно — и все тут! и разговаривать нечего! За такие вопросы нашего брата в кутузку сажают!

— Shocking![3] — восклицает Фарр.

Тогда требует слова Левассёр.

— Pardon! si je comprends la pensée de monsieur[4] — начинает он, указывая на тетюшского делегата,— elle peut être formulée ainsi: oui, le secret des lettres particuliéres est inviolable (bravo! bravo! oui! oui! inviolable!) — c'est la régle générale; maisil est des raisons de bonne politique, qui nous forcent quelquefois la main et nous obligent d'admettre des exceptions même aux régles que nous reconnaissons tous pour justes et irréprochables. C'est triste, messieurs, mais c'est vrai. Envisagée sous ce point de vue, la violation du secret des lettres particuliéres se présente à nous comme un fait de haute convenance, qui n'a rien de commun avec le crime ou la contravention. L'Angleterre, grâce à sa position insulaire, ignore beaucoup de phénomènes sociaux, qui sont non seulement tolérés par le droit coutumier du continent, mais qui en font pour ainsi dire partie. Ce qui est crime ou contravention en Angleterre, peut devenir une excellente mesure de salut public sur je continent.

---

[1] В точности, это не вор и не мошенник; это индивид, в котором содержится и то и другое. В Москве вы увидите их, господа.

[2] Почему?

[3] Невоспитанность!

[4] Извините! если я правильно понимаю мысль господина,

Aussi, je vote avec m-r de Tétiousch pour l'ordre du jour pur et simple[1].

— Bravo! Ура! Человек! шампанского! Мосье Левассёр! Votre santé![2]

Не успели выпить за здоровье Левассёра, как Прокоп вновь потребовал шампанского и провозгласил здоровье Фарра.

— Сознайтесь, господин Фарр, что вы согрешили немножко! — приветствовал он английского делегата с бокалом в руках,— потому что ведь ежели Англия, благодаря инсулярному положению, имеет многие инсулярные добродетели, так ведь и инсулярных пороков у ней не мало! Жадность-то ваша к деньгам в пословицу ведь вошла! А? так, что ли? Господа! выпьем за здоровье нашего сотоварища, почтеннейшего делегата Англии!

Разумеется, суровый англичанин успокоился и выпил разом два стакана.

Но за обедом случился скандал почище: бараний бок до такой степени вонял салом, что ни у кого не хватило смелости объяснить это даже особенностями национальной кухни. Хотя же поданные затем каплуны были зажарены божественно, тем не менее конгресс единогласно порешил: с завтрашнего дня перенести заседания в Малоярославский трактир.

Четвертый день — осмотр Петропавловского собора, заседание и обед в Малоярославском трактире (menu: ботвинья с малосольной севрюжиной, поросенок под хреном и сметаной, жареные утки

она может быть формулирована следующим образом: да, тайна частной корреспонденции неприкосновенна (браво! браво! да! да! неприкосновенна!) — это общее правило; но существуют соображения здравой политики, которые в отдельных случаях принуждают нас и заставляют допускать исключения даже для правил, которые мы все признаем справедливыми и нерушимыми. Это печально, господа, но это так. Рассматриваемое с этой точки зрения нарушение тайны частной корреспонденции представляется нам требованием высшего порядка, которое не имеет ничего общего с преступлением или с нарушением закона. Англия, благодаря своему островному положению, не знает многих социальных явлений, которые не только терпимы по обычному праву континента, но которые составляют, так сказать, часть этого права. То, что является преступлением или нарушением закона в Англии, может стать превосходной мерой общественной защиты на континенте. Итак, я голосую вместе с господином из Тетюш за простой переход к порядку дня.

[2] Ваше здоровье!

и гурьевская каша); после обеда прогулка пешком по Марсову полю.

Петропавловским собором иностранные гости остались довольны, но, видимо, спешили кончить осмотр его, так как Фарр, указывая на крепостные стены, сказал:

— В сей местности воздух есть нездоров!

На что, впрочем, Прокоп тут же нашелся возразить:

— Для тех, господин Фарр, у кого чисто сердце,— воздух везде здоров!

В четвертом заседании я докладывал свою карту, над которой работал две ночи сряду (бог помог мне совершить этот труд без всяких пособий!) и по которой наглядным образом можно было ознакомиться с положением трактирной и кабацкой промышленности в России. Сердце России, Москва, было, comme de raison[1], покрыто самым густым слоем ярко-красной краски; от этого центра, в виде радиусов, шли другие губернии, постепенно бледнея и бледнея по мере приближения к окраинам. Так что Новая Земля только от острова Колгуева заимствовала слабый бледно-розовый отблеск. В заключение я потребовал, чтобы подобные же карты были изданы и для других стран, так чтобы можно было сразу видеть, где всего удобнее напиться.

— Ah! mais savez-vous que c'est bigrement sérieux le travail que vous nous présentez lá![2] — воскликнул Левассёр, рассматривая мою карту.

— Prachtvoll![3] — одобрил Энгель.

— Beautiful![4] — присовокупил Фарр.

— Benissime![5] — проурчал Корренти.

— Et remarquez bien que monsieur n'a employé que deux nuits pour commencer et achever ce beau travail[6],— отозвался Кеттле, который перед тем пошептался с Прокопом.

— Две ночи — это верно! — подтвердил Про-

---

[1] разумеется.

[2] Ах!. ведь вы представляете нам здесь чертовски серьезный труд!

[3] Великолепно!

[4] Прекрасно!

[5] Превосходно!

[6] И заметьте, что господин затратил на этот прекрасный труд только две ночи.

коп, — и без всякого руководства! Просто взял лист бумаги и с божьею помощью начертил!

Тогда все бросились меня обнимать и целовать, что под конец сделалось для меня даже обременительным, потому что делегаты вздумали качать меня на руках и чуть-чуть не уронили на пол. Тем временем наступил адмиральский час, Прокоп наскоро произнес: господа, милости просим хлеба-соли откушать! — и повел нас в столовую, где прежде всего нашим взорам представилась севрюжина... но какая это была севрюжина!

— Вот так севрюжина! — совершенно чисто произнес по-русски Кеттле́.

Но, увы! нас и на этот раз не вразумило это более нежели странное восклицание иностранного гостя. До того наши сердца были переполнены ликованием, что мы не лыком шиты!

После обеда, во время прогулки по Марсову полю, Левассёр ни с того ни с сего вступил со мной в очень неловкий дружеский разговор. Во-первых, он напрямик объявил, что ненавидит войну по принципу и что самый вид Марсова поля действует на него неприятно.

— А мы, — ответил я довольно сухо, — мы гордимся этим полем.

— Oui, je comprends ça! la fierté nationale — nous autres, Français, nous en savons quelque chose! Mais, quanta moi — je vous avoue que ça me porte sur les nerfs![1]

Во-вторых, постепенно раскрывая передо мной свою душу, он признался, что всегда был сторонником Парижской коммуны и даже участвовал в разграблении дома Тьера.

— Ma femme est une *pétroleuse* — je ne vous dis que ça![2] — прибавил он грустно.

В-третьих, он изъявил опасение, что за ним следят; что клевета и зависть преследуют его даже в снегах России; что вот этот самый Фарр, который так искусно притворяется англичанином, есть не

[1] Да, понимаю! национальная гордость, – мы, французы, тоже не чужды ей. Но, что касается меня, – признаюсь, это действует мне на нервы!

[2] Моя жена поджигательница, этим все сказано.

что иное, как агент Тьера, которому нарочно поручено гласно возбуждать вопросы о шпионах, а между тем под рукой требовать выдачи его, Левассёра. В заключение он просил меня посмотреть по сторонам и удостовериться, нет ли поблизости полицейского.

Я в смущении исполнил его просьбу, но так как мы стояли на самой средине поля, и притом начало уже смеркаться, то полицейские представлялись рассеянными по окраинам в виде блудящих огоньков. Тем не менее я поспешил успокоить моего нового друга и заверить его, что я и Прокоп сделаем все зависящее...

— Ah! quant à vous — vous avez l'âme sensible, je le vois, je le sens, j'en suis sûr! Mais quant à monsieur votre ami — permettezmoi d'en douter![1] — воскликнул он, с жаром сжимая мою руку.

К сожалению, я должен был умолкнуть перед замечанием Левассёра, потому что, говоря по совести, и сам в точности не знал, есть ли у Прокопа какая-нибудь душа. Черт его знает! может быть, у него только фуражка с красным околышем — вот и душа!

Во всяком случае, признания Левассёра произвели на меня самое тяжелое впечатление. Коммуналист! жена петрольщица! И черт его за язык дергал соваться ко мне с своими признаниями! Поэтому первым моим движением было убедить его познать свои заблуждения, и я бойко и горячо принялся за выполнение этой задачи, как вдруг, среди самого разгара моего красноречия, он зашатался-зашатался и разом рухнулся на песок! Тут только я догадался, что он пьян в последнем градусе и что, следовательно, все его признания были не что иное, как следствие привычки блягировать, столь свойственной его соотечественникам! Признаюсь, даже открытие Америки не подействовало бы на меня так благотворно, как эта неожиданная развязка, разом выведшая меня из затруднительнейшего положения!

Пятый день — осмотр домика Петра Великого; заседание и обед в Малоярославском трактире

---

[1] О! что касается вас — у вас чувствительная душа, я это вижу, я это чувствую, я в этом уверен! Но что касается вашего друга — позвольте мне усомниться в этом!

(menu: суточные щи и к ним няня, свиные котлеты, жаркое — теленок, поенный одними сливками, вместо пирожного — калужское тесто). После обеда каждый удаляется восвояси и ложится спать. Я нарочно настоял, чтоб в ordre du jour[1] было включено спанье, потому что опасался новых признаний со стороны Левассёра. Шут его разберет, врет он или не врет! А вдруг спьяна ляпнет, что из Тьерова дома табакерку унес!

Осмотр домика великого преобразователя России удался великолепно. Левассёр о вчерашнем разговоре на Марсовом поле ни полслова. Напротив того, пришел как встрепанный и сейчас же воскликнул:

— C'en était un de tzar! fichtre! quel genre!

— Das war ein Tzar![2] — глубокомысленно отозвался Энгель.

— It was a tzar![3] — процедил Фарр, щупая постель, на которой отдыхал великий преобразователь.

— Tzarissimo, magnissimo![4] — черт знает на каком языке формулировал свое удивление Корренти.

Старичок Кеттле́ некоторое время стоял, задумчиво опершись на трость. Наконец он взволнованным голосом заметил, что и душе Петра была не чужда статистика.

— Тогда выступил вперед мой друг Берсенев (из «Накануне») и сказал:

— Позвольте мне напомнить вам, милостивые государи, слова о Петре Великом, сказанные одним из незабвенных учителей моей юности, которые будут здесь как нельзя более у места. Вот эти слова: «Но великий человек не приобщился нашим слабостям! Он не знал, что мы и плоть и кровь! Он был велик и силен, а мы родились малы и худы, нам нужны были общие уставы человечества!» Я сказал, господа![5]

---

[1] порядок дня.

[2] Вот это был царь! черт побери! какой человек! — Вот это был царь!

[3] Вот это был царь!

[4] Царейший, величайший!

[5] Речь, сказанная профессором Морошкиным на акте Московского университета «Об Уложении и его дальнейшем развитии». *(Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

Этим осмотр кончился при громком одобрении присутствующих.

Пятое заседание было посвящено вредным зверям и насекомым. Делегат от Миргородского уезда, Иван Иванович Перерепенко, прочитал доклад о тушканчиках и, ввиду *особенного,* производимого ими, вреда, требовал, чтоб этим животным была отведена в статистике отдельная графа.

Давно я не слыхал такой блестящей импровизации. Тушканчик стоял передо мной как живой. Я видел его в норе, окруженного бесчисленным и вредным семейством; я видел его выползающим из норы, стоящим некоторое время на задних лапках и *вредно* озирающимся; наконец, я видел его наносящим *особенный* вред нашим полям и поучающим тому же вредных членов своего семейства. Это было нечто поразительное.

Но чему я был рад несказанно — это случаю видеть маститого Перерепенко, о котором я так много слышал от Гоголя. О, боже! как он постарел, осунулся, побелел, хотя, по-видимому, все еще был бодр и всегда готов спросить: «А может, тебе и мяса, небога, хочется?»

— Ну, что, как ваше дело с Иваном Никифоровичем? — спросил я его.

Старик грустно махнул рукой.

— Ужели не кончено?

— На днях будет в третий раз слушаться в кассационном департаменте! — ответил он угрюмо.

— Великий боже!

— Сначала слушали в полтавском окружном суде — кассацию подал я; потом перенес в черниговский суд — кассировал Довгочхун. Потом дело перенесли в Харьков — опять кассирую я...

Он на минуту поник головой.

— Я уже не говорю о беспокойствах,— произнес он со слезами в голосе,— но все мое состояние... все состояние пошло... туда! Вы знаете, какие у меня были дыни?

— И что ж?

— Ни в прошлом году, ни в нынешнем я не съел ни одной! Всё съели адвокаты, хотя урожай был отличнейший! Чтобы не умереть с голоду, я вынужден писать газетные корреспонденции по полторы копейки за строчку. Но и там урезывают!

— Ба! так это ваша корреспонденция, которая начинается словами: «хотя наш Миргород в сравнении с Гадячем или Конотопом может быть назван столицею, но ежели кто видел Пирятин...»

Иван Иванович с чувством пожал мне руку.

— Что ж вы, однако, предполагаете делать с вашим процессом?

— Вероятно, его переведут теперь в Изюм, но ежели и изюмский суд откажет мне в удовлетворении, тогда надобно будет опять подавать на кассацию и просить о переводе дела в Сумы... Но я не отступлю!

Иван Иванович так сверкнул глазами, что я совершенно ясно понял, что он не отступит. Он и Неуважай-Корыто. Они не отступят. Они пойдут и в Сумы, и в Острогожск, а когда-нибудь да упекут Довгочхуна — это верно!

Между тем как мы дружески беседовали, на конгрессе поднялся дым коромыслом. Виновником скандала был все тот же несносный англичанин Фарр, внесший одно из самых эксцентричных предложений, какого можно было только ожидать. Предложение это приблизительно можно было формулировать следующим образом: «Тушканчики — это прекрасно, и так как вред, ими производимый, действительно имеет свойства вреда *особенного,* то нет ничего справедливее, как отвести им и графу *особенную*. Надо, чтоб каждый знал силу врага, с которым имеет дело, а кому же, как не статистике, оказать человечеству услугу приведением в ясность всех зол, его удручающих? Но не одни тушканчики производят *особенный* вред; он, Фарр, знает иной *особенный* вред, гораздо более сильный, о котором статистика не упоминает вовсе, а именно: вред, наносимый неправильными административными распоряжениями. Ввиду несомненной важности и особенности этого вреда, не следует ли и для него отвести особенную графу, которая следовала бы непосредственно за графой о тушканчиках?»

Едва произнес Фарр свою речь, как Левассёр не выдержал. Весь бледный, он вскочил с своего места и сказал:

— Те, которые так упорно инсинуируют[1] здесь

---

[1] клевещут

против правительств, гораздо лучше сделали бы, если бы внесли предложение о вреде, наносимом переодетыми членами интернационалки!

— А еще полезнее было бы, — хладнокровно возразил Фарр, — привести в ясность вред, производимый переодетыми петролейщиками!

Я до сих пор не могу себе объяснить тайны соперничества, постоянно выказывавшегося между Фарром и Левассёром. Быть может, оба они когда-нибудь служили агентами сыскной полиции, и поэтому между ними существовала застарелая вражда. Смятение, которое произвел этот «разговор», было несказанно. Все делегаты заговорили разом. Старик Кеттлé встал с места и простер руки в знак мира и любви. Энгель язвительно посматривл на «разговаривающих» и шептал: also nun[1], как бы ожидая, что вот сейчас подадут шампанского. Корренти равнодушно напевал из «Pifferaro»[2]:

Evviva la Francia!
Evviva la libertà![3]

Но настоящим миротворцем явился Прокоп.

— Господа! — обратился он к спорящим, — прекратите! Пожалуйста, хоть для меня прекратите! Право, мы здесь не для пререканий! Мы всегда рады иностранным гостям и повезем вас в Москву, и даже в Нижний, только уж и вы, господа, эти ссоры оставьте! Мы делаем вам удовольствие — и вы нас почтите. Вы, господин Фарр, постоянно задираете. Характер у вас самый несносный. Вы поднимаете такие вопросы, что если б не уважение к иностранным гостям, то вас давно уж следовало бы отправить к мировому. Скажите, разве это приятно? Вы, может быть, думаете, что вы в Англии — ан нет, вы ошибаетесь, вы в России! У нас нет никакого инсулярного положения, а потому мы ведем свою статистику на свой образец, как бог пошлет. Вот он *(указывает на меня)* сочинил карту питейных домов — чего еще больше! Стыдитесь, сударь! Да и вы, господин Левассёр! вы тоже! добрый вы малый, а ведь ах! как и в вас эта французская жилка играет!

[1] итак.
[2] «Свирельщика».
[3] Да здравствует Франция! Да здравствует свобода!

Вот господин Энгель: сидит и молчит — чего лучше! Оттого-то немцы вас и побивают! А вы — чуть что́ не по вас — сейчас и вспыхнули! Порох! Подайте же друг другу руки и не ссорьтесь больше. Стыдно! Мы не маленькие. Нам еще трудов по горло, завтра уж шестое заседание, а вы словно петухи какие! Человек! шампанского.

Левассёр первый и с удивительнейшею развязностью протянул руку; но Фарр упирался. Тогда мы начали толкать его вперед и кончили, разумеется, тем, что враги столкнулись. Произошло примирение, начались заздравные тосты, поднялся говор, смех,— как будто никаких прискорбных столкновений и в помине не было. Среди этой суматохи я вдруг вспомнил, что на нашем пире науки нет японцев.

— Господа! — сказал я,— из газет достоверно известно, что японцы уже прибыли. Поэтому странно, чтоб не сказать более, что этих иностранных гостей нет между нами. Я положительно требую ответа: отчего нет японцев на роскошном пире статистики?

Но, увы! упущение было уже сделано, а потому конгресс положил: по поводу отсутствия господ японцев выразить искреннее (искреннейшее! искреннейшее! вопили со всех сторон делегаты) сожаление, поручив гг. Веретьеву и Кирсанову добыть японских гостей и доставить их к следующему заседанию.

Затем пробил адмиральский час, мы бросились к накрытым столам, и — клянусь честью! — никогда калужское тесто не казалось мне столь вкусным, как в этот достопамятный день!

Шестой день: осмотр сфинксов, заседание и обед в Малоярославском трактире (menu: стерляжья уха с подовыми пирогами; солонина под хреном; гусь с капустой; клюковный кисель с сытою). После обеда — мытье в воронинских банях.

Осмотр сфинксов прошел довольно холодно, быть может, потому, что предстоявшее заседание слишком живо затрогивало личные интересы конгрессистов. В этом заседании предстояло окончательно решить вопрос об учреждении постоянной комиссии, то есть определить, какие откроются по этому случаю новые места и на кого падет жребий заместить их. Но естественно, что коль скоро выступают на сцену подобные жгучие вопросы, то прений по по-

воду их следует ожидать оживленных и даже бурных.

Но Прокоп предусмотрел это, и потому еще не успели приступить к прениям, как он уже распорядился поднести всем членам конгресса по большой рюмке водки. По-видимому, одна, хоть и большая рюмка, едва ли могла бы достигнуть желаемых результатов, но Прокоп очень основательно рассчитал, что эта *одна* рюмка послужит только введением, за которым значительное число конгрессистов, уже motu proprio[1], потребуют по второй и по третьей. И расчет его оказался верным. Едва заседание было провозглашено открытым, как уже бо́льшая часть бойцов очутилась вне боя. На арене остались только самые упорные статистики или те из конгрессистов, которые положили на водку зарок.

Заседание открылось заявлением Веретьева и Кирсанова, что принятые ими меры к отысканию японцев были безуспешны. Японцы действительно прибыли, и они даже напали на их след, но, как ни старались, ни разу не застали их дома. Сколько могли они понять из объяснений прислуги, японские делегаты сами с утра до вечера находятся в тщетных поисках за конгрессом; стало быть, остается только констатировать эту бесплодную игру в жмурки, производимую во имя науки, и присовокупить, что она представляет один из прискорбнейших фактов нашей современности.

Определено: записать о сем в журнал и еще раз выразить искреннейшее сожаление, что страна столь могущественная, дружественная и притом неуклонно стремящаяся к возрождению не имела на конгрессе своего представителя.

Затем, не теряя времени, мы приступили к голосованию параграфов «Положения о́ постоянной статистической комиссии», редактированного Прокопом, по соглашению с Кеттле́.

— Mais il me semble, messieurs, que nous ne sommes pas en nombre![2] — заметил Левассёр, указывая на простертые по диванам тела наших сокогрессистов.

— Ну, чего еще тут «en nombre!»[3]. Пожалуйста,

---

[1] по собственному почину

[2] Но мне кажется, господа, что мы не в полном составе!

[3] «в полном составе»!

Карл Иваныч, не вмешивайся ты, ради Христа!

Откуда узнал Прокоп имя и отчество Левассёра! каким образом и когда сошелся он с ним на «ты»! Изумительно!

— Господа! терять времени нечего! а то наши проспятся и загалдят! Парагра́ф премье́. «Для наблюдения за работами гг. статистиков, в отношении к их успешности и правильности, учреждается постоянная статистическая комиссия, с теми же правами, которые присвоены международному статистическому конгрессу на время его собраний...» Ладно, что ли?

— Прекрасно! — раздалось со всех сторон.

— Парагра́ф сегон. «Постоянная сия комиссия имеет местопребывание в столичном городе С.-Петербурге, в Малоярославском оного трактире...»

— Против этого параграфа я имею сделать возражение! — заявил Кирсанов.

— Покороче, сделай милость!

— Я буду краток: кушанье в Малоярославском трактире обходится так дорого...

— Да где же ты в другом месте таких поросят найдешь?

— Я не говорю, что поросята дурны; но я утверждаю, что в случае необходимости можно удовольствоваться и не столь жирными поросятами. Вспомните, господа, что членами комиссии могут быть люди семейные, для которых далеко не безразлично, платить ли за порцию восемь гривен или тридцать копеек. А между тем я знаю на углу Садовой и Вознесенского трактирчик госпожи Васильевой, где, во-первых, помещение очень приличное, во-вторых, кушанье подается недорогое и вкусное, и в-третьих, прислуге строго воспрещено произносить при гостях ругательные слова! Поэтому я полагал бы...

— Ну, к Васильевой так к Васильевой — не мне придется дохлятину-то есть! Я, брат, завтра взял шапку, да и был таков! Парагра́ф троазие́м, господа: «В состав комиссии входят по одному представителю от каждой из пяти первостепенных держав с жалованьем по шести тысяч рублей в год; второстепенные державы посылают в складчину по одному представителю от каждых двух государств, с жалованьем по мере средств. На канцелярские расходы ассигнуется по десяти тысяч рублей в год,

каковой расход относится на счет патентного сбора с вольнопрактикующих статистов...»

Корренти встал и довольно нагло потребовал принять Италию в число первостепенных государств. «С тех пор,— говорил он,— как Рим сделался нашей столицей, непростительно даже сомневаться, что Италия призвана быть решительницей судеб мира». Но Прокоп сразу осадил дерзкого пришельца.

— Ну, брат, это еще «Улита едет, когда-то будет»! — сказал он ему, и этим метким замечанием увлек за собой все собрание. Параграф 3-й был принят огромным большинством.

— Парагра́ф катрие́м е дернье́: «Постоянная комиссия имеет главный надзор за статистикой во всех странах мира. Она поощряет прилежных и исправных статистиков, нерадивых же подвергает надлежащим взысканиям. Сверх того, высшим местам и учреждениям она пишет доношения и рапорты, с равными местами сносится посредством отношений; статистикам, получающим от казны содержание, дает предложения; статистикам вольнопрактикующим посылает указы и предписания».

Но не успели мы приступить к голосованию последнего параграфа, как случилось нечто поразительное. На лестнице послышался сильный шум, и в залу заседаний вбежал совершенно бледный и растерявшийся половой. Увидев его, Кеттле́ с быстротою молнии ухватил первую попавшуюся под руки шапку и улизнул. Его примеру хотели последовать и прочие иностранные гости (как после оказалось — притворно), но было уже поздно: в комнате заседаний стоял господин в полицейском мундире, а из-за дверей выглядывали головы городовых. Левассёр с какою-то отчаянною решимостью отвернулся к окну и произнес: «Alea jacta est!»[1]

— Господин отставной корнет Шалопутов! — провозгласил между тем господин в полицейском мундире.

— Здесь! — отозвался Левассёр, отдаваясь в руки правосудия.

Мы так и ахнули.

---

[1] Жребий брошен!

IX

Итак, этот статистический конгресс, на который мы возлагали столько надежд, оказался лишь фальшивою декорацией, за которою скрывалась самая низкая подпольная интрига! Он был лишь средством для занесения наших имен в списки сочувствующих, а оттуда — кто знает! — быть может, и в книгу живота!

Можно себе представить, каково было удивление мое и Прокопа, когда мы узнали, что чуть-чуть не сделались членами интерналки!

Вечер этого дня я провел у Менандра, и мы оба долго и горько плакали. Чтоб утешить меня, он начал читать корреспонденцию из Екатеринославля, в которой чертами, можно сказать, огненными описывались производимые сусликами опустошения, но чтение это еще более расстроило нас.

— Неужели же нет никаких мер против этих негодяев? — воскликнул я, сам, впрочем, хорошенько не сознавая, о чем я говорю.

— К сожалению, должно признаться, что таких мер не существует, хотя, с другой стороны, нельзя не сознаться, что если б земские управы взялись за дело энергически, то суслики давно были бы уничтожены! Я намерен посвятить этой мысли не менее десяти передовых статей.

Сказав это, он так глубокомысленно взглянул на меня, что я поскорее взял шапку и побежал куда глаза глядят.

Всю дорогу я бежал без всякой мысли. То есть, коли хотите, и была мысль, которая неотступно стучала мне в голову, но мысль самая странная, а именно: к сожалению, должно признаться, хотя, с другой стороны, нельзя не сознаться — и больше ничего. Это был своего рода дурацкий итальянский мотив, который иногда по целым часам преследует человека без всякого участия со стороны его сознания. Идет ли человек по тротуару, сидит ли в обществе пенкоснимателей, читает ли корреспонденцию из Пирятина — вдруг гаркнет: odiartii![1] — и сам не может дать себе отчета, зачем и почему. Даже когда я лег в постель, то и тут последнею

[1] ненавидеть тебя!

мыслью моею было: к сожалению, должно признаться, хотя, с другой стороны, нельзя не сознаться...

Ночь я провел беспокойно, почти бурно. Во сне я припомнил, что программа этого дня осталась невыполненною и что нам следовало еще ехать с иностранными гостями в воронинские бани. Поэтому я тотчас же перенесся фантазией в бани и, увидев себя и иностранных гостей обнаженными, почему-то сконфузился. Но в то самое время, как я обдумывал, ка́к бы устроить, чтоб нагота моя была как можно меньше заметна, Левассёр благим матом и на чистейшем российском диалекте завопил: пару! ради Христа, еще пару! Тут только я понял гнусный обман, которого были жертвою мы, простодушные провинциальные кадыки, и уже бросился с веником, чтоб наказать наглого интригана, как вдруг передо мной словно из-под земли вырос Менандр. Он был тоже совершенно голый, но в руках его, вместо веника, торчала кипа корреспонденций, из которых на каждой огненными буквами были начертаны слова: «к сожалению, должно признаться...» Меня бросило в пот, и что́ было после того — я ничего не помню...

Утром, едва успел я опомниться от страшного сна, как Прокоп уже стоял передо мной.

— Ты пойми,— сказал он мне,— ведь мы должны будем фигюрировать в этом деле в качестве дураков... то бишь свидетелей!

— Надеюсь, однако, что мы не виноваты? — рискнул я возразить, сам, впрочем, не вполне уверенный, виноват я или не виноват.

— Дожидайся, будут тебя спрашивать, виноват ты или не виноват! Был с ними — и дело с концом!

Тут я вспомнил мой разговор с Левассёром на Марсовом поле и чуть не поседел от ужаса. Припомнит он или не припомнит? Ах, дай-то господи, чтоб не припомнил! Потому что ежели он припомнит... Господи! ежели он припомнит! Это нужды нет, что я ничего не говорил и даже убеждал его оставить заблуждения, но ведь, пожалуй, он припомнит, что́ *он* говорил, и тогда...

— Да ты не наболтал ли чего-нибудь? — спросил Прокоп, заметив мое смущение.

— Ей-богу, я ничего не говорил! Но я... но мне...

— Ну, брат, плохое твое дело, коли так. *Он* при-

помнит. Я, брат, сам однажды Энгеля пьяного домой на извозчике подвозил, так и то вчера целый вечер в законах рылся: какому за сие наказанию подлежу! Потому, припомнит — это верно!

— Но позволь, душа моя, ведь ты же всю эту историю затеял! Ты с ними меня свел! Ты приглашение мне принес! Ты заседания устраивал! За что же я должен терпеть?

— Мало чего нет! А ты вспомни, что́ ты еще прежде про статистику-то говорил! Вспомни, как ты перебирал: и того у нас нельзя, и то невозможно, и за это в кутузку... Нет, брат, шалишь! Коли уж припоминать, так все припоминать! Пущай начальство видит!

— Позволь... но ведь не в этом дело!

— Нет, брат, уж припоминать так припоминать! Карту-то насчет трактирных заведений кто составлял? а? Ан карта-то, брат,— вот она! (Прокоп хлопнул рукой по боковому карману сюртука.)

— Но карта... что́ же она означает!

— Там, брат, уж разберут. Там всему место найдут. Нет, это уж не резон. Это, брат, не по-товарищески!

— Но, пожалуйста, ты не думай, чтоб я...

— Нечего тут «не думай»! Я и то не думаю. А по-моему: вместе блудили, вместе и отвечать следует, а не отлынивать! Я виноват! скажите на милость! А кто меня на эти дела натравливал! Кто меня на дорогу-то на эту поставил! Нет, брат, я сам с усам! Карта-то — вот она!

Словом сказать, гонимые страхами, мы вдруг уподобились тем рыцарям современной русской журналистики, которые, не имея возможности проникнуть в «храм удовлетворения», накидываются друг на друга и начинают грызться: «нет, ты!», «ан ты!»

Раз вступивши на скользкий путь сплетен и припоминаний, бог знает до чего бы мы могли дойти, но, к счастью, мы не успели еще пустить друг другу в лицо ни «хамами», ни «клопами», ни одним из тех эпитетов, которыми так богата «многоуважаемая» редакция «Старейшей Русской Пенкоснимательницы», как в мой нумер влетел Веретьев.

— Берут! — ревел он, весело потирая руки.

Я побледнел; Прокоп положительно упал духом.

— Кого?!

— Волохова, Рудина и Берсенева уже взяли... Кирсанов на волоске!

— Но чему же вы радуетесь, Веретьев?

— Я чему радуюсь? Я? чему я радуюсь? «Затишье»! Астахов! Маша! «Человек он был» — а теперь что! Что я такое, спрашиваю я вас! Утонула! Черта с два... вышла замуж за Чертопханова! За Чертопханова — понимаете! «Башмаков еще не износила»... Зачем жить! Зачем мне жить, спрашиваю я вас! Сибирь... каторга... по холодку! Вот тут! — закончил он, ударяя себя в грудь,— тут!

Я знал, что Веретьев получил воспитание в Белобородовском полку, и потому паясничества его никогда не удивляли меня. Иногда, вследствие общего неприхотливого уровня вкуса, они казались почти забавными, а в глазах очень многих служили даже признаком несомненной талантливости. Но в эту минуту, признаюсь, мне было досадно глядеть на его кривлянья.

— Неужели вы хоть один раз в жизни не можете быть серьезным, Веретьев? — укорил я его.

— Тебе, Веретьев, когда ты в компании,— цены нет! — присовокупил с своей стороны Прокоп,— мухой ли прожужжать, сверчком ли прокричать — на все ты молодец! Ну, а теперь, брат, извини! теперь, брат, следовало бы и остепениться крошечку!

— Что ж! можно и остепениться! Ну, спрашивайте! глазом не моргну!

Сказавши это, Веретьев вдруг зажужжал на манер пчелы, но зажужжал так натурально, что мы с Прокопом инстинктивно начали отмахиваться.

— Ах, черт подери! Это все ты, шут гороховый! — обозлился Прокоп,— и охота нам с отчаянным связываться! Да говори толком, оглашенный, что такое случилось?

Быть может, Веретьев и еще откинул бы несколько фарсов, прежде нежели объяснить, в чем дело, но, к счастью для нас, в эту минуту пришел Кирсанов. Он был видимо расстроен; чистенькое и бледное лицо его приняло желтоватые тоны, тонкие губы сжались; новенький вицмундирчик вздрагивал на его плечах.

— Господа! вы видите меня в величайшем недоумении,— начал он раздраженным голосом,— не

говоря уже о том, что я целую неделю, неизвестно по чьей милости, был действующим лицом в какой-то странной комедии, но — что́ важнее всего — в настоящую минуту заподозрена даже моя политическая благонадежность.

Аркаша остановился и окинул нас взглядом, которому он, по мере сил своих, старался придать олимпический характер. Но Прокопа этот взгляд, по-видимому, нимало не смутил, так как он ответил в упор:

— Твоя благонадежность! Велика штука — твоя благонадежность! И мы заподозрены, и все заподозрены! Его благонадежность! Есть об чем толковать!

— Да... но ведь я...— заикнулся Кирсанов.

— И я... и ты... ну да! Ну, и ты! Ты вспомника, что́ ты с Базаровым, лежа на траве разговаривал!

Бледное лицо Кирсанова моментально вспыхнуло.

— Конечно,— сказал он,— и я был молод, и я заблуждался, но кто же из нас не был молод, кто не заблуждался! Мне кажется, что в смысле политической благонадежности те люди даже полезнее, которые когда-нибудь заблуждались, но потом оставили свои заблуждения! Эти люди, во-первых, понимают, в чем заключаются так называемые заблуждения; и, во-вторых, знают сладость раскаянья. Поэтому мне более нежели странно, что меня упрекают прошлым, от которого я сам отвернулся с тех пор, как произошла эта история с Феничкой!

Но Прокоп был неумолим.

— Толкуй, брат, по пятницам! — отрезал он,— уж коли в ком раз эта проказа засела, так никакими раскаяньями оттоле ее не выкуришь! Ты на конгрессе-то нашем что́ проповедовал?

— Я всего один раз говорил, и то лишь для того, чтобы указать на трактир госпожи Васильевой как на самое удобное место для заседаний постоянной комиссии!

— Ну, хорошо! ну, положим! Действительно, на конгрессе ты вел себя скромно! А как ты во время эмансипации себя вел?! Ты посредником был — скажи, как ты себя вел? а?

— Но мне кажется, что в видах общих интересов...

— Нет, ты не отлынивай, а отвечай прямо: как ты себя вел! Вот они (Прокоп указал на Веретьева и на меня) — никогда ничего об них не скажу! Вели себя, как дворяне,— а потому и благодарность им от всех (Прокоп прикоснулся рукою к земле)! Ну, а ты, брат... нет, ты с душком! Как ты к дворянину-то выходил? в каком виде? а? Как ты дворянто на очные ставки с хамами ставил? а? «Вы, говорит, не имели права, на основании... а он, говорит, имеет право, на основании...» — а? Ан вот оно и отозвалось! вон оно когда отозвалось-то!

– Но позвольте! ежели я и увлекался, то цели, которые при этом одушевляли меня...

– Не говори ты мне, ради Христа! Я ведь помню! я все помню! Помню я, как ты меня с Прошкой-то кучером судил! Ведь я со стыда за тебя сгорел! Вот ты как судил!

Кирсанов слегка поник головой, как бы сознавая, что перед трибуналом Прокопа для него нет оправданий. Тогда я выступил вперед, в качестве миротворца.

– Позвольте, господа, позволь, мой друг! — сказал я, мягко устраняя рукой Прокопа, который начинал уже подпрыгивать по направлению к Кирсанову,— дело не в пререканиях и не в том, чтобы воскрешать прошлое. Аркадий Павлыч увлекался — он сам сознает это. Но это сознание и соединенное с ним раскаяние он подтвердил целым рядом действий, характер которых не может подлежать никакому сомнению. Если б не быстрота, с которою он вызвал воинскую команду в деревню Проплёванную, то бог знает, имел ли бы я удовольствие беседовать теперь с вами. Стало быть, оставим речь о прошлом. В прошлом, конечно, были грешки, но были и достославные действия. Обратимтесь, господа, к настоящему! В чем дело, Аркадий Павлыч?

— А вот, не угодно ли посмотреть!

И Кирсанов подал бумагу, в которой мы прочли: «комиссия по делу об эмиссарах: отставном корнете Шалопутове, пензенском помещике Капканчикове с товарищи, вызывает титулярного советника Аркадия Павлова Кирсанова для дачи ответов против показаний неслужáщего дворянина Берсенева».

— Ну, попался! — воскликнул Прокоп, и как-то особенно при этом свистнул.

— Ну что же я сделал? И что мог, наконец, Берсенев...

— Там, брат, разберут... а что попался — так это верно!

— Но почему же вы так тревожитесь, Аркадий Павлыч? Ведь вы сознаете себя невинным?

— Клянусь, что я...

— Охотно вам верю. Но, может быть, вы что-нибудь говорили? Может быть, вы говорили... ну, что бы такое?.. ну, хоть бы, например, что необходимо Семипалатинской области дать особенное, самостоятельное устройство?

Кирсанов задумался на минуту, как бы припоминая.

— Да... об этом, кажется, была речь,— наконец произнес он тихо.

— Ну, и пропал! Пиши письма к родным!

— Но позвольте, господа! Положим, что я говорил глупости, но неужели же нельзя... даже в частном разговоре... даже глупости...

Но оправдание это было так слабо, что Прокоп опроверг его моментально.

— Говорить глупости ты можешь,— сказал он,— да не такие. Вы заберетесь куда-нибудь в Фонарный переулок да будете отечество раздроблять, а на вас смотри! Один Семипалатинскую область оторвет, другой в Полтавскую губернию лапу засунет... нельзя, сударь, нельзя!

Тогда Кирсанов, в свою очередь, озлился.

— Позвольте, однако ж-с! — сказал он,— если я не имею права говорить глупости, как и вы-с... Помните ли, как вы однажды изволили говорить: вот как бы вместо Москвы да наш Амченск столицею сделать...

— Ну, это ты врешь! Этого я не говорил! Ишь ведь что вспомнил! ах ты, сделай милость! Да не то что одна комиссия, а десять комиссий меня позови — передо всеми один ответ: знать не знаю, ведать не ведаю! Нет, брат, я ведь травленный! Меня тоже нескоро на кривой-то объедешь!

— Но я не к тому веду речь...

— Понимаю, к чему ты ведешь речь, только напрасно. Ты, коли хочешь, винись, а я не повинюсь! Хоть сто комиссий меня к ответу позови — не говорил, и баста!

Распря эта не успела, однако ж, разыграться, потому что в комнату вошел совершенно растерянный Перерепенко

— Представьте себе, меня обвиняют в намерении отделить Миргородский уезд от Полтавской губернии! — сказал он упавшим голосом.

— Что такое? как?

— Да-с! вы видите перед собой изменника-с! сепаратиста-с! Я, который всем сердцем-с! - говорил он язвительно, — и добро бы еще речь шла об Золотоноше! Ну, тут действительно еще был бы резон, потому что Золотоноша от Канева — рукой подать! Но Миргород! но Хороль! но Пирятин! но Кобеляки!

— Откуда же такая напраслина, Иван Иваныч? Ужели Довгочхун..

— Признаюсь, у меня у самого первое подозрение пало на Довгочхуна, но, к сожалению, Довгочхунов много и здесь. Не Довгочхун, а неслужащий дворянин Марк Волохов!

— Но разве вы имели неосторожность открыть ему ваши намерения?

— Нечего мне было открывать-с, потому что я как родился без намерений, так и всю жизнь без намерений надеюсь прожить-с. А просто однажды господин Волохов попросил у меня взаймы три целковых, и я ему в просьбе отказал! Он и тогда откровенно мне высказал: вспомню я когда-нибудь об вас, Иван Иваныч! И вспомнил-с.

— Донес, что ли?

— Нет, не донес-с. Книжечка у него такая была, в которую он все записывал, что́ на ум взбредет Вот он и записал там: «Перерепенко Иван Иваныч, иметь в виду, на случай отделения Миргородского уезда»... Ан книжечку-то эту у него нашли!

— Однако это, черт возьми, штука скверная! — всполошился Прокоп,— третьего дня этот шут гороховый Левассёр говорит мне: «Votre pays, monsieur, est in fichu pays!»[1] — а я, чтобы не обидеть иностранного гостя: да, говорю, Карл Иваныч! есть-таки того... попахивает! А ну, как он это в книжку записал?

— И записал-с! — вздохнул Перерепенко.

[1] Ваша страна, мсьё скверная страна!

Мы все вдруг сосредоточились, как отправляющиеся в дальный путь. Даже Веретьев уныло свистнул, вспомнив, как он когда-то нагрубил Астахову, который занимал в настоящее время довольно видный пост. Каждый старался перебрать в уме всю жизнь свою... даже такую вполне чистую и безупречную жизнь, как жизнь Перерепенки и Прокопа!

Я был скомпрометирован больше всех. Не говоря уже о признаниях Шалопутова на Марсовом поле, о том, что я неоднократно подвозил его на извозчике и ссудил в разное время по мелочи суммою до десяти рублей, в моем прошедшем был факт, относительно которого я и сам ничего возразить не мог. Этот факт — «Маланья», повесть из крестьянского быта, которую я когда-то написал. Конечно, это было заблуждение молодости, но нельзя себе представить, до какой степени живучи эти заблуждения! Вот, кажется, все забыто; прошедшее стерлось и как бы заплыло в темной пучине времени — ан нет, оно не стерлось и не заплыло! Достаточно самого ничтожного факта, случайного столкновения, нечаянной встречи — и опять все воскресло, задвигалось, засуетилось! забытые образы выступают наружу; полинявшие краски оживают; одна подробность вызывает другую — и канувший в вечность момент преступления становится перед вами во всей ослепительной ясности!

— Эге! да ведь это тот самый, который «Маланью» написал?

— «Маланью»! Что такое «Маланья»? Это не то ли, что Вергина на театре представляет: «Маланья, русская сирота»... так, кажется?

— Нет, «русская сирота» — это «Ольга». А «Маланья» — это... это... да это ужас что такое «Маланья»!

— И он написал «Маланью»!

— Он самый. И еще имеет смелость оправдываться... excusez du peu![1]

Одним словом, «Маланья» — это род первородного моего греха...

Эти горькие размышления были прерваны стуком в дверь моего нумера. Как ни были мы приготовлены ко всяким случайностям, но стук этот

---

[1] как вам это нравится!

всех нас заставил вздрогнуть. В комнату развязно вошел очень изящный молодой человек, в сюртуке военного покроя, вручил мне, Прокопу и Веретьеву по пакету и, сказав, что в восемь часов, как только стемнеет, за нами приедет карета, удалился.

Это был не сон, но нечто фантастичнее самого сна. Нас было тут пять человек, не лишенных божьей искры,— и никому даже в голову не пришло спросить, кто этот молодой человек, от кого он прислан, в силу чего призывают нас к ответу, почему, наконец, он не принимает так называемых мер к пресечению способов уклонения от суда и следствия, а самым патриархальным образом объявляет, что заедет за нами вечером в карете, до тех же пор мы обязываемся его ждать! Ни один из этих вполне естественных вопросов не пришел нам на мысль — до такой степени было сильно убеждение, что мы виноваты и что «там разберут»!

Это была уже вторая руководящая мысль, которая привела нас к путанице. Во время статистического конгресса нас преследовало гордое убеждение, что мы не лыком шиты; теперь оно сменилось другим, более смиренномудреным, убеждением: мы виноваты, а там разберут. В обоих случаях основу представляло то чувство неизвестности, которое всякие сюрпризы делает возможными и удобоисполнимыми.

И мы ждали, ни разу даже не вспомнив о происшествии, когда-то случившемся на Рогожском кладбище, где тоже приехали неизвестные мужчины, взяли кассу и уехали... Мы терпеливо просидели у меня в нумере до вечера. В восемь часов ровно, когда зажглись на улице фонари, за нами явилась четвероместная карета, нам завязали глаза и повезли.

Мы ехали что-то очень долго (шутники, очевидно, колесили с намерением). Несмотря на то что мы сидели в карете одни — провожатый наш сел на козлы рядом с извозчиком,— никто из нас и не думал снять повязку с глаз. Только Прокоп, однажды приподняв украдкой краешек, сказал: «Кажется, через Троицкий мост сейчас переезжать станем»,— и опять привел все в порядок. Наконец карета остановилась, нас куда-то ввели и развязали глаза.

Клянусь честью, мне сейчас же пришло на

мысль, что мы в трактире (и действительно мы были в Hôtel du Nord на Офицерской): до такой степени комната, в которой мы очутились, всей обстановкой напоминала трактир средней руки, до того она была переполнена всевозможными трактирными испарениями! Я обонял запах жареного лука, смешанный с запахом помоев; я видел лампу с захватанным пальцами шаром, лампу, которая, казалось, сама говорила: нигде, кроме трактира, я висеть не могу! я ощущал под собой стул с прорванною клеенкой, стул, на котором сменилось столько поколений... но и за всем тем мысль, что я виноват и что «там разберут», пересилила все соображения.

Мы были тут все. Все, участвовавшие в злосчастном статистическом конгрессе! Большинство было свободно, но «иностранные гости», а также и Рудин и Волохов были в кандалах. Но как легко и даже весело они переносили свое положение! Они смеялись, шутили, а одну минуту мне даже показалось, что они перемигиваются с нашими судьями. Но, увы! тогда я приписал эту веселость гражданскому мужеству, и только когда Прокоп, толкнув меня под бок, шепнул: ну, брат, ау! Надеются, подлецы, стало быть, важные показания дали! – я несколько дрогнул и изменился в лице.

Судьи сидели за столом, накрытым белою скатертью. Их было шесть человек, и все шестеро молодые люди; перед каждым лежал лист чистой бумаги. Опять-таки клянусь, что и молодость судей не осталась не замеченною мной, и я, конечно, сумел бы вывести из этого замечания надлежащее заключение, если б Прокоп, по своему обыкновению, вновь не спутал меня.

– Молодые! — шепнул он мне, – где едят, там и судят! Ну, эти, брат, не простят! эти засудят! Это не то, что старики! Те, бывало, оборвут — и отпустят; ну, а эти — шалишь! «Comment allez-vous![1] Садитесь, не хотите ли чаю?» — и сейчас тебя в кутузку!

Нам сделали перекличку; все оказались налицо. Затем кандальных куда-то увели, а один из судей (увы! он разыгрывал презуса!) встал и обратился к нам с речью:

– Господа! вы обвиняетесь в весьма тяжком

[1] Как поживаете!

преступлении, и только вполне чистосердечное раскаянье может облегчить вашу участь. Наши обязанности относительно вас очень неприятны, но нас подкрепляет чувство долга — и мы останемся верны ему. Вы, господа, не усомнившиеся вступить в самый гнусный из всех заговоров, вы, конечно, не можете понять это святое чувство, но мы... мы понимаем его! Тем не менее мы очень хорошо сознаём, что ваше положение не из приятных, и потому постараемся, по возможности, облегчить его. Покуда вы не осуждены законом — вы наши гости, messieurs! Об одном только мы просим вас: будьте чистосердечны. Будьте уверены, что мы уже *все* знаем, и ежели настоящее следствие имеет место, то для того только, чтобы дать вам случай раскаяться и быть чистосердечными. Я сказал, господа. Теперь господин производитель дел отведет вас, за исключением господина Кирсанова, в особенную комнату, и велит подать вам по стакану чаю. Прощайте, господа. Господин Кирсанов! вы останетесь здесь для допроса!

Нас заперли в соседней комнате и подали чаю. Клянусь, что я где-то видел человека, который в эту минуту разносил нам чай (потом оказалось, что он служил недавно половым в «Старом Пекине»!).

Допрашивали до крайности быстро. Не прошло пяти-шести минут, как потребовали Веретьева, потом Лаврецкого, Перерепенку, Прокопа и, наконец, меня. Признаюсь откровенно, я чувствовал себя очень неловко! ах, как неловко!

— Вы писали «Маланью»? — спросил меня лжепрезус.

— Я-с.

— И сознаете себя виновным?

— То есть... изволите видеть... я не желал... в строгом смысле, я даже хотел воспрепятствовать...

— Без околичностей-с. Отвечайте прямо и откровенно: виноваты?

— Виноват-с.

— Ah! c'est grave![1] — произнес сбоку один из лжесудей, рисовавший на белом листе домик, из трубы которого вьется дымок.

Я, в полном смысле этого слова, растерялся.

[1] Это серьезно!

— Теперь извольте говорить откровенно: ездили ли вы второго августа на извозчике с шарманщиком Корподибакко, присвоившим себе фамилию почтенного члена международного статистического конгресса Корренти? не завозили ли вы его в дом номер тридцатый на Канонерской улице?

— Не... не помню...

— Извольте говорить откровенно. Вспомните, что только полное чистосердечие может смягчить вашу участь.

— Кажется... нет... кажется... ездил-с!

— Без «кажется»-с. Извольте говорить откровенно.

— Ездил-с.

— Знали ли вы, что в этом доме живет преступник Рудин? что Корренти ехал именно к нему, чтобы условиться насчет плана всесветной революции?

— Нет-с, не знал.

— Говорите откровенно! не опасайтесь!

— Ей-богу, ваше превосходительство, не знал.

— Пригласите сюда господина Корподибакко!

Загремели кандалы. Корподибакко, тяжело дыша, встал рядом со мною.

— Уличайте его!

— И ви может мине́ сказаль, что ви не зналь! — обратился ко мне Корподибакко, — oh, maledetto russo![1] Я, бедна, нешастна итальяниц — и я так не скажу, ишто ви сичас говориль!

— Что можете вы сказать против этой улики?

— Решительно ничего. Я даже в первый раз слышу о всесветной революции!

— Хорошо-с. Ваше упорство будет принято во внимание. Корподибакко, вы можете уйти. Прикажите дать стакан чаю господину Корподибакко!

Корподибакко вдруг грохнулся на колена, воздел руки и воскликнул: pietá, signori![2]

— Вот, сударь, пример раскаянья теплого, невынужденного! стыдитесь! — обратился ко мне один из лжесудей, указывая на Корподибакко.

— Ну-с, теперь извольте говорить откровенно: какого рода разговор имели вы на Марсовом поле с отставным корнетом Шалопутовым?

[1] о, проклятый русский!
[2] сжальтесь, синьоры!

Я окончательно смутился. «Вот оно! мелькнуло у меня в голове, оно самое!»

Мне кажется, пробормотал я, он говорил, что не любит войны...

Еще-с!

Еще-с. . нет .. кажется .. гм, да . именно, он, кажется, говорил, что у него была неприятность с Тьером..

Еще-с!

Что господин Фарр переодетый агент-с...

К делу-с Извольте приступить к делу-с.

Что он служил в Коммуне...

Ah! c'est grave! – произнес опять лжесудья, рисовавший домик.

Ну-с, а вы что ему говорили?

Я-с ничего-с... он был так пьян...

Ну, в таком случае я сам припомню вам, что вы говорили. Вы говорили, что вместо того, чтобы разрушить дом Тьера, следовало бы разрушить дом Вяземского на Сенной площади-с! Вы говорили, что вместо того, чтобы изгонять «этих дам» из Парижа, следовало бы очистить от них бель-этаж Михайловского театра-с! Еще что вы говорили?

Не . не... не помню...

Вы говорили, что постараетесь скрыть его от преследований! Вы обещали ему покровительство и поддержку! Вы, наконец, объявили, что полагаете положить в России начало революции введением обязательного оспопрививания! Что вы можете на это сказать?

Решительно... нет... то есть... нет, решительно не припомню!

– Позвать сюда Шалопутова!

Опять загремели кандалы; но Шалопутов не вошел, а вбежал и с такою яростью напустился на меня, что я даже изумился.

Вы не говорили? вы?! кричал он, — вы лжец, позвольте вам сказать! Когда я вам сказал, что моя жена петролейщица, что́ вы ответили мне? Вы ответили: вот к нам бы этаких штучек пяток — побольше! Когда я изложил перед вами мои планы что вы сказали мне? Вы сказали· все эти планы хороши за границей, а для нас, русских, совершенно достаточно, если мы добьемся обязатель-

ного оспопрививания! Вот что вы ответили мне!

— Но мне кажется, что обязательное оспопрививание...— заикнулся я.

— Не о том речь, что́ вам «кажется», государь мой! — строго прервал меня лжепрезус,— а о том, говорили ли вы или не говорили?

Говорил я или не говорил? Говорил ли я, что следует очистить бельэтаж Михайловского театра от *этих дам?* Говорил ли я о пользе оспопрививания? Кто ж это знает? Может быть, и действительно говорил! Все это как-то странно перемешалось в моей голове, так что я решительно перестал различать ту грань, на которой кончается *простой* разговор и начинается разговор *опасный.* Поэтому я решился на все махнуть рукой и сознаться.

— Говорил! — произнес я совершенно твердо.

— A la bonne heure![1] Можете идти, господин Шалопутов! Дайте стакан чаю господину Шалопутову!

Шалопутов гремя удалился.

— Ну-с, допрос кончен,— обратился ко мне лжепрезус,— и если бы вы не запятнали себя запирательством по показанию Корподибакко...

— Помилуйте, ваше превосходительство! но ведь он, наконец, свинья! — воскликнул я дрожащим от волнения голосом, в котором звучала такая нота искренности, что сами лжесудьи — и те были тронуты.

— Гм, свинья... это конечно... это даже весьма может быть! — сказал лжепрезус,— но скажите, вы разве не употребляете свинины?

— Употребляю-с.

— Ну, и мы употребляем. К сожалению, свиньи покамест еще необходимы. C'est triste, mais c'est vrai![2] Не знаете ли вы за собой еще каких-нибудь преступлений?

Услышав этот вопрос, я вдруг словно в раж впал.

— Один из моих товарищей,— сказал я,— предлагал Москву упразднить, а вместо нее сделать столицею Мценск. И я разделял это заблуждение!

---

[1] Наконец-то!

[2] Жаль, но это так!

— Дальше-с!

— Другой мой товарищ предлагал отделить от России Семипалатинскую область. И я одобрял это предложение.

— Дальше-с!

— Еще-с... более, ваше превосходительство, ничего за собой не имею!

— Довольно для вас.

Лжепрезус встал, направился к двери направо и спросил: «Готово?» Изнутри послышался ответ: «Готово».

— Потрудитесь войти в эту комнату.

. . . .

Я и до сих пор не могу опомниться от стыда!

. . . .

Из *этой* комнаты я перешел в следующую, где нашел Прокопа, Кирсанова и прочих, уже прошедших сквозь искус. Все были унылы и как бы стыдились. Лаврецкий попробовал было начать разговор о том, как до́роги в Петербурге ces petits coli fichets[1], которые в Париже приобретаются почти задаром, но из этого ничего не вышло.

Дальнейшие допросы пошли еще живее. В нашу комнату поминутно прибывали тетюшские, новооскольские и другие депутаты, которых, очевидно, спрашивали только для проформы. По-видимому, они даже через комнату «искуса» проходили безостановочно, потому что являлись к нам совершенно бодрые и веселые. Мало-помалу общество наше до того оживилось, что Прокоп при всех обратился к Кирсанову:

— А ведь ты, поросенок, не утерпел, чтоб про Амченск-то не сказать!

Кирсанов слегка покраснел, но ответить не решился.

Наконец, в половине одиннадцатого, двери отворились, и нас пригласили в залу, где уже был накрыт стол на сорок кувертов, по числу судей и обвиненных.

— Ну-с, господа! — сказал лжепрезус, — мы исполнили свой долг, вы — свой. Но мы не забываем, что вы такие же люди, как и мы. Скажу более: вы наши гости, и мы обязаны позаботить-

---

[1] безделушки

ся, чтоб вам было не совсем скучно. Теперь, за куском сочного ростбифа и за стаканом доброго вина, мы можем вполне беззаботно предаться беседе о тех самых проектах, за которые вы находитесь под судом. Человек! ужинать! и вдоволь шампанского!

И действительно, лжесудьи, враз сбросивши декорум, оказались добрейшими малыми. Они так блягировали, что даже Шалопутова — и того заткнули за пояс. В довершение всего дозволили снять с кандальных кандалы, что, разумеется, произвело фурор и сразу приобрело им с нашей стороны популярность. Шампанское лилось рекою; Шалопутов рассказывал, как он ездил в Ирландию и готовился, вместе с фениями, сделать вылазку в Англию; Корподибакко уверял, что он был другом Мадзини и разошелся с ним только потому, что Мадзини до конца жизни оставался упорным католиком. Тосты следовали один за другим.

— За Гарибальди! — провозгласил лжесудья, рисовавший домики.

— За Гамбетту! — ответил ему лжепрезус.

— За нашего губернатора! – скромно поднял бокал Кирсанов.

Словом сказать, все одушевились и совершенно позабыли, что час тому назад... Но едва било двенадцать (впоследствии оказалось, что Hôtel du Nord в этот час запирается), как на кандальников вновь надели кандалы и увезли. С нас же, прочих подсудимых, взыскали издержки судопроизводства (по пятнадцати рублей с человека) и, завязав нам глаза, развезли по домам.

— Господа! завтра опять допрос в те же часы! — весело сказал нам лжепрезус, — мы не арестуем вас и вполне полагаемся на ваше честное слово, что вы не выйдете из ваших квартир!

— Позвольте мне вот с ним! — попросил Прокоп, указывая на меня.

— Можете-с.

Затем было дано еще несколько разрешений совместного жительства, чтó возбудило новый фурор и новую популярность.

На другой день опять допрос и ужин — с тою же обстановкой. На третий, на четвертый день и так далее — то же. Наконец, на седьмой день, мы так вкле-

пались друг в друга и того сами на себя наболтали, что хоть всех на каторгу, так впору. В тот же день нам было объявлено, что хотя мы по-прежнему остаемся заарестованными на честном слове в своих квартирах, но совместное жительство уже не допускается.

Когда я брался за шляпу, производитель дел таинственно отвел меня в сторону и до крайности благожелательно сказал:

— Знаете, а ведь ваше дело очень плохо!

— Неужели?

— Так плохо, что самое малое, что вас ожидает,— это семь лет каторги. Разве уж очень искусный адвокат выхлопочет снисхожденья минут на пятнадцать!

— Это ужасно!

— Что делать! Уж я старался — ничего не поделаешь! То есть, коли хотите, оно можно...

— Ах, сделайте милость!

— Можно-то можно, только вот видите ли... подмазочка тут нужна!

— Но сколько? скажите!

Производитель дел с минуту подумал, пошевелил пальцами, как бы рассчитывая, сколько кому нужно, и наконец произнес:

— Вы стами тысяч можете располагать?

Я даже затряссся весь.

— Сто тысяч! да у меня и всего-то пять билетов второго внутреннего с выигрышами займа... на всю жизнь, понимаете? Сто тысяч! да ежели я в сентябре не выиграю, по малой мере, сорок тысяч — я пропал!

— Ну, в таком случае дайте хоть два билета!

— Два — с удовольствием! С величайшим удовольствием! Два билета — и я буду совершенно чист?!

— Чисты как алмаз — ручаюсь. Так завтра утром я буду у вас.

— О! с удовольствием! с величайшим удовольствием!

Мы крепко пожали друг другу руки и расстались.

Это была первая ночь, которую я спал спокойно. Я не видел никаких снов и ничего не чувствовал, кроме благодарности к этому скромному молодому

человеку, который, вместо ста тысяч, удовольство вался двумя билетами и даже не отнял у меня всех пяти, хотя я сам сознался в обладании ими. На дру гой день утром все было кончено. Я отдал билеты и получил обещание, что еще два, три допроса и меня не будут больше тревожить.

Но вот наступил вечер — кареты нет. Пришел и другой вечер — опять нет кареты. Я начинаю беспокоиться и даже скучать. На третий вечер — опять нет кареты. Это делается уже невыносимым.

Бродя в тоске по комнате, я припоминаю, что меня, между прочим, обвиняли в пропаганде идеи оспопрививания,— и вдруг обуреваюсь желанием высказать гласно мои убеждения по этому предмету.

«Напишу статью,— думал я,— Менандр тиснет, а при нынешней свободе книгопечатания, чего доброго, она даже и пройдет. Тогда сейчас оттиск в карман — и в суд. Вы меня обвиняете в пропаганде оспопрививания — вот мои убеждения по этому предмету! они напечатаны! я не скрываю их!»

Задумано — сделано. Посыльный летит к Менандру с письмом: «Любезный друг! ты знаешь, как горячо я всегда принимал к сердцу интересы оспопрививания, а потому не желаешь ли, чтоб я написал для тебя об этом предмете статью?» Через час ответ: «Ты знаешь, мой друг, что наша газета затем, собственно, и издается, чтобы распространять в обществе здравые понятия об оспопрививании! Пиши! сделай милость, пиши! Статья твоя будет украшением столбцов» — и т. д.

Стало быть, за перо! Но тут, на первых же порах — затруднение. Некоторые полагают, что оспопрививание было известно задолго до рождества Христова, другие утверждают, что *не* задолго, третьи, наконец, полагают, что открытие это сделано лишь после рождества Христова. Кто прав,— до сих пор неизвестно. Опять мчится посыльный к Менадру: следует ли упоминать об этом в статье? *Через* час ответ: следует говорить обо всем. И о том, что было до рождества Христова, и о том, чтó было по рождестве Христове, и о том, чтó неизвестно. Потому что статья будет выглядеть солиднее. «Да загляни, сделай милость, в Китай: мне сказывал Нескладин, что тамошняя цивилизация — это прелесть что такое!» Ну, что ж! в Китай так в Китай!

Сейчас посыльного к Мелье — и через полчаса на столе лежит уже книжица, в которой самым обстоятельным образом доказывается, что в Китае и оспопрививание и порох были известны гораздо ранее, нежели в Европе, но только они прививали оспу совсем не туда, куда следует. Припоминаю по этому случаю пословицу: заставь дурака богу молиться — он лоб расшибет, надписываю ее в виде эпиграфа к статье, сажусь и с божьею помощью пишу.

Но для меня написать статью об оспопрививании — все равно что плюнуть в порожнее место. К трем часам моя работа была уже готова и отослана к Менандру с запросом такого содержания: «Не написать ли для тебя статью: кто была Тибуллова Делия? Кажется, теперь самое время для подобных статей!» Через час ответ: «Сделай милость! Твое сотрудничество драгоценно, потому что ты один знаешь, когда, что и как сказать. Все пенкосниматели в эту минуту в сборе в моей квартире и все в восторге от твоей статьи. Завтра, рано утром, «Старейшая Русская Пенкоснимательница» будет у тебя на столе с *привитою оспою»*.

Опять в руки перо — и к вечеру статья готова. Рано утром на другой день она была уже у Менандра с новым запросом: «Не написать ли еще статью: «Может ли быть совмещен в одном лице промысел огородничества с промыслом разведения козлов?» Кажется, теперь самое время!» К полудню — ответ: «Сделай милость! присылай скорее!»

Таким образом в течение семи дней, кроме поименованных выше статей, я сочинил еще четыре, а именно: «Геморрой — русская ли болезнь?», «Нравы и обычаи летучих мышей», «Единокровные и единоутробные пред лицом римского законодательства» и «Несколько слов о значении и происхождении выражения: гомерический смех». На восьмой день я занялся собиранием материалов для двух других обширных статей, а именно: «Церемониал при погребении великого князя Трувора» и «Как следует понимать легенду о сожжении великою княгинею Ольгою древлянского города Коростеня?» Статьи эти я полагал поместить в «Вестнике Пенкоснимательства», снабдив их некоторыми намеками на текущую современность.

Во всех семи напечатанных статьях моих оказа-

лось четыре тысячи строк, за которые я получил, считая по пятиалтынному за строку, шестьсот рублей серебрецом-с! Да ежели еще «Вестник Пенкоснимательства» рублей по двести за лист отвалит (в обеих статьях будет не менее десяти листов) — ан сколько денег-то у меня будет?

Я упивался моей новой деятельностью, и до того всецело предался ей, что даже забыл и о своем заключении, и о том, что вот уже десятый день, а никто меня никуда не требует и никакой резолюции по моему делу не объявляет. Есть нечто опьяняющее в положении публициста, исследующего вопрос о происхождении Делии. И хочется «пролить новый свет», и жутко. Хочется сказать: нет, г. Сури (автор статьи «La Délia de Tibulle»[1], помещенной в «Revue des deux Mondes» 1872 года), вы ошибаетесь! — и в то же время боишься: а ну, ежели я сам соврал? А соврать не мудрено, ибо что́ такое, в сущности, русский публицист? — это не что иное, как простодушный обыватель, которому попалась под руку «книжка» (всего лучше, если маленькая) и у которого есть твердое намерение получить по пятиалтынному за строчку. Нет ли на свете других таких же книжек — он этого не знает, да и знать ему, собственно говоря, не нужно, потому что, попадись под руку «другие» книжки, они только собьют его с толку, загромоздят память материалом, с которым он никогда не справится,— и статьи не выйдет никакой. То ли дело — «одна книжка»! Тут остается только прочесть, «смекнуть» — и ничего больше. И вот он смекает, смекает — и чем больше смекает, тем шире становятся его горизонты. Наконец статья, с божьею помощью, готова, и в ней оказывается двенадцать столбцов, по пятидесяти строчек в каждом. Положите-ка по пятиалтынному-то за строчку — сколько тут денег выйдет!

Одно опасно: наврешь. Но и тут есть фортель. Не знаешь — ну, обойди, помолчи, проглоти, скажи скороговоркой. «Некоторые полагают», «другие утверждают», «существует мнение, едва ли, впрочем, правильное» — или «по-видимому, довольно правильное» — да мало ли еще какие обороты речи можно изыскать! Кому охота справляться, точно ли «существует мнение», что оспопрививание было из-

[1] «Тибуллова Делия».

вестно задолго до рождества Христова? Ну, было известно — и Христос с ним!

Или еще фортель. Если стал в тупик, если чувствуешь, что язык у тебя начинает коснеть, пиши смело, об этом поговорим в другой раз — и затем молчок! Ведь читатель не злопамятен; не скажет же он: а ну-ко, поговори! поговори-ка в другой-то раз — я тебя послушаю! Та́к это дело измором и кончится...

Итак, работа у меня кипела. Ложась на ночь, я представлял себе двух столоначальников, встречающихся на Невском.

— А читали ли вы, батюшка, статью: «Может ли быть совмещен в одном лице промысел огородничества с промыслом разведения козлов?»? — спрашивает один столоначальник.

— Еще бы! — восклицает другой.

— Вот это статья! какой свет-то проливает! Директор у нас от нее без ума. «Дочери! говорит, дочери прикажу прочитать!»

Сердце мое начинает играть, живот колышется, и все мое существо наполняется сладким ликованием...

Но на одиннадцатый день чувство действительности все-таки заявило о правах своих. Нельзя безнаказанно, в течение семи дней сряду, не выходя из нумера, предаваться изнурительным исследованиям о церемонияле при погребении великого князя Трувора. Поэтому вопрос: отчего столько дней за мной нет кареты? — вдруг встал передо мной со всею яспостью.

Я помнил, что я арестован, и нарушить данного слова отнюдь не хотел. Но ведь могу же я в коридоре погулять? Могу или не могу?.. Борьба, которую возбудил этот вопрос, была тяжела и продолжительна, но наконец инстинкт свободы восторжествовал. Да, я могу выйти в коридор, потому что мне этого никто даже не воспрещал. Но едва я высунул нос за дверь, как увидел Прокопа, несущегося по коридору на всех парусах.

— Вот так штука! — кричал он мне издали,— вот это — штука!

— Что такое случилось?

— А то и случилось, что никакой комиссии нет и не бывало!

— Ты врешь, душа моя!

— Нет и не бывало. Ни конгресса, ни комиссии — ничего!

— Да говори толком, что случилось?

— Случилось вот что. Сижу я сегодня у себя в нумере и думаю: странное дело, однако ж! одиннадцатый день кареты нет! Скука! Читать — привычки нет; ходить да думать — боюсь, с ума сойдешь! Вот и пришло мне в голову: не сходить ли келейным образом к Доминику,— по крайности, около людей потрусь! Сказано — сделано. Надвинул, это, фуражку на глаза, прихожу, иду в дальнюю комнату — и что ж бы ты думал, вижу! Сидят это за столом: судья, который нас судил, Шалопутов, Капканчиков и Волохов — и вчетвером в домино играют. Ну, я сначала не понял, обрадовался. «Что, говорю, Карл Иваныч, выпустили?» Это Шалопутову-то. Молчит. Я его по плечу: выпустили, мол, Карл Иваныч? Он этак взглянул на меня, да как прыснет: «Вы, говорит, за кого-нибудь другого меня принимаете!» — «Чего, говорю, за другого! вот и они налицо!» Дальше — больше. «Я, говорю, из-за вас восьмнадцатый день из-под ареста не выхожу».— «Да это, говорят, сумасшедший! Гарсон! пожалуйста, пошлите за городовым!» Собралась около нас публика; кто в бильярд играл, кто в шахматы — всё бросили. Гогочут. Пришел хозяин. «Позвольте попросить вас оставить мое заведение». Это мне-то! «Нет, говорю, шалишь! коли ты меня не уважаешь, так уважишь вот это!» И показываю ему фуражку с околышем! А кругом хохот, гвалт — хоть святых вон понеси! Сумасшедший! Сумасшедший! — только и слов. «Да объясни ты мне, ради Христа,— говорю я судье,— должен ли, по крайней мере, я под арестом-то сидеть?» — «Сиди, говорит, сделай милость!» Гогочут. И ведь как бы ты полагал? вывели-таки меня, раба божия, из заведения!

Обман был ясен. Тут только припомнились мне все аномалии, которыми,— к сожалению, лишь на мгновение,— был поражен мой ум во время процесса. И захватанная лампа, и продырявленные стулья, и запах жареного лука и помой...

— Слушай! ведь нас с тобой опять надули! и, главное, надула все та же компания! — воскликнул я в неописанном испуге,— ведь этак нам, пожа-

луй, в Сибирь подорожную дадут, и мы поедем!

— И поедем — ничего не поделаешь!

— Как хочешь, а надо бежать отсюда!

— И я говорю: бежать!

— Стало быть, едем!

Но богу угодно было еще на неопределенное время продлить наше пребывание в Петербурге...

X

Нервы мои, возбужденные тревогой последних дней, наконец не выдержали. Вынести сряду два таких испытания, как статистический конгресс и политическое судоговорение,— как хотите, а это сломит хоть кого! Чего я не передумал в это время! К чему не приготовился! Перебирая в уме кары, которым я подлежу за то, что подвозил Шалопутова на извозчике домой, я с ужасом помышлял: ужели жестокость скорого суда дойдет до того, что меня засадят в уединенную комнату и под наблюдением квартального надзирателя заставят читать передовые статьи «Старейшей Русской Пенкоснимательницы»? Или, быть может, пойдут еще далее, то есть заставят выучить наизусть «Бормотание вслух» «Честолюбивой Просвирни»? Каким образом я выполню это! Господи! укрепи меня! просвети мой ум глупопониманием! Сердце бесчувственно и закоснело созижди во мне! Очи мои порази невидением, уши — неслышанием, уста научи слагати несмысленная! Всевидяще! спаси мя! спаси мя! спаси мя!

Даже тогда, когда я вполне убедился, что все происшедшее со мной не больше как несносный и глупый фарс, когда я с ожесточением затискивал мои вещи в чемоданы, с тем чтобы завтра же бежать из Петербурга,— даже и тогда мне казалось, что сзади кто-то стоит с нумером «Честолюбивой Просвирни» в руках и пронически предлагает: а вот не угодно ли что-нибудь понять из моего «Бормотания»? И я со страхом опять принимался за работу укладывания, стараясь не поднимать головы и не оглядываться назад. Но вот наконец все уложено; я вздыхаю свободнее, зажмуриваясь бегу к постели и ложусь спать, с сладкою надеждой, что завтра, в эту пору, Петербург, с его шумом и наваждениями, останется далеко позади меня...

Надежда тщетная. Хотя я заснул довольно скоро, но этот сон был томителен и тревожен. Сначала передо мной проходит поодиночке целая вереница вялых, бесцельно глядящих и изнемогающих под игом апатии лиц; постепенно эта вереница скучивается и образует довольно плотную, темную массу, которая полубезумно мечется из стороны в сторону, стараясь подражать движениям настоящих, живых людей; наконец я глубже и глубже погружаюсь в область сновидений, и воображение мое, как бы утомившись призрачностью пережитых мною ощущений, останавливается на единственном связном эпизоде, которым ознаменовалось мое пребывание в Петербурге. Эпизод этот — тот самый сон, который я видел месяцев шесть тому назад (см. выше: глава IV) и в котором фантазия представила меня сначала миллионером, потом умершим и, наконец, ограбленным.

Молодой человек, взявший на себя защиту интересов сестриц, оказался прав: роббер не весь был сыгран — сыграна была только первая партия. Месяца через три приговор присяжных был кассирован, и бессмертная душа моя с трепетом ожидала новых волнений и тревог. Эти тревоги были тем естественнее, что дело мое, совсем неожиданным для меня образом, вступило в новый фазис, в котором сестрицы, законные наследницы моих миллионов, были оттеснены далеко на задний план, а на место их, в качестве гражданских истцов, явились лица, так сказать, абстрактные и, во всяком случае, для меня посторонние. Характер дела окончательно изменился: вместо гражданского процесса на сцену выступило простое, не гарантированное правительством предприятие, в котором на первом плане стояло не то или другое решение дела по существу, а биржевая игра на повышение или понижение. Основной капитал — миллион в тумане; акций выпущено десять тысяч по семидесяти рублей за сто; в ожидании кассационного решения биржа в волнении: «покупатели» $71^3/_4$, «продавцы» $72^1/_8$, «сделано» $71^7/_8$. Затем: разносится слух, что кассационная жалоба уважена — «покупатели» $78^7/_8$, «продавцы» $79^7/_8$, «сделано» $79^1/_2$; разносится новый слух, что гражданские истцы нашли каких-то неслыханных и притом совершенно достоверных лжесвидетей — «поку-

патели» $82^3/_4$, *без продавцов;* еще разносится слух: лжесвидетели, отысканные гражданскими истцами, оказываются недостоверными — «продавцы» $62^3/_8$, «покупатели» $58^3/_4$, «сделано» $59^1/_2$. И так далее. Можно себе представить, с каким лихорадочным любопытством должна была следить за этими изменениями бессмертная душа моя!

Я не помню подлинных выражений кассации, но приблизительно смысл ее был следующий. Прежде всего постановка вопросов, сделанных на первом суде, признана совершенно правильною. «Хотя невозможно не согласиться,— говорилось в решении,— что в столь запутанном, имеющем чисто бытовой характер деле, каково настоящее, постановка вопроса о том, *согласно ли с обстоятельствами дела похищены подсудимым деньги,* представляется не только уместною, но даже почти неизбежною, тем не менее в судебной практике подобное откровенное обращение к присяжным заседателям представляет нововведение довольно смелое и, во всяком случае, не имеющее прецедентов. То же самое следует сказать и о другом вопросе, предложенном присяжным заседателям: *не поступили ли бы точно таким же образом родственницы покойного, если б были в таких же обстоятельствах, в каких находился подсудимый?* Он правилен, но чересчур уже нов. Оба вопроса грешат не столько со стороны уместности, сколько со стороны необычности и несоответственности тем правилам, которые предписываются издавна заведенными порядками канцелярского производства. Чтобы подобная постановка возымела надлежащую силу, необходимо, чтобы последовательно несколько составов присяжных заседателей не усомнилось в ее правильности и ответило на предложенные вопросы с тою же простосердечною ясностью, с какою ответил состав присяжных, решавших дело на первом суде. Только этим путем может быть достигнуто убеждение, что в самом обществе существует *вкус* к подобным вопросам и что, следовательно, встречается настоятельная надобность и в судебной практике допустить некоторые полезные, соответствующие этому вкусу, изменения. А потому и дабы избежать затруднений, коими изобилует рассматриваемое дело, представляется один практический выход: су-

дить обвиняемого Прокопа во всех городах Российской империи по очереди, начав таковую с города Срединного, в коем, во всей неприкосновенности, сохранилась истина древнего изречения: «не надуешь не наживешь». Если и засим невинность подсудимого восторжествует (что, впрочем, представляется почти несомненным), то признать вопросы поставленными правильно, самую же невинность счесть патентованною и навсегда огражденною от знака отличия бубнового туза»

Итак, душе моей предстояло продолжительное путешествие, последствия которого, впрочем, могли иметь даже некоторую назидательность. Увидеть Белебей, Тетюши, Спасск Тамбовский, Спасск Рязанский, Спасск Казанский — разве это не высокое наслаждение? Быть свидетелем, как добродетель торжествует в Острогожске, Конотопе, Наровчате и т д. разве это не высшая награда для чувствительного сердца? Но и помимо личных соображений разве не существуют еще общие, которые делают последствия предстоящего судебного странствия еще более поучительными и бесценными? Во-первых, какая грандиозная задача для наших провинциальных, проселочных судов! Начните хоть с белозерского суда которому до сих пор были подсудны только снетки! Какие — спрашивается преступления могут быть совершены снетками? Ну, соберутся снетки, подымут дым коромыслом, устроят против щуки стачку и даже бунт; потом та же щука стрелой налетит на них из-за тростников и проглотит всех бунтовщиков без остатка на чем тут практиковаться суду! И вдруг, вместо снетков, на скамье обвиненных — *миллион!!* Миллион! ваше сиятельство! Невинность непреоборимая! У нас! в Белозерске! Нет, как хотите, а при виде этого зрелища самые ленивые мозги — и те невольно зашевелятся, а раз зашевелившись, уже не перестанут работать до тех пор, пока добродетель окончательно не восторжествует! Во-вторых, какой единственный в своем роде случай для общества, чтобы проверить свои нравственные идеалы, и устами присяжных заседателей разгадать загадку современности! И наконец, в-третьих, какая будущность для самого подсудимого миллиона! Во всяком городе нечто оплодотворить, кого-нибудь осчастли-

вить, и в заключение прибыть в Феодосию (последний по алфавиту город) в виде копейки серебром!

Но признаюсь, меня всего больше интересовало, как выскажется в этом деле город Срединный. Хороши Тетюши, прекрасен Белебей, но Срединный — ведь это почти столица! Было время, когда Срединный чуть-чуть не сделался русскими Афинами; хотя же впоследствии афинство в нем мало-помалу обратилось в свинство, но и теперь это, во всяком случае, первый в России город по числу трактиров и кабаков. В Срединном я родился и воспитывался; здесь получил я первые понятия о «ташкентстве»; здесь сделал первые, робкие шаги в откупной карьере и от откупов непосредственно перешел к либерализму. Под неумолкаемый, отовсюду несущийся звон колоколов как-то легко пишутся проекты, в которых реформаторские затеи счастливым образом сочетаются с запахом сивухи и с тем благосклонным отношением к жульничеству, которое доказывает, что жульничество — сила и что с этой силой необходимо считаться. Я помню счастливое детство и первые годы учения с массой гувернеров и гувернанток, обучавших лганью утонченному, и с стадом домашней челяди, обучавших лганью грубому и закоснелому. Я помню наш дом, в одном из бесчисленных переулков, с палисадником впереди и с обширным двором, застроенным амбарами, кладовыми и погребами, ломившимися под тяжестью «даровых» деревенских запасов. Я помню мужиков в рваных понитках, которые привозили эти запасы за двести верст из Проплёванной. Я помню, как папенька враждовал с дяденькой из-за того, что последний умел «сыскать» в слепенькой бабеньке, и как мы, дети, ложась на ночь в свои кроватки, долго рассуждали: скоро ли умрет слепенькая бабенька и успеет ли она оставить духовную в пользу дяденьки? Я помню мои путешествия с папенькой по присутственным местам, где у нас постоянно производились какие-то дела и где из-за решеток выглядывали какие-то воспаленные, изуродованные оспой и фистулой физиономии, которые, казалось, говорили: ко мне! сюда пожалуйте, здесь можно отца родного купить и обратно его с барышом продать! Я помню путешествия с маменькой по гости-

ному двору, где купцы, с замечательной искренностью, говорили: в нашем деле, сударыня, не обвесить или не обмерить — все одно что по миру пойти!

Ничего не забыла злопамятная душа моя...

В Срединном исстари существует инстинктивное вожделение ко всему, что носит на себе печать капитала или силы. Самый озлобленный на свою «незадачу» мещанин, такой мещанин, который с утра до вечера колотится, чтоб в результате получить грош, — и тот мгновенно расцветает, как только чувствует, что к нему или к его платью прикоснулся «капитал». Физиономия его светлеет, сердце учащенно бьется, тело сладострастно вздрагивает. Спросите у этого жалкого, забитого нуждой человека, чтó так внезапно преобразило его, — и он непременно ответит вам: помилуйте-с! да ведь они теперича первые по нашему городу люди! И ежели для вас, собственно, это объяснение ничего не объясняет, то для него, забитого мещанина, оно исчерпывает весь смысл его бытия и заключает в себе разгадку всех его поступков. Быть может, думаете вы, в нем колышется мысль: вот пойду поклонюсь этому человеку в ноги, и он даст мне рубль серебра! Но, увы! даже и этой мысли у него нет! Он расцветает вполне бескорыстно, расцветает потому только, что мошна есть единственный идеал, до постижения которого он успел возвыситься в продолжение многотрудной своей жизни, посвященной продаже и купле. Продаже и купле всего, начиная с гнилых яблоков и подержанных штанов и кончая подержанною и гнилою совестью...

В таком городе мой миллион должен произвести громадное, потрясающее впечатление. Нынче люди так слабы, что даже при виде сторублевой кредитки теряют нить своих поступков, — что же будет, когда они увидят... целый миллион в тумане! Поэтому будущее процесса сразу выяснилось предо мной во всех его подробностях, и я очень хорошо понял ту наглую радость, которую ощутил Прокоп, когда ему объявили, что Срединному суждено положить начало торжеству его добродетели!

Прежде всего, однако ж, мне хотелось выяснить себе взаимное положение враждующих сторон, и потому душа моя немедленно воспарила в Проплё-

ванную. Увы! мое старое дворянское гнездо как будто еще более почернело и вросло в землю. Сад опустел и обнажился; на дорожках лежала толстая стлань желтых, мокрых от дождя листьев; плетневый частокол местами совсем повалился, местами еще держался кой-как на весу, как будто силился изобразить собой современное европейское равновесие; за садом виднелась бесконечная, безнадежная равнина; берега пруда были размыты и почернели; обок с усадьбой темнели два ряда жалких крестьянских изб, уныло глядевших друг на друга через дорогу, по которой ни проехать, ни пройти невозможно. На дворе изморозь, ветер и грязь; все лица красные и опухли от сиверки, все одежды мокры от дождя. Над этой печальной картиной висело не менее печальное хмурое небо, как бы суля безнадежность, неприютность и тоску на бесконечное время...

Сестрицы обе налицо и в ожидании исхода кассационной жалобы делят между собой мою движимость. На стульях развешаны мои дворянские мундиры, старые сюртуки, фраки, панталоны, совершенно так, как во время просушки летом на солнце от моли; на столе стоят банки с вареньем и соленьем, бутылки с наливкой и бутыль листовки, которую я охотнее других водок пивал при жизни. Ключница Авдотья (старая! думала ли ты когданибудь, что будешь свидетельницей этого разорения!), гремя ключами, беспрерывно приносит с погреба новые банки и, наследив в зале мокрыми сапогами, опять отправляется на погреб за ношей. Мой дом всегда смотрел полною чашей, но сестрицы, по-видимому, изумлены той массой варенья, которую нашли у меня. Фофочка и Лёлечка присутствуют при инвентаре моего имущества, в качестве депутатов: первая — со стороны сестрицы Дарьи Ивановны, вторая — со стороны сестрицы Марьи Ивановны.

Сестрицы находятся в самом дружелюбном настроении духа. Мысль, что в будущем им придется поделить миллион, навеяла мир в сердца их и сделала их сговорчивее относительно банок варенья и старых панталон, дележом которых они в настоящую минуту заняты.

— Уж вы, сестрица, хоть одну банку с клуб-

никой мне уступите! — говорит Марья Ивановна,— глядите-ка! мне почти все банки с малиной достались.

— Извольте, сестрица!.. Фофочка! отставь от нас банку с клубникой, а банку с малиной получи.

— Вот и мундирчик мне тоже достался! Шитьецо-то только с виду золотенькое, а посмотреть на него — все-то оно выгорело!

— Зато на вашем суконце хорошее, сестрица! Мой-то ведь вывороченный! А я вот что, сестрица, думаю: куда это поленишевка у братца девалась! Ведь как он ее, покойник, любил! Неужто Дунька-воровка все вылакала?

Но не успела сестрица Дарья Ивановна наклеветать на Авдотью, как последняя является с целым грузом поленишевки. Бутылки торчат у нее и в руках, и под мышками, и за пазухой, и в черном переднике, концы которого она закусила зубами.

— Огурцы-то после, что ли, делить будете? — спрашивает Авдотья.

— Завтра, Дуняша-голубушка! теперь у нас других делов много!

Сестрицы, чувствуя потребность отдыха, удаляются в гостиную и усаживаются на софу.

— Ну-с, сестрица, стало быть, вся земля от Матрешкинова оврага до Кривой Ели — моя? — начинает Дарья Ивановна.

— А от Кривой Ели до Софронова луга — моя,— отвечает Марья Ивановна.

— Главное, сестрица, чтоб разговору у нас не было! чтоб братца, голубчика, наши споры не потревожили! Пожил братец, царство небесное, не прожил, а нажил... надо и успокоить его, сестрица!

— Надо! ах, как надо! как ему молитва-то наша нужна! Ведь он, сестрица, царство ему небесное, как деньги-то наживал?! И с живого, и с мертвого... с самого, можно сказать, убогого... все-то он драл! все-то драл! Бедный-то придет, бывало, а он, вместо того чтоб милостыньку сотворить, его же нагишом и отпустит!

— Что говорить! не без греха! Ну, да наше дело сторона! Наше дело молиться, сестрица! Молиться да еще благодарить!

— И как еще, сестрица, благодарить! Вот я каждый день Лёлечке говорю: благодари, говорю, дура!

Если б не скончался братец, жила бы я теперь с вами, оболтусихами, в Ветлуге! А у нас, сестрица, на Ветлуге и мужчин-то всего один, да и тот землемер!

Сестрицы на короткое время умолкают, чтоб перевести дух.

— И как это, сестрица-сударыня, хорошо нынче заведено! — начинает опять Дарья Ивановна,— сидим мы теперича здесь в тепле да в холе: ни-то на вас ветром венет, ни-то дождем спрыснет, а он-то, аблокат-то наш, то-то, чай, высуня язык по Петербургу рыскает!

— Что ж, сестрица! взял денежки — и держись! Это уж звание их такое, чтоб за других, задеря хвосты, бегать! Иной человек ни за что по передним нюхать не пойдет, а он, по своему званию, и это занятие перенести должен!

— Слышала я, сестрица, что нынче над ними начальники в судах поставлены. Прежде не было, а теперь есть. Наш-то так-таки прямо и объявил: трудно, говорит, нынче, сударыня! Уж на что, говорит, я бесстрашен: и бурю, и слякоть, и холод, и жар — все стерплю! А начальства боюсь!

— Долго ли до греха! Вот тоже сказывают про одного: врал да врал, а начальник-то ему: вы, говорит, забыли, в каком государстве находитесь! В таком, говорит, государстве, где врать не дозволено! Так-таки прямо и выпалил!

Бог знает, куда бы завел сестриц этот простодушный разговор, если б в эту минуту не послышался звон колокольчика. Еще минута — и в гостиной совершенно неожиданно появился тот самый молодой адвокат, с которым я уже познакомил читателя в одной из предыдущих глав моего «Дневника» (я забыл тогда сказать, что фамилия его была Хлестаков, что он был сын того самого Ивана Александровича Хлестакова, с которым я еще в детстве познакомился у Гоголя, и в честь своего дедушки был назван Александром). Но, увы! в нем уже не было и тени той заискивающей предупредительности, которая так очаровала меня в то время, когда он вел переговоры с Прокопом!

Напротив, он был строг. Сам приказал зажарить

цыпленка, сам выбрал бутылку поленишевки и, распорядившись, чтоб завтрак был подан немедленно, разлегся на диване и прямо приступил к делу. Сообщив сестрицам об успехе кассации, он объявил, что тем не менее торжество Прокопа в будущем вполне обеспечено. И нравы, и обычаи, и история, и статистика — всё на его стороне. И он, адвокат, конечно, не потащился бы в эту «проклятую дыру» (так называл он Проплёванную!), он даже плюнул бы на это поганое дело, если б не было надежды, что Прокоп со временем сам изнеможет под бременем торжества своей добродетели. Торжествовать по два, по три раза ежегодно, и притом торжествовать до самой смерти — с первого взгляда это кажется легко, но в сущности оно довольно обременительно. Что Прокоп *должен* пойти на сделку — это ясно; но вопрос в том, сколько потребуется времени для того, чтобы созрела в нем эта решимость. Быть может, год, а быть может и двадцать лет.

— Согласитесь сами, старушки, что двадцать лет сряду таскаться к вам в Проплёванную — совсем для меня не лестно! — заключил он, все непринужденнее и непринужденнее разваливаясь на диване и укладываясь, наконец, на нем с ногами.

Сестрицы, словно ошпаренные, молча стояли перед ним, покуда он поигрывал с pince-nez, насвистывал «l'amour ce n'est que ça» и смотрел в потолок.

— Да-с, не лестно-с и не расчет-с! — начал он вновь, закидывая руки под голову, — я в Петербурге от ста до тысячи рублев в день получаю — сколько это в год-то составит? — да-с! А вы тут с своею Проплёванною в глаза лезете!.. Я за квартиру в год пять тысяч плачу! У меня мебель во всех комнатах золоченая — да-с!

Сестрицы из учтивости раскрывали рты, как бы желая сказать нечто, но слова, очевидно, замирали у них на устах Я ждал одного из двух: или он ляжет брюхом вниз, или встанет и начнет раздеваться. Но он не сделал ни того, ни другого. Напротив того, он зажмурил глаза и продолжал как бы в бреду:

— У меня строго. Я двадцать помощников нани-

маю, да тридцать человек рассыльных на свой счет содержу! И всем с утра до вечера работа. Свистнул — и разом во все стороны прыснули, только пятки сверкают! опять свистнул — и опять все тут как тут! Мне каждый день до тысячи справок нужно, и всё по делам — да-с! Я в прошлом году на два миллиона дел выиграл: по десяти процентов с рубля — сколько это денег-то будет! А многие даже половину отдают, только, братец, выиграй — да-с! А шельмецов сколько я защитил! Ну, то есть, такого однажды мерзавца оправдал, что даже прикоснуться к нему скверно! — да-с! Другие все отказались... а я — нет! Нет, говорю, господа! Это не так! Мерзавцу адвокат нужен! Коли, говорю, от мерзавцев отказываться, так нам и зубы, пожалуй, на полку придется положить!.. да-с! У меня и сегодня в судебной палате разбирательство назначено... Миллион!! а я вот в Проплёванной с вами наливки распиваю... да-с!

Сказавши это, он как-то усиленно засучил ногами, как делает человек, которому хочется одной ногой снять сапог с другой ноги.

— У меня каждое утро с одиннадцати до двух прием, и каждое утро не меньше ста карет у подъезда стоит — да-с! Но как только пробило два часа — прием кончился! Нет приема — и дело с концом. И тут мне хоть сто тысяч давай — дудки! ни одной минуты больше! Один раз князь Слабомыслов только минуту опоздал! одну только минуту! «Александр Иваныч, говорит, секундочку!» — «Ни терции», говорю! «Но почему ж так?» — «А потому, говорю, что ежели вашего брата, клиента, баловать, так вы и совсем потом оседлаете!» Да-с! Может быть, и теперь, в эту минуту, сто человек меня дожидается, а я... фью!.. где бы вы думали!.. в Прррроплёванной!!

Сапог с одной ноги летит на пол.

— Меня однажды князь Серебряный (вот тот, что граф Толстой еще целый роман об нем написал!) к себе сманивал... да-с! «Если, говорит, сделают меня министром, пойдешь ты ко мне?» — «Нет, говорю, откровенно тебе скажу, князь, не пойду».— «Почему ж так! Я, говорит, только для виду министром буду, а всем прочим будешь распоряжаться ты!» — «И все-таки не пойду».— «Но почему же?» —

«А дашь ты мне, говорю, в год сто тысяч?» — «Но это, говорит, невозможно!» — «А невозможно, говорю, так и разговаривать нечего!..» – да-с! А теперь он скажет: ко мне идти не хотел, а в Проплёванную, небось, есть расчет ездить!

Другой сапог снят и летит на пол. При этом виде сестрица Дарья Ивановна решается наконец быть откровенною.

— Александр Иваныч! батюшка! да будьте вы с нами по-родственному! — восклицает она, простирая руки и как-то глупо оттопыривая губы.

Восклицание это, по-видимому, возвращает молодого человека к действительности. Он не торопясь поднимается с дивана, протирает глаза и позевывает.

— Гм... я, кажется, сапоги с себя снял,— говорит он,— а вы уж и раскисли, старушки! По-родственному! Это значит: в Проплёванной с вами жить, да наливки распивать... недурно сказано!

И он так нагло захохотал им в лицо, что я вдруг совершенно ясно понял, какая подлая печать проклятия должна тяготеть на всем этом паскудном роде Хлестаковых, которые готовы вертеться колесом перед всем, что носит название капитала и силы, и в то же время не прочь плюнуть в глаза всякому, кто хоть на волос стоит ниже их на общественной лестнице.

— Ну-с,— продолжал он, вновь принимая строгий и деловой вид,— разговаривать с вами мне некогда. Я приехал затем, чтоб предложить вам ультиматум. Примете его — прекрасно; не примете — только вы меня и видели!

Затем он вынул из бумажника пачку кредиток и поднес ее к носу сестрицы Дарьи Ивановны...

Дело кончилось в каких-нибудь полчаса. Сестрицы продали и меня, и мой миллион за десять тысяч рублей, или, вернее, за пять тысяч, потому что только эта сумма была немедленно отсчитана, а остальные пять тысяч они имели право получить лишь тогда, когда феодосийские присяжные окончательно произнесут: да, Прокоп устранил миллион из прежнего помещения вполне согласно с обстоятельства-

ми дела. Сверх того сестрицы обязывались: 1) являться на всех судах в бедной и даже рваной одежде, лгать, как будет указано, а в случае надобности и плакать; 2) дозволить магазину голландских и билефельдских полотен Гершки Зальцфиша (он же и антрепренер моего процесса, обязывавшийся действовать от имени сестриц) напечатать во всех газетах следующее объявление:

НЕДАВНО!!!

в нашем магазине купили полдюжины голландских носовых платков несчастные наследницы автора «Дневника»,

ОБЕЩАЯСЬ!!!

в случае выигрыша процесса купить целый ассортимент рубашек, кальсонов, носовых платков, скатертей, салфеток и других полотняных товаров, продающихся у нас по баснословно дешевым ценам, в чем почтеннейшая публика удостоверится, посетивши наш магазин.

Alea jacta est!.. Где же принцип собственности? где святость семейных уз? Если сестрицы сознавали свое право на обладание моим миллионом и если при этом им было присуще чувство собственности, то они были обязаны идти до конца, влечься к *своему* миллиону инстинктивно, фаталистически, во что бы то ни стало и что́ бы из того ни произошло! С другой стороны, ежели они чувствовали себя членами семьи, то точно так же фаталистически и до последней крайности обязывались мстить моему обидчику. И в чувстве собственности, и в чувстве союза семейного не может быть сделок, ибо это даже не принципы, а естественное влечение человеческой природы. Принципы можно сочинить, а следовательно, и отказаться от них или видоизменить; но каким образом устранить чувство, которое говорит само собой, независимо от каких-либо посторонних, искусственных влияний? Как заставить себя вожделеть только десять тысяч, когда предмет вожделений совершенно конкретен и составляет миллион? Не все ли это равно, что сознавать себя сытым, когда все нутро вопиет о голоде?

Но в наше развращенное время все возможно.

Мы до того исковеркали себя, что даже самые естественные наши побуждения подчинили искусственным примесям. Мы суживаем и расширяем их по своему усмотрению, мы отдаем их в жертву всевозможным жизненным компромиссам, забыв совершенно, что самое свойство естественных чувств таково, что они не подчиняются ни человеческому произволу, ни тем менее каким-то компромиссам. Мать взыскивает по векселю с сына, подчиняясь естественному чувству собственности и в то же время попирая естественное чувство семейственности. Та же мать, взыскав деньги с одного сына, передает их другому, подчиняясь естественному чувству семейственности и отворачиваясь от естественного чувства собственности. Какой многознаменательный факт! Ужели это не повторение древнего мифа о Харибде и Сцилле? И каким образом усидеть между этих двух стульев и не провалиться в конце концов? Газета «Честолюбивая Просвирня», еженедельный орган русских праздношатающихся людей, давно уже, впрочем, заметила этот разлад, и ежели до сих пор не сумела ясно формулировать его, то единственно по незнанию русской грамматики. Знай она русскую грамматику, она доказала бы, как дважды два — четыре, что вредный коммунизм, и под землей и по земле, и под водой и по воде, как червь или, лучше сказать, как голодный немец, ползет, прокладывая себе дорогу в сердца простодушных обывателей российских весей и градов!

Я чувствовал этот разлад вдвойне: и как консерватор, и как бывший откупщик. Не за себя мне было обидно, а за те святыни, которые с детства составляли животворящее начало моей жизни! Как мелки и даже нравственно испорчены показались мне сестрицы, и как был велик, непосредствен и целен, по сравнению с ними, Прокоп! Правда, и у него была минута слабости — минута, когда он предложил молодому Хлестакову десять тысяч рублей срыву, но затем он уже, как говорится, осатанел и вел себя как человек, в котором естественное чувство собственности совершенно заглушило все другие, наплывные соображения...

Даже молодой Хлестаков — и тот, с точки зрения философской, являл себя более надежным храни-

телем основных человеческих влечений, нежели те малодушные женщины, которые имели наглость называть себя моими сестрами и наследницами! Однажды завожделев, он тотчас же воплотил свое право и отдал себя ему весь до конца! И как блестяще он покончил с сестрицами! Как ловко он поднес пачку ассигнаций к самому носу сестрицы Дарьи Ивановны в такую минуту, когда она, ошеломленная кассационным решением, не могла даже понять, где кончается копейка и где начинается миллион! Бедная! она даже чихнула от наслаждения: до такой степени живо заговорило в ней чувство собственности! Да, это было чувство собственности, хотя чувство не полное, чисто женское, чувство, не умеющее отличить гривенник от рубля и, быть может, по этой причине не способное ни на какие самопожертвования ради великих общих принципов!

Да; надо, ах как надо написать об этом статью и послать ее к Менандру. Вместо того чтоб бормотать на тему, правильно или неправильно поступает огородник, разводя при огороде козлов (ведь это даже за насмешку принять можно! можно подумать, что и «огороды» и «козлы» тут только для прилику, настоящее же заглавие статьи таково: «правильно ли поступает администратор, разводя в своем ведомстве либералов?») — не лучше ли прямо обсудить вопрос: отчего стремления, вполне естественные в теории, на практике оказываются далеко не столь естественными? чтó тут составляет мираж: самые ли стремления или та практика, которая извращает их?..

Но какая, однако ж, это странная штука! Теперь моими родственниками и наследниками оказываются не сестрицы, а Хлестаков с целою шайкой совершенно неизвестных жидов, производящих распродажу полотен! О, пархатые! каким чудом могло заползти в ваши сердца чувство родственной любви к человеку, вполне для вас неизвестному! Или я не человек, а только «рубль», на котором ничего не написано, кроме того, что это res nullius, которая, в этом качестве, caedet primo occupanti[1], то есть

[1] вещь ничья и поэтому принадлежит тому, кто первый ее захватит

еврею Зальцфишу, продающему настоящие голландские платки на углу Большой Мещанской и Гороховой!

Как бы то ни было, но симпатии мои к Прокопу возрастали все больше и больше. Не говоря уже об его верности принципам, меня подкупали еще воспоминания. Он любил меня, он делил со мной радость и горе. Вместе с ним я изучал петербургские трактирные заведения, наслаждался Шнейдершей, Кадуджей, заседал в шухардинском международном статистическом конгрессе и вытерпел в «Отель дю-Норд» опаснейший политический процесс. Наконец, какие превосходные устроил он мне похороны! Ввиду всего этого мог ли я винить его? Ведь деньги мои не были заперты! ведь он был один в момент моей смерти, или, по крайней мере, мнил себя быть одним! Ну, мог ли же он? Ради самого бога, мог ли он воздержаться, мог ли не дать воли чувству стяжания, которое делается в особенности жгучим, почти нестерпимым, при виде того, что плохо лежит! И не забудьте, что ведь плохо-то лежал... миллион!!!

Где были в это время сестрицы? Бодрствовали ли они? Следили ли за тем, как я, постепенно спиваясь с кругу, погружаюсь на самое дно петербургских наслаждений! Нет, они унывали в Ветлуге! Они роптали на судьбу, которая послала на Ветлугу *только* одного мужчину, да и то землемера... О, маловеры!

Но, дойдя до этих злоключений, я сам испугался. Оказывалось, что и во мне естественное чувство семейственности настолько ослабло, что и я не усомнился узы случайной приязни предпочесть узам кровного родства! Если б я не был развращен современными веяниями, я должен был бы любить сестриц во что бы то ни стало. Любить, хотя бы они ненавидели меня и делали мне на каждом шагу всякие мерзости! Братцы! сестрицы! грабьте! — вы всегда будете милы мне! Почему вы *должны* быть мне милыми — это «тайна». Это неисповедимейшая из всех тайн современности, в которых ненависти и любви так хитро переплелись между собой, что сам Менандр, со всем собором пенкоснимателей, конечно, не разрешил бы, любовь ли тут породила ненависть, или ненависть породила любовь!

Сгорая нетерпением познакомиться с моими но-

выми родственниками, душа моя воспарила в Петербург. Но тут, я должен сознаться, воспоминания мои уже теряют свою последовательность и представляются в форме отрывков, лишенных строгой органической связи.

Сначала, я перенесся как бы на сцену Большого театра. Давали «Жидовку». Все пархатые были на лицо и производили тайное жидовское моление. За большим столом, покрытым белою скатертью, посредине, лицо к зрителям, сидел Гершка Зальцфиш и разбитым тенором произносил возгласы. Он был одет в длинную одежду и препоясан, как бы собираясь в длинный путь. На столе лежали опресноки и зажаренная на собственном сале каширная овца, приправленная чесноком. Мошка Гиршфельд, Иосель Зальцман, Иерухин Хайкл, Ицко Праведный и множество других жидов-акционеров (в числе их я узнал некоторых зубных врачей) расположились кругом стола и подтягивали. Они молились за успех *моего* дела и взывали к Иегове об отмщении. На одном конце стола приютился Александр Иваныч Хлестаков и, умильно посматривая на Рифку Зальцфиш, поместившуюся на другом конце, обдумывал, что выгоднее: перейти ли в жидовскую веру или потурчиться? Затем, когда каширная овца была доедена, Хлестаков встал из-за стола и доложил общему собранию господ акционеров, что он успел отыскать двоих новых и притом совершенно достоверных лжесвидетелей. Один из них — известный нумерной Гаврюшка, который согласен за сто целковых и подтвердить и переменить свое прежнее показание — как угодно; другой, елабужский мещанин Иуда Стрельников, который, ехавши на пароходе от Казани до Елабуги, собственными ушами слышал, как бывший камердинер Прокопа, Семен, хвастался, что получил однажды от барина плюху за то, что назвал его вором. Показание это Стрельников соглашается подтвердить и на суде, если ему будет дано двести рублей.

— Но пусть лжесвидетели сами изложат перед собранием свои показания! — восклицает легкомысленный Хлестаков.

Входит Гаврюшка, с заложенными, по привычке, назад руками. Он в оборванном сюртучишке: лицо безобразно опухло; глаза устремлены в пол;

ноги дрожат. От всей его фигуры разит водкой, распутством и тем нестерпимым запахом, который можно обонять только в отвратительных конурах, где ютится на ночь трактирная прислуга. Он вздыхает как бы под бременем раскаяния и в то же время блуждает глазами по столу, разыскивая, нет ли где водки. Из-за него выглядывает маленькая, юркая фигура расторопного елабужского мещанина Стрельникова.

Оба по очереди излагают свои показания. Гаврюшка поет свою арию пьяным басом, Стрельников — дребезжащим, слабосильным тенором. По временам голоса их сливаются и образуют дуэт.

Затем их заставляют сесть на стулья и положить руки под стегно в знак того, что они будут лжесвидетельствовать по самой сущей истине и так точно, как научил их господин Хлестаков.

Лжесвидетелей увели; Гершка встал с своего места и как ошпаренный забегал по сцене. Глаза его горели, пейсы тряслись, на губах сочилась пена.

– Сами зе видели! сами зе теперь видели! кричал он в исступлении.

– Видели! Видели! — отвечал ему хор.

– Иерухим! теперь безите! безите теперь нах бирза... гешвинд! И всем сказите: насли лзесвидетелей! Гёрсту! не лозных, а настояссих, самых луццих лзесвидетелей! И продайте тысяцу акций!

Иерухим убежал, а Гершка вдруг закружился, начал подпрыгивать, колотить себя в грудь и выкрикивать какие-то неистовые звуки. Примеру его по следовали и прочие, а между ними и Хлестаков Таким образом продолжалось около получаса. Нако нец все повалились, кто куда попал, и Гершка потухшим голосом произнес:

- О, вей мир! и какое зе ты великий мосенник, Иерухим! И сто зе он там говорит! И мозно ли так говорить... и где зе? на бирза! И никаких зе лзе свидетелей совсем нет! О, Иосель! о, друг мой Иосель! Безите теперь ви! Безите нах бирза и всем говорите! Всем сказите, сто Иерухим говорит... ах, пфуй! сто зе он говорит! И ницего зе этого нет! И никакой лзесвидетель не приходил! И купите ты сяцу акций!

Это было так любопытно, что душа моя сейчас же воспарила на биржу, чтоб удостовериться, что из этого выйдет.

Иерухима еще не было. Настроение биржи было *вялое*. Цена акций представлялась в следующем виде: продавцы 71, покупатели $70^1/_2$ без сделок. Вдруг прибежал Иерухим и, воздевши руки, воскликнул:

— О, вей! насли двух самых луцших, самых настояссих лзесвидетелей!

Тогда произошло смятение. Все бросили покупать, и Иерухим в какие-нибудь полчаса времени спустил тысячу акций: покупатели $78^3/_4$, продавцы $80^1/_2$, сделано $79^7/_8$. Но в тот самый момент, когда Иерухим продал последнюю акцию, прибежал весь бледный Иосель и, растерзав на себе ризы, воскликнул:

— О, Иерухим! ты великий мосенник и вор! Не верьте зе ему! не верьте! Никаких зе лзесвидетелей нет!

Целая толпа бросилась на Иерухима и принялась бить его. Но Гершка достиг своей цели: акции упали немедленно, и были скуплены Иоселем обратно: продавцы $62^1/_2$, покупатели 62, сделано $62^1/_8$.

Итак, на моем деле Гершка, так сказать, моментально выиграл с лишком шестнадцать тысяч рублей! Этого мало: едва появилось в газетах объявление, что мои наследницы купили в магазине Зальцфиша полдюжины носовых платков, как публика валом повалила на угол Гороховой и Большой Мещанской и с десяти часов утра до десяти вечера держала в осаде лавку, дотоле никем не посещаемую. В этот день было продано 100 дюжин рубашек, 1000 пар мужских и женских кальсонов, 500 дюжин носовых платков и, по соразмерности, прочих товаров. Вечером Гершка телеграфировал в Ярославль с требованием скупить у тамошних баб все билефельдское полотно, какое окажется в наличности...

Однако факт существования лжесвидетелей был налицо, и я бросился к Прокопу, чтобы предупредить его насчет предательства Гаврюшки.

Но как же я был прятно изумлен!!

Оказалось, что все это не больше как подпольная интрига, в которой деятельными лицами являлись агенты Прокопа и жертвою которой должен был пасть молодой Хлестаков! Что и Гаврюшка, и Иуда Стрельников не только не лжесвидетели, но прос-

то благонамереннейшие люди, изъявившие согла сие, за известную плату, надуть моих новых пархатых родственников!

Я отсюда представляю себе эту изумительную сцену. Хлестаков горячится и требует призыва Гаврюшки и Стрельникова; напротив того, адвокат Прокопа с чувством и даже настойчиво отклоняет это требование. Но правда, однако ж, превозмогает; свидетели вызваны; Хлестаков потирает руки, настораживает уши, старается уловить *каждое слово*, каждый звук драгоценного свидетельства — и что же слышит?!

– Ничего этого я не знаю, – говорит Гаврюш ка,— человек я слабый, пьяный! Служил я у них – это точно... Только уж оченно строги они были. . ах, как были строги!

— Правда ли, что подсудимый неоднократно бил вас? – спрашивает Гаврюшку защитник Прокопа

И бивали... страсть, как бивали! Бывало, чуть что – сейчас в ухо или по зубам!

- Прошу господ присяжных обратить на это показание особенное внимание! – обращается защитник Прокопа к присяжным,— оно уничтожает в прах все эти гнусные клеветы насчет подкупов и угроз, которые злонамеренно распускаются в обществе. Вот свидетель, который прямо показывает, что подсудимый не только не подкупал, но и бил его... и за всем тем, в благодарной своей памяти, не находит ни единого факта, который мог бы очернить моего клиента! Еще раз прошу вас обратить на это внимание!

— Было у нас это дело таким манером,— показывает, в свою очередь Иуда Стрельников,— призывают они меня, вот этот самый господин Хлестаков, и говорят: «Вот тебе, говорят, к примеру два золотых; покажи, значит, что Семен Петров при тебе на пароходе хвастался!» А я, ваше превосходительство, совесть имею. «Как же, мол, говорю, Александр Иваныч, я теперича об этом самом деле показывать буду, коли ежели я ничего про него не знаю?» Однако они меня не послушали: «Ничего, говорят, показывай! я тебя вызову».— «Как угодно, говорю, а только мы против совести показывать не согласны!» Только у нас и разговору, ваше превосходительство, с ним было!

Хлестаков краснеет и бледнеет; он чувствует, как сознание собственного легкомыслия начинает угрызать его. Конечно, впоследствии, он поймет ту теорию «встречного подкупа», которую всесторонне разработал Прокоп, но когда он поймет ее,— будет уже поздно...

Каков сюрприз!!

Но возвращаюсь к рассказу.

Я застал Прокопа в той самой гостинице, в которой он остановился по приезде в Петербург. Он, по обыкновению своему, шагал из угла в угол, но, по временам, останавливался и меланхолически рассматривал щегольской серый казакин с бубновым тузом на спине, который сгоряча заказал для себя и в котором теперь не предстояло никакой надобности. Перед ним, как бес перед заутреней, вертелся маленький человек не то армянин, не то грек, одним словом, существо, которое Прокоп, под веселую руку, называл «православным жидом». Это был секретный агент Прокопа, агент, на обязанности которого лежало отыскиванье лжесвидетелей, устройство различных судебных сюрпризов и другая черная работа. У дверей, прислонясь к притолоке, стояли: ополоумевший от водки Гаврюшка и расторопный елабужский мещанин Иуда Стрельников.

— Боюсь, не поверили они! Не пойдут, брат, они на эту штуку! — как-то лениво резонировал Прокоп, выслушав доклад своего агента.

Гаврюшка только хлопал в ответ глазами. За него выступил вперед с ответом Стрельников.

— Ваше высокородие! позвольте слово сказать-с!

— Говори, братец!

— Возможно ли теперича дело, чтоб они не поверили, коли мы, значит, даже руку, с позволения сказать, под себя клали! По-ихнему, теперича, какой это разговор? «Верное слово» — и больше ничего!

Прокоп вопросительно взглянул на «православного жида».

— Это так точно, ваше высокородие! — засуетился последний,— это у них... Это ежели кто руку под себя положил...

— Позвольте, Экономид Мурзаханыч! — вступился Стрельников,— я их высокородию все объясню. Ваше высокородие! возможно ли мне этих делов не знать, коли я этого самого жида... другой,

значит, козла своего столько не знает, сколько я этих жидов наскрозь проник!

— Ой ли? Очень уж, погляжу я, ты хвастаться ловок! А ты знаешь ли, что́ значит елабужский мещанин?[1]

— И это знаю-с! Я все знаю-с. Потому я, ваше высокородие, не токма что в Елабуге, а даже в самом Париже проживание имел-с!

— Ври, дурак!

— Верное слово, ваше высокородие! Потому тятенька у меня человек строгий, можно сказать, даже ровно истукан простой... Жили мы, теперича, в этой самой Елабуге, и сделалось мне вдруг ужасти как непросторно! Тоись, так не просторно! так не просторно! Ну, и стал я, значит, пропадать: день меня нет, два дня нет — натурально, от родителев гнев. Вот и говорят мне тятенька: ступай, говорит, сукин сын, куда глаза глядят!

— Да в Париж-то тебя как нелегкая занесла?

— Постепенно-с. С господами приехал-с. Я, ваше высокородие, при каммуне сторожем состоял!

— Ну?!

— Точно так, ваше высокородие. Только я, конечно, по чувствам своим больше до господина Тьера касательство имел... Утром, известно, в каммуне служишь, а вечером — касательство в Версали-с...

Стрельников смотрел так ясно и даже интеллигентно, что Прокоп, несколько раз, во время разговора, подмигивавший «православному жиду», окончательно повеселел.

— Выжига, значит!

— По нашему званию, ваше высокородие, никак без этого невозможно-с! Теперича, например, хоть бы вы-с. Призываете вы меня: предоставь мне, Стрельников, то али, положим, хочь и другое! Должен ли я вашему высокородию удовольствие сделать?

— Только ты смотри у меня, держись в *струне, не сбренди!* Я, брат, ведь зол! Я тебя — ежели что — в треисподней достану! Как только он тебя свидетелем вызовет,— сейчас ты его удиви!

---

[1] «Елабужскими мещанами» в Вятской губернии называют известных, особенно надоедливых паразитов. *(Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

— Ваше высокородие! Довольно вам сказать: как перед истинным, так и перед вами-с! Наплюйте вы мне в лицо! В самые, тоись, глаза мне плюньте, ежели я хоть на волосок сфальшу! Сами посудить извольте: они мне теперича двести рублей посулили, а от вас я четыреста в надежде получить! Не низкий ли же я против вас человек буду, ежели я этих пархатых в лучшем виде вашему высокородию не предоставлю! Тоись, так их удивлю! так удивлю! Тоись... и боже ты мой!

. . . .

Далее я не слушал: я понял.

Но тут нить моего сновидения прерывается окончательно. Я чувствую, что лечу стрелой через необозримое пространство, лечу, лечу... и, наконец, упадаю на самое дно пропасти.

Прошло двадцать пять лет; девятнадцатый век на исходе, а Прокоп все еще судится. Из похищенного миллиона у него осталось всего-навсе двести пятьдесят тысяч, а он в течение двадцати пяти лет, несмотря на всю быстроту судопроизводства, едва-едва успел дотянуть до половины буквы *В*. Сто двадцать пять городов, местечек, посадов и крепостей были свидетелями торжества его добродетели, но сколько еще тысяч городов предстоит впереди это невозможно даже приблизительно определить. К несчастию для Прокопа, благодаря чрезмерному развитию промышленности, каждый год, как на смех, возникает множество новых городов и местечек, так что ему беспрестанно приходится возвращаться назад, к букве *А*. А тут еще и другое неудобство: порядок переезда из одного города в другой, вследствие канцелярского недоразумения, принят алфавитный, и Прокоп, по этой причине, обязывается переезжать из Белева в Белозерск, из Белозерска в Белополье и т. д.

В настоящую минуту он в Верхотурье (Пермской губернии) и деятельно готовится к переезду в Верхоянск (Якутской области)...

Европа давно уже изменила лицо свое, одни мы, русские, остаемся по-прежнему незыблемы, счастливы и непреоборимы... В Европе, вследствие безначалия, давно есть нечего, а у нас, по-прежнему, всего в изобилии Идя постепенно, мы дожили до того, что даже

Верхотурье увидело гласный суд в стенах своих. Благо, Уральский хребет перейден, а там до Восточного океана — уж рукой подать!

Благодаря этой постепенности, успехи, которые сделала русская жизнь в продолжение последних двадцати пяти лет, поистине изумительны. В каждом городе существует клуб, в котором за 75 копеек можно получить неприхотливый, но сытный обед, состоящий из трех блюд. Исправники не называются больше исправниками, а носят титул «излюбленных губернаторами людей» и в этом качестве занимают в клубах должности «главных старшин». Вредный административный антагонизм исчез совершенно; земские управы, изнемогши в борьбе с мостами и перевозами, оставили за собой лишь уездную и губернскую статистику, но зато довели эту науку до такого совершенства, что старик Кеттлé, приехав однажды в Балахну («Балахня — стоит рот распахня», — говорит народная пословица), воскликнул: nunc dimittis[1] — и тут же испустил многомятежный дух свой. Городские головы оставили за собой одну специальность: угощать по воскресеньям «излюбленных губернаторами людей» пирогами. В судах безначалие устранено окончательно, благодаря тому что независимость судей была счастливым образом уравновешена перспективою повышений и наград. Самые судьи собирались только по субботам единственно для того, чтобы закончить дела, начавшиеся еще в «эпоху независимости», и затем, условившись, куда идти вечером в баню, и явив миру пример судопроизводства гласного и невредного, расходились по домам. Хотя же рядом с «новыми» существовали еще «новейшие», но и им делать было нечего, за отсутствием преступлений и процессов. Воровать и грабить было воспрещено строго-настрого, а в 1891 году, по инициативе белебеевского «излюбленного губернатором человека», всем ворам было поставлено в обязанность подать о себе особые ревизские сказки, по исполнении чего они немедленно были посажены на цепь, и тем сразу прекращены были способы для производства дальнейших с их стороны беззаконий. Гражданские процессы тоже прекратились, так как общество убедилось, что оттягать, например, дом у соседа вовсе не значит получить этот дом в свою

---

[1] ныне отпущаеши

собственность, но значит отдать его адвокату в вознаграждение за ходатайство. Образование проникло всюду, так что даже пастухи, охраняя вверенные им стада, очень удовлетворительно склоняют *mensa*[1]. Паспортов нет; на место их введены маленькие-маленькие карточки, которые, занимая в кармане втрое менее места против прежних неуклюжих листов, доставляют населению удобства неисчислимые. Разделения на военных и статских не существует; все одновременно — и статские и военные; сперва займутся статскими делами, то есть взысканием недоимок; потом сейчас же, вслед за тем, примутся за военные дела, выйдут на площадь, зачнут шагать, кружиться, потом опять шагать.

В колонну!
Соберись бегом!
Трезвону!
Зададим штыком!
Скорей, скорей! скорей!

Нет также и разделения на платящих и не платящих. Податная комиссия, выдав 501-й том своих трудов, выработала, наконец, устав, которым все остались довольны. Все платят, и притом с удовольствием, и притом против прежнего втрое. Затем, так как все необходимое уже выполнено и поводов для огорчений не существует, то политические и литературные партии, раздиравшие наше общество двадцать пять лет тому назад, исчезли сами собой. Ругательства, составлявшие красоту полемики семидесятых годов, упразднены, хотя литература совершенно свободна. Совет книгопечатания, однако ж, еще существует, но лишь для проформы, как нелишняя архитектурная подробность. Один Менандр не изменил традициям и, дерзче нежели когда-нибудь, выражает свой восторг по поводу переименования исправников в «излюбленных губернаторами людей». Внешняя политика тоже в порядке: по смерти Тьера, мы успели усадить в президентском кресле действительного статского советника Петра Толстолобова, который, еще в бытность губернатором, выказал замечательный такт в борьбе с губернским предводителем дворянства. Австрию мы предо-

---

[1] стол

ставили ее собственной судьбе, от Италии получили верное слово, что ежели Пий IX будет упорствовать в своих заблуждениях, то все итальянцы, как один человек, обратятся в Св. синод с просьбой о воссоединении, и т. д. Остается один только неясный пункт: Византия еще не покорена. Но так как в газетах от времени до времени помещалась официозная заметка, извещавшая, что на днях последовало в законодательном порядке утверждение штатов византийской контрольной палаты, то даже сам И. С. Аксаков согласился до поры до времени молчать об этом предмете, дабы, с одной стороны, не волновать бесплодным лиризмом общественного мнения, а с другой стороны — развязать правительству руки, буде оно, в самом деле, намерено распространить на весь юго-восток Европы действие единства касс...

Вместе со всем окружающим изменился и Прокоп. Он одряхлел, обрюзг и ничего не может есть, кроме манной каши. Но дух его все еще бодр, так что даже теперь, прибыв в Верхотурье, он прежде всего спрашивает, каков клубный повар в Верхоянске и чего больше в тамошней гостинице: блох или клопов. Одним словом, намерения остались прежние, только средства к их выполнению ослабели.

Да и не мудрено было Прокопу сохранить бодрость духа. В течение прошедших двадцати пяти лет он не только не понес никакого нравственного ущерба, но, благодаря процессу, успел сделаться одним из самых популярных людей в целой России. Везде, где он ни судился, остались благодетельные следы его пребывания. В Арзамасе он пожертвовал сто рублей на соединение каналом реки Теши и Сережи; в Ардатове Симбирском на свой счет очистил от навоза базарную площадь; в Богучаре устроил народный праздник и кинул на драку сто рублей; в Алексине выписал из Голландии мастера, который научил обывателей мариновать знаменитых алексинских пискарей; в Болхове подал мысль о проведении железнодорожной ветви к Мценску, в видах успешнейшего сбыта несравненных болховских котёлок, и т. д. Поэтому местные начальства принимали его с почтительным радушием и с твердой надеждой на более светлое для себя будущее. Во всяком городе

существовали: или грязь по колена, или навоз по уши, следовательно, всякому городу лестно было обратить внимание сильного человека на эти язвы, хотя бы и достоверно было известно, что капиталы этого сильного человека приобретены не совсем чистым путем. Везде Прокопа чествовали на славу; везде сажали на первое место и угощали кашей на всевозможных бульонах.

Столь почтительно-благосклонное отношение начальствующих не могло не оказать влияния и на умы присяжных заседателей. Сначала в среде их, конечно, случалось нечто похожее на разномыслие, так что твердые в вере не иначе как с бою брали каждый свой шаг. Но это, очевидно, было только недоразумение, обязанное своим происхождением лишь новости дела. Я сам было испугался этому явлению и, сознаюсь, употребил даже военную хитрость, чтоб побороть его. А именно: однажды, заметив, что силы «борцов за миллион» ослабевают, я незримо пролетел между присяжными и сразу убедился, что этого вполне достаточно, чтоб добродетель Прокопа восторжествовала. Как только появилась моя тень, так тотчас же комната присяжных наполнилась тем острым «запахом миллиона», который в наши дни решает судьбу не гарантированных правительством предприятий... Но, начиная с Ардатова, где Прокоп в одну ночь освободил базарную площадь от веками копившегося на ней навоза, и к этой уловке прибегать не предстояло уже надобности. Присяжные словно осовели. Им, по-видимому, казалось даже странным, что на обсуждение их предлагается вопрос о каких-то родственниках, тогда как всем известно, что никаких заинтересованных в этом деле родственников нет, а есть просто шайка пархатых жидов, которые, по старинной ненависти к христианству, нанимают легкомысленного Хлестакова, чтобы терзать человека за то, что он не пропускает ни одной обедни! Ведь жиды уж наверное ограбили бы! наверное они не оставили бы даже той старинной копеечки, которою благословила дедушку Матвея Иваныча неизвестная нищенка и к которой Прокоп, из уважения к семейной святыне, даже не прикоснулся! А если бы *они* ограбили, то почему же... об чем же тут толковать, скажите на милость?!

По всем этим соображениям, начиная с Ардатова, даже судоговорения по моему делу почти никакого не было. Соберется суд; Прокопа усадят между двумя жандармами на скамью обвиняемых (постепенно он так обтерпелся, что бесстрашно пробовал пальцами, тупые или вострые у жандармских сабель клинки), прочтут на почтовых с пятого на десятое обвинительный акт (Прокоп во всеуслышание при этом восклицает: и зачем эти «часы» в сотый раз читают!) и в одну минуту окрутят лжесвидетелей. Потом выйдет на сцену прокурор, скажет для проформы: «Ах, какое негодование возбуждает в душе моей этот ужасный преступник, который даже не понимает, что сознайся он,— давно бы его сослали на поселение в Сибирь, в места не столь отдаленные!» — и сядет. Потом, на смену прокурору, выступит защитник Прокопа, скажет: «Ах, какое негодование возбуждает во мне прокурор, который до сих пор не может понять, что в Сибирь идти никому не хочется!» — и тоже сядет. Наконец, встанет Хлестаков, и только что пригласит присяжных заседателей перенестись вместе с ним мыслью в Древний Рим, как председатель с твердостью, не допускающею возражений, заметит ему, что всякие разговоры в деле столь ясном неуместны, и затем объявит прения заключенными. Присяжные выйдут в свою комнату, произнесут: наплевать! — и возвратятся в залу заседаний суда с приговором, признающим действия Прокопа не только удовлетворительными, но и должными.

При таком упрощении обрядов судопроизводства Прокопу нечего было страшиться. Не суд был обременителен для него, а переезды. Сначала он довольно охотно знакомился с городами Российской империи, но когда, в один и тот же год, ему пришлось посетить Баргузин, Барнаул, Бар, Бауск и Бахмут, он почувствовал некоторое утомление. Изумительное разнообразие климатов, флоры, фауны и проч. подействовало на него. Дух остался бодр, но тело... тело восчувствовало. Так что, при переезде из Архангельска в Астрахань, он разом потерял все зубы и сделался неспособным принимать какую-либо иную пищу, кроме каши.

Совсем в другом виде представлялось положение противной стороны, то есть гражданских истцов.

Гершка Зальцфиш вышел из этого дела с честью. Нажив биржевою игрою значительный капитал, он предусмотрительно сбыл свои акции, когда они были еще в хорошем требовании: продавцы $76^3/_4$, покупатели $76^1/_4$, сделано $76^1/_2$. Но впоследствии, однако ж, и Гершка возгордился, а следовательно, и проворовался. Заняв во всех банках (вся Россия в то время была, как тенетами, покрыта банками, так что ни одному зайцу не было надежды проскочить, не попав головой в одну из петель) более миллиона рублей, он бежал за границу, но в Гамбурге был пойман в ту самую минуту, как садился на отправлявшийся в Америку пароход, и теперь томился в остроге (присяжные заседатели видели в этом происшествии перст божий). Затем все акции, по дешевой цене, скупил расторопный Иерухим, в надежде поправить свои обстоятельства, но когда Азов, Аккерман, Акмолинск и Алапаевск последовательно выразились в пользу Прокопа, повязка вдруг спала с его глаз. Он бросился на биржу с предложениями, но было уже поздно; акции упали с быстротою молнии и в настоящее время стояли: продавцы $2^1/_4$ *без покупателей!* К довершению всего, Иерухима поразил и еще один удар: в 1881 году обе мои сестрицы померли (и в этом обстоятельстве для присяжных заседателей был ясен перст божий!), а с их смертью сошли со сцены последние достоверные лжесвидетели, которые дотоле фигурировали в процессе...

Если Прокоп одряхлел телом, то Иерухим одряхлел духом. Он как-то беспокойно вертел головой, словно к чему-то принюхивался и приглядывался. Но ни приглядываться, ни принюхиваться было уже не к чему. На *моем* деле иудейство всецело исчерпало самого себя и не возрождалось больше. На Иерухиме был замасленный, дырявый кафтанишка, а ермолка на голове до того лоснилась и побелела, что издали можно было принять ее за только что навощенный паркет. Прокоп из милости кормил и поил его и даже возил на свой счет за собою (разумеется, в третьем классе), но издержки на наем Хлестакова взять на себя не соглашался. А между тем эти-то издержки и составляли больное место бедного Иерухима. Хлестаков всецело отдал себя моему делу (ради принципа он отказался и от удобств

золоченой мебели, и от своей пятитысячной петербургской квартиры!) и потребовал от Иерухима не менее ста рублей в месяц жалованья. Сверх того, он был необыкновенно прожорлив, да и переезды его стоили не мало (менее II класса вагона он не соглашался ехать). Так что взятые в совокупности издержки на этот предмет требовали не меньше двух тысяч рублей с половиною в год.

— А тебе зе и вся цена — грос! — язвительно попрекал Иерухим своего защитника.

И сколько раз Иерухим слезно молил Прокопа! Сколько раз валялся у него в ногах!

— Васе высокородие! — вопиял он,— конците! Вам зе ницего не стоит дать бедному, цестному еврею тысяцу рублей! Нехай его, собака, подавится! А вам зе, ай-ай, как хоросо будет! И вам хоросо, и мине... ай-ай-ай, как уфсем будет спокойно!

Но Прокоп оставался непреклонен.

— Нет, пархатый! — говорил он,— теперь я тебя не выпущу! Окрестись, обрежь кудри, оставь свою жидовскую веру — тогда кончу! Сам восприемником буду, дам тебе тысячу рублей в зубы — и ступай на все четыре стороны!

И Прокоп имел полное основание медлить. Независимо от почестей, с которыми его всюду встречали, он и в домашнем быту был окружен самыми заботливыми попечениями. «Православный жид» в каждом городе отыскивал для него достоверных лжесвидетелей; Гаврюшка служил у него в лакеях и, женившись на старой Прокоповой метрессе, остепенился и перестал пить; Иуда Стрельников тоже всюду сопровождал его и оказывал существенные услуги по части отыскивания новых метресок. В Ачинске ли, в Борзне ли — где бы ни был Прокоп — везде Иуда Стрельников отыщет именно то, что, по современному настроению Прокоповой души, ему требуется...

Одно только терзает Прокопа – это чувствительная убыль в капитале. Но в этом он должен винить исключительно самого себя, потому что с самого начала стал действовать уже слишком неосторожно, чересчур на широкую руку. Так, например, в Срединном выстроил разом сто киосков для проходящих — но к чему такая бесполезная трата капитала

в городе, где исстари заведены совсем другие по сему предмету обычаи! Сверх того, он условился платить своему официальному адвокату по десяти тысяч рублей за каждую поездку (он совершенно свободно мог ограничить этот размер тысячью рублями) и должен был смотреть сквозь пальцы, как «православный жид», не довольствуясь присвоенным ему содержанием, совершенно открыто запускал руку в его, Прокопа, шкатулку. Не будь этого мотовства, проценты с капитала легко покрыли бы все издержки по процессу; но, к сожалению, на первых порах, сгоряча, Прокопу показалось, что украденному миллиону не будет и конца. Поэтому, увлекшись однажды, он очень скоро почал первую сотню тысяч, потом вторую, третью и т. д.; когда же, наконец, спохватился — было уже поздно: процентами с оставшихся двухсот пятидесяти тысяч ни под каким видом издержек процесса удовлетворить было невозможно... Напрасно старался он ввести благоразумную экономию в обиход свой: и официальный защитник, и «православный жид» уже приобрели известные привычки, от которых отстать было довольно трудно. Первый отзывался, что ему нужны деньги, ибо он только что приторговал дом у своего соседа с левой стороны; а второй даже отзывов никаких не давал, а просто-напросто продолжал лазить в шкатулку. Да и Гаврюшка с Стрельниковым (уж на что верные люди!) не клади охулки на руку, особливо с тех пор, как Гаврюшка женился на Прокоповой мамзели, а Иуда Стрельников вступил с нею в секретную любовную связь.

Видя эти расхищения, Прокоп, конечно, скорбел; но тем не менее мысль о том, что он рязанско-тамбовско-саратовско-воронежский дворянин, ни на минуту не покидала его. Как дворянин четырех губерний, он обязывался отстаивать свою честь до последней капли крови или, по крайней мере, до тех пор, пока из похищенного миллиона не останется только сто тысяч. Эту последнюю сотню тысяч он решился сохранить для детей, из которых старший сын, преодолев ненависть к латинскому языку, занимал в настоящее время кафедру римских древностей в пошехонском университете. Только тогда, когда месячная расходная ведомость покажет, что налицо состоит

лишь сто одна тысяча рублей,— только тогда он сочтет свою рязанско-тамбовско-саратовскую честь отомщенною. Вероятно, это случится лет через пять, в Гавриловском посаде Владимирской губернии. Тогда он призовет Иерухима, кинет ему в лицо тысячу рублей и скажет: жри, собака! Потом он собственноручно изобьет «православного жида» и спустит его с лестницы. Затем у него останется ровно сто тысяч, на которые он, за бесценок и в память обо мне, купит Проплёванную и учредит там гласную кассу ссуд... то бишь ссудо-сберегательный банк для крестьян...

Но возвращаюсь к рассказу.

Благодаря великому онего-устьсысольско-верхотурскому железному пути, Прокоп очень комфортабельно совершил свое путешествие и теперь, совершенно как дома, расположился в верхотурской гостинице для приезжающих под фирмою «Удовлетворенный обыватель», из которой, стараниями местного «излюбленного человека» навсегда были изгнаны блохи и клопы. Но не успел мой друг умыться и причесаться с дороги, как уже Гаврюшка доложил, что к нему явилась депутация от студентов верхотурского университета. Университет был основан в недавнее время иждивением действительного статского советника (в военное же время корнета) и всех железнодорожных жетонов кавалера Губошлепова, с специальною целью образования домашних Невтонов и быстрых разумом Платонов из соседних вогульцев и остяков. Но, несмотря на недавнее учреждение университета, студенты уже жаловались. Во-первых, с самого основания университета ни одна из учрежденных в нем кафедр до сих пор не была замещена; во-вторых, самое помещение университета в бывшей швальне инвалидной команды представляло очень значительные неудобства. Хотя же они, студенты, неоднократно приносили на действия г. Губошлепова жалобы действительному статскому советнику и всех жетонов кавалеру, г. Мордухаю Проходимцеву, но получили ответ, в котором г. Проходимцев, ссылаясь на недавнее свое дело с ташкентским земством, выражал мысль, что в настоящее непостоянное время вступить в какие-либо обязательства по предмету распространения в России просвещения — дело довольно щекот-

ливое: пожалуй, не поймут шутки, да и взаправду деньги вытребуют!

— Ваше высокородие! на вас одна надежда! Вам шайтан поможет! — взывали бедные вогульцы и остяки к Прокопу

И надежда не тщетная, ибо Прокоп тут же вынул из кармана десятирублевую ассигнацию, подал ее студентам и сказал:

— На первый раз... вот вам! Только смотрите у меня: чур не шуметь! Ведь вы, студенты... тоже народец! А вы лучше вот что сделайте: наймите-ка латинского учителя подешевле, да и за книжку! Покуда зады-то твердите — ан хмель-то из головы и вышибет! А Губошлепову я напишу: стыдно, братец! Сам людей в соблазн ввел, да сам же и бросил.. на что похоже!

Студенты ушли, благословляя имя своего благодетеля. «Не так дороги нам эти десять рублей,— рассуждали они между собой в передней,— как дорог благой совет!» Вслед за студентами явился градской голова с выборными от общества и поднес Прокопу большой горшок каши на рябчиковом бульоне.

— Клянчить пришли? — развязно спросил пришедших Прокоп.

— Как нам не клянчить! В нужде рождаемся, в нужде в возраст приходим, в нужде же и смертный час встретить должны! — ответил голова, понуривая голову, как бы под бременем благочестивых размышлений, на которые навело его упоминовение смертного часа.

— Говорите скорее! что нужно? Черт с вами! что могу...

— Знаем, ваше высокородие! знаем мы твою добродетель! Слышали мы, как ты в Ардатове в одну ночь площадь от навоза ослобонил! Может, не одну тысячу лет та площадь всякий кал на себя принимала, а ты, гляди-кось, прилетел, да в одни сутки ее, словно девицу непорочную, под венец убрал!

— А разве и у вас площадь... тово?

— Нет, у нас площадь слава те господи! Храни ее царица небесная! С тех пор как Губошлепов университет этот у нас завел, каждый божий день студентов с метлами наряжаем. Метут да пометыва-

ют на гулянках! Одно только: монумента на площади нет! А уж как гражданам это желательно! как желательно! Просто, то есть, брюхом хочется, чтоб на нашей площади конный статуй стоял!

И тут Прокоп не сказал слова. Он даже не стал расспрашивать, кому намерены верхотурцы воздвигнуть монумент, ему ли, Прокопу, Губошлепову ли, Проходимцеву ли или, наконец, тому «неизвестному богу» которому некогда воздвигали алтари древние нежинские греки. Он вынул из кармана двадцатипятирублевый билет и так просто вручил его голове, что присутствующие были растроганы до слез и тут же взяли с Прокопа слово, что он не уедет в Верхоянск, не отведав у головы хлеба-соли.

После представителей городского общества явились председатель и члены земской управы, из которых первый поднес Прокопу богато переплетенный «Сборник статистических сведений по Верхотурскому уезду». Прокоп дал ему пять рублей, сказав.

Дал бы, брат, и больше, да уж очень много вас нынче развелось! На каждом шагу словно западни расставлены! Одному десять, другому двадцать, третьему целых сто... Это и на здоровые зубы оскомину набьет!

Члены верхотурского суда, дабы не подать повода к неосновательным обвинениям в пристрастии, не решились представиться явно, но устроили секретную процессию, которая церемониальным маршем прошла мимо окон занимаемого Прокопом нумера. Причем подсудимый вышел на балкон и одарял проходящих мелкою монетой.

Наконец, пришел и сам верхотурский «излюбленный губернатором человек» и поднес Прокопу диплом на звание вечного члена верхотурского клуба. Узнав в «излюбленном человеке» бывшего сослуживца по белобородовскому полку (во сне мне даже показалось, что он как две капли воды похож на корнета Шалопутова), Прокоп до того обрадовался, что разом отвалил ему полсотенную. Но «излюбленный человек» не сейчас положил ее в карман, а посмотрел сначала на свет, не фальшивая ли.

Ну, теперь айда в суд! — весело сказал Прокоп, когда представления кончились.

Но в суде случилось нечто чересчур уж необыкновенное, нечто такое, что даже и во сне не всегда допускается...

Едва вошел Прокоп, в сопровождении двоих жандармов, как присяжные повскакали с своих мест и хором возгласили:

— Согласно с обстоятельствами дела! Согласно! Поступили бы! Хуже бы сделали! Хуже!

Напрасно протестовал Хлестаков, напрасно поднимал он свой голос, взывая к присяжным:

— Прежде нежели приступлю к изложению обстоятельств настоящего дела, милостивые государи, считаю долгом кратко изложить перед вами, какие взгляды имело древнее римское законодательство на воровство вообще...

— Знаем, знаем! что ты нам очки-то втирать хочешь? — кричали присяжные,— сами дошлые! ишь малолетков нашел!

Иерухима едва не разнесли на куски, и только благодаря Прокопову заступничеству ограничились тем, что вырвали у него пейсы.

— Благодарю вас, дети мои! — говорил Прокоп, рыдая,— благодарю! Гаврюшка! Стрельников! Вот четвертная! Четыре ведра... бегите... живо! Кушайте, голубчики! Веселитесь!

Увидев это, Хлестаков вдруг изменил тактику и изъявил Прокопу готовность из обвинителя сделаться его защитником в Верхоянске. Но Прокоп кратко и строго обезоружил его:

— На-тко, выкуси!

Избитый и полумертвый, Иерухим наконец восчувствовал. Он понял, что до сих пор блуждал во тьме, и потому изъявил желание немедленно принять христианство. Тогда Прокоп простил его, выдал, по условию, тысячу рублей и даже пожелал быть его восприемником.

Процесс кончился; у Прокопа осталось двести пятьдесят тысяч, из которых он тут же роздал около десяти. Сознавая, что это уже последняя раздача денег, он был щедр. Затем, прожив еще с неделю в Верхотурье, среди целого вихря удовольствий, мы отправились уже не в Верхоянск, а прямо под сень рязанско-тамбовско-саратовского клуба...

К сожалению, однако ж, все это было только во

сне; в действительности же мне было суждено проснуться самым трагическим образом.

XI

Я проснулся в больнице для умалишенных. Как попал я в это жилище скорби — я не помню. Быть может, находясь в припадках лунатизма, я буйствовал, бросался из окна, угрожал жизни другим. Но может быть также, что я обязан моим перемещением квартальному поручику Хватову, который, узнав о привлечении меня к опаснейшему политическому процессу, вспомнил о взаимном нашем хлебосольстве и воспользовался моим забытьем, чтоб выдать меня за сумасшедшего и тем спасти от справедливой кары, ожидавшей меня за то, что я подвозил мнимого Левассёра на извозчике... Как бы то ни было, но печальная истина не сразу выяснилась в моих глазах. Некоторое время я все еще жил впечатлениями сна и даже восстановлял себе наяву некоторые эпизоды, которые или совсем улетучились, или очень неясно промелькнули в моем сновидении.

Так, например, в сновидении я совсем не встречался с личностью официального Прокопова адвоката (Прокоп имел двоих адвокатов: одного секретного, «православного жида», который, олицетворяя собой всегда омерзительный порок, должен был вносить смуту в сердца свидетелей и присяжных заседателей, и другого — открытого, который, олицетворяя собою добродетель, должен был убедить, что последняя даже в том случае привлекательна, когда устраняет капиталы из первоначального их помещения) теперь же эта личность представилась мне с такою ясностью, что я даже изумился, как мог до сих пор просмотреть ее. Припомнились мне также некоторые подробности из деятельности «православного жида»: как он за сутки до судоговорения залез в секретное место, предназначенное исключительно для присяжных заседателей (кажется, это было в Ахалцихе Кутаисском), как сначала пришел туда один заседатель и через минуту вышел вон, изумленный, утешенный и убежденный, забыв даже, зачем отлучался из комнаты заседателей; как он вошел обратно в эту комнату и мигнул; как,

вслед за тем, все прочие заседатели по очереди направлялись, под конвоем, в секретную, и все выходили оттуда изумленные, утешенные и убежденные... Такова сила убеждения, которую умеет усвоивать себе даже омерзительный порок, в тех случаях, когда идет речь о добродетели, занимающейся устранением чужих капиталов из первоначальных помещений!

Но все это уже прошло. Исчезли Ахалкалаки, Алешки, Бендеры, Бельцы, Валуйки! В Буинске судят уже не Прокопа, а мирового судью Травина (надоел он, должно быть, местным Прокопам!) за то, что не по чину весело время проводит; в Белозерске по-прежнему позорят заблудших снетков! Из всех лиц, с которыми мне пришлось иметь дело во время годичного пребывания в Петербурге, придется встретиться, быть может, только с тремя (разве еще кого-нибудь неожиданно притащат в больницу!), а именно: с обоими адвокатами Прокопа да еще с Менандром. Увы! и они, подобно мне, находятся в больнице умалишенных, и я в эту самую минуту вижу из окна, как добродетельный адвокат прогуливается под руку с Менандром в саду больницы, а «православный жид» притаился где-то под кустом в той самой позе, в которой он, в Ахалцихе, изумил присяжных. Все они помешались. «Православный жид» помешался на том, чтобы устроить в Петербурге такую же comptoir de confiance»[1], образчик которой он недавно видел в водевиле «Tricoche et Cacolet». Добродетельный адвокат однажды как-то слышал анекдот о девице, которая и невинность сохранила, и капитал приобрела,— и помешался на том, что он столько лет прожил на свете и не знал этого средства. Что же касается до Менандра, то он, как и следовало ожидать, помешался на тушканчиках.

— Преследуют, братец, меня эти мерзавцы! — открылся он мне при первом же свидании,— забрались в мою газету, и ничем их оттуда не вытравишь! Зато, брат, как я узнал теперь этих тушканчиков! Клянусь, не хуже самого Перерепенки! Да что пользы в этом! Одного ухватишь — смотришь, ан другой уж роется где-то и что-то грызет!

[1] кредитная контора.

Обо всем этом, однако же, речь впереди: теперь же я чувствую себя обязанным подвести итоги тому, что́ видел в Петербурге в течение годичного пребывания в этом городе.

Прежде всего я должен оговориться. Я заносил в свой «Дневник» далеко не все, что видел и что происходило со мною и вокруг меня. Во-первых, меня стесняли самые пределы «Дневника», а во-вторых, стесняло еще и то обстоятельство, что не только не обо всем можно, но не обо всем и удобно говорить, особенно в той чисто беллетристической форме, которую, по издавна вкоренившейся привычке, я усвоил своему труду.

Говорю прямо: я совершенно оставил без упоминовения некоторые категории людей и явлений, воспроизведение которых было бы далеко не лишним для характеристики нашего времени. Не одними Прокопами, Менандрами, Толстолобовыми и «православными жидами» наполнен мир; есть в этом мире и иные люди, с иными физиономиями и иному делу посвящающие свою жизнь. Составляя почти незаметное меньшинство, эти люди тем не менее слишком часто служат темой для общественного говора, чтобы можно было их игнорировать. Почему же я ни одним словом не упомянул об них?

Оправдание мое, однако же, проще, нежели можно ожидать с первого взгляда. Прежде всего, не эти люди и не эти явления сообщают общий тон жизни; а потом — это не люди, а жертвы, правдивая оценка которых, вследствие известных условий, не принадлежит настоящему.

Существуют два вида подобных людей и явлений: один, к которому можно относиться апологетически, но неудобно отнестись критически; другой — к которому можно сколько угодно относиться критически, но неудобно отнестись апологетически. Каким образом и откуда произошло это сидение между двух стульев, делающее немыслимою спокойную оценку явлений и фактов, совершающихся у всех на глазах,— я не знаю (то есть, быть может, и знаю, но скромность так уже въелась в мою природу, что я прямо пишу: не знаю), но что оно существует — этого даже клейменый лжец не отвергнет. Зачем же

я буду садиться между двух стульев? зачем я буду стремиться занять позицию, на которой — я знаю это наверно — рано или поздно, тем или другим способом, но провалюсь?

Чтоб сделать это более ясным для читателя, я приведу здесь пример, который, впрочем, в строгом смысле, очень мало относится к настоящему делу. (Я знаю, что «относится», и притом самым близким образом, и все-таки пишу: *не* относится. О, читатель! если б ты знал, как совестно иногда литератору сознавать, что он литератор!)

Возьмем так называемых «новых людей». Я, разумеется, знаю достоверно — как знает, впрочем, это и вся публика,— что существуют люди, которые называют себя «новыми людьми», но не менее достоверно знаю и то, что это не манекены с наклеенными этикетами, а живые люди, которые, в этом качестве, имеют свои недостатки и свои достоинства, свои пороки и свои добродетели. Как должен был бы я поступать, если б повел речь об этих людях?

Начну с пороков. Я мог бы, конечно, не хуже любого из современных беллетристов, лавреатов и нелавреатов, указать на темные (я должен был бы сказать «слабые», но смело пишу: темные) стороны, которые встречаются в этой немноголюдной и, во всяком случае, не пользующейся материальною силой корпорации. Эти темные стороны настолько уже изучены и распубликованы, что мне ничего не стоило бы, с помощью одних готовых материалов, возбуждать в читателе, по поводу «новых людей», то смех, то ненависть, то спасительный страх. Но меня останавливает одно обстоятельство: не будет ли это слишком легкомысленно с моей стороны? не докажу ли я своим бесконечным веселонравием или своей бесконечной пугливостью, что я не совсем умен, и ничего больше! Ведь ежели я стану смеяться или пугать просто: как, дескать, оно смешно или омерзительно! — это, быть может, покажется несколько глупым; а ежели я захочу смеяться или пугать вплотную, то не найдусь ли я вынужденным прежде всего подвергнуть осмеянию самые причины, породившие те факты, которые возбуждают во мне смех или ужас? Вот эти-то причины и приводят меня в смущение.

Кто знает, быть может, известные порочные явления сделались таковыми лишь благодаря порочной обстановке, в которой они находятся? Быть может, если дать человеку возможность выговориться вполне, то ультиматум, который вертится у него на языке, окажется далеко не столь ужасным, как это представляется с первого взгляда? Как знать, что было бы, если бы, и что могло бы случиться, кабы?.. И хотя я отнюдь не утверждаю, что основания для подобных предположений существуют в действительности — я даже думаю, что на деле никаких неблагоприятных обстановок и в помине не имеется,— но ведь возможны же подобные предположения, а если они возможны, то, стало быть, и самый иск, направленный против порочных явлений, становится до крайности рискованным и шатким. Для чего буду я ставить себя в ложное положение? Для чего, отыскивая меду, я добровольно буду направлять свои стопы к такому месту, которое, быть может, скрывает мед, а быть может — деготь? Допустим, что, при известных усилиях, я действительно найду наконец эти темные стороны, сумею в ясных и художественных образах воспроизвести их, и даже отыщу для них лекарство в форме афоризма, что преувеличения опасны. Кому предложу я свое лекарство? Не такому ли больному, который, по самой своей обстановке, никаким лекарством пользоваться не может? И не вправе ли будет этот больной, в ответ на мою предупредительность, воскликнуть: помилуйте! да прежде нежели остерегать меня от преувеличений, устраните то положение, которое делает их единственною основой моей жизни, дайте *возможность* того спокойного и естественного развития, о котором вы так благонамеренно хлопочете!

Вот какая беда может случиться при описании пороков «новых людей». А с добродетелями — и того хуже. Известно, что «новый человек» принадлежит к тому виду млекопитающих, у которого по штату никаких добродетелей не полагается. Значит, самое упоминовение имени добродетелей становится в этом случае предерзостным и может быть прямо принято за апологию. Но писать апологию подобных явлений — разве это не значит прямо идти вразрез мнениям большинства? И притом не просто в разрез,

а в такую минуту, когда это большинство, совершенно довольное собой и полное воспоминаний о недавних торжествах, готово всякого апологиста разорвать на куски и самым веским и убедительным доказательствам противопоставить лишь голое fin de nonreçevoir?[1]

Таким образом, «новый человек», с его протестом против настоящего, с его идеалами будущего, самою силою обстоятельств устраняется из области художественного воспроизведения, или, говоря скромнее, из области беллетристики. Указывать на его пороки — легко, но жутко; указывать же на его добродетели не только неудобно, но если хорошенько взвесить все условия современного русского быта, то и материально невозможно.

Точно такие же трудности представляются (только, разумеется, в обратном смысле) и относительно другой категории людей — людей, почему-либо выдающихся из тьмы тем легионов, составляющих противоположный лагерь, людей, мнящих себя руководителями, но, в сущности, стоящих в обществе столь же изолированно, как и «новые люди», и столь же мало, как и они, сообщающих общий тон жизни (в действительности, не они подчиняют себе толпу, а она подчиняет их себе, они же извлекают из этого подчинения лишь некоторые личные выгоды, в награду за верную службу бессознательности).

Существует мнение, что эти люди уже по тому одному порочны, что находятся в лагере духовной нищеты. Нечего и говорить, что я не разделяю этого мнения. Напротив того, я убежден, что многие из этих людей обладают очень крупными достоинствами и даже оказывали несомненные услуги делу человечества. Описание добродетелей их не только было бы любопытно, но могло бы представить и весьма эффектную картину. Но скажите на милость, каким образом я приступлю к воспроизведению типов этих людей, когда в моем распоряжении находятся *только* добродетели их и когда я буквально не имею в своем свободном распоряжении ни одного материала, на основании которого мог бы хотя одним словом заикнуться об их слабостях, а тем менее о пороках? Ведь в художественном смысле

[1] отказ дать судебному делу законный ход

это будет уже не картина, а светлое пятно, точно так же как будет не картина, а темное пятно в том случае, когда я приступлю к воспроизведению типов «новых людей», придерживаясь лишь безапелляционных суждений, которые сложились об них в обществе!

Я знаю многих очень достойных людей из разряда «торжествующих». Эти люди в свое время были носителями очень почтенных идеалов и стремились к осуществлению их со всем пылом самоотверженности, рискуя даже потерять столоначальнические места, которые они в то время занимали. Само собой разумеется, теперь, когда карьера их уже сделана, мне ничего не стоило бы посвятить перо мое воспроизведению их добродетелей. Но вот — в то самое время, как перо мое готово размахнуться и подписать одобрительный аттестат такому-то «орденов кавалеру», — является, словно на смех, художественное чутье и подсказывает мне: а ведь «кавалер-то» твой не без изъянцев! А следом за тем встревоженное воображение начинает рисовать и целый ряд этих изъянов. Изъян первый: как ни самоотверженно вели себя «кавалеры», но они всегда как-то ухитрялись, что приурочивали свою самоотверженность к «новым местам», или, учтивее сказать, всегда случалось, что из их самоотверженности вытекали новые места. Изъян второй: хотя период самоотверженности для них несомненно миновался, но они настолько злопамятны, что и доселе не могут об нем позабыть. А потому не понимают: 1) что почва, на которой они когда-то стояли, давно изменилась; 2) что речи, которыми они призывали к движению, сделались общим местом; 3) что цели, осуществление которых они считали заветной мечтой жизни, остались позади и заменены другими, хотя и составляющими естественное их продолжение, но все-таки имеющими некоторую от них отличку. Изъян третий: постоянно находясь под игом воспоминаний о периоде самоотверженности, они чувствуют себя до того задавленными и оскорбленными при виде чего-либо нового, не по их инициативе измышленного, что нет, кажется, во всем их нравственном существе живого места, которое не ныло бы от уязвленного самолюбия. Изъян четвертый: чувствуя себя уязвленными, они уже не могут

спокойно смотреть па проходящие перед их глазами новые явления и нередко руководствуются в отношении к последним не совсем хорошим чувством мести.

Конечно, я гоню прочь все эти непрошеные подсказыванья встревоженной мысли, я призываю на помощь всю мою решимость, чтоб как-нибудь обойти их, но что же мне делать с художественным чутьем, которое не хочет знать ни сплошь добродетельных, ни сплошь порочных людей? Как заставить его замолчать, когда оно совершенно ясно доказывает, что всякая картина, чтоб быть правдоподобною, должна допустить сочетание света и теней? Что буду я делать с этими «кавалерами», которых фигуры производят на человеческий ум то же удручающее впечатление, которое производит на зрение ослепительный солнечный луч?

Таким образом, оказывается, что все стоящее до известной степени выше ординарного уровня жизни, все представляющее собой выражение идеала в каком бы то ни было смысле: в смысле ли будущего или в смысле прошедшего — все это становится заповедною областью, недоступною ни для воздействия публицистики, ни для художественного воспроизведения.

Средний человек, человек стадный, вырванный из толпы, — вот достояние современной беллетристики. Взятый сам по себе, со стороны своего внутреннего содержания, этот тип не весьма выразителен, а в смысле художественного произведения даже груб и не интересен; но он представляет интерес в том отношении, что служит наивернейшим олицетворением известного положения вещей. Он представитель той безразличной, малочувствительной к высшим общественным интересам массы, которая во всякое время готова даром отдать свои права первородства, но которая ни за что не поступится ни одной ложкой чечевичной похлебки, составляющей ее насущный хлеб. Кроме этой похлебки, она ничего не знает, и, уж конечно, тот потратил бы даром время, кто предпринял бы труд вразумить ее, что между правом первородства и чечевичною похлебкой существует известная связь, которая скорее последнюю ставит в зависимость от первого, нежели первое от последней.

Как выразители общей физиономии жизни, эти люди неоцененны, и человек, желающий уяснить себе эту физиономию, должен обращать взоры вовсе не на тех всуе труждающихся, которые идут напролом, и не на тех ловких людей, которые из жизни делают сложную каверзу, с тем, чтобы, в видах личных интересов, запутывать и распутывать ее узлы, а именно на тех «стадных» людей, которые своими массами гнетут всякое самостоятельное проявление человеческой мысли. В этом случае самая «стадность» не производит ущерба художественному воспроизведению; нет нужды, что эти люди чересчур похожи друг на друга, что они руководятся одними и теми же побуждениями, а потому имеют одну или почти одну и ту же складку, и что все это, вместе взятое, устраняет всякую идею о разнообразии типов: ведь здесь идет речь собственно не о типах, а о положении минуты, которое выступает тем ярче, чем единодушнее высказывается относительно его лагерь, видящий в чечевичной похлебке осуществление своих идеалов.

Я не думаю, чтоб читатель мог индифферентно относиться к общему тону жизни, хотя бы уровень ее стоял и не весьма высоко. Я согласен, что действительность, которая содержанием своим напоминает сказку о белом и буром бычке, способна возбуждать скорее скуку, нежели желание познакомиться с нею; но знать ее все-таки необходимо, потому что без этого знания невозможна самая жизнь. Возьмите самого самоотверженного человека, такого, идеалы которого прямо идут вразрез с содержанием настоящего,— и об нем нельзя сказать, чтоб он был *властен* расположить свою жизнь вполне согласно с своими идеалами. И его мы знаем не в состоянии спокойного обладания идеалами, а в состоянии борьбы, в которой начало возбуждающее, полемическое очень часто принимает преобладающую роль перед началом положительным, догматическим. Против кого предпринимается эта полемическая борьба в ущерб прозелитизму, имеющему в виду достижение положительных результатов? Против того ли «ветхого человека», который, ради своих личных интересов, стремится остановить развитие жизни? — Да, с первого взгляда, конечно, кажется, что все стрелы борьбы направлены исключительно в эту сторону.

Но борьба была бы слишком легка и равнялась бы единоборству, если б это было так в действительности. На деле, между двумя борющимися сторонами, есть третий член, играющий роль проводника. Через этот проводник проходят все стрелы, и смотря по его свойствам, а равно и смотря по умению пользоваться этими свойствами, они для одной борющейся стороны делаются более, а для другой менее удручающими. Прокопы, Нескладины и проч. именно и составляют этот проводник, и с ним-то я и желал познакомить моего читателя. Не для того познакомить, чтоб он любовался их физиономиями, а для того, чтобы, познав их, он получил возможность сделать для себя более ясным положение минуты.

С такой точки зрения смотрел я на свою задачу, и этот же самый взгляд позволяю себе рекомендовать и моему читателю. Я чужд был всяких претензий возводить в тип кого-либо из моих героев; я знаю, что в каждом из них найдется довольно много противоречий, которые, быть может, дадут место некоторым недоразумениям. Но я прошу читателя видеть в действующих в моем «Дневнике» лицах нечто второстепенное, несущественное, около чего лепится главное и существенное: рассказ о положении минуты и общих тонах современной русской жизни.

Какого же рода итоги можно вывести из сделанного мною беглого обзора положения минуты? Не знаю, согласится ли со мною читатель, но желал бы, чтоб он, вместе со мной, пришел к нижеследующему:

Первый итог — это живучесть идеалов недавно упраздненного прошлого.

Уничтожение крепостного права, сделавшись совершившимся фактом, открыло перед нами новые перспективы, и была одна минута, когда едва ли нашелся бы хоть один член русской интеллигенции, который не сознавал бы для себя ясными (или, по крайней мере, не притворился бы ясно сознающим) все логические последствия этого факта. Либерализм был в ходу и давал тон жизни. Большинство выражало этот либерализм тем, что стыдилось и каялось, меньшинство — тем, что прощало и забывало

прошлое (оставляя, впрочем, за собой право,— по временам поддразнивать покаявшихся). То было время образцовых мировых посредников, которые прежде всего указывали на возвышенный характер лежавших на них обязанностей и только вскользь упоминали о присвоенном этой должности содержании. То было время, когда и покаявшиеся и простившие слились в одних общих объятиях, причем первые, в знак возвращения к лучшим чувствам, сделали на двугривенный уступок и, очистив себя этим путем от скверны прошлого, получили даровые билеты на вход в святилище нового дела. То было время, когда одиноко раздававшиеся голоса Н. Безобразова и Г. В. Бланка вызывали улыбку сожаления и когда сомнения в живучести русского либерализма встречались с ожесточением и ненавистью.

Но сомнения прорывались уже и тогда. И тогда были люди, которые подозревали, что столь порывистый переход от беззаветного людоедства к не менее беззаветному либерализму представляется не совсем естественным. «Посмотрите! — говорили эти сомневающиеся,— Петр Иваныч Дракин-то! еще вчера стриг девкам косы и присутствовал на конюшне при исправлении людей на теле, а сегодня, словно в баню сходил,— всю старую шкуру с себя смыл! Только и слов на языке: «Слава богу, и мы наконец освободились от этого постыдного, ненавистного права стричь девкам косы и наказывать на конюшне людей!» И точно: стоило только вглядеться в Дракина, чтоб убедиться, что тут есть что-то неладное. Весь он вчерашний, и сам вчерашний, и халат у него вчерашний, и вчерашняя у него невежественность, соединенная с вчерашнею же непредусмотрительностью,— только язык он себе новый привесил, и болтает этот язык какую-то новую фразу, одну только фразу, из которой нельзя видеть ни того, что́ ей предшествовало, ни того, что будет дальше. Самая изолированность этой фразы, ее частое, буквальное, автоматическое повторение уже должны были навести на мысль, что либеральничать так отчетливо и притом так одноформенно может только такой человек, который, несомненно, находится под гнетом временного ошеломления.

Но многие примечали, сверх того, что Петра Ива-

ныча по временам как будто передергивает. Что он, хотя и повторит раз десяток кряду: «Наконец мы освободились!» — но вдруг ни с того ни с сего возьмет да и завертится на одном месте, словно ему душно сделается. Что он под шумок что-то подстраивает и округляет: там переселеньице на вертячие пески устроит, в другом месте коноплянички или капустнички оттянет, будто как испокон веку так владел. И затем, покружившись на месте, устроив переселенье и оттягав коноплянички, опять начинает: «Наконец освободились и мы!»

Указывая на эти признаки, маловеры говорили: смотрите! прошедшее этих людей слишком свежо, чтоб они могли разом от него отказаться! Настоящее пришло к ним внезапно; они отмахивались от него, сколько могли, и ежели не в силах были вполне отмахаться, то потому только, что история не дала им устойчивость, а школа приготовила не к серьезному воззрению на жизнь, а к дешевому пользованию ею. Эти люди не только не в состоянии видеть естественные последствия какого бы то ни было факта, но могут лишь скомкать самый конкретный факт и намеренно или ненамеренно довести его до бесплодия...

Признаюсь, однако ж, я не принадлежал к числу этих маловеров. Я помню, я все кричал: шибче! накаливай! Ну, миленькие, еще! еще! еще чуточку. Подобно большинству тогдашних новоявленных либералов, я простирал Петру Иванычу Дракину объятия и говорил: Петр Иваныч! еще вчера ты был весь в навозе, а нынче, смотри, какой ты стал чистенький! Да и мудрено было поступать иначе. В то время и жилось светло, и дышалось легко. Стоило сходить в мировой съезд, чтоб почувствовать, как в груди начинает саднить и по жилам катится какая-то горячая, совсем новая кровь. И я не только сердился на маловеров, но даже с полною откровенностью предлагал им вопрос: что вам еще надобно! Даже и теперь, вспоминая об этом времени, я чувствую, как меня саднит и теплота разливается во всем моем существе, и мне кажется, что если б можно было — о, если б было можно! — остановить часовую стрелку на той самой минуте, когда Петр Иваныч впервые сказал: «Наконец и мы освободились!» — как было бы это хорошо!

Да, это было бы хорошо даже в том случае, если б Петр Иваныч сказал эту фразу не своим, а чужим языком. Что нам за дело до его внутреннего чувства, если он не может применить его на практике! Пусть чувствует себе, как хочет и что хочет, а мы, несмотря на его чувства, будем идти далее полегоньку вперед. Было, положим, без пяти минут восемь, когда он в первый раз произнес: «Наконец-то освободились и мы» — и пусть бы остались эти без пяти минут восемь неподвижно и навсегда. Пусть время шло бы себе, а Петр Иваныч пусть поглядывал бы на часы и все бы думал: успею еще напакостить! ведь всего без пяти минут восемь! Но в том-то и дело, что мы впопыхах забыли остановить маятник, а он, покачиваясь да покачиваясь, и навел Петра Иваныча на мысль: а ведь времени-то, однако ж, довольно ушло!

Благодаря нашей оплошности, эта мысль была для него целым откровением. И он ухватился за нее цепко и горячо, да, пожалуй, и не мог не ухватиться, потому что, говоря по совести, ведь в крепостном праве Петр Иваныч потерял свою Эврипидику. Он потерял ее в ту самую пору, когда чувствовал себя в полном соку, когда ни один физикат в целом мире не нашел бы в нем ни малейшей погрешности, которая бы свидетельствовала о его несостоятельности. Мог ли он позабыть это! И вот, как только он убедился, что время не остановило течения своего, он тотчас же, подобно Орфею, бросился отыскивать свою Эвридику и в преисподнюю, и на Олимп. И долгое время пел он свои чарующие песни, пел их и посреди истопников аида, и в передних небожителей, покуда наконец допелся-таки своего...

Мы, новоявленные либералы того времени, вдвойне виноваты в успехе Петра Иваныча. Вместо того чтоб кричать: шибче! наяривай! и неистовым криком своим приводить в ужас вселенную, нам надлежало: во-первых, как сказано выше, остановить часы и, во-вторых, припасти для Петра Иваныча новую Эвридику. Он малый покладистый, и художественные его требования в этом смысле очень умеренны. Была бы Эвридика, а там, вышла ли она рылом или не вышла,— это для него несущественно. Надобно было, стало быть, приискав для него новую и не очень дорогую Эвридику, поместить их обоих в

безопасном месте, а затем, смотря по обстоятельствам, прикидывать кой-какие безделушки, чтоб не разогорчить старика вконец. И зажил бы себе наш Петр Иваныч на славу, в полном удовольствии от новой Эвридики и позабыв о старой, и жил бы таким образом до той минуты, когда, одряхлев и обессилев, сам пришел бы к заключению, что ему не об Эвридиках думать надлежит, а о спасении души.

Но мы предоставили Дракина самому себе и потому не должны удивляться, что, отыскивая утраченную Эвридику, он пошел не новым путем (сами то мы, либералы, знаем ли, какой этот новый путь?), а тем, который искони топтали его ноги. Нельзя отказать человеку в праве отстаивать себя; напротив того, должно всегда ожидать, что если он, в минуту внезапного нападения, и не сумел выдержать напор, то впоследствии все-таки не упустит ни одного случая, чтоб занять утраченные позиции. Нельзя внезапно оголить человека от всех утешений жизни, не припасши, взамен их, других утешений, или, по крайней мере, не разрешив обстоятельно вопрос о Дракиных вообще и об утешении их в особенности А мы не только ничего этого не сделали, но бессмысленно простирали Дракину объятия и в то же время еще бессмысленнее подшучивали над его тогдашним бессилием.

Сам Петр Иваныч неоднократно жаловался мне на непростительную опрометчивость тогдашних либералов.

Помилуйте,— говорил он,— смешно даже смотреть! Я к ним с полною моей откровенностью: пристройте, говорю, старика, господа! А они в ответ: бог подаст, Петр Иваныч! И ведь еще смеются, молодые люди... ах, молодые люди! Обижают молодые люди старика, да еще язык высовывают! Только и я, знаете, не промах: зачем, говорю, мне Христа ради кусок себе выпрашивать! Я и сам, коли захочу, свой кусок найду!

Найдете ли, Петр Иваныч?!

Найду, сударь, это, как свят бог, найду! Потому неестественное это дело. Если я чем ни на есть помешал, если, с позволенья сказать, занятия мои такого рода, что другим смотреть на меня зазорно, ну, развлеки меня, пристрой, дай другое заня

тие! А нет у тебя другого занятия — ну, отстрани совсем. В прежнее время мы всегда так делали: чуть видишь, который человек шатается,— сейчас его в солдаты или на поселение! По крайности, нет его на глазах! А то — на-тко! «Бог подаст!» Нет, молодые люди, просчитаетесь! Я не только у вас, но и у господа бога моего объедком быть не хочу!

И Петр Иваныч был прав. Теперь Дракин везде: и на улице, и в театрах, и в ресторанах, и в столице, и в провинции, и в деревне — и не только не ежится, но везде распоряжается как у себя дома. Чуть кто зашумаркает — он сейчас: в солдаты! в Сибирь! Словом сказать, поступает совсем-совсем так, как будто ничего нового не произошло, а напротив того, еще расширилась арена для его похождений.

Я искренно желал бы, чтоб кто-нибудь доказал мне, что Дракины и Хлобыстовские переродились и что не только содержание употребляемых ими приемов, но даже наружный вид этих приемов подверглись какому-нибудь изменению против того содержания и вида, который знаком нам с детских лет. Но полагаю, что сам Менандр, этот твердейший в бедствиях человек, который и доднесь с неслыханною дерзостью вопрошает: чего еще нужно? — и тот едва ли найдется возразить что-нибудь основательное против моего предположения. А покуда этого возражения не существует, я считаю себя вправе утверждать, что хотя крепостное право фактически упразднено, но оно еще живо в душах наших и Петр Иваныч даже на волосок не утратил той энергии, которою он отличался в былые времена. И в прежнее время он завывал, как ветер в пустыне, и теперь завывает. Изменение чувствуется только одно: пустыня утратила прежние границы и сделалась как бы беспредельною. От того звуки дракинских голосов распределяются не с прежнею равномерностью. В одном конце слышно, в другом — нет. Но упаси бог очутиться в том районе, куда Петр Иванович полюбопытствовал заглянуть.

Другой итог: неясность целей, к которым могли бы быть применены сохранившиеся идеалы.

Правда, что Петр Иванович Дракин добился своего, но для чего добился — он и сам этого объяснить не может. Единственный ясный результат

его скитаний по преисподним и райским обителям заключается в том, что он поставил на своем и доказал «молодым людям» (увы! как обрюзгли и постарели с тех пор эти «молодые люди»!), что выражение «бог подаст!» в применении к нему, по малой мере, опрометчиво. Что он пристроится, ежели на то пошло, пристроится сам своими средствами, и у них, «молодых людей», не попросит помощи...

Но к чему пристроится? — вот тут-то именно и начинается для Петра Иваныча целый ряд запутанностей и колебаний.

— А ведь я, брат, прогадал! — признавался он мне на днях,— думал, что штука-то в том только и состоит, что руками направо и налево тыкать, а выходит, что я тычу-то в пусто!

— Как в пусто! все же, чай, разорите кого-нибудь, Петр Иваныч! — скромно возразил я.

— Чудак! да ты пойми! Разорить-то я, разумеется, разорю! Я, братец, нынче такое засилие взял, что кого хочешь... вон он! вон он по улице в пальтишке бежит... хочешь, разорю?! Да ведь не сумасшедший я, брат, чтоб зря разорять! Вот ты что сообрази! Ведь оно хорошо руками-то вперед тыкать, когда знаешь, что из этого толк выходит. Прежде вот я знал... Знал я, мой друг, зачем я тыкаю... «предмет» я перед собой видел! ну, а нынче предмет-то этот... где он? Ты вот день-то деньской бегаешь, из себя выходишь, тычешь и направо и налево, а предмет-то он... фью!

— Да; без предмета... он точно... тяжеленько как будто...

— И как еще тяжело-то! Целый день кровь в тебе так ходуном и ходит! Ату его! лови! догоняй! — только и слов! А вечером, как начнешь себя усчитывать... грош!! Сколько крови себе испортил, сколько здоровья убавил, а кого удивил! Вон он! вон он! ишь улепетывает... кканалья! Ну, и поймаю я его; ну, и посажу на одну ладонку, а другой — прихлопну; ну, и мокренько будет... Кого я этим удивлю, скажи ты мне, сделай милость!!

Петр Иваныч умолк на минуту и затужил.

— Грош! — повторил он в раздумье,— один только грош! Сколько раз я об этом и сам с собой загадывал, и с Михайлом Никифорычем советовался: отчего, мол, у нас прежде благорастворение воздухов

было, а нынче, как ни бьемся, — грош! «Да и у меня, брат, не густо!» — говорит. Так-то вот!

— Но в таком случае, не лучше ли, Петр Иваныч, это дело оставить? — почтительно доложил я.

— Как! мне оставить! — Петр Иваныч вскочил с места и взвился во весь рост, словно получил электрический удар в поясницу, — мне оставить! Да я тысячу раз на дню издохну, а уж *его* дойму! Я его доконаю! Я его усмирю! Я нынче вот каков: не мне, так никому. Пусть лучше собаки съедят! Да ты знаешь ли, как он меня позорил! Сам целоваться лезет, а исподтишка облавы устроивает! Уж на что я... коренник! — а и тут думал, что конец мой пришел! Трубит, это, в трубу, словно в день Судный! Всех, братец, зовет! Смотрите, говорит, как я с Петра Иваныча Дракина маску снимать буду!.. Снял ты — черта с два!

— Да ведь сами же вы говорите, что пользы от этого *для вас* никакой нет!

— И говорю, и буду говорить — а руками тыкать все-таки буду. Потому, я так уж нынче пристроился. Деваться мне больше некуда. С чего они на меня наскочили? Мешал я, что ли, им? Сидел я у себя в усадьбе и ни в какие ихние политики не вмешивался. По мне, хоть дери, хоть милуй — мое дело сторона! Вот так я, сударь, тогда себя вел! Даже из ихнего брата придет, бывало, который: несчастлив? — На, братец! Садись за стол, ешь, пей, разговаривай по-французски с женой, с детьми играй! В баню хочешь — в баню иди, экипаж занадобился — экипаж бери! Я дворянин, сударь! Я знать не хочу, кому какая политика нравится, а кому не по нраву! Учись! критикуй! доходи! На то ты и дворянин, чтоб до всего доходить! А они! — на-тко! Про то забыли, как я их, курицыных детей, за свой стол сажал, а вспомнили, как я Кузьку да Фомку на конюшне наказывал!

— Да ведь вы и теперь дворянин, Петр Иваныч! И вы дворянин, и они дворяне — ну, что бы вам стоило эти дрязги оставить!

— Нет, сударь, теперь я уж не дворянин, а мститель-с! Мститель я-с — и ничего больше. Только эта гордость во мне и осталась-с. А по прочему по всему, я даже так тебе скажу: ждать иногда

нечего! вот они меня на какую линию поставили!

Слушая эти рассуждения, я не могу не признать одного: что Петр Иванович, по крайней мере, настолько умен, что нимало не обольщает себя насчет своей задачи. Он прямо говорит, что предмет этой задачи... фью! Прав он также и в своих упреках тем «молодым людям», которые когда-то обнимали его и в то же время напутствовали словами «бог подаст!». Что он в свое время относился к «молодым людям» благосклонно, когда они попадали в беду, что он не тиранил их, а сажал за свой стол и предоставлял разговаривать по-французски с своей женой — это я испытал на себе, когда я написал «Маланью» и попался по этому случаю впросак. Тогда я впервые и познакомился с Петром Ивановичем (с тех-то пор он и говорит мне «ты», на которое я отвечаю почтительным «вы»). Я помню, я явился к нему сконфуженный и думал, что он вот-вот сейчас вцепится в меня (увы! *теперь* он так бы и поступил; он не только бы вцепился в меня, но запер бы меня в вонючую конуру, лишил бы огня и воды и проч.); но он не только не вскинулся на меня, но даже погладил меня по голове.

— Ну-ну! — сказал он мне,— сшалил! проштрафился! ничего! там — свои счеты, а здесь — свои. Бог милостив! Дворянину — без того невозможно. Я сам, брат, молод был! сам при целом полку командиру нагрубил! Знаю!

И вслед за тем действительно велел накрывать на стол, представил меня жене и предоставил мне разговаривать с нею по-французски...

Зачем же я впоследствии обругал его (каюсь, и я принадлежал к числу тех «молодых людей», которые, обнимая, травили Петра Ивановича, думая, что он никогда уже не очнется)? И обругал притом бесплодно, бессмысленно, точь-в-точь так, как он поступает теперь сам по отношению к бывшим своим ругателям. И как мы его в то время допрашивали! Господи! как мы допрашивали! Я думаю, еще и теперь икры его сохранили следы зубов, которыми мы вцеплялись в них! И никогда ведь не говорили мы прямо: твое, дескать, время, Петр Иваныч, прошло — умирай, старик! но старались прежде всего в чувство его привести, а потом и уязвить. И где уязвить? на собственной его почве, на той почве крепостного

права, которую он и в геологическом, и в статистическом, и в этнографическом отношениях, знал как свои пять пальцев!

— Тогда-то ты девке Маришке косу стриг, а этого тебе *предоставлено не было!* — ласково обличал один.

— Тогда-то ты у Кузьки жену себе в любовницы взял, а этого тебе *предоставлено не было!* — еще ласковее донимал другой.

— Тогда-то ты все шесть дней сряду народ на барщину гонял, а этого тебе *предоставлено не было!* — совсем уже по-родительски вразумлял третий.

— Помилуйте, господа! — оправдывался Дракин, — на все ваши вразумления могу ответить четырьмя словами: *тогда существовало крепостное право!*

Но мы ничему не внимали, и я очень живо помню, как однажды мой друг Кирсанов самым учтивым образом закоченел, впившись зубами в одну из икр Петра Иваныча!

В одном только Петр Иваныч не прав: он сознает, что предмета для тыканья руками уже не существует, и все-таки продолжает тыкать (и притом тыкает совсем не в то место, куда следует тыкать, как это сейчас будет объяснено). Но и тут неправота его только кажущаяся. Если нет предмета, которого благополучие оправдывало бы совершение подвигов, то есть воспоминание о подвигах, есть привычка к ним; есть, наконец, сознание, что ему, Дракину, ни при чем больше и состоять невозможно, кроме как при подвигах. Лишившись предмета, тыканье руками хотя и утрачивает свою ясность, но с точки зрения энергии и силы никакого ущерба не терпит. Беспредметное, абсолютное, трансцендентальное, оно питает само себя, так, как питал и питает сам себя тот распивочный и раскурочный либерализм, который можно на золотники получать из лавочек современных пенкоснимателей. Худо, конечно, делает Петр Иваныч, что себя беспокоит, но куда же он денется с своим темпераментом? Как уничтожит свои воспоминания? как вычеркнет из прошлого кровную обиду свою?

Но все эти оправдания Петра Иваныча для меня дело второстепенное. Пусть даже он будет тысячу раз неправ — для меня важно уже то, что сам созна-

ёт свою деятельность беспредметною. Этим признанием сказано все: и то, что у него уже нет ясной цели, и то, что единственное побуждение, которое руководит им, есть побуждение гнева и то, наконец, что он не может продолжать своей деятельности иначе, как под условием поддерживания своей нервной системы в постоянно напряженном состоянии. Как хотите, а он несчастлив. В самых разнообразных формах и видах является он перед нами всюду, и на улице, и в кафешантанах, и в ресторанах, и даже в бесчисленных канцеляриях, и, по-видимому, улыбка никогда не сходит с лица его. Но не верьте этой улыбке, ибо я знаю наверное, что на сердце у него скребут мыши. Он уже понимает, что предмет его раздражений — фью! и что сколько бы он ни разорял, ни расточал, собственное его благополучие не увеличится от того ни на волос!

Но, сверх того, не следует забывать, что и для того, чтобы разорять, надо все-таки еще случай иметь, надо быть поставленным в такие условия, при которых подлинно разорять можно. Но разве большинство Дракиных находится в таких условиях? — Нет, громадная масса их может относиться к разорению лишь платонически. Она может только облизываться, поощрять, кричать: браво! — но ничего более...

Я представляю себе Дракина деятельного, который, ложась на ночь, сводит концы с концами, и вдруг приходит к убеждению, что в результате получил — грош! Какое горькое чувство должно овладеть им! Какой стыд! какое раскаянье!

Но представьте же себе то множество Дракиных, которым даже концы с концами сводить не приходится, а приходится только ежечасно сознавать, что предмет их вожделений — фью! Что должны ощущать *эти* Дракины? К какому должны они прийти заключению относительно своего настоящего и будущего?

По моему мнению, они должны прийти к тому заключению, которое я назову третьим итогом моего «Дневника»: к сознанию жизненной пустоты и невозможности куда-нибудь приткнуться, где-нибудь сыграть деятельную роль.

Один *может* тыкать вперед руками, но, по довольном упражнении, приходит к убеждению, что

пользы от того не приобретается никакой. Другому и хотелось бы пристроиться к этому ремеслу, но для него уже нет места на жизненном пире. Как ни велика разница в положении обоих «ветхих людей», но и для того и для другого конец одинаков. Этот конец формулируется словами: сознавать, что Эвридика найдена только по наружности, в действительности же она потеряна безвозвратно,— и затем тосковать, вздыхать и безнадежно всматриваться в даль...

Я положительно утверждаю, что Петр Иваныч понимает бесплодность своего нынешнего ремесла и что он потому только упорствует в нем, что ему, вне этого ремесла, нечего делать, некуда приткнуться. Несмотря на то что мы, русские, никогда особенно деятельно не заявляли себя с политической стороны, никто не способен с таким упорством оставаться на исключительно политической почве деятельности, как мы. Понятие, сопряженное с словом «делать», как бы не существует для нас; мы знаем только одно слово: распоряжаться. «Распоряжаться», то есть смещать, увольнять, замещать, повышать, понижать и т. д. А это-то именно и есть «политика», в том смысле, как мы ее понимаем. Еще недавно Петр Иваныч жаловался мне:

— Плохо, братец! Такой кавардак в имении идет, что просто хоть все бросай!

— Да вы бы распорядились, душа моя! (Иногда я позволяю себе называть его ласкательными именами, и он — вот как он прост! — нисколько не обижается этим!)

— И то, братец, распоряжался! В один год двоих управляющих сменил — чего еще!

— А вы бы сами съездили, посмотрели, указали бы что следует!

Говоря это, я чувствовал, что лицо мое горит от стыда, ибо я сам очень хорошо сознавал, что слова мои — кимвал бряцающий, а советы — не больше, как подбор пустых и праздных слов. Увы! я и сам не делатель, а только политик! К счастью, однако ж, Петр Иваныч не заметил моего смущения: он сам в это время поник головой и горькую думу думал.

— Нет,— сказал он наконец,— незачем! Раз сменил управляющего — не помогло, другой раз сменил — не помогло, приходится сменять в третий раз!

И только. В этом вся наша панацея, в этом перспектива нашего будущего. Если мы не можем ясно формулировать, чего мы требуем, что же мы можем? Если у нас нет даже рутины, а тем менее знания, то какое занятие может приличествовать нам, кроме «политики»? Если же и «политика» ускользает от наших рук, то чем мы можем ее заменить, кроме слонения из одного угла в другой? Какие надежды могут нас оживлять, кроме надежд на выигрыш двухсот тысяч?

С упразднением крепостного права от нас отошел труд. Не только тот даровой труд, который приносило с собой это право, но труд вообще. Мы сделались свободными от труда вообще и остались при одной так называемой политической задаче. Но спрашивается, какая такая политика, которую может преследовать Петр Иваныч, оголенный от крепостного права?

Поймите, читатель, весь ужас этого положения! Быть осужденным на жизнь и в то же время никакого дела перед собою не видеть! К земству примкнуть — но мы не знаем, как гать построить, и где канаву прорыть; не знаем, да и не хотим знать, ибо наше дело не указать, а приказать. В мировые судьи выбираться — но мы не только законов не знаем, а просто двух фраз толково связать не можем — только смех один! Вот, кажется, и политические занятия, такие, которые всего более нам по нутру,— а выходит, что и они к рукам не идут! А тоска-то какая! Сидеть и думать о том, как скорбные листы в больницах в исправности содержать или каким образом такую канаву посереди дороги провести, чтоб и пеший и конный — всякий бы в ней шею себе сломал!

Тем не менее мы не сразу пришли в уныние, а тоже попробовали: и в земские собрания ездили, стараясь, по возможности, сообщить полемико-политический оттенок вопросу о содержании лошадей для чинов земской полиции, и в качестве мировых судей действовали, стараясь извлечь из кражи мотка ниток на фабрике какой-нибудь политический принцип. Всё мы испробовали, но нигде не обрели «политики», а взамен того везде наткнулись на слово: тоска! тоска! и тоска!

Вот почему мы, провинциальная интеллигенция,

в настоящее время валом валим в Петербург Все думается: не полегче ли будет? не совершится ли чудо какое-нибудь? не удастся ли примазаться хоть к краешку какой-нибудь концессии, потом сбыть свое учредительское право, и в сторону. А там за границу, на минеральные воды...

Je m'en fiche, contrefiche [1]

Не спорю, если б это удалось, оно было бы во многих отношениях недурно, но тут настигает нас другой вопрос — финансовый. Откупа́ уничтожены, а концессию получить положительно трудно. Нынче это дело так округлено, в такие границы поставлено, что не с Прокоповым носом соваться туда. Это своего рода укрепленное место, в которое даже сам Петр Иваныч Дракин (он, по всей справедливости, считается коноводом кадыков, и действительно держит высоко свое знамя) - и тот не мог проникнуть, как ни старался. А жаль. Потому что, если б предоставили Дракину вести на общественный счет железные пути, во-первых, он, конечно, не оставил бы ни одного живого места в целой России, а во-вторых, наверное, он опять почувствовал бы себя в обладании «предмета», и вследствие этого сердце его сделалось бы доступным милосердию и прощению. По крайней мере, он сам удостоверял меня в этом.

— Если бы хоть одну дорогу дали,— открывался он мне,— уж как бы, кажется, на душе легко было. Ну вот, ей-богу... ну, ей-же-ей, простил бы! А то ведь как на смех: жид придет — бери! Бери! владай! что угодно делай! А свой брат, дворянин, явится — «да ты знаешь ли, из чего рельсы-то делаются?!» Каково это слушать-то!

— А ведь коли по правде сказать, оно и точно. Вот я, например, хоть и знаю, что рельс — он железный, а какой он там, кроме того что железный,— вот хоть убей меня, сказать не могу!

— И я, братец, не знаю, да кто же знает нынче! Вот приступлю — и буду знать. И зачем мне знать, коли мне незачем! Жид-то пархатый — ты думаешь, он лучше меня знает! Нет, он тоже, брат, швах по этой части! Вот подходцы он знает — это так! На это он мастер! В такую, брат, помойную яму с го-

[1] Мне — наплевать, наплевать.

ловой окунется, какая нам с тобой и во сне не приснится!

Не приснится! Так говорит Петр Иваныч, но не слишком ли самонадеянно он утверждает это? Не знаю почему, но мне кажется, что не только приснилось бы, а даже... Но мы даже в этом смысле получили такое поверхностное образование, что и сны-то у нас недостаточные выходят...

Как бы то ни было, но финансовый вопрос есть в настоящую минуту самый жгучий вопрос для нашей интеллигенции. Умея только распоряжаться и не умея «делать», мы оказываемся совершенно бессильными относительно созидания новых ценностей, и какие предприятия мы ни затевали в этом смысле — всегда и везде, за очень малыми исключениями, оказывался, по выражению Дракина, «кавардак». Но этого мало: мы не умеем обращаться даже с теми ценностями, которые дошли до наших рук независимо от наших усилий...

— В ту пору, как застигла нас эта катастрофа,— рассказывал мне Петр Иваныч,— душно мне стало! так душно! Идите, говорю, с моих глаз долой! Всех на выкуп! в казну! И зачал, брат, я спешить! Горит у меня под ногами — да и только. Получу, думаю, выкупную ссуду, землю, которая получше, себе отрежу — и начну, благословясь, вольным трудом работать. То есть и сплю и вижу, как этот вольный труд начнет у меня действовать! Ну-с, хорошо. Окрутили меня живым манером: опекунскому совету долг вычли (я, братец, на тридцать семь лет занимал, а с меня *вдруг* всё вычли), кой-какие частные долги удовлетворили, остальное выдали на руки. Ну, слава богу, думаю, хоть и не бог знает сколько суммы осталось, зато вольный труд теперь у меня сам собой пойдет! Поехал к Бутенопу, накупил машин — то есть, какая сеноворошилка у меня была: ну, просто конфетка! — нанял рабочих и сижу, жду у моря погоды. Месяц у меня идет, другой идет — я все молчу, все деньги плачу. Иногда, знаешь, разберет меня зло, что все как будто не так; вспомнишь это, как прежде распоряжался, и выбежишь в поле. Ни души, сударь! Тишина, братец, мертвая; ни голосу, ни шелесту; солнце сверху так и льет! «Где вы, черти!» — ни звука. Словно все умерли! А сердце так и кипит. Побегаешь, по-

кружишься, наткнешься на борозду, упадешь — домой! Ах, какое это чувство, мой друг! какое это ужасное чувство, когда в тебе кипит, и вдруг — никого! Натурально, сейчас за управляющим: Разбойник! дармоед! — И что ж! первое слово в ответ: не извольте ругаться! — Не в ругательстве дело, курицын ты сын! Не ругаюсь я, а чего ты, мерзавец, смотришь! отчего в поле никого нет! — Оттого, что рабочие отдыхать пошли.— Отдыхаете, бестии! всё-то вы отдыхаете! — Помилуйте, Петр Иваныч, вы вот только что чай откушали, а мы еще где до свету встали!.. Ну, успокоишься, то есть не успокоишься, а скажешь себе: «Ну вас к чертям! распинайте!» Сядешь, это за книжку, потом позавтракаешь, жена «варьяции на русские темы» сыграет, дети придут: папа! пойдем в парк либо на пруд рыбу ловить! Таким манером пройдет еще часа три-четыре — опять не утерпишь и побежишь в поле. Ни души, сударь! «Да надо же отдохнуть народу!» — уж огрызается тебе в лицо управляющий. Потом обедать, потом послеобеденный сон, потом чай, потом гулянье. Нагулявшись, опять в поле... ни души! Все уж пошабашили и собираются ужинать. Так я *его* и не видал, как он там вольным трудом работает! Возьмешь с собой в сумерки управляющего и пойдешь с ним по полям.— «Так, что ли, разбойник, пашут?» — «А то как же еще!» — «Так, что ли, мошенник, жнут?» — «Да вы, сударь, сами изволили бы показать, что от нас требуется!» Мерзавец! Знает ведь, анафема, что я показать не могу! Бился я, бился таким манером, наконец бросил. Жду. Осенью живо обмолотили, вывеяли, ссыпали. Рожь уродилась сам-четверт, овес — сам-третий, гречиха — не собрали семян. «Подлецы! разве так вольный труд должен давать! ведь он сам-десят должен давать — да и тогда только концы с концами свести можно!» Молчат. «Да что вы молчите, анафемы! говорите, по крайней мере, отчего это?» — «С землею у нас, Петр Иваныч, ничего не поделаешь! Холодная!» — «Как холодная? все была теплая, а теперь холодная сделалась!» — «И прежде была холодная, только прежде потому теплее казалась, что мужички подневольные были!» Сел я тогда за хозяйственные книги, стал приход и расход сводить — вижу, в одно лето из кармана шесть тысяч вылетело,

кроме того что на машины да на усовершенствование пошло. Нет, думаю, шалишь! Таким образом никакой выкупной ссуды недостанет! Надо это дело бросить! А тут кстати хороший человек нашелся, надоумил меня. «Зачем, говорит, вам, Петр Иваныч, беспокоиться! сдали бы вы мне землю по рублю серебром за десятинку на круг, а сами бы в Москву или на теплые воды!» Что ж, думаю, чем по пяти тысяч в год убытку терпеть, лучше хоть тысячу чистоганчиком получить! Взял да в одну минуту и порешил дело! Подмахнул контракт на двенадцать лет; машины, скот, семена и другое имущество сдал арендатору и велел укладываться в Москву. «Лес чтобы не рубить, Иван Парамоныч!» — «Зачем, ваше превосходительство, лес рубить!» — «Ведь ты, Иван Парамоныч, меня не обманешь? аренду выстоишь?» — «Зачем, ваше превосходительство, обманывать! креста, что ли, на мне нет!» — «Ну, то-то же! теперь с богом! Трогай! В Москву!»

— Ну-с, дальше-с!

— А дальше, брат, даже вспоминать стыдно. Осталось у меня в то время тысяч шестьдесят выкупными свидетельствами (у меня, брат, ведь полторы тысячи душ было!). Деньги хорошие, и будь они у меня теперь, я бы знал, как мне поступить. Я понял бы, что мне ничего другого не остается, как получать на мой капитал проценты, устроиться в Москве где-нибудь под Донским, лишнюю прислугу распустить, самому ходить к Калужским воротам за провизией и нанять учителя, чтоб учил детей латинскому языку. По крайности, хоть из них деятели бы вышли. Но тогда чад из головы-то еще не весь вышел. Приехал в Москву, а там деньги страсть как нужны. Стал я, брат, деньги под залог раздавать, и роздал, нечего сказать, выгодно: процентов по двенадцати в год. Думаю: как это я до сих пор не догадался! а про то и забыл, что для этой операции нужно законы тоже знать, а зачем мне их было знать, коли мне незачем? Ничего, однако ж; осмотрелся, получил проценты вперед и вижу: неминучее дело свой дом купить. И дом, по-нашему, по-дракински, чтобы такой: во-первых, зало в четыре окна; во-вторых, гостиную в три окна; в-третьих, диванная, потом спальня, детские, кофишенная, столовая, для меня конурка, два флигеля: в одном кухня,

в другом людские. Словом сказать, комнат с двадцать. Многонько это, а меньше, как ни гадали, никак невозможно. Потому, в Москве — все наши налицо. И Хлобыстовские, и Ноздревы, и Кирсановы, и Лаврецкие, и Райские, всё свои, родные, все в Москву понаехали, все живут и в баклуши бьют. Купил, двадцать тысяч отдал. Потом трех жеребцов купил: двух бурых в масле в дышло — для жены, одного, серого в яблоках, одиночку,— для себя. Денег-то сколько осталось? Прожил я таким манером с год — не могу пожаловаться: хоть бы век так жить! Живу, братец, да и полно! И даже надежды имею. На что надежды — вот хоть убей, объяснить не могу, а только чувствую, всем нутром чувствую, что придет что-то... Но сбудется *оно,* да и все тут! Только тогда меня осадило, когда срок закладным пришел. Все до одной оказались незаконными. То есть не то чтоб было какое-нибудь сомнение, что я деньги взаймы дал, а так как-то вышло, что денег-то этих возвращать мне не следует. Иду, сударь, в суд, а в суде вижу: сидят всё те «молодые люди», которые, помнишь, мне в ту пору «бог подаст!» сказали. Не вытерпел: «Разбойники!» говорю.— Сейчас это в протокол, и зачали они меня судить. Про то-то, что кровные мои денежки гулять пошли, и думать перестали, а всё судят «поступок» мой. «Какой, говорю, это «поступок», молодые люди? ну, будем говорить без азартности, ну, разве вы не разбойники!» Опять — в протокол, и всё, знаешь, тихим манером: «Успокойтесь, Петр Иваныч! мы уж не те! мы прежние заблуждения-то уже оставили! а вы бы лучше адвоката себе хорошего наняли!» — «Адвоката! ни за что! — говорю.— Сам от вас отгрызусь!» И можешь ты себе представить, мой друг, ведь я по сю пору под судом состою! Вот я с тобой теперь говорю, а *там*, может быть, меня в Сибирь на поселение ссылают! Только нет, брат, шалишь! Петр Иваныч Дракин докажет! Он докажет! Он сумеет доказать!

Это воспоминание так взволновало Петра Иваныча, что он некоторое время не говорил, а только испускал глухое рычание. Лицо у него сначала побагровело, потом посинело, так что я не на шутку начал опасаться за окончание рассказа о его похождениях. Но, слава богу, выпив стакан воды, он успокоился.

— Вот, мой друг,— сказал он мне,— ты мне *в то время* тоже разные эти колкости говорил... помнишь?

— Виноват, Петр Иваныч, был тот грех!

— Ну, так попомни ты мое слово: эти — пенкоснимателями, что ли, ты их называешь?— они вдвое против нас, стариков, язвительнее будут. Ума у него с горошину, благородных чувств никаких, вот и сидит он и ехидствует, как бы ему эту горошину в оборот пустить. И пущает. Там, где мы руками зря вперед тыкали, они на законном основании тебя изведут. Мы — фюить!— и дело с концом! а они зудом жизнь твою вызудят. Я, брат, простить могу; он — не простит. Не человек, брат, он, а шкап с выдвижными ящиками. На всяком ящике у него ярлык наклеен, а потому ему сразу видно, который ящик выдвинуть следует. И ежели ты, например, калач украл, *я* тебе скажу: ты это что, курицын сын, наделал?— а *он* тебя призовет: вы, скажет, калач вам не принадлежащий себе присвоили, так за это вы подлежите, по такой-то статье, такому-то истязанию. И не проси его! не разговаривай! Ничего, скажет, я не могу, потому что воровство, во-первых, строго воспрещено законом, а во-вторых, обществу может угрожать гибель, если воров не преследовать! И ведь достигнут они! превознесутся! произойдут! Ты вот шутишь, говоришь, что я разоряю, а кого разоряю-то я? Вон он... вон голоштанник-то по улице фалдочками трясет... *его* я разоряю! вот кого! А того «молодого человека», пенкоснимателя-то... нет, брат, его уж не разоришь! Мы как в наше время достигали? Мы достигали врассыпную, вразброд! Стало быть, если ты не матушкин сынок или не тетка тебе графиня Татьяна Борисовна — хоть ты за двадцать человек аппетит имей, а все ничего не поделаешь! Разве что из сотни одному счастье порутирует. А *эти* переплелись! Они не разбирают промеж себя, кто матушкин, кто курицын сын, а прут вперед — и все тут. Уж и теперь они, не хуже любого попа, на нас, стариков, засматриваются. Ты еще похолодеть-то не успел, а он уж тут как тут. Шнырит около кого ему следует, объясняет свои поступки, благородно распинается — и достигнет! Достигнет, потому что, по правде сказать, везде он один кандидат. Сунь ты рукой в щучий садок — все равно, как ни шарь,

щурёнка вытащишь! Так-то, душа моя. На чем бишь я, однако, остановился, рассказывая о похождениях-то своих?

— На закладных, Петр Иваныч. Закладные ваши признаны были не подлежащими удовлетворению.

— Ну да. Поехал я тогда опять в деревню, а жене велел московский дом продавать. Приезжаю — и что вижу? Машины мои проданы, скот — тоже, лес вырублен... «Иван Парамонов! мошенник! вор ты! говорю».— «Никак нет, ваше превосходительство»,— говорит. «Как же ты не мошенник! где лес-то? где машины? где скот?» — «Лес, говорит, на топливо срублен, потому не околевать же мне на морозе; машины со временем испортились, скот тоже со временем весь выпал!..» Поверишь ли, мой друг, я даже глаза выпучил. В суд, думаю, идти — так, верно, я сам в контракте что-нибудь напутал! Значит, придешь туда, только выругаешься — что толку? Бросил все — и айда в Петербург! Спасибо, генерал Мудров меня еще по полку знал — ну, приютил. А сколько есть таких, о которых генерал Мудров даже понаслышке понятия не имеет!

Да, сколько таких?!! — повторю вместе с Петром Иванычем и я.

А на них-то именно и отразился преимущественно финансовый вопрос. Пошли они сначала бойко, потом тише, тише и наконец сели. По временам фортуна как бы благоприятствовала им: тот в земскую управу попал, тот, в качестве мирового судьи, ребятишкам на молочишко доставал, но когда оказалось необходимым и там делиться жалованьем с секретарями да письмоводителями — тогда... тогда в перспективе осталось уныние — и больше ничего. А вместе с унынием появилось какое-то страстное, жгучее стремление в Петербург, с целью попытать, не будет ли тут чего...

Но ничего уже не оказалось, потому что «молодые люди», о которых Петр Иваныч говорил, что они переплелись между собой, все пенки сняли. Кадыки, обескураженные, полинявшие, слоняются по стогнам столицы, и до того оробели, что не могут даже объяснить, чего им хочется. Те, которые еще *могут* тыкать руками вперед, начинают догадываться, что этим, кроме удовлетворения чувству мести, все-таки ничего не достигнешь; а те, которые не мо-

гут давать рукам волю, только взывают: откуду мне сие — и в тщетном ожидании ответа утрачивают всякую бодрость.

На первых порах эти люди и в Петербурге начинают бойко. Сознание, что в кармане еще есть выкупное свидетельство и что оно в то же время последнее, заставляет их рисковать. Либо пан, либо пропал — и вот наш кадык бежит к Елисееву, кутит у Донона и Дюссо, платит 25 р. за кресло на Патти, беснуется в театре Буфф и так далее. И везде нюхает, везде ищет, как бы нужного человека подцепить. Там прослышит: дорогу новую придумывают, в другом месте - банк облюбовывают, в третьем — такое предприятие, ну, такое предприятие.. ах, прах побери да и совсем! Господи, да неужели же нельзя как-нибудь примазаться! Хоть чуточку! Я, ваше превосходительство, только за кончик подержусь — а там и в сторонку-с! Но «нужный человек» охотно пьет с кадыком шампанское, когда же речь заходит о предприятии,— смотрит так ясно и даже строго, что просто душа в пятки уходит! «Зайдите-с», «наведайтесь-с», «может быть, что-нибудь и окажется полезное» — вот ответы, которые получает бедный кадык, и, весь полный надежд, начинает изнурительную ходьбу по передним и приемным, покуда наконец самым очевидным образом не убедится, что даже швейцар «нужного человека» — и тот тяготится им.

Тогда кадык вступает во второй период своего земного странствия: он выцвел, перестал гарцевать и ходит обедать не к Дюссо, а к Палкину и Доминику, а вечером направляется в Орфеум. Но он еще не окончательно утратил надежду, ибо если настоящий, заправский предприниматель уже ускользнул из его рук, то у него все-таки остался предприниматель второстепенный. И чем ниже спускается кадык по лестнице предприятий, тем фантастичнее и фантастичнее становятся эти последние. Что тут не предлагается? о чем не ведутся оживленные споры? А результат один: конец выкупному свидетельству. И конец этот тем неизбежнее, что предприниматель второстепенный только к тому и направляет свои усилия, чтобы ускорить обращение капитала, который недаром же и название носит «оборотного»...

И вот наступает третий период: оборотный капитал съеден и пропит. Ежели в два предшествующих периода человек не имел никаких надежд, кроме: «вот кабы» да «уж тогда бы», если он и тогда, в сущности, только слонялся, сам не понимая, зачем ел и пил больше, чем надо, и восхищался Патти, в душе припоминая девку Палашку, то теперь, когда все уже «совершилось», когда весь круг пройден и даже нет в виду ни «кабы», ни «если бы» — какой удел может предстоять ему, кроме уныния?

Тогда он отправляется в греческую кухмистерскую, заигрывает с потомком Перикла и Аспазии, и даже льстит ему, с тем чтобы устроить себе кредит...

Но в первом ли, во втором ли, в третьем ли периоде,— шлющийся человек все шлющийся человек. Одумается ли он, наконец? Решится ли покончить с столицею и удалиться в свою «Проплёванную»? Как-то встретит его там Иван Парамонов? Дозволит ли ему поселиться в собственном его разваливающемся доме и жить смирно, пока не придет смерть, и не сметет с лица земли этого «лишнего человека», которого жизнь, со времени «катастрофы», сама сделалась постоянною, неперемежающеюся катастрофой!

Таков этот «ветхий», отходящий в вечность человек. Порою он еще огрызается и вскидывается, как озаренный, но, в сущности, он уже понимает, что время его прошло и что даже огрызания ни на волос не увеличат его благополучия.

На место его народился тип новый, деятельный. Но не с новыми идеалами, а с старыми же, в которые, взамен «нраву моему не препятствуй», пущена легкая струя бездельничества и хищности. Это люди, насквозь проникнутые убеждением, что бессовестность и тупоумие призваны обновить мир. Они представляют собой четвертый итог, о котором я поведу теперь речь.

Среди потока противоречивых вздохов, укоров и негодований, которыми по временам обдает меня Петр Иваныч, у него вырвалось одно очень правдивое и меткое замечание: он разорил не того, против кого устремлял свой натиск, а совсем постороннего человека, до которого, собственно говоря, ему никакого дела не было.

Что сделал ему сей юноша, который так прилежно исследует, кто были прародители человека? что сделала ему сия юница, которую волнует женский вопрос и которая хочет во что бы ни стало доказать, что женщина, в умственной сфере, *может* все то, что *может* и мужчина? Разумеется, Петр Иваныч ответит на эти вопросы: они, канальи, *утопии* там выдумывают! — но ответ этот едва ли будет искренен. Кто в двадцать лет не желал и не стремился к общему возрождению, про того трудно даже сказать, что у него было когда-нибудь сердце, способное сочувствовать и сострадать. Что истина эта небезызвестна и Петру Иванычу — это доказывается тем, что он сам когда-то при целом полку командиру нагрубил. Он сам неоднократно при мне говаривал: учись, критикуй, доходи — дворянину без этого нельзя! Почему же теперь, когда он видит, что дворянин доходит, учится, критикует, — сердце у него кипит, и он задыхается от негодования! Как хотите, а это факт, по малой мере, загадочный.

Да, тут есть какое-то горькое недоразумение. Я догадываюсь даже, что и доходящий молодой человек, и анализирующая девица — все это не более как эффигия, которую Дракин расстреливает, думая сразить *того другого*, «молодого человека», который некогда сказал ему: бог подаст! Только этот другой-то «молодой человек» был настолько проницателен, что заблаговременно встал вне выстрела; когда же увидел, что Петр Иваныч и затем остается при своем намерении «палить», то был настолько предупредителен, что указал ему, где скрывается *истинный* мерзавец и либерал. «Я действовал неблагоразумно, — сказал он, — но я находился под гнетом целой армии негодяев, — и в этом заключается мое оправдание. Я сам всей душой ненавижу их, и вы весьма меня одолжите, если выпалите по ним».

Я воображаю себе физиономию Петра Иваныча, когда он увидел, что дело принимает такой оборот. Его личный враг, его заведомый оскорбитель стоит перед ним — а оказывается, что Петр Иваныч не только не может достать его, но что этот же враг ему же указывает, в кого в настоящую минуту палить следует. Разве не трагическое это положение!

— Теперь я уж привык, — жаловался мне Петр

Иваныч,— а первое время, как стал он обходы-то эти кругом меня делать,— веришь ли, я чуть с ума не сошел! «Как, говорю: разве не ты... помнишь?» — «Точно так, говорит, я-с. Только я совсем не против вас действовал. Видел я тогда, что и *они* горячатся, да и вы горячитесь... Ну, вот, чтоб отвести *им* глаза, я и сделал диверсию-с...»

Я полагаю, однако ж, что тут не было никакой «диверсии». Сначала это было легкомыслие, соединенное с надеждой, что Петр Иваныч не очнется; потом — страх при виде Петра Иваныча, показывающего несомненные признаки жизни, и наконец, соображение, что не существует такого положения, в котором не было бы возможно в мутной воде рыбу ловить.

Как бы то ни было, новый тип народился. Это тип, продолжающий дело ветхого человека, но старающийся организовать его, приводящий к одному знаменателю яичницу, которую наделал его предшественник. Старый «ветхий человек» умирает или в тоске влачит свои дни, сознавая и в теории, и в особенности на практике, что предмет его жизни... фью! Новый «ветхий человек» выступает на сцену и, сохраняя смысл традиций, набрасывается на подробности и выказывает неслыханную, лихорадочную деятельность...

Но жизнь не делается краше вследствие этой усиленной деятельности. Никакая лихорадка, никакое кипение не в состоянии дать жизни содержания, которого у нее нет. Напротив того, чем кипучее бессодержательная деятельность, тем более она утомляет и обессиливает. Старое содержание упразднилось, новое не выработывается, и не выработывается, быть может, потому, что интеллигенция, по-видимому, еще не вполне уверена в полном упразднении старого содержания. Отсюда — неприятное двоегласие, неестественное сидение между двумя стульями, которое разрешается скукой, апатией, равнодушием ко всем интересам, стоящим несколько выше «куска»; отсюда — крики: «не расплывайтесь!», «не забудьте, что наше время — не время широких задач!» и т. п.

«Хищник» — вот истинный представитель нашего времени, вот высшее выражение типа нового ветхого человека. «Хищник» проникает всюду, захваты-

вает все места, захватывает все куски, интригует, сгорает завистью, подставляет ногу, стремится, спотыкается, встает и опять стремится... Но кроме того, что для общества, в целом его составе, подобная неперемежающаяся тревога жизни немыслима,— даже те отдельные индивидуумы, которые чувствуют себя затянутыми в водоворот ее, не могут отнестись к ней как к действительной цели жизни. «Хищник» несчастлив, потому что если он, вследствие своей испорченности, и не может отказаться от тревоги, то он все-таки не может не понимать, что тревога, в самом крайнем случае, только средство, а никак не цель. Допустим, что он неразвит, что связь, существующая между его личным интересом и интересом общим, ускользает от него; но ведь об этой связи напомнит ему сама жизнь, делая тревогу и озлобление непременным условием его существования. «Хищник» — это дикий в полном значении этого слова; это человек, у которого на языке нет другого слова, кроме глагола «отнять». Но так как кусков разбросано много, и это заставляет глаза разбегаться; так как, с другой стороны, и хищников развелось не мало, и строгого распределения занятий между ними не имеется, то понятно, какая масса злобы должна накипеть в этих вечно алчущих сердцах. Самое торжество «хищника» является озлобленным. Он достиг, он удовлетворен, но у него, во-первых, есть еще нечто впереди и, во-вторых, есть счеты сзади...

Но масса тем не менее считает «хищников» счастливыми людьми и завидует им! Завидует, потому что это тот сорт людей, который, в настоящую минуту, пользуется наибольшею суммой внешних признаков благополучия. Благополучие это выражается в известной роскоши обстановки, в обладании более или менее значительными суммами денег, в легкости удовлетворения прихотям, в кутежах, в разврате... Массы видят это и сгорают завистью. Но стоит только пристальнее вглядеться в эти так называемые «удовольствия» хищников, чтоб убедиться, что они лишены всякого увлечения, всякой искренности. Это тяжелые и мрачные оргии, в которых распутство служит временным, заглушающим противовесом той грызущей тоске, той гнетущей пустоте, которая необходимо окрашивает

жизнь, не видящую ни оправдания, ни конца для своих тревог.

За хищников смиренно выступает чистенький, весь поддернутый «пенкосниматель». Это тоже «хищник», но в более скромных размерах. Это почтительный пролаз, в котором «сладкая привычка жить» заслонила все прочие мотивы существования. Это тихо курлыкающий панегирист хищничества, признающий в нем единственную законную форму жизни и трепетно простирающий руку для получения подачки. Это бессовестный человек, не потому, чтобы он сознательно совершал бессовестные дела, а потому, что не имеет ясного понятия о человеческой совести.

«Хищник» проводит принцип хищничества в жизни; пенкосниматель возводит его в догмат и сочиняет правила на предмет наилучшего производства хищничества.

«Хищник», оставаясь ограниченным относительно понимания общих интересов, очень часто является грандиозным, когда идет речь о его личных интересах. Пенкосниматель даже и в этом смысле представляет лишь карикатуру «хищника»: и в этом он не любит «отнять», но любит «выпросить» и «выждать».

«Хищник» почти всегда действует в одиночку; пенкосниматель, напротив того, всегда устраивает скоп, шайку, которая, по временам, принимает размеры разбойнической.

«Хищник», свежуя своего ближнего, делает это потому, что уж такая ему вышла линия; но он все-таки знает, что ближнему его больно. Пенкосниматель свежует своего ближнего и не задается даже мыслью, больно ли ему или не больно.

«Хищник» рискует; пенкосниматель идет наверное.

«Хищник» не дорожит приобретенными благами; пенкосниматель — любит спрятать и капитализировать.

«Хищник» говорит коротко, отрывисто: он чувствует себя настолько сильным, чтоб пренебречь пустыми разговорами; пенкосниматель не говорит, а излагает; он любит угнести своего слушателя и в многоглаголании надеется стяжать свою душу!

«Хищник» мстителен и зол, но в проявлении

этих качеств не опирается ни на какие законы; пенкосниматель мстителен и зол, но при этом всегда оговаривается, что имеет право быть мстительным на основании такой-то статьи и злым — на основании такого-то параграфа.

Наконец, «хищник», несмотря на весь разгул деятельности, скучает; пенкосниматель — никогда не скучает, но зато сам представляет олицетворение скуки и тошноты.

Итак, скучает старый ветхий человек, скучает и новый ветхий человек. Чтó делает другой — «новый человек», — пока неизвестно, да не он и дает тон жизни.

А тон этот — или уныние, или мираж, вследствие которого мнимые интересы поневоле принимаются за интересы действительные...

ДНЕВНИК ПРОВИНЦИАЛА В ПЕТЕРБУРГЕ

В БОЛЬНИЦЕ ДЛЯ УМАЛИШЕННЫХ

Продолжение. «Дневник провинциала в Петербурге»[1]

I

Итак, я опамятовался в больнице для умалишенных...

Когда я проснулся, в окна чуть-чуть брезжил белесоватый свет. В комнате было холодно, голо и неприютно; против кровати, у противоположной стены, стоял диван, покрытый потертою и во многих местах прорванною клеенкой; кроме него, стояло два-три стула и круглый стол. До слуха моего доходил шум голосов и топот беспорядочной беготни, из чего я заключил, что пробуждение больницы находится в полном разгаре. Я бросился к двери, но она была заперта. Напрасно стучал я, напрасно потрясал ручкой замка — никто из проходивших мимо не обращал на меня внимания. Наконец, часов около девяти, послышалось повертывание ключа в замке; дверь отворилась, и в комнату вошел неизвестный мужчина.

— Имею честь рекомендоваться: здешний доктор! — сказал он, подавая мне руку.

— Очень рад, но прежде всего позвольте узнать, где я нахожусь?

— Не считаю нужным скрывать от вас печальную истину: вы находитесь в больнице для умалишенных.

Я чувствовал, как кровь хлынула мне в голову и потом опять отхлынула. Это был «конец», тот таинственный «конец», которого я всегда смутно ожидал и к которому всегда относился с трепетом. Признаюсь, однако ж, я никогда не представлял его себе в этой форме. Я знал, что «конец» придет, что он придет не для меня одного, но и для Прокопа, для Дракиных, Хлобыстовских и других всуе

---

[1] «Дневник провинциала в Петербурге» печатался в «Отечественных записках» за 1872 год. *(Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

чающих движения воды, но почему-то мне представлялось, что он придет где-нибудь в «закусочном заведении», в Орфеуме, в Эльдорадо или в другом каком-нибудь увеселительном приюте,— то есть придет конец, вполне сообразный с характером всего моего прошлого. И вдруг — сумасшедший дом!

— Стало быть... я сумасшедший?— с ужасом вырвалось у меня.

— Да; и вы должны знать это. Современная метода лечения такова, что прежде всего сам больной должен энергически помогать врачу в его усилиях. А это может быть достигнуто лишь в том случае, когда больной вполне сознает, в чем заключается его болезнь, и сам всеми зависящими от него средствами устраняет то, что может содействовать ее развитию.

— Доктор! я не знаю, ни каким образом, ни по какому поводу я попал сюда, но, во всяком случае, считаю долгом протестовать. Я совершенно так же мало сознаю себя умственно поврежденным, как и вы себя. Я протестую-с.

— Да; я знаю, что вы считаете себя здоровым. Я практикую около двадцати лет и не встречал еще ни одного душевнобольного, который не был бы убежден, что он вполне здоров. Это общее правило, из которого составляют исключение только люди, пораженные общею парализией мозговых органов. Одни они не протестуют, и конечно, не протестуют только потому, что даже протеста никакого формулировать не в состоянии.

— Итак, я сумасшедший!.. Это невероятно, но я должен этому верить. Вы, психиатр, удостоверяете меня в том... Прекрасно-с. На чем же, однако, я помешан?

— Я имел только один день, вчерашний, для наблюдений над вами. Вы находитесь в первом периоде помешательства, и потому более или менее близкое выздоровление ваше весьма вероятно. К сожалению (это я говорю в скобках), вы не меланхолик, а маниак. Меланхоликам у нас не житье, а масленица, маниаков же, от времени до времени, приходится запирать в отдельное помещение. Что же касается до предмета вашего помешательства, то это миллион, который будто бы украден у вас после вашей смерти одним из ваших друзей.

— Но ведь это же правда, доктор, что мой миллион украден!

— Разумеется, правда, но правда лишь в том смысле, что в вас довольно твердо сложилось такое убеждение. В сущности, сообразите, однако, какая же это правда! Мы вот стоим здесь и разговариваем, а вы уверяете, что у вас, *после вашей смерти,* украли миллион!

Я широко раскрыл глаза. В самом деле, что я такое сейчас сказал? Ведь я, так сказать, признал действительность моей смерти! Господи! да неужели же я и впрямь сумасшедший!

— Доктор! Я сказал глупость. Но я сознаю это, поверьте мне. Дело в том, что в последние дни я попался в руки шайки шалопаев, которая целый месяц самым постыдным образом издевалась надо мной. Затем последовало нервное расстройство, я видел сон, и...

— Ну да, ну да. Это всегда так начинается, и я очень рад, что вы довольно ясно сознаете причины, которые привели вас к помешательству. Всякое умопомешательство имеет источником какое-нибудь очень сильное внешнее впечатление, произведенное на мозг (во сне или наяву — это безразлично). Присоедините к этому малокровие, недостаточное действие пищеварительных органов — и в результате непременно получится умопомешательство.

— Но уверяю вас, доктор...

— Я верю вам. Я знаю, что вы убеждены в совершенно нормальном состоянии ваших умственных способностей. Но я желал бы, для вашей пользы, чтоб вы убедились в противном. Ибо, как я уже сказал, только тогда наше лечение может иметь надлежащий успех, когда вы сами будете помогать ему со всею энергией, какая находится в вашем распоряжении.

— Но скажите, по крайней мере, как я сюда попал?

— Вас привез квартальный поручик Хватов. Это прекраснейший молодой человек, вполне современный, и притом питающий к вам искреннейшую привязанность. Он говорил мне, что тут случилась какая-то неприятная политическая история, в которую вы, как человек благонамеренный, посещающий театр Берга, конечно, не могли бы попасть, если б

не подверглись временному расстройству умственных способностей.

— Помилуйте! Какая же это «история»! Политический суд... в Отель дю-Нор! Ведь это, наконец, пасквиль! И какое право имеет этот Хватов совать свой нос, где его совсем не спрашивают!

— Как квартальный поручик, господин Хватов имеет право совать свой нос всюду. По крайней мере, так выходит по новейшему учению о децентрализации, которую, впрочем, между нами будь сказано, многие у нас смешивают с централизацией. Но успокойтесь, мой друг! В вашем положении главное — это избегать даже самомалейших волнений. И надеюсь, что вы сами постараетесь усвоить себе эту мысль и не вынудите нас прибегать к ваннам, рукавицам, к одиночному заключению, одним словом, ко всем тем неприятным средствам, которые предписываются нам врачебною наукой, в видах успокоения одержимых недугом, подобным вашему.

Последние слова доктор произнес с такою любезною улыбкой, что для меня сделалось совершенно ясным, что, позволь я себе самое крохотное волненье,— рукавицы и одиночное заключение уже готовы к услугам моим.

— Прекрасно. Это прекрасно. И долго я должен буду прожить у вас под страхом рукавиц и одиночного заключения?

— Не знаю. Тут все будет зависеть от собственных ваших усилий, от той суммы энергии, которую вы лично употребите, чтоб содействовать своему выздоровлению. Но могу сказать в утешение, что люди, находящиеся в первом периоде умопомешательства и строго следующие предписаниям врача, обыкновенно выздоравливают в течение трех — шести месяцев.

— И ни копейки дешевле?

— Примеры более быстрого выздоровления хотя и бывают, но редко. Во всяком случае, термин, который я сейчас назвал, есть средний.

— Так вы решительно не хотите верить, что я не помешанный?

— Никаких сомнений в этом смысле не имею.

— В таком случае объясните мне, по крайней мере, какой предстоит мне обязательный режим, покуда я нахожусь в этом приятном заведении?

— У нас три категории больных. Во-первых, паралитики, которые обыкновенно умирают очень скоро вслед за поступлением в «заведение». Во-вторых, хронические, которые никогда или почти никогда не вылечиваются (здесь есть субъект, который двадцать лет сряду находится в одном и том же положении). Наконец, в-третьих, одержимые острым помешательством, которые, будучи захвачены вовремя, почти всегда вылечиваются и к числу которых принадлежите и вы. Больные первых двух категорий пользуются полною свободой, не выходя лишь из пределов регламента заведения. Что касается до больных третьей категории, то они осуждены на безусловное спокойствие, и потому все, что может возмутить это последнее, абсолютно воспрещается. Вы, например, не имеете права ни читать, ни писать, ни иметь ни с кем сношений, кроме лиц, принадлежащих к заведению. Затем, в 7 часов утра вставание, в 8 — чай, в 11 — завтрак, в 2 — обед, в 7 — вечерний чай и в 9 — спать. В промежутках вы можете знакомиться с вашими товарищами по заключению, можете делать гимнастику, играть в шахматы, в карты, на биллиарде и прочее.

— Вы, кажется, сказали: ни читать, ни писать?

— Это запрещено в особенности строго.

— Доктор! вы меня без ножа режете! Я только что дал слово моему другу Прелестнову написать для его газеты статью: «Десять лет счастливейшего пристанодержательства». Что скажет Менандр, если я завтра, ко дню его тезоименитства, не доставлю ее!

— Успокойтесь. В настоящее время господин Прелестнов, подобно вам, находится в «заведении». Вы увидитесь с ним, и я беру на себя сообщить ему о том крике истинной горести, который вырвался из вашей груди ввиду невозможности исполнить принятое вами обязательство.

— Вы говорите, что Прелестнов... о боже! Но «Старейшая Всероссийская Пенкоснимательница»! Но наши юные, еще столь нетвердо стоящие на ногах земские учреждения! Но наши гласные суды! Что будет со всем этим! Кто разберет по косточкам иск игуменьи Митрофании с наследниками скопца Солодовникова? Кто скажет: с одной стороны, игуменья Митрофания не права, хотя, с другой сто-

роны, она несомненно права? Кто к сему присовокупит: с одной стороны, суду предстояло определить, хотя, с другой стороны, ему ничего определить не предстояло?

— К счастью для него, господин Прелестнов принадлежит к числу «хронических», а потому «Старейшая Всероссийская Пенкоснимательница» ничего не потеряет от постигшего его несчастия. Как «хронический», господин Прелестнов может и читать и писать, сколько ему угодно, а следовательно, и редактировать какую угодно газету. Не далее как вчера я читал его передовую статью, где он доказывает, как глубоко заблуждаются те, которые утверждают, будто дважды два равняются стеариновой свечке. И право, для человека умственно поврежденного, логика господина Прелестнова довольно удовлетворительна. По крайней мере, он гораздо последовательнее, нежели, например, господин Нескладин в статье «О девяносто шести истинах (по числу золотников в фунте), которые должен иметь в виду искусный адвокат в каждом защищаемом им деле». Кстати: вы, конечно, не знаете, что и господин Нескладин находится в нашем заведении?

— Боже! и Нескладин! Но после этого, вероятно, и Неуважай-Корыто?!

— Очень может быть. Но покамест он находится еще на свободе. Есть, однако ж, повод думать, что ваше предчувствие сбудется скоро, потому что в настоящее время он пишет статью: «Какую роль в русской литературе играл бы воронежский литератор Де-Пуле, если б он писал в начале царствования императора Александра Благословенного?» Я слышал, что наш знаменитый историограф, господин Богданович, доставил ему громаднейший запас любопытнейших материалов для разъяснения этого вопроса.

— Ради бога, доктор! Нельзя ли отвратить его от этой работы! Пусть лучше доказывает неподлинность романса: «Не уезжай, голубчик мой!» Но Де-Пуле! Ведь это такой сюжет! такой сюжет! Тут и здоровый человек...

— Судьбы божии неисповедимы,— сентенциозно отвечает доктор.— Бог дает разум, бог же и отнимает его. Не будем вмешиваться в пути провидения.

Мы оба на минуту поникли головами, как бы подавленные мыслью о неисповедимости путей, которыми провидение, в своей благости, считает нужным вести нас.

— Но Прелестнов... какой же предмет его помешательства? — снова начал я.

— Он помешался на сусликах, «как известно, приносящих такой громадный вред нашим молодым, еще неустановившимся учреждениям». Вы знаете, что он и прежде охотно помещал в своей газете статьи о подвигах сусликов, и вот теперь оказывается, что публицистика эта не прошла для него без наказания. Чувствительность его возрастает каждодневно, и мне стоит больших усилий уверить его, что суслики далеко не все съели и что стараниями юного, еще нетвердо стоящего на ногах земства от их хищности спасены неистощимые запасы хлеба в зерне и муке, которые могут быть вывезены за границу без опасения, что внутренние рынки когда-нибудь оскудеют лебедой.

— Вот я всегда ему говорил, что не оскудеют. Не правда ли? ведь не оскудеют? Ведь не останемся мы без лебеды?

— Не останемся никогда. По крайней мере, это искреннейшее мое убеждение.

— Бедный Менандр! Ну, а Нескладин — давно он здесь?

— Недели две. До вчерашнего дня помешательство его было двухпредметное. Во-первых, он был убежден, что во всяком деле имеется не одна истина, а столько, сколько в фунте золотников. Во-вторых, он слышал анекдот о какой-то просвирне, которая и невинность сохранила, и капитал приобрела, и хочет доискаться, какое она употребила для этого средство. Но со вчерашнего дня к этому прибавился третий пункт: он ропщет на игуменью Митрофанию, зачем она не пригласила его в защитники по делу с наследниками скопца Солодовникова.

— И могу я их видеть?

— В настоящую минуту нет, потому что оба уехали (разумеется, в сопровождении сторожа). Прелестнов отправился в редакцию, а Нескладин в суд, где у него назначена на сегодня какая-то защита.

— Странно! Помешан, а защищает дела!

— Да; но у них такой устав. Требуются нравственные гарантии, да еще чтоб курс юридических наук был пройден, а насчет умственных гарантий ничего не упомянуто. Так что окончившая курс юридических наук и ни в чем предосудительном не замеченная лошадь может действовать совершенно свободно, ежели клиент вверяет ей свои интересы.

— Так вы меня решительно отсюда не выпустите?

— Решительно. До тех пор, пока вы совершенно не выздоровеете. Ни слова больше об этом.

— Слушайте! Это интрига Прокопа!

— Опять Прокопа?

— Ну да, Прокопа!.. вот того самого, который украл мои деньги!

Доктор грустно покачал головой.

— И вы хотите уверить меня, что не помешаны!

— Доктор! вы правы! Это черт знает что такое. Прокоп... деньги... житье в Петербурге... Скажите, а был такой случай, что одного купца сыновья напоили пьяным и поместили в вашу больницу?

— Жертвы недоразумений могут случиться везде. Провидение, мой друг, даже науку не гарантировало от заблуждений! — сентенциозно ответил мне доктор, поднимая глаза к небу, как человек, твердо уповающий, что всеблагое провидение и впредь не оставит науку без заблуждений.

— И вы надевали на этого купца рукавицы?

— Я делал то, что предписывает наука. Наука, милостивый государь, — это такая вещь, которая не знает компромиссов. Так, по крайней мере, учит нас ваш друг, господин Прелестнов. Наука, говорил он мне не далее как вчера, — это храм, в котором во всеоружии стоит Неуважай-Корыто и долбит молебны! Но, впрочем, довольно об этом. Покуда больные прогуливаются в саду, не хотите ль осмотреть заведение? Кстати, я ознакомил бы вас и с нашими порядками.

Мы обошли довольно длинный ряд небольших комнат. В каждой стояла кровать, а в некоторых по три и по четыре. В последних помещались больные, платящие minimum за свое содержание. В стороне находилось несколько довольно обширных зал,

служащих сборными пунктами для больных; здесь была устроена гимнастика и стоял биллиард.

— У нас больные пользуются полной свободой,— сказал мне доктор,— они могут оставаться в своих номерах, могут посещать друг друга, собираться в общих залах и т. д. Иногда между больными затеваются драки, но это бывает довольно редко, и мы их тотчас же разнимаем.

— Драки! но ведь это ужасно!

— Успокойтесь, мой друг. Наши больные все равно что малолетные. Чувство оскорбления им недоступно! Они так же легко мирятся, как и ссорятся.

— Позвольте! Больные, то есть помешанные,— это так. Для помешанных съесть плюху или две — действительно ничего не составляет. Но ежели между больными, по недоразумению, очутился здоровый человек... вот, например, как я...

— А! вы все о том же... Итак, продолжаю. Наши больные пользуются известными правами. Они имеют право играть в карты, гулять в определенные часы в саду, носить какую угодно одежду (хотя бы даже военную), кушать подаваемый им обед и прочее. В этом отношении у нас допускаются даже прихоти. Но, кроме прав, у больных имеются еще обязанности, из коих главнейшая заключается в том, чтобы не роптать на порядки, которые здесь приняты. Всякое нарушение в этом смысле сопровождается ванною, кожаными рукавицами и одиночным заключением.

— Ах! это ужасно! Есть-то, есть-то, по крайней мере, дают ли у вас?

— Пища у нас дается здоровая и достаточная. Вот, кстати, мы и до кухни дошли. Повар! что у нас нынче готовлено к обеду?

— Суп протоньер-с, корюшка-с, пирожное шпанские ветры-с.

— Шпанские ветры? Я целого гуся, доктор, могу съесть, а вы меня на шпанских ветрах держать будете! Ужели это *достаточная* пища!

— Повторяю: пища у нас дается здоровая и достаточная. Если б вы были «хронический», я позволил бы вам, разумеется на ваш счет, заказать и еще одно-два блюда. Но вы «острый». Острым в нашем заведении, сверх установленной пищи,

предлагаются: свежий воздух, достаточный моцион и здоровый, укрепляющий сон. Затем, по окончательном излечении, каждый имеет право отправиться к Дюссо и спросить там, что ему угодно. Но не раньше, как по окончании лечения!

– По крайней мере, позвольте узнать, когда можно надеяться на это «окончательное излечение»? Вот, например, я. Я не понимаю даже, каким образом я здесь очутился. Кто в этом деле судья?

– Я,— ответил он с такою уверенностью, что меня подрал по коже мороз.— Конечно, вас будут свидетельствовать в губернском правлении, но так как данных, на основании которых можно было бы вывести правильное заключение насчет нормальности или ненормальности ваших умственных способностей, еще не имеется, то хотя бы вы и протестовали, вас все-таки оставят на испытании. Затем, вас месяца через два вновь освидетельствуют и вновь оставят на испытание. И так далее. Тот купец, о котором вы меня спрашивали, тоже протестовал, даже очень-очень протестовал, но это не помешало ему полгода пробыть в нашей больнице. Вообще, прежде всего, в вашем выздоровлении должен убедиться *я*. Покуда *я* не убедился, у меня в руках будет всегда очень хорошее оружие против вас – это журнал ежедневных наблюдений над вами, который составляю я и опровергнуть который вы, как человек, считающийся умственно поврежденным, не в силах. Всякий больной убежден, что он здоров, но журнал ежедневных наблюдений говорит противное. Поэтому я советовал бы вам вполне положиться на меня. Если же вы не последуете этому совету, то едва ли можно даже приблизительно предсказать, как скоро господин Дюссо будет иметь честь сервировать вам languettes de boeuf, sauce tomates...[1]

– Доктор! Я вижу перед собой двери ада!

– Отнюдь. Мы просто стоим перед дверьми номера первого, в котором помещается мой лучший пациент, господин штабс-ротмистр Поцелуев.

Ба! Поцелуев! не пензенский ли? не сын ли корнета Петра Ивановича Поцелуева?

---

[1] бычьи языки в томатном соусе.

— Он пензенский, и, вероятно, сын того Поцелуева, которого вы знаете, потому что его зовут Иваном Петровичем.

- Ваня! да ведь это мой троюродный племянник! Неужели и он сошел с ума?

- Да, он хронический. Помешательство его самое разнообразное, но главных мотивов три. Во-первых, он полагает, что ему, не в пример другим, одному в целой армии дозволено носить выпускные воротнички; во-вторых, что он венгерский гонвед и был командирован графом Бестом в Мадрид, чтоб оттеснить господина Марфори и заменить его в милостях экс-королевы Изабеллы, и в-третьих, что ему разрешено устроить международный цирк. Остальные пункты помешательства, как, например, убеждение, что королева Изабелла подает своим подданным пример грациозного исполнения качучи, или еще, что он вынужден был выехать с своим цирком из Ташкента, потому что его кобылам начали делать слишком выгодные предложения,— все это не больше как детали, которые вертятся около трех главных пунктов. Вообще, это очень добрый малый, который вполне сохранил идеалы своей прошлой жизни, разумеется, преувеличив их. Ба! да вот, кажется, и он сам возвращается с прогулки!

Действительно, в эту минуту, внизу лестницы, послышалось пение моего племянника. Сначала он пел общекавалерийский романс «La donna è mobile»[1], но вдруг бросил его и запел:

A Provins
Trou-la-la.

Mon oncle![2] — заревел он, увидев меня.

Ну вот, и прекрасно. Charmé de vous voir en pays de connaissance[3],— сказал доктор.— Мсьё Поцелуев! расскажите-ка вашему дядюшке, как вы ездили с поручением в Мадрид.

— Ah! mais c'est tout une histoire![4]

- Ну да. Расскажите. Au revoir, messieurs![5]

---

[1] «Сердце красавицы склонно к измене»
[2] Дядюшка!
[3] рад видеть вас в обществе родственника.
[4] Ах! это целая история!
[5] До свидания, господа!

Сказав это, доктор удалился, оставив меня лицом к лицу с Ваней.

Передо мной стоял высокий, ширококостный, но худой и бледный юноша, в котором я с трудом узнал прежнего, столь памятного мне Ваню Поцелуева. Не более как полтора года тому назад я видел его — и какая с тех пор произошла разительная перемена! Тогда это был настоящий пензенский коренник, белый, румяный, выпеченный, с жирною, местами собравшеюся в складки грудью, с трепещущими от внутреннего ликования ляжками, с заплывшими глазами, имевшими исключительное назначение представлять собой орган зрения, с лицом, на котором, казалось, было написано: был, есть и всегда пребуду в здравом уме и твердой памяти. Вне пределов службы у него было только четыре претензии: 1) чтобы, при сгибании у локтя руки, мышцы верхней ее половины образовывали совершенно круглое и твердое, как железо, ядро; 2) чтобы за кулисами театров Буфф и Берга все кокотки понимали его как образованного молодого человека; 3) чтобы татары всех ресторанов, не беспокоя его расспросами, прямо сервировали ему тот самый méni, который он имел обыкновение в данное время употреблять, и 4) чтобы не манкировать ни одного представления в цирке Гинне. Ко всему прочему он был равнодушен и даже не добивался чести называться «консерватором», к чему в настоящее время стремится всякая сколько-нибудь благовоспитанная лошадь. Он просто «жил» или, лучше сказать, не возбранял, чтоб жизненная сила в нем действовала...

Таким, по крайней мере, он представлялся нам, его родным, видевшим в нем гордость и утешение рода Поцелуевых. Мы знали в нем телеса («не уколупнешь!» — невольно думал всякий из нас, взирая на него), но не знали души и вряд ли даже подозревали ее существование. И вот теперь оказывается, что мы ошибались, что и у него, где-то далеко за кокардою, помещалась душа, а в этой душе потихоньку копошилась тоненькая-тоненькая струйка того, что известно под именем сознательности. И он имел свои идеалы, и он мечтал. Мечтал об экс-королеве Изабелле, а может быть, и об экс-императрице Евгении. Мечтал о кобыле «Одалиске» и

жеребце «Шамиле». Мечтал о том, что когда скончается дядя, корнет Поцелуев-второй (этот дядя без ума любил Ваню и назначил ему все свое сердобское имение), то он сейчас же обратит полученное наследство в деньги и выстроит на царицыном лугу обширнейший в мире цирк, в котором, в виде крохотных приделов, будут помещаться все прочие ныне существующие цирки. При неважности этих мечтаний, он мог бы прожить с ними всю жизнь, оставаясь в здравом уме и твердой памяти, и никакое губернское правление, конечно, не уличило бы его в противном. Но наступило время реформ и разом доконало этот мощный организм, вызвав наружу всю чушь, которая дотоле таилась на дне души. Успехи, сделанные войсками всех стран и во всех родах оружия, усовершенствования в форме воинской одежды, уяснение значения воинской корпорации и ее отношений к массе так называемых pékins[1] — все это не могло не вызвать Ваню к деятельности, не взбудоражить его умственных сил. Но так как силы эти были сами по себе не велики и сверх того были заблаговременно подточены фантастическими вожделениями несомненно глупого свойства, то результаты умственного пробуждения Вани оказались самые жалкие. Он разом открыл шлюзы, которыми дотоле сдерживались его душевные движения, и, однажды открыв их, уже не мог воспрепятствовать свободному течению той дребедени, которая и прежде в скрытом виде угнетала его.

И вот теперь Ваня стоял передо мной, неузнаваемый, обновленный. Розы и лилии исчезли с его щек; грудь впала; ляжки не трепещут; голос получил резкие, болезненно-звенящие тоны; глаза беспокойно вспыхивают и — о, удивление! — даже кажутся выразительными.

— Итак, cher oncle, вы желаете, чтоб я рассказал вам о моей campagne diplomatique à Madrid?[2] Так-с? — спросил он меня не без некоторого фатовства, когда мы расположились в его нумере.

— Да, пожалуйста! Ты знаешь, как меня интересуют успехи всего вашего семейства!

[1] штафирок.
[2] дипломатической поездке в Мадрид?

— Eh bien, je vais vous satisfaire[1]. Но предупреждаю, что у меня очень-очень немного времени. Je suis en affaires ce matin, voyez-vous[2]. Во-вторых, я заключаю внутренний заем; во-вторых, мне предстоит проездка в манеже; в-третьих, суд; в-четвертых, утренний визит к Одинцову; в-пятых, обыкновенная передобеденная прогулка, et cetera, et cetera. Sapristi! nous ne perdons pas notre temps, mon oncle![3] Успехи оружия таковы, что мы буквально не успеваем следить за ними. Nous ne nous suffisons plus[4]. Все изменилось: рысь, галоп, марш-марш — все! Il n'y a que la bête qui reste intacte[5].

— Да, мой друг, реформа — это такая вещь, что ежели раз она завелась, то ничего уж не поделаешь. И рысь, и галоп, и марш-марш — она все подточит. Больно, душа моя! Не за себя больно, а за все эти, так сказать, краеугольные камни! Но, впрочем, что об этом толковать! Рассказывай-ка лучше об себе!

— Итак, к делу. В одно прекрасное утро меня призывает Бейст — vous savez? ce chenapan de Beist, qui a écrit ce livre... «Manuel»... «Manuel»... ah, oui! «Manuel du laquais cosmopolite»... c'est ça! Eh bien il me fait venir chez lui, le chenapan, et me dit: mon cher! Vous pouvez nous rendre un très grand service, à moi et à Sa Majésté Très Dualistique!..[6]

— Позволь, душа моя! Ты говоришь: Бейст! Но какое же отношение мог иметь Бейст к тебе, штабс-ротмистру русской службы?

— Во-первых, mon oncle, я прошу вас не прерывать меня, потому что сейчас должен явиться мой банкир — и тогда *n-i ni* c'est fini[7]. Во-вторых, tenez-vous cela pour dit[8]: если я штабс-ротмистр, то это

---

[1] Хорошо, расскажу.

[2] Видите ли, я сегодня утром занят делами.

[3] и прочее и прочее. Черт возьми! мы не теряем времени, дядюшка!

[4] Мы больше не довольствуемся сами собой.

[5] Только скотина остается нетронутой.

[6] представьте себе, негодяй Бейст, который написал книгу... «Руководство»... «Руководство»... ах, да! «Руководство космополитического лакея»... именно так! Он вызывает меня к себе, негодяй, и говорит: милый мой! Вы можете оказать нам большую услугу, мне и его весьма дуалистическому величеству...

[7] кончено.

[8] запомните.

нимало не мешает мне быть в то же время венгерским гонведом, французским зуавом, прусским уланом — que sais-je? — pourvu que je serve la bonne cause![1] Следовательно, не только Бейст, но и Персиньи, и Бисмарк, и даже Садык-Паша — все имеют право возлагать на меня поручения. J'espère que c'est clair![2]

— Послушай, однако ж! Вот доктор говорит, что это, так сказать, твой пункт... понимаешь? Не лучше ли было бы тебе воздерживаться от такого рода разговоров?

— Доктор и мне говорил то же, но я его убедил. Ведь я, mon oncle, произведен в «хронические»! Поздешнему, это вроде... comme qui dirait:[3] от инфантерии... да-с!

— Ну если так, то продолжай!

— Итак, призывает меня Бейст и говорит: Vous avez un service signalé a nous rendre, à moi et à Sa Majésté Très Dualistique. Vous vous rendrez de ce pas à Madrid et vous tacherez de blanquer une jolie taloche dans le dos de ce gueux de Marfori, qui nous fait des embarras... ah! mais des embarras![4] — Рады стараться, ваше сиятельство! — Mon cher! вы должны проникнуться всею важностью вашей миссии, и потому должны знать всю истину, toute la vérité, rien que la vérité![5] Собственно говоря, Isabeau — далеко не обольстительна, но донесения наших тайных агентов удостоверяют qu'elle a des charmes secrets. C'est toujours une fiche de consolation, mon brave![6] — Рады стараться, ваше сиятельство! — Итак, поезжайте, и судьба да просветит сердце ваше! Помните старый девиз Австрии: tu, felix Austria, nube![7] — и действуйте неукоснительно! — Сказав это, он подал мне руку и отпустил. — Дядя! Скажите! что сделали бы вы на моем месте?

---

[1] чем угодно — лишь бы я служил доброму делу!

[2] Надеюсь, ясно!

[3] как бы сказать.

[4] Вам предстоит оказать нам отменную услугу, мне и его весьма дуалистическому величеству. Сейчас же отправляйтесь в Мадрид и постарайтесь дать хорошего тумака в спину плуту Марфори, который строит нам каверзы... да еще какие каверзы!

[5] всю истину, только истину!

[6] он обладает скрытыми прелестями. Это всегда служит утешением, дорогой мой.

[7] счастливая Австрия, вступай в браки!

— Разумеется, поехал бы! C'est grave, mon cher, vois tu! c'est très grave![1] Ведь это именно то самое, что в наших газетах известно под именем «иностранной политики»?

— То самое. И я именно так и поступил... Я велел Прокофью уложить мои чемоданы — et v'lan — me voilà à Madrid![2] Прежде всего, comme de raison[3], я спешу увидеть Марфори. Отправляюсь на бой быков — это такой genre[4] у них: у австриаков развод с церемонией, а у них бой быков — и действительно встречаю его там. Смотрю — ничего особенного! Le museau d'un perruquier qui veut se faire respecter, la poitrine plate, la jambe... sans la moindre expression![5] Ну, думаю: гонведа, которого с малолетства откармливали желудями, этим не удивишь! Но что важнее всего, в этот же раз я увидел и ее...

— Не хороша?

— Представьте себе тетеньку Кирьяку Ивановну, когда она в домашнем неглиже от дворовых тальки принимает. Одним глазом на тальку смотрит, а другим косится на выездного лакея Микешку... voilà!

— Надеюсь, однако, ты не дрогнул?

– Ma foi, je me suis dit[6]: это моя первая дипломатическая кампания; il faut que je m'exécute. Je prends mon courage à deux mains, je viens chez le général Serrano et je lui dis:[7] генерал! так и так, сегодня вечером мне во что бы то ни стало надо видеть Isabeau.— Imposible![8] — отвечает Серрано,— Марфори ни на минуту от нее не отходит! — Генерал! — возражаю я,— мы братья по оружию, с тою лишь раницею, что вы служите незаконному правительству, а я— законному. Взгляните на меня: ведь во мне без вершка три аршина!.. Тогда он пристально осмотрел меня с головы до ног и сейчас же решился.— Вот вам ключ от Эскуриала, благородный

[1] Это серьезно, мой милый, видишь ли, это очень серьезно!
[2] раз и я в Мадриде!
[3] само собой разумеется
[4] манера.
[5] Морда парикмахера, желающего внушить к себе уважение, грудь плоская, нога. без малейшего выражения!
[6] Клянусь, я сказал себе
[7] надо покориться Я набираюсь храбрости, отправляюсь к генералу Серрано и говорю ему
[8] Невозможно!

молодой человек! — сказал он мне, — идите, я сам буду сопровождать вас. И если б вы встретили на пути препятствия, махните только из окна платком — мы тотчас же сделаем в вашу пользу pronunciamiento...[1] С этими словами он вручает мне ключ, и я отправляюсь в свою veranda или locanda — je ne sais plus le quel![2] — ожидать вожделенного часа.

— Но знаешь ли, душа моя, что ты ведь очень рисковал!

— A qui le dites-vous, mon oncle![3] Но я вспомнил слова maman: Jean! m'a-t-elle dit, si vous voulez avoir du succès auprès des femmes, vous n'avez qu'à être entreprenant[4]. И вот, в эту трудную минуту я сказал себе: soyons entreprenant, pertotte![5] В полночь я был уже в полном гонведском мундире и, подвязав палаш, шел по уединенным аллеям Эскуриала. Сзади меня, в нескольких шагах, как тень, бесшумно следовал Серрано. Теперь я попрошу вас, mon oncle, представить себе теплую, темную, тихую испанскую ночь!

— Душа моя! это должно быть волшебно!

— Волшебно — c'est le mot[6]. Я иду по аллеям под сводом столетних лимонных дерев; впереди ни зги не видать; le bruit de mes pas est amorti par le sable;[7] кругом мертвая тишина; вдали, словно мышь, шуршит в кустах сопровождающий меня генерал Серрано; во дворе огни давно потушены; воздух напоен запахом апельсинов, лимонов, грецких орехов, миндалю... parole d'honneur, on se croirait aux Milioutines![8] Я спешу, я чувствую, как дрожит моя рука, повертывающая в замке ключ... Наконец я отпираю, вхожу... v'lan! je donne à plaines voiles dans le Marfori, en conversation criminelle avec la mère Patrocinia! Sensation générale. Le Marfori se trouve mal et commence à crier à tue-tête Patrocinia

---

[1] мятеж...

[2] гостиницу не знаю как там.

[3] Кому вы это говорите, дядюшка!

[4] Жан! сказала она мне, если хочешь иметь успех у женщин, будь предприимчивым

[5] будем предприимчивы, черт побери!

[6] вот именно

[7] моих шагов не слышно на песке.

[8] честное слово, можно было подумать, что находишься в Милютиных рядах!

tombe évanouie et éteint le cierge qu'elle tenait en main et qui éclairait cette scéne de crime et de parjure! Je vois accourir Isabeau en bonnet de nuit; je cours, je vole au devant d'elle, en n'oubliant pas toutefois de faire ressortir les avantages de mon uniforme...[1]

— Какое, однако, трудное и сложное положение!

— C'est ce que je me suis dit[2]. Но я решился выйти из него с честью. Я остановился перед нею и голосом, не допускающим возражений, произнес: Madame! des raison de haute politique éxigent que le Marfori me céde la place. C'est triste, mais c'est vrai[3]. На минуту, она, казалось, задумалась, но скоро я мог уже убедиться, что взор ее постепенно приковывается к моему мундиру. Еще мгновение — и поручение Бейста было бы выполнено! Как вдруг нас оглушает целый залп ружейных выстрелов. Isabeau бледнеет и восклицает: это проказы изменника Серрано! Marfori se retrouve mal; la mère Patrocinia qui venait de rallumer son cierge, le laisse tomber à terre[4]. Один я, с палашом в руках, жду разъяснения этого беспорядка. В эту минуту входят: Серрано, Прим и Топете. — Madame! — говорит Прим, — карета готова! — Но позвольте, messieurs! — вступаюсь я, — по крайней мере, объясните мне, что такое здесь происходит? — Молодой гонвед! — отвечает Серрано, — то, чему вы сейчас были свидетелем, называется по-здешнему *гишпанскою революцией!*

– Тс... следовательно, ты был, так сказать, косвенной причиной, изменившей лицо Испании?

C'est vous qui l'avez dit, mon oncle[5]. Но представьте себе мое изумление! Начинается суматоха

раз! я застаю Марфори в преступном разговоре с матерью Патрочинией! Всеобщая сенсация Марфори становится дурно, и он начинает кричать во всю глотку Мать Патрочиния падает в обморок, свеча, которую она держала в руке и которая освещала эту сцену преступления и вероломства, тухнет. Я вижу Изабеллу. прибежавшую в ночном чепчике, я бегу, я лечу ей навстречу не забывая при этом воспользоваться преимуществами моего мундира

[2] Так я и сказал самому себе

[3] Сударыня! соображения высокой политики требуют, чтобы Марфори уступил мне свое место Это печально, но так нужно!

[4] Марфори снова дурно; мать Патрочиния, которая вновь зажгла свечу, роняет ее на пол

[5] Это сказали вы, дядюшка.

невообразимая. Izabeau укладывается, Марфори, с зеркальцем в руках, фабрит себе усы на дорогу, la mère Patrocinia впопыхах куда-то засунула ящик, в котором была заключена египетская тьма... Я один все еще держусь и протестую; je risque même le nom du chenapan Beust — eh bien! pas le moindre effet! L'on s'en moque — et voilà tout. «Alloz nominos doz popoloz Espagnoloz! Vos povedoz filadoz!» — ce qui en bon français veut dire: au nom du peuple espagnol! Vous pouvez filer! — s'explique enfin Topeté en accentuant sur les *oz*. Alors je me dis: ah bas! si c'est au nom du peuple espagnol! — c'est autre chose! Filons! je n'ai rien à objecter! Et v'lan! me voilá derechef à Vienne, faisant le pied de grue dans l'antichambre du combe Beust![1]

— Ну, Бейст-то, я думаю, пожурил-таки тебя!

— Совсем напротив. Принял с распростертыми объятиями. A votre insu, — сказал он мне, — vous avez fait une révolution, et pour le moment s'est tout ce qu'il nous faut! la candidature Hohenzollern va faire le reste! Jeune homme! Vous pouvez aller paître à Penza![2].

— Ну, а награды-то все-таки не дали?

— Награду, mon oncle, я получил уже здесь. Как только я явился сюда с письмом от Бейста, так меня сейчас же произвели в «хронические»!

Сказав это, Ваня вдруг поник головой. Возбужденное состояние, в котором он находился во время рассказа об испанской дипломатической кампании, внезапно оставило его, и он впал в полнейшую прострацию. Он беспрестанно тер себе лоб, как бы отгоняя несносную головную боль, боязливо дул по обе стороны на плечи и бормотал:

— Le titre d'aliéné chronique — c'est presque

---

[1] я рискую даже назвать имя негодяя Бейста и что же? ни малейшего эффекта! Посмеиваются над этим и все тут! «Во имя испанского народа!», что на добром французском языке должно означать во имя испанского народа! Вы можете убираться! говорит наконец Топете, налегая на *oz* Тут я говорю себе: ну, если во имя испанского народа это другое дело! Уберемся! не возражаю! И вот я снова в Вене дожидаюсь в приемной графа Бейста!

[2] Сами того не зная, вы совершили революцию, а в настоящее время это все, что нам нужно! Кандидатура Гогенцоллерна сделает остальное! Молодой человек! Вы можете отправиться пастись в Пензу!

l'équivalent du titre de grand d'Espagne! Ah! C'est un bien grand fardeau à porter, mon oncle![1]

Целый час он просидел в креслах с закрытыми глазами. Спал ли он в это время или только мечтал — я не могу сказать определительно. Но ежели он спал, я уверен, что во сне ему представлялся rendez-vous Марфори и Патрочинии, потому что на губах его, по временам, скользила блаженная улыбка. Я смотрел на него и припоминал мой недавний разговор с доктором. Да, сумасшествие есть не что иное, как продолжение обыденной человеческой жизни или, лучше сказать, это полнейшее ее откровение. Человек вовсе не сходит с ума в буквальном значении этого слова и ни на йоту не делается глупее против того, чем он был в здоровом состоянии. Вся разница между здоровым человеком и помешанным заключается в том, что первый полагает известную границу между идеалами и действительностью, а второй никакого различия в этом смысле не признает. Идеалы гурьбой вторгаются в действительную жизнь и перемешиваются с ее обыденными отправлениями, но это не новые, только родившиеся идеалы, а те же самые, которые человек лелеял и в здоровом состоянии и которые составляли лучшую, заветную часть его существования. Человек внезапно обнаруживается весь, является на суд публики, снабженный бесчисленным множеством комментариев, формулирование которых, при обыкновенном порядке вещей, потребовало бы от постороннего наблюдателя большого труда и далеко не ординарной проницательности. Вот он! вот та таинственная подоплека, которая некогда повергала в недоумение! Вот почему он тогда-то поступил так-то, а в другом случае так-то, и вот почему мы, удивлявшиеся кажущейся беспричинности этих поступков, оказывались лишь недальнозоркими и непроницательными. Теперь — все это ясно как день: он сам, в живом и художественном образе, представил нам непререкаемое объяснение всего своего прошлого, всех тех невозможностей, которые нередко поселяли в нас изумление, смешанное с испугом.

На первый взгляд, сближение между Ваней и

---

[1] Титул хронического сумасшедшего – это почти равно титулу испанского гранда! Ах! Очень тяжело носить такое бремя, дядюшка!

экс-королевой Изабеллой кажется фантастичным, но это кажется только до тех пор, покуда мы не знаем идеалов, которыми он питался тогда, когда и он сам, и все окружающие его считали его в полном обладании умственных сил. У каждого человека имеются свои идеалы, но в то время, как один, сообразно с своей жизненной обстановкой, мечтает о вечном движении, другой — о бесконечно великом и бесконечно малом, третий — о судьбах, ожидающих человечество в отдаленном будущем и т. д.— Ваня (тоже сообразно с *своей* жизненной обстановкой) мечтал об идеальной посадке на коне, об идеальных формах лошади и о том идеальном житье, когда, по щучьему веленью, по моему хотенью, к услугам человека является все, о чем тоскует его сердце, то есть рысаки, карты, вино и женщины. Этот замечательный мир, в который уносилась фантазия Вани, сперва на сон грядущий, а потом и в другие свободные от обычных занятий часы, явился не произвольно, а имел корни в действительности, в наклонностях, первоначально данных воспитанием и потом консолидированных дальнейшею обстановкой жизни. Вся разница в том, что в реальной жизни факты принимали простую, несложную форму, а в жизни идеальной они подвергались более или менее запутанным комбинациям. В этом смысле Изабелла всегда составляла одну из главных реальных основ существования Вани, и приключения, вроде марфориевских, были тут как нельзя больше у места. Будь я сторонником теории прирожденных идей, я сказал бы, что такова была прирожденная идея Вани; но даже и не будучи последователем этой теории, я считаю себя вправе утверждать, что представление о марфориевских подвигах есть наиболее свойственное той обстановке и тому кругу условных понятий, среди которых он вращался. Бедный Ваня! быть может, еще не имея о Марфори ни малейшего понятия, он уже во всех деталях уяснил себе неотразимую привлекательность марфориевского промысла. Быть может, что он уже вопрошал с этою целью прошедшее, настоящее и будущее, что он мысленно перебывал поочередно фаворитом Семирамиды, Клеопатры, Мессалины, королевы Помаре и проч.? И вдруг, в то самое время, когда вся эта махинация была у него в пол-

ном ходу,— ему попадаются «Тайны мадридского двора», из которых он убеждается, что секретная основа его жизни уже осуществлена. И кем осуществлена! каким-то проходимцем Марфори, у которого даже «посадки» порядочной нет, у которого — срам сказать! — грудь совсем не похожа на колесо, а ляжка скорее напоминает le bras de la vieille comtesse Romanzoff[1], нежели ляжку настоящего, сколько-нибудь уважающего себя мужчины-производителя!

Через час в двери номера осторожно постучались. Заслыша этот стук, Ваня мгновенно вскочил, и к нему столь же внезапно возвратилась его бодрость, как внезапно же, час тому назад, произошел упадок сил.

— Mon oncle! vous m'éxcuserez, si je ne m'occupe plus de vous! Parole d'honneur, je suis affaires![2] Я должен сегодня во что бы то ни стало покончить с внутренним займом! — обратился он ко мне,— деньги до зарезу нужны, а пензенские корнеты и не думают высылать! Aussi, je conclue un emprunt â la manière austriaque:[3] живо, и с надеждой не заплатить! Mais vous allez voir cela vous-même, si rien ne vous presse de me quitter![4] Эй, жид! полезай!

На этот возглас вошел прекраснейший и честнейший еврей, по фамилии Гольденшвейн, который, как я после узнал, тоже содержался в больнице умалишенных и был помешан на возрождении еврейской нации. Возрождение это, по мнению его, могло осуществиться лишь тогда: 1) когда евреи прекратят печатание объявлений о распродаже настоящих голландских и билефельдских полотен; 2) когда они перестанут взимать так называемые «жидовские» проценты, и 3) когда, захватив в свои руки все банкирские операции, сняв на аренду все кабаки, овладев всеми железнодорожными предприятиями и окончательно опутав мужика, они докажут изумленному миру, что́ может совершить

---

[1] руку старой графини Романцовой.

[2] Дядюшка! извините, я больше не могу развлекать вас! Честное слово, у меня дела!

[3] Поэтому я заключаю заем по-австрийски.

[4] Но вы сами увидите это, если не спешите меня покинуть!

скромная нация, которая находит небезвыгодным считать себя угнетенною[1].

При входе ростовщика Ваня подмигнул мне одним глазом, как бы говоря: vous allez si je suis expeditif![2]

— Ну, Ерошка (уменьшительное от Иерухима)! вексельская бумага при тебе?

Гольденшвейн только воздел руками в ответ, как бы безмолвно протестуя против самого предположения об отсутствии в его кармане вексельной бумаги.

— Пятьдесят?

— О вей мир! сорок! Как мозно пятдесят! И бумазка пятдесят рублей — нехоросая, фальсивая бумазка!

— Вот, mon oncle, судите сами! можно ли поступать с ними иначе, как à la manière austriaque![3] Я ему в пятьдесят тысяч вексель пишу, а он из пятидесяти рублей десять отжилить хочет!

— Ваня! но это безумство! дать вексель в пять-

---

[1] Здесь я должен оговориться. В одном из органов еврейской журналистики достопочтенный г. Хволос напечатал письмо к г. Некрасову, в котором: 1) убеждает его оградить угнетенную еврейскую нацию от неприличных выходок автора «Дневника провинциала в Петербурге», и 2) высказывает догадку, что автор этих выходок, судя по «развязности приемов и тона», есть не кто иной, как Щедрин. Упрек этот несказанно огорчил меня. Я так высоко ценил литературную деятельность г. Хволоса, что даже был убежден, что ни одно объявление о распродаже полотен не принадлежит перу его. И вот этот-то высокочтимый деятель обвиняет меня в «развязности», то есть в таком качестве, к которому я сам всегда относился неодобрительно! Оказывается, однако ж, что г. Хволос, бросая в меня своим обвинением, сам поступает с развязностью поистине прискорбною. Оказывается, что он, читая «Дневник», не понял самого главного: что я веду «Дневник» от третьего лица, которого мнения суть выражения мнений толпы, а отнюдь не моих личных. Быть может, г. Хволос думает, что я и у поручика Хватова ночевал, и в международном статистическом конгрессе (в гостинице Шухардина) участвовал, и был судим в Отель дю-Нор по обвинению в политическом преступлении? Если это так, то мне остается только уверить его, что ничего подобного со мною не случилось и что все описываемое в «Дневнике» относится исключительно к тому вымышленному лицу, от имени которого он ведется. Затем, я могу дать г. Хволосу еще следующий полезный совет: прежде нежели обвинять другого в развязности, нужно самому быть как можно менее развязным и ни в каком случае не выступать с обвинениями, не выяснив себе наперед их предмета. *Н. Щедрин.*

[2] сейчас увидите, ловок ли я!

[3] по-австрийски!

десят тысяч и получить за него сорок рублей! Mais vous compromettez ainsi la fortune, qu'en qualité du dernier des Potzéloueff, vous devez transmettre à vos enfants![1] Остановись, душа моя!

— Не беспокойтесь, mon oncle! Он знает que c'est ma manière d'emprunter[2]. Я ему уж полтора миллиона таким образом должен. Ну, черт с тобой, жид! Давай деньги!

— А деньги зе в конторе! Иван Карлыц зе их отобрал!

Ваня позвонил; на зов явился сторож.

— Mon oncle! Это тот самый курьер, который ломал со мною походы в Мадрид! Прокофьев! помнишь, как мы с тобой из Гишпании улепетывали?

— Точно так, ваше превосходительство!

— А что, небось, брат, струсил, как из ружьев-то настоящим манером попаливать начали!

— Точно так, ваше превосходительство!

— А я так не струсил. Ну, хорошо; беги теперь к Карлу Иванычу и скажи ему, чтоб списал сорок рублей со счета Ерошки и записал в мой! Et maintenant, l'affaire est bâclée! Je suis plus riche de quarante roubles, et le juif est plus pauvre de la même somme — là est tout secret le l'operation![3] — продолжал Ваня, обращаясь ко мне.

Затем он взял из рук почтенного еврея лист вексельной бумаги и совершенно отчетливо написал: «Я, нижеподписавшийся, обязуюсь уплатить христопродавцу Ерошке, или кому он прикажет, пятьдесят тысяч рублей, сроком от нижеписанного числа, когда мне то заблагорассудится. Fait à St.-Petersbourg, ce 19 Janvier[4], в год от разорения Иерусалима 50 001. К сему заемному письму Aliéné chronique Jean de Potzéloueff[5] руку приложил».

— Ce n'est pas plus long que ça![6] — сказал он мне, показывая вексель.

— Ну, а теперь, Ерошка, — брысь! Бери вексель

[1] Но вы компрометируете таким образом состояние, которое в качестве последнего Поцелуева должны передать своим детям!

[2] это моя манера занимать деньги.

[3] А теперь дело сделано! Я стал богаче на сорок рублей, а еврей беднее на такую же сумму — в этом весь секрет операции!

[4] Составлено в С.-Петербурге, 19 января.

[5] Хронический сумасшедший Иван Поцелуев.

[6] Вот и все!

в зубы, и чтоб духу твоего не пахло! Ainsi, vous connaissez le secret de mes opérations financières, mon oncle![1] — продолжал он, когда еврей вышел,— que voulez-vous! Nous tous, tant que nous sommes, nous ne faisons pas autrement![2] Не дают, подлецы, на других условиях! Да ведь и я тоже не промах. Да́-с, любезный Ерошка, тут еще будет судоговорение! Вы заметили, mon oncle, какую я штуку выкинул! «Обязуюсь заплатить, когда мне то заблагорассудится!» Ха-ха! Когда заблагорассудится! Да-с, тут еще будет... су-до-го-во-ре-ние! — И он так блаженно улыбался, говоря это, что мне невольно пришло на мысль: Ваня! о, если б ты всегда был помешан!

— Однако мне уж время поездку делать! надеюсь, mon oncle, что вы не откажетесь присутствовать при этом?

Мы прошли в большую залу, где была устроена гимнастика. Больные отчасти прогуливались в саду, а отчасти разбрелись по нумерам, и потому зала была пуста. Только один субъект в куртке, в рейтузах, в кавалерийской фуражке без козырька и в грязновато-белых замшевых перчатках на руках, прохаживался взад и вперед по комнате, заложивши одну руку за спину. Это был меланхолик, юнкер Потапенко, добровольно принявший на себя роль ординарца при Ване. Он ожидал нас и при этом нашем появлении вытянулся и сделал рукою под козырек.

— Тесноват немного у нас манеж,— сказал мне Ваня, указывая на залу,— серьезная проездка просто немыслима, а между тем требуют, чтоб солдат исполнял почти все то, что исполняется в цирке. Оттого-то все и идет у нас так себе, clopin-clopant[3]. Благих намерений пропасть, а исполнение — швах. Просто жалость смотреть на лошадей, как они путаются. On ne veut pas comprendre que la bête doit avoir de l'espace devant elle![4] Грустно. Людей у нас нет, mon oncle! таких людей, которые могли бы понять! А впрочем, что же тут толковать! ведь мы

---

[1] Теперь вы знаете секрет моих финансовых операций, дядюшка!

[2] что поделаешь! Мы все, сколько нас ни есть, только так и поступаем!

[3] кое-как.

[4] не хотят понять, что лошадям нужно пространство!

с вами людей не сделаем! Позвольте-ка мне лучше рекомендовать моего коня — жеребец Исполнительный! А-с? каков круп?!

Он указал рукой на деревянную, обшитую кожей и утвержденную на двух треножниках кобылу, служившую для каких-то гимнастических целей. Но он очень серьезно принимал ее за настоящего коня, потому что потрепал ее рукою и даже слазил посмотреть, что у нее под брюхом.

— У лошади, mon oncle, голова должна быть сухая, нога как стальная, круп круглый, широкий, как печь, c'est l'essentiel![1] Лошадь, которая имеет круп остроконечный...

Но вдруг речь его порвалась, и лицо, дышавшее приветливостью, потемнело. Он молча поманил указательным пальцем несчастного Потапенко, который ни жив ни мертв, словно неслышный зефир, подлетел к нему — и замер на месте, держа руки по швам.

— Это видишь? — с неизреченной непреклон ностью во взоре и голосе спросил Ваня, указывая на какую-то неизмеримо малую величину, темнев шуюся в виде пятнышка под воображаемым хвос том,— опять хвост не подмыт?

Потапенко, не переменяя положения, скосил глаза в указываемую сторону и проговорил:

— Виноват, ваше превосходительство! Вчера вы пивши был!

— Пятнадцать! — твердо произнес Ваня, отпус кая манием руки Потапенку, который, сделав на право кругом, зашагал к окошку и там опять замер руки по швам.— Ну вот хоть бы это! — продолжал Ваня, обращаясь ко мне,— телесные наказания уничтожены — mais au nom de Dieu! est-ce que cela a le sens commun![2] Где гарантии, спрашиваю я вас! Могу ли я отвечать за красоту фронта, если я не вооружен достаточными для того средствами! Исполнима ли подобная реформа! — нет, не исполнима! И вот почему никто и не исполняет ее! Это все равно что вот с новыми судами: исполнимы ли решения новых судов? — Нет, не исполнимы, а потому никто и не исполняет их! Суд там себе как хочешь оправдывай, но если нельзя этого выпол-

[1] это самое главное!
[2] но ради бога! есть ли в этом здравый смысл!

нить — в результате все-таки... фюить! Or, je vous démande un peu[1], для чего же писать законы, коль скоро их не исполнять?!

Ваня проговорил все это так резонно, что мне просто казалось, что он рассказывает сущность передовой статьи, только что вычитанной им в одной из современных либеральных русских газет.

С последним словом он молодцом вскочил на деревянную кобылу, стегнул ее хлыстом и разом осадил. В продолжение получаса он проделывал передо мной на этом подобии лошади все, что, в нормальном состоянии, мог бы проделать на настоящей, живой лошади. Подбоченившись одной рукой, он делал вид, что другою держит поводья, и затем привскакивал на галопе, слегка трясся на рысях, наклонно и как бы устремляясь всем корпусом вперед, держал себя на марш-марше и проч., так что в конце концов совсем измучился и вспотел. Но это не мешало ему ни на минуту не прекращать бессвязной болтовни, из которой я узнал его предположения об устройстве международного цирка, насчет чего меня, впрочем, уже предупреждал доктор.

— Вы знаете, mon oncle, — говорил он, — что мне разрешено устроить здесь в Петербурге международный цирк. После международного статистического конгресса это будет второй опыт в том же роде. Ca sera grandioze et fantastique en même temps[2], все мое сердобское имение пойдет туда. Ah! nous allons joliment festoyer, je vous en réponds![3] Представьте себе громаднейшее здание в длину и ширину всего царицынского луга — вот мой цирк. Над зданием, вместо потолка, хрустальный свод; по бокам и углам, в виде приделов, теряющихся в неизмеримости пространства, найдут себе место частные цирки всех возможных национальностей; посередине будет расположена главная, интернациональная арена. Все, что можно найти в целом мире en de chiens et de chevaux[4], — всем этим мы будем обладать. Но, главное, мы будем иметь и то, чего совсем нет нигде, — c'est la le point essentiel[5]

---

[1] Так скажите на милость.
[2] Это будет грандиозно и вместе с тем фантастично.
[3] Ах! мы прекрасно отпразднуем, ручаюсь за это!
[4] по части собак и лошадей.
[5] вот что существенно.

При главной арене будет существовать целая комиссия скрещиваний (comme qui dirait, un ministère du progrès[1]), которая именно будет иметь предметом выработку совершенно новых лошадиных и собачьих пород и мастей. Nous aurons des chevaux-léopards, des chevaux-hippopotames, des chevaux-rhinocéros. Et si la science arrive à créer des chevaux-aigles ou des chevaux-requins — nous en aurons les premiers échantillons[2]. У нас будет свой главный доктор и свой адвокат. Против главного цирка, где теперь павловские казармы, мы поместим главное управление, которое будет заведовать всеми цирками и во главе которого я полагаю поставить Эмму Чинизелли с Эммой Браатц в должности товарища. Я думал было сделать главноуправляющим генерала Дитятина, но сообразил, что он не знает даже, что значит подмыть у лошади хвост. Во всякой губернии будет открыто один или два цирка — ça sera toute une réforme![3] Разумеется, цирки будут открываться не вдруг, а постепенно, по мере средств, которыми будет располагать наше казначейство. Как быть! судьба всех реформ такова, и сибирским губерниям, быть может, совсем придется остаться без цирков! Посещение цирков будет обязательное, mais aussi nos cirques foncionneront jour et nuit[4]. Мы обязываемся иметь лучших гимнастов, лучших жонглеров, лучших канатных плясунов и, как conditio sine qua non[5], летающего человека. Переход через Ниагару на слабо натянутом канате будет происходить каждый день. По вечерам будет даваться экстраординарное представление для избранных, в заключение которого имеет быть представлена борьба слона с носорогом. Cela coutera un argent fou[6], но я надеюсь иметь субсидию. Que diable, l'ètat peut bien se déranger pour une entreprise aussi grandiose![7] Все открытия и усовершенствования в мире

[1] как бы сказать, министерство прогресса.

[2] У нас будут лошади-леопарды, лошади-гиппопотамы лошади-носороги. И если наука дойдет до создания лошадей орлов и лошадей-акул, — у нас будут их первые образцы

[3] это будет целый переворот!

[4] но в то же время наши цирки будут работать день и ночь

[5] обязательное условие

[6] Это будет стоить бешеных денег

[7] Кой черт, может же государство немного раскошелиться ради такого грандиозного предприятия!

лошадей и собак будут усвоены нами немедленно. Mon oncle! вы не поверите, если вам перечислить все, что сделано в последнее время в этой сфере! Нынче лошадь уже *сидит* на задних ногах, но кто может поручиться, что через год или два она не будет ходить на голове — tout comme un homme![1] Вот что мы вправе ожидать от лошади — от одной только лошади! Et les cochons de lait donc![2] Я уверен, что даже теперь между ними уж скрывается какой-нибудь газетный фельетонист! Подумайте, какие перспективы! Теперь вы видите какую-нибудь гусарскую кадриль: c'est triste, c'est mesquin, ca n'a ni verve, ni etrain![3] Тогда — вы увидите целые массы, целые сражения! Какая школа! сколько примеров доблести! Гусарские кадрили — parlez-moi de cai! Nous vous servirons des amazones! mille, dix mille, cent mille paires de hanches à la foist! — quel coup d'oeil! Et nous aurons des cabinets particuliers, s'il vous plait. Mon oncle! vous qui êtes un vieux libertin[4] (не говорите! знаю я, как вы в Проплёванной[5] целые полки амазонок формировали!) — вы знаете, что в этом отношении Петербург находится, так сказать, в младенчестве. Мы все это разом двинем. Tout s'enchaîne et se lie dans mon systême, voyez-vous[6]. За особенную плату я покажу Венеру, выходящую из морской пены,— на днях я даже подписываю по этому случаю с Корой Пирль контракт. Ah bah! Je suis patriote, mon oncle![7] Я сказал себе: мы ездим в Париж, мы тратим там деньги — для чего! Не лучше ли будет, если мы устроим все это у себя и будем тратить наши деньги дома?! Mais n'est-ce pas, mon oncle?[8]

Выпустивши этот поток речей, он ловко соскочил с лошади, сплюнул в сторону, как подобает уста-

---

[1] совершенно как человек!

[2] Ну а поросята!

[3] это бедно, жалко, в этом нет ни жара, ни увлечения!

[4] да что толковать! Мы угостим вас амазонками! тысячу, десять тысяч, сто тысяч пар ляжек разом! — какое зрелище! А у нас будут и отдельные кабинеты, если вам угодно! Вы ведь старый распутник, дядюшка!

[5] Название деревни (см «Дневник провинциала в Петербурге») *(Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

[6] Как видите, в моей системе все пригнано друг к другу

[7] Да-с! Я патриот, дядюшка!

[8] Не правда ли, дядюшка?

лому кавалеристу, и с благосклоннейшею улыбкой продолжал:

— Я в этом отношении даже дальше иду. Я так думаю, что если б у нас были охотники до парламентов, то вместо того чтоб заставлять ездить смотреть на них за границу, я бы дома завел свой собственный парламент: нате! смотрите! Вы подумайте только, mon oncle, каких одна Пензенская губерния корнетов в этот парламент вышлет! хоть сейчас на выводку... parole d'honneur![1]

Признаюсь, заслышав слово «парламент», я несколько струсил и хотел замять разговор; но когда Ваня тут же примешал пензенских корнетов, то идея эта мне самому так понравилась, что я невольно воскликнул:

— Ну да... ежели собрать пензенских корнетов в одну кучу... à la bonne heure![2] В этом смысле... то есть в смысле выводки... парламент... Это был бы даже очень и очень важный шаг в истории нашего коннозаводства!

— А какая перспектива для цирка! Предположите хоть по одному корнету с уезда — ведь это был бы одновременный наплыв более семисот корнетов... подумайте-ка, mon oncle, сколько тут дел можно сделать!

Быть может, он развил бы свою мысль и далее, если б в эту минуту не влетел в зал бледный молодой человек, в фантастическом сюртуке военного покроя, который, с необыкновенно озабоченным видом, доложил, что судьи уже собрались и ожидают только Ваню, чтоб открыть заседание.

— Ну-с, делать нечего, сегодня нам к Одинцову ехать уж не приходится. Но завтра я вас угощаю, mon oncle, — это решено. J'ai un crédit illimité![3] Правда, что я за каждый десяток устриц пишу вексель в восемь тысяч рублей, но так как я принял за правило вообще по векселям не платить, то выходит, что завтрак, во всяком случае, обходится мне несравненно дешевле, нежели какому-нибудь pékin[4], который платит за свой десяток полтора рубля и

---

[1] честное слово!
[2] в добрый час!
[3] У меня неограниченный кредит!
[4] штафирке.

притом рискует, что ему кто-нибудь вымажет селедкой лицо.

— Неужели это случается? Не может быть!

— Не только может быть, но не может *не* быть. Самому мне еще не приходилось никому обмазать рожу селедкой, но ежели я не делал этого, то, признаюсь, потому только, что раз, знаете, усядешься — лень встать. Но как хотите, а иногда просто гадко смотреть на *него*, mon oncle! Мы, например: мы приходим, садимся и едим — rien de plus simple![1] Придет pékin и, во-первых, раз десять заглянет в прейскурант, во-вторых, начинает потирать себе руки и с каким-то идиотским наслаждением взвешивает, одной ли селедки ему спросить или побаловаться и кусочком сыру. Je vous demande un peu, si ce n'est pas revoltant![2] Ну, многие и не выдерживают, а вследствие этого, конечно, возникают печальные недоразумения. Но вы сами сейчас все это увидите, потому что одно из подобных недоразумений мы будем сейчас судить.

Нельзя себе представить ничего оригинальнее, как суд сумасшедших. Я не скажу, чтоб это был суд навыворот, или чтоб в приговорах его ощущались перерывы логики, но самое свойство поводов, из которых возникают судные дела, таково, что они нигде в другом месте не могут обнаружиться в такой конкретной, обнаженной форме, кроме сумасшедшего дома. Это будет, впрочем, совершенно понятно, если мы признаем, что сумасшествие само по себе есть, по преимуществу, обнажение тех идеалов человека, которые он, в нормальном состоянии, не решается выказать, иногда вследствие их детской незрелости, а иногда и вследствие того, что идеалы эти слишком явно идут вразрез с понятиями, имеющими ход на рынке. Здорового человека одинаково обуздывает и стыдливость и боязнь прослыть опасным мечтателем. Ваня, например, даже лучшему приятелю ни за что не решился бы высказать, что мечты о марфориевской карьере составляют всю основу его существования; теперь — он свободно раскрывал эти мечты всем и каждому не только не стыдясь, но даже с некоторым пафосом. Точно так же, в здоровом состоянии, Ваня, хотя в душе,

[1] чего проще!

[2] Скажите на милость, разве не возмутительно ли это!

разумеется, вполне оправдывал уместность и даже необходимость обмазывания селедкой лиц скромно завтракающих pékins, но в то же время он едва ли решился бы высказать это во всеуслышание. Теперь — он высказывал эту теорию без всякого смущения, и даже изумился бы, если б кому-нибудь вздумалось ее не признавать.

Суд кончен[1]. Бьет около четырех часов; сумасшедшие устремляются в столовую.

— Теперь, mon oncle, я совершенно свободен, — говорит мне Ваня. — Сначала мы обедаем у Дюссо, потом отправляемся в цирк, а затем...

Он наклоняется к моему уху и шепчет мне несколько слов, которых я не могу расслышать, но которые его самого приводят в неистовый восторг.

— Вы только вообразите себе: с усами! — взвизгивает он в заключение.

Само собою разумеется, все предположенные экскурсии мы сделали тут же, в стенах заведения. Но это было ясно только для одного меня: Ваня был убежден, что он выполняет тот самый круг, который выполнялся им и на свободе. Обед, поданный нам (мы обедали в его нумере), был обыкновенный больничный, но он, поглощая жиденький «протоньер», был совершенно уверен, что это soupe à la reine, который нигде так не приготовляется, как у Дюссо. За обедом он выпил целую бутылку отвратительного ревенного настоя, наивно убеждая меня, что это самый лучший коньяк, подобного которому, по маслянистости и концентрированности, нет в целом Петербурге.

— Я, по совету докторов, нынче только коньяк пью, — сказал он мне, — шампанское и даже хереса — все предоставил детям. Бутылка коньяку за обедом — вот мой урок и затем, до вечера, *n-i-ni*, c'est fini[2]. Замечено из опыта, что шампанское бьет преимущественно в голову, et vous savez, при наших занятиях, c'est la dernière des choses si la tête n'est pas en ordre[3]. Напротив того, коньяк прямо

[1] Содержание судоговорения будет предметом особенной статьи, имеющей войти в настоящий «Дневник». *(Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

[1] ни-ни, кончено.

[2] последнее дело, если голова не в порядке.

ударяет в ноги, и таким образом голова всегда остается свежа.

— Но мне кажется, что целая бутылка коньяку...

— C'est trop, vous trouvez![1] Но поверите ли, мне этого *почти* недостаточно. Я пробовал, впрочем, доходить до двух бутылок, но тут встретился с чрезвычайно любопытным явлением. Что для меня одной бутылки мало — это факт, но важно то, что когда я приступаю к второй бутылке, то никогда не могу определить ту рюмку, при которой я делаюсь пьян или, лучше сказать, тот совпадающий известной рюмке момент, когда коньяк ударяет прямо в язык. Что-то среднее между двенадцатой и двадцатой рюмкой. Поэтому я принял себе за правило, до поры до времени, держаться *одной* бутылки, которую я, во всяком случае, могу выпить с уверенностью.

— А знаешь ли, многие в этом случае предпочитают водку...

— Знаю, mon oncle, и даже не раз думал об этом. Au fond[2], тут нет ничего удивительного, потому что водка имеет за себя многие и очень-очень веские преимущества. Во-первых, на меня лично она производит то действие, что у меня только уши потеют. Во-вторых, водка гонит мокроту, тогда как коньяк ее сосредоточивает. В-третьих — et c'est l'essentiel[3], — ее *всякий* может выпить *втрое* более, нежели коньяку, и, следовательно, *всякий* получает возможность и *втрое* больше убить времени. Mon oncle! notre plus grande ennemie — c'est cette sacrée journé qui n'en finit pas![4] А потому водка в этом смысле неоцененна. Но водка имеет *один* громадный недостаток: ее не принято пить столько, чтоб сделать из этого постоянное времяпрепровождение. Ну, а я, mon oncle, все-таки понимаю, что сзади меня стоят десятки поколений корнетов, которые и из глубины могил кричат: noblesse oblige![5] И вот почему я пью коньяк.

— Vous êtes un noble enfant, Jean! touchez là![6]

---

[1] Вы находите, что это чересчур!

[2] В сущности.

[3] и это главное.

[4] Дядюшка! наш величайший враг это проклятый день, которому нет конца!

[5] звание дворянина обязывает!

[6] Вы благородное дитя, Жан! вашу руку!

Мы обнялись и поцеловались. Я очень обрадовался, что наш разговор от водки незаметно перешел на политическую почву, потому что, признаюсь, мне было очень любопытно посондировать политические убеждения Вани. Что он консерватор — в этом я, конечно, не сомневался, но знает ли он сам, что он консерватор, и откуда пришло к нему его консерваторство, то есть сидело ли оно в нем от создания веков или просто пришло, как говорится, с печки — вот что особенно сильно интересовало меня и как родственника и как человека, лично заинтересованного в успехах русского консерватизма.

— Я очень рад, мой друг, встретить в тебе это благородство чувств,— сказал я ему,— оно доказывает, что ты консерватор по убеждению. Не так ли?

— Mon oncle!— отвечал он мне,— je vous demande bien pardon[1], но мне кажется, что ваш вопрос прежде всего вопрос праздный. Я гонвед — и ничего больше. Если завтра потребуется, чтоб я был зуавом или янычаром,— я ничего против этого не имею. C'est la plus profonde de mes convictions![2] Затем, я пью коньяк — c'est encore une conviction[3]. Сверх того, если мне скажут: разорви!— я разорву. Si ce n'est pas là une conviction, je vous en félicite! Mon oncle! tel que vous me voyez[4] — я уже сделал однажды гишпанскую революцию. И ежели графу Бейсту, или князю Бисмарку, или даже Садык-Паше угодно будет, чтоб я сделал гишпанскую революцию дважды — я сделаю ее дважды. Все зависит от того, своевременно ли будут выданы мне прогонные деньги. Но ежели Садык-Паша скажет: tréve de révolution![5] и на этот предмет тоже выдаст прогонные деньги — я пойду и прекращу! Потому что и делать революции, и прекращать их — à mon avis, c'est tout un! Voilà![6]

— Но ведь это-то и есть истинный консерватизм, душа моя. Ты консерватор, ты глубочайший из консерваторов, только не отдаешь себе в этом отчета.

[1] прошу прощения.

[2] Это глубочайшее из моих убеждений.

[3] это опять-таки убеждение.

[4] Если это не убеждение, то что же это такое? Дядюшка! не кто иной, как я.

[5] прекратить революцию!

[6] по моему мнению, одно и то же! Так-то!

Ты, по выражению Фета, никогда не знаешь, что́ будешь петь, но не знаешь именно потому, что твоя песня всегда созрела. Ты не рассуждаешь, потому что чувствуешь, что рассуждение и консерватизм — это, как бы тебе сказать...

— Конечно, если консерватизм состоит в том, чтоб не рассуждать, то я консерватор. Je suis toujours pour la bonne cause...[1] понимаете ли вы меня? Ну, как бы вам это растолковать?.. Ну просто я всегда на той стороне, где начальство!

— Да, но вот ты указал разом три различных начальства: Бейст, Бисмарк и Садык-Паша. Неужели же для тебя безразлично быть по очереди консерватором в пользу каждого из них?

— Совершенно безразлично, mon oncle!

— Хорошо. Я знаю, что и такого рода консерватизм существует. Это консерватизм «de la bonne cause». Переезжают из страны в страну, в одной Дон-Карлосу услуги предлагают, в другой — Франческо, в третьей какому-нибудь Амураду. Но не чувствуешь ли ты, что таким образом ты впадаешь в опасный космополитизм и ставишь себя в ряды странствующих консерваторов, ни в чем не уступающих странствующим революционерам?

Ваня посмотрел на меня такими изумленными глазами, как будто хотел сказать: «Космополитизм! это еще что за зверь такой!»

— Космополитами, мой друг,— поспешил я растолковать ему,— называются такие люди, которые несколько равнодушно относятся к своему отечеству или, лучше сказать, недостаточно усердно следят за его границами по новейшим географическим учебникам...

— La patrie, mon oncle! mais je ne connais que cela! Et vous m'appelez cosmopolite! Oh! mon oncle![2]

— Не огорчайся, душа моя, я не называю тебя космополитом, я только опасаюсь, чтоб «la bonne cause» не увлекла тебя дальше, чем нужно. Космополиты — это самые ужасные люди, мой друг! Их девиз: ubi bene ibi patria[3], или, по-нашему: bene там, где больше дают подъемных и прогонных денег.

[1] Я всегда на стороне правого дела

[2] Отечество, дядюшка! я только это и признаю! А вы называете меня космополитом! О! дядюшка!

[3] где хорошо, там и отечество.

— Mais c'est encore très joli, ça![1]

— Я и не говорю, что это худо. Я говорю только, что это не все. Иногда, мой друг, обстоятельства так складываются, что приходится выказывать свою талантливость и без прогонов. И это именно всего чаще случается, когда того требует любовь к отечеству. Понял?

— Parfaitement. Mais savez-vous, mon oncle, que c'est tout un nouveau monde que vous me découvrez![2]

— И вот почему не худо следить за географическими учебниками. Лучше будешь знать, что́ именно предстоит любить. Вчера, например, отечество немцев кончалось у Страсбурга, а нынче вон оно уж Мец захватило. Ну, и надо любить по Мец включительно, а завтра, может быть, и по самый Париж любить придется!

Ваня задумался; по встряхиваньям его головы я мог заключать, что он старается привести там нечто в порядок. Однако это, по-видимому, не удалось ему, потому что он как-то странно обрубил наш разговор.

— Заметьте, однако, mon oncle! — воскликнул он вдруг, — вот я целую бутылку напитка выпил — и хоть бы в одном глазе!

Я понял, что отвлеченные разговоры еще тяжелы для него, и потому, как ни велико было мое желание посондировать его насчет видов на будущее градоначальничество, но я вынужден был отложить мое предприятие до более удобного времени. Был уже седьмой час вечера (следовательно, до спанья оставалось с небольшим два часа), и потому я заторопил его в цирк.

— Mais oui! mais dépêchons-nous![3] — всполошился он, — à qui le dites-vous![4] мне, который ни одного представления не манкировал! Ah! vous allez voir le «travail compliqué sauts de planiglobe à cheval» par Virginie... exquis! Et quele fille![5] Масло!

Мы поспешили в цирк, который оказался в той

---

[1] Но это опять-таки очень хорошо!

[2] Превосходно. Но знаете ли, дядюшка, вы открываете мне совершенно новый мир!

[3] Да! но поспешим!

[4] кому вы это говорите!

[5] Ах! вы увидите сложную работу Виргинии и ее прыжки сквозь обруч на лошади... совершенство! А какая девушка!

самой зале, в которой Ваня перед обедом делал проездку. Все общество помешанных было в сборе. Кувыркались, плясали, лазили по лестницам и веревкам, выкрикивали на разные голоса и проч. Меня взяла оторопь при виде этого содома, но на губах Вани все время играла блаженнейшая улыбка. Он видел перед собой настоящую Virginie, настоящую m-lle Aragon и, указывая на них, шептал мне: quelles cuisses! ah sapristi! des hanches de déesse![1]

Наконец пробило девять. Сторожа стали гнать больных по нумерам. Я почти обрадовался этому. Несмотря на праздно проведенный день, я был так измучен, что как ни убеждал меня Ваня (настоятельно повторяя: «с усами, mon oncle, с усами!») ехать с ним вместе *туда*, но я отказался наотрез.

Наконец он отпустил меня, сказав на прощанье:

— Eh bien! dans tous les cas vous connaissez maintenant comment se passe ma journée![2] Каждый день так, mon oncle! без перемен!

II

Ночью мне все мерещилось: что́ было бы, если б жизнь моя так устроилась, что мне приходилось бы проводить ее с глазу на глаз с Ваней? Сумел ли бы я покорить его себе, или же, напротив того, он, непреклонно вводя меня в круг своих наклонностей, привычек и вкусов, успел бы окончательно вышлифовать меня по своему образу и подобию?

Как ни больно это для моего самолюбия, но я не могу не сознаться, что последнее из этих предположений едва ли не правдоподобнее.

Говорят, что высшая цивилизация, высшее духовное развитие порабощают себе низших представителей цивилизации и развития. В конце концов это, конечно, так и должно быть, но, покуда придут эти «концы концов», покуда будет пройден тот бесконечно длинный промежуток, который образуется между началом и концом сложного процесса порабощения, — сколько трагических перипетий, свидетельствующих о совершенно противном? Примеров пропасть: монголы, гунны и, наконец, в

---

[1] что за ляжки! ах черт возьми! бедра богини!

[2] Ну что ж, во всяком случае, вы знаете теперь, как проходит мой день!

позднейшее время, ташкентцы и так называемые «помпадуры»...

В деле подчинения одного человека другому главную роль играет, во-первых, бесповоротность идеалов, во имя которых предпринято подчинение, а во-вторых, личная энергия, с которою ведется процесс подчинения и сумма которой всегда находится в тесной зависимости от ясности и определенности идеалов. Какого рода эти идеалы, выспренние или низменные — это вопрос второстепенный, имеющий значение лишь в немногих случаях. Важно то, чтоб человек знал, чего он хочет, и чтоб он непреклонно стремился к предмету своих вожделений. Руководствуясь этим законом, англосакс беспощадно уничтожает целые племена дикарей-аборигенов, а монгол и гунн сметают с лица земли памятники вековой цивилизации. Какой-нибудь помпадур, не имеющий другого идеала, кроме калечения людей, но зато уяснивший себе это дело в совершенстве, в один миг раздробит самого глубокомысленного философа, и ему не придет даже на мысль, что если уж признать уместность раздробления голов, то явлению этому следовало бы произойти совершенно наоборот. Что нужды до того, как назовет история все эти поступки и действия, — лично для каждого из этих энергических людей совершенно ясным представляется лишь следующий результат: не их порабощают другие, а они порабощают других.

Я могу сказать без хвастовства, что уровень моего умственного развития несравненно выше, нежели уровень развития Вани. Мне не чужды некоторые идеалы, о которых Ваня и не слыхивал. Я, например, и собственность понимаю, и семейный союз чту, и в необходимости разных других союзов достаточно убежден. Я знаю, что все это краеугольные камни, и потому сам лично никогда не украду, никого не обсчитаю, не вступлю в новый брак при живой жене и тем меньше не сделаюсь ни беспочвенным космополитом, ни слишком почвенным сепаратистом. Но все эти идеалы не настолько для меня неотразимы, чтоб составлять такую потребность, без удовлетворения которой мне была бы жизнь не в жизнь. По нужде, я могу понимать и совершенно иные идеалы, и ежели не сочувствовать

им, то, по крайней мере, признавать за ними право на существование. Вот это-то именно и губит меня. Это *понимание* чужих идеалов лишает меня той энергии, которая возможна лишь под условием полного и безусловного отрицания каких-либо других идеалов, кроме своих собственных. Спросите меня, готов ли я устремиться с мечом в руках на человека, который украл калач, то есть преступил против дорогого мне принципа собственности, — я усомнюсь. Я охотно буду вести разговор о том, как прекрасно, что на свете существует собственность и всякие союзы (чего хочешь, того просишь), но едва ли пойду утверждать эти принципы с огнем и мечом, ибо чувствую, что как только возьму в руки меч, так сейчас же и спасую. Растлевающая мысль, что меч никого не убеждает и что даже очень трудно диспутировать с человеком, у которого в руках меч, парализует все мои намерения, и я невольно краснею и вкладываю меч в ножны. Вложив в ножны меч, я начинаю разговаривать, и, покуда слова льются из моих уст целыми потоками, я совершенно не замечаю, как в моих глазах совершается некоторое чудо. А именно: не успеваю я высказать и десятой доли того, что у меня накопилось на душе (а на душе у меня целая передовая статья в шесть столбцов), как убеждаюсь, что меч, от которого я так великодушно отказался, уже очутился в руках моего противника! И вот, завладевши им, он уже сам беспощадно начинает лупить им меня по голове, лупить и приговаривать: «Дурак! фалелей! рохля! это тебе за то, что ты меня не лупил в то время, когда имел возможность и право лупить!» Да, и «право», ибо никогда право так не подтверждает само себя, как в то время, когда оно лупит.

Напротив того, Ваня имеет идеалы хотя скудные, вроде марфориевской карьеры или целодневного пребывания в фруктовой лавке Одинцова, но зато вполне определенные. Это идеалы неотразимые, вне которых он *ничего другого* не понимает, *ни к чему другому* не может стремиться. Эта исключительность значительно помогает ему. Потомок первобытных пензенских корнетов, он твердой ногой идет по наторенной ими колее, не смущаясь ни изменяющимися по сторонам видами, ни даже препятствиями, которые время и непогоды устраивают на

самой колее. Он не слыхал ни о каких «союзах», и лишь понаслышке знает о «собственности», но зато знает меч и Одинцова. Выступив однажды на брань с мечом в руках, он имеет лишь одно ясное представление: что этим мечом следует действовать сверху вниз. И если б кто-нибудь ему сказал, что не произойдет особенного ущерба, если меч будет вложен в ножны прежде, нежели «все» враги Одинцова будут перебиты, он прямо назвал бы того человека лжецом. Никакой стон его не удивит, никакой резон не вразумит. Он допускает, конечно, возможность стонов и резонов, но допускает лишь как естественное последствие одностороннего махания мечом. Когда один разит, то понятно, что другой стонет или желает нагрубить, — вот и все. Он даже удивился бы, если б не услышал стона; он сказал бы: мерзавец! даже не пикнул! Повторяю: его идеалы скудны, низменны, но они срослись с ним, они составляют его вторую природу, а это-то именно и дает ему ту жестокую устойчивость, которою он удивляет мир. И потому, встреться с ним не только я, слабый провинциял, проведший всю свою жизнь под гнетом Прокопа, Дракиных, Хлобыстовских и проч., но и всякий другой, несколько попорченный более человечными идеалами, он, нимало не задумываясь, или поработит, или, в случае сопротивления, не оставит камня на камне.

Представьте себе, что я заточен вместе с Ваней в каком-нибудь чрезвычайно маленьком мире, где мы не можем ступить шагу, чтоб не столкнуться друг с другом и не вызвать друг друга на борьбу. Ясно, что выход из этого положения может быть один: либо мы сотрем друг друга с лица земли, либо сделаемся сиамскими близнецами. Но стереть Ваню с лица земли мне не под силу: это до такой степени очевидно, что я даже и в мысли не держу подобного предприятия. Остается, стало быть, сделаться его сиамским близнецом. И вот, я покоряюсь этому, но, в то же время, по обычаю всех слабохарактерных людей, покоряюсь неискренно, а, так сказать, середка наполовину. В уме моем созревает целый план нельзя ли как-нибудь обойти Ваню, то есть и ему коечто из своих идеалов уступить, да и его заставить тоже кое-что уступить. План этот так нравится мне, что я, не откладывая дела в длинный ящик, начи-

наю усовещивать и убеждать моего друга, и делаю это тем охотнее, что самое умственное его убожество, казалось бы, должно облегчить выполнение моей задачи.

— Ваня! — говорю я ему, — ты хоть бы что-нибудь почитал!

— А! да! — отвечает он, смотря на меня с какою-то совершенно безумною рассеянностью, — почитать! да! почитать! А вы знаете, mon oncle, что я вчера с Сережей Подснежниковым побился об заклад, что сразу десять коробок висбаденских слив съем? Одну за другой... понимаете! Разом! sans désemparer![1] И съел-с!

— И съел! да?! Vous êtes un noble coeur, Jean![2] Но все-таки, душа моя, ты хоть бы легонькое что-нибудь... Взял бы, например, «Старейшую Российскую Пенкоснимательницу»... если передовые статьи трудны для тебя — ну, хоть бы фельетонцу попробовал!

— А! да! вы говорите: «фельетонцу»! Это хорошо... «фельетону»! Да! да! А какой нам сегодня Одинцов ликер посулил... et bien! je ne vous dis que ça![3] Нарочно выписал! Я, признаюсь, давно уж этот ликер угадывал! J'ai eu comme un pressentiment![4] Давно уж я ему говорил: все у тебя, Одинцов, хорошо; да вот нет этого ликера... ты понимаешь!.. нет этого ликера, который бы... и разом и исподволь... понимаешь! И вот, только теперь он отыскал именно то, что следует! Mais j'espère que vous êtes des nôtres, mon oncle![5] Мы пробуем... не правда ли?

И так далее, то есть на все мои просьбы «почитать» он непременно ответит каким-нибудь известием из мира овошенных товаров: либо о вновь привезенном и дотоле неведанном сыре, либо о балыке, имеющем совершеннейший вид янтаря...

Я не спорю, что и я мог бы покорить Ваню, если б на его приглашения с тою же первобытною непреклонностью отвечал: дотоле не пойду с тобой

---

[1] не сходя с места.

[2] У вас благородное сердце, Жан!

[3] прекрасный, скажу я вам!

[4] У меня было как бы предчувствие!

[5] Но я надеюсь, что вы разделите с нами компанию, дядюшка!

в «закусочную», доколе ты не расскажешь содержания хотя одного фельетона. Но в том-то и дело, что высшее развитие, которым я так горжусь, поселило в моей душе бесчисленное множество противоречий, отнимающих у меня всякую возможность действовать непреклонно. Мне все как-то кажется, что Ваня — человек, и в этом качестве не недоступен убеждению. Что вот я сегодня, для смягчения его, съем сотню устриц, завтра выпью залпом стакан коньяку, а послезавтра и он кое-чем меня порадует: сначала прочитает заглавие, потом пробежит строчку или две, потом улыбнется (бедный! ему так мало надобно, чтоб прийти в веселое настроение духа!), а затем — глядь! — и весь фельетон проглотил!

Но тут-то именно и кроется мое заблужденье. Поцелуевы никогда ни перед чем не отступали и никогда никому не уступали. Ласковое обхожденье только разжигает их упорство. Убедившись, что я, в угоду ему, выпил стакан коньяку, Ваня помышляет уже о том, как бы заставить меня выпить залпом целую бутылку. Он делается капризен, начинает предъявлять самые неподходящие требования. Он раздражается при одном напоминании о необходимости что-нибудь почитать, и в своем раздражении доходит до того, что, увидев однажды в моих руках маленькую тетрадку, под названием: «Полное собрание сочинений Менандра Прелестнова», бесцеремонно вырывает ее и швыряет в камин (вот почему я до сих пор не издал этих сочинений, несмотря на еженедельные приставания Менандра: издай да издай; но ежели приставания его не прекратятся, я издам; это будет для меня тем более легко, что я знаю их наизусть). Он преследует меня, зачем я глотаю устрицы с шабли, а не с портером, зачем я оканчиваю мой день шампанским, а не fine champagne, зачем я ем селедку с подливкой, а не «безо всего». Кто знает, не сочинит ли он под конец свою собственную теорию сотворения мира и не потребует ли, чтоб я сделался солидарен с его миросозерцанием...

Представьте себе такую картину. Ваня с ногами лежит на грязном обтрепанном диване, украшающем устричную конуру, и без перемежки мечет в меня, сидящего тут же, стрелами своего остроумия.

Удивляюсь, — говорит он, — как «некоторые

люди» находят время что-нибудь читать. Я, например, никогда такого желания не испытал. И полагаю, что никто не назовет меня за это скотом. Не правда ли, mon oncle? Да-с; полагаю-с. А если б такой откровенный человек нашелся, то я желал бы видеть, с какою бы он вышел отсюда рожею! Mais... n'est-ce pas?[1]

— Но, душа моя... отчего же, однако, не почитать?!

— Оттого, повторяю я, что у меня нет для этого времени... est-ce clair?[2] И я в свое время читал... я прочел всего Габорио, всего Поль де Кока, всего Феваля... que sais-je![3] Но теперь, когда у меня явились серьезные занятия... je me soucie bien de vos Féval![4] И я надеюсь, что никто не назовет меня за это ни скотом, ни ослом, ни даже невеждою. Да-с; надеюсь-с.

— Но послушай же, друг мой...

— Позвольте, mon oncle, дайте мне кончить. Возьмем хотя следующий пример. С некоторого времени я совсем никуда не хожу, кроме «закусочной» и цирка. Я даже не обедаю. Я посылаю отсюда в трактир за порцией котлет и съедаю их здесь, в этой комнате. Je ne dis pas que ça soit tout à fait confortable, mais... ça m'arrange![5] Но есть люди — я вижу это! ah! j'ai plus de perspicasité qu'on ne le pense![6] — у которых по этому случаю так и вертится на языке слово «шалопай»... N'est-ce pas, mon oncle? Конечно... я не знаю... быть может, с точки зрения философии (Ваня с какою-то неизреченною язвительностью произносит слово «философия», как будто надеется пристыдить им меня)... ну да, с точки зрения философии... быть может, оно... но клянусь, что как ни остроумно слово «шалопай», оно никогда не слетит у этих людей с языка... Vous m'entendez, mon oncle![7] — никогда! Ибо в ту минуту, как это слово слетает с языка, я беру за хвост вот эту самую селедку и обмазываю ею лицо шутника!

---

[1] Не правда ли?

[2] ясно?

[3] всех не упомнишь!

[4] очень мне нужны ваши Февали!

[5] Я не говорю, что это вполне комфортабельно, но... мне это удобно!

[6] я проницательнее, чем думают!

[7] Понимаете, дядюшка!

И так далее.

И эта сцена не единственная. Вводя меня в круг своего миросозерцания, Ваня каждый день угощает меня чем-нибудь в этом роде. С истинно англосаксонскою беспощадностью он ставит меня на известную покатость, очутившись на которой я даже ни о чем другом не могу мечтать, кроме безусловного поддакивания и изумления перед его остроумием, находчивостью и проницательностью. Ибо, в противном случае, он, не долго думая, возьмет с тарелки селедку и обмажет ею мне лицо!

Такова сила бесповоротности идеалов и таковы последствия ее для тех слабохарактерных, которых сталкивает судьба с людьми, обладающими этою силою.

Но представьте себе, что Ваня не одиночный какой-нибудь экземпляр, а представитель целой категории людей, которая говорит и мыслит как один человек и которая столь же беспощадна в деле махания мечом, как и недоступна внушениям резонности! Представьте себе, что в это единомысленное, почти замкнутое общество попадет, по недоразумению (ведь попал же я, *по недоразумению,* в сумасшедший дом!), человек, который совершенно лишен врожденной идеи, что селедку надобно есть «безо всего», что шампанское следует предоставить младенцам, а мужам совета приличествует тянуть коньяк, vine champagne и ликеры! Что должно произойти с ними, какие муки предстоит ему вытерпеть, если он не найдет в себе достаточной твердости духа, чтоб сразу взять шапку и бежать куда глаза глядят? Да и тут еще вопрос: как изловчиться взять шапку, чтоб этого не заметили и не пустили селедкой вдогонку? и куда убежать, где бы не настигла ненависть и месть этих новых Катонов, которые на каждого человека, имеющего на столе календарь, взирают с мыслью: delenda est Carthago![1]

При одной мысли об этих Катонах мороз подирал меня по коже. Я метался в постеле, и перед умственным взором моим проходили целые вереницы людей, из которых каждый считал долгом уколоть меня. Я чувствовал все ничтожество этих уколов, я сознавал всю пошлую безобидность этих уязвле-

[1] Карфаген должен быть разрушен!

ний — но и за всем тем невыносимо страдал. Не физическая боль была несносна, а унизительная обязанность терпеть. Наконец я, однако ж, спохватился. «Бежать! — вскрикнул я вдруг, — да, надо бежать!» Но я уже опоздал. Все как-то странно кругом меня перепуталось и переплелось. Я слишком долгое время мечтал, что как-нибудь да обойдется, да даст бог перемелется, позабудется и т. д., — так что, когда я очнулся, я увидел себя на самом дне преисподней. Передо мною уже не один и не два укола, а целый ворох уколов. Я не могу указать, что́ именно у меня болит, но чувствую, что весь организм мой в огне. И вот я напрасно стараюсь прорыться сквозь эти сорные кучи, напрасно хочу прорвать тенета, опутавшие меня. Я затянут, я скомкан, я взят в плен. Я вижу меня ждет какое-то бесконечно глупое мученичество... Это раздражает меня все глубже и глубже, так что под конец я даже начинаю чувствовать себя способным на что-то совершенно нелепое, почти чудовищное...

Да, думалось мне, как это ни обидно, но должно сознаться, что я способен на такое самопорабощение! Ведь подчинялся же я Прокопу, Дракиным, Хлобыстовским, всем этим Зенонам бессознательности, которые бесцеремонно берут человека за шиворот и ведут его куда вздумается! ведь ходил же я и упраздненного генерала хоронить, и концессию высматривать, не имея ни малейшего позыва ни к тому, ни к другому! Что если сегодняшняя встреча даст Ване идею о порабощении меня! Ведь он наверное достигнет этого или же при первом моем сопротивлении поступит со мной так же строго, как поступил давешний суд с бедным, забитым сумасшедшим, который был обвинен — шутка сказать! — в «замарании» своего халата! Происшествие, послужившее поводом для суда, заключалось в следующем: какой-то счастливый наглец забавлялся, во время обеда, бросанием подсудимому в тарелку обглоданных косточек и сам же принес жалобу, что подсудимый не только не обуздал его, но совершенно спокойно перенес нанесенное ему оскорбление. И что же! вместо того чтоб наказать обидчика и вступиться за обиженного, все сословие умалишенных его же обвинило в «замарании халата», то есть в таком преступлении, ужас-

нее которого устав дома умалишенных ничего не признаёт!

Картина этого суда восставала передо мною в малейших подробностях. Все помешанные говорили разом, так что ничего нельзя было разобрать. Обвиняемого ни о чем не спрашивали, а выслушивали только обвинителей. По обыкновению, явилась целая толпа свидетелей, горевших нетерпением утопить обвиняемого в ложке воды.

— Признаюсь, я даже удивлен был! — говорил отставной штабс-капитан Тумаков,— ну, сделай он хоть что-нибудь... ну, обругай... смажь, что ли... все бы, знаете, благородный порыв виден был! А то — ничего-с! Только обдернулся-с!

И он был осужден. «Подсудимый! — сказал ему Ваня ясным и бесстрастным голосом,— отныне, вы навсегда лишены халата! В одном нижнем белье вы обязываетесь блуждать по свету, и общее презрение будет следовать по пятам вашим!»

Что, ежели и со мной будет поступлено точно таким же образом!

Где-то, в дальней комнате, пробило двенадцать, а я все еще не спал. Где-то, вблизи, простонал во сне сумасшедший, и опять все смолкло. Наконец, однако ж, утомление превозмогло, и я как-то разом забылся.

Но сон этот был продолжением тех же тревожных снов, которые я испытал в последнее время моего пребывания в Петербурге. Пьянство, концессии, статистический конгресс, политический процесс — все это соединилось вместе в продолжение каких-нибудь двух, трех месяцев! Недоставало только сумасшедшего дома, но вот и он. Ясно, что сон не мог дать мне ни успокоения, ни освежения, что он должен был служить воспроизведением тревожно проведенного дня, воспроизведением, фантастически перемешанным с воспоминаниями молодости и детства, которые как-то особенно живуче представляются человеку в минуты тревог.

Мне снится (очевидно, под впечатлением давешних рассказов о проекте международного цирка), что я мчусь по царицыну лугу на кобыле-тигрице (один из результатов скрещивания, добытых Ваней), мчусь и верхом, и стоя, и сидя боком на крупе у самой репицы... Я перескакиваю через ленты

и обручи, я прорываю головой заклеенные бумагой «бочки», являюсь поочередно то «индейцем с томагауком в руках», то «матросом, утопающим в волнах океана», то «музыкантом, играющим на деревенской свадьбе»... Проходят часы, месяцы, годы, а я все мчусь, все переодеваюсь, все прорываю головой бумажные бочки... Посредине площади стоит Ваня с бичом в руках и старается достать им меня по ногам. Из одной ложи строго сверкают на меня черные глаза Эммы Чинизелли; из другой — одобрительно ласкают голубые глаза Эммы Братц. О! гоп! о! гоп! о! гоп! — раздается кругом меня. О! гоп! — восклицаю я и сам в каком-то неистовстве. Бока площади словно бисером унизаны зуавами, тюркосами, прусскими уланами, венгерскими гусарами, турецкими башибузуками. Это ценители и судьи. Каждый из них бесцеремонно что-нибудь замечает; один — что я задел ногою за обруч; другой — что я дрогнул, когда, стоя одной ногой, так сказать, на хвосте лошади, другую вытянул в воздухе в уровень с головой; третий — что я нечисто прорвал бумажную «бочку».

— У настоящего ездока поджилки должны быть стальные!

— Смотрите! он даже хвоста у кобылы не подмыл!

— Таким ездокам следует воду возить, а не за «sauts de planiglobes»[1] браться!

И я все это слышу и чувствую, как пронизывает меня взор Эммы Чинизелли, которая как будто говорит: погоди! вот ужо мы покажем тебе на конюшне, как следует ездить! «На конюшню! ведите его на конюшню!» — вдруг несется откуда-то издалека чей-то знакомый голос, и вслед за тем вдруг встает из могилы дедушка Матвей Иваныч, во главе целой вереницы пензенских корнетов. Все они чрезвычайно взволнованны, все кричат: «На конюшню его! он осрамил нас! какой это «индеец»! какой это «матрос, утопающий в волнах океана»! пусть издыхает он под бичом!» И я мчусь, мчусь, мчусь, словно легионы злых духов преследуют меня... Обручи, бочки, ленты, гирлянды — все это смешивается и кружится в моих глазах. И вдруг — пропасть, и я ле-

[1] прыжки сквозь обруч.

чу стремглав вниз вместе с кобылой-тигрицей. Дыхание у меня захватывает, и я начинаю кричать...

Я вскакиваю и некоторое время сижу на постели с открытыми глазами. Но это не бдение, а продолжение того же сна, в котором мгновенный перерыв произвел лишь перемену декораций.

Мне снятся годы ранней юности, тяжелые годы, проведенные под сению «заведения». То было прекраснейшее, образцовое заведение, в котором почти исключительно воспитывались генеральские, шталмейстерские и егермейстерские дети, вполне сознавашие высокое положение, которое занимают в обществе их отцы. Все они, как две капли воды, были похожи на друга моего, Ваню Поцелуева. Как он, румяные и чистые лицом, как он же, с детства проникнутые страстью к телесным упражнениям и не признающие иного жизненного лозунга, кроме: «разорви!» Как ловко сидели на них «собственные» мундиры и курточки! как полны были их несессеры всякого рода туалетными принадлежностями! Как щедро платили они дядькам! с какою непринужденностью бросали деньги на пирожки и другие сласти! с какой грацией шаркали ножкой перед воспитателями и учителями!

Среди этой блестящей плеяды молодых ташкентцев я представлял собой какое-то прискорбное темное пятно. Мой отец не был даже камер-юнкером и в незавидном звании отставного корнета прозябал в каком-то медвежьем углу Вышневолоцкого уезда, сея хлеб на камени и скудно прокармливаясь насчет скудных лепт, вытягиваемых из сотни-другой крепостных крестьян. У меня не было ни *собственного* мундира, ни *собственной* шинели с бобровым воротником. В казенной куртке, в холодной казенной шинельке, влачил я жалкое существование, умываясь казенным мылом и причесываясь казенною гребенкою. Вид у меня был унылый, тусклый, не выражавший беспечного доверия к начальству, не обещавший в будущем ничего рыцарского. Я не умел ни шаркнуть ножкой, как юноша, в котором сидит уже в зародыше камер-юнкер, ни перелететь через зал, по вызову начальства, в той устремленной позе, которая служит первым признаком детской благовоспитанности и готовности. Я не давал дядькам на водку и не накупал пирожков.

Я ел казенную говядину под красным соусом и казенные «суконные» пироги с черникой, от которых товарищи мои брезгливо отворачивались, оставляя их на съедение дядькам и сторожам. Первое время я даже оставался по праздникам в «заведении», тоскливо слоняясь по залам его и предаваясь загадочным думам о товарищах, которые в это время мчались на лихачах по Невскому и приучались в кофейнях пить коньяк.

Повторяю: я был пятном на светлом фоне общей воспитательной картины, и не только я сам, но, повидимому, и начальство «заведения» сознавало это. Меня наказывали охотнее, нежели других; меня оставляли без обеда с полным сознанием достигнуть не мнимого, а действительного лишения. Даже при разборе так называемых «историй», случавшихся в «заведении», меня ставили как-то особняком. «Сознайтесь, благородные молодые люди!» — говорил директор товариществу; и затем, когда «благородные молодые люди» не сознавались, то, обращаясь ко мне, присовокуплял: «Ну, а тебя нечего и спрашивать!» Если же, по временам, воспитатели и относились с сожалением к моей заброшенности, то я совершенно ясно читал в этих жалеющих глазах: жаль его, а все-таки было бы лучше, если б в нашем прекрасном «заведении» не было этого «пятна»!

Товарищи не чуждались меня, но выказывали полное ко мне равнодушие. Я не имел повода видеть в этом факте ни тени преднамеренности, но для щекотливого детского чувства это отсутствие преднамеренности даже еще более усугубляло обиду. Никто не имел во мне нужды, и потому никому не приходило в голову, чтобы и я мог в ком-нибудь иметь нужду. Как-то само собой так случалось, что я всегда видел себя вне интересов моих однокашников. У них были общие воспоминания, общая почва для разговоров, не касавшаяся казенной сферы заведения; у меня ничего подобного не было, так как подробности, относящиеся до житья в Вышневолоцком уезде, решительно никого не могли интересовать. Обнявшись, разгуливали воспитанники попарно по аллеям, ведя между собой интересную беседу, и когда я пробовал вмешиваться в эту беседу, предлагая вопрос о том, будет или не будет такой-то учитель, или о том, правда ли, что эконому

велено подать в отставку,— мне хотя и отвечали, но до такой степени безучастно, как будто отгоняли рукой надоедливую муху. Видя это, я и сам невольно сторонился, вырабатывая в себе чувство злобы к замкнутому мирку, который так бесцеремонно смотрел на меня, как на прокаженного. Я уединялся где-нибудь в углу, с книжкой в руках, и втихомолку от воспитателей питал свое воображение нездоровою пищей романов февалевской школы.

Увы!— сказать ли правду?— в те годы детской незрелости, когда я должен был преимущественно думать об укреплении слабого организма... я уже писал стихи! Я безразлично пародировал и Лермонтова и Бенедиктова; на манер первого, скорбел о будущности, ожидавшей наше «пустое и жалкое поколение»; на манер второго — писал послания «К Даме, Очаровавшей Меня Своими Глазами». Смерть Пушкина была еще у всех в свежей памяти, и поэты того времени никак не могли поделить между собою наследства его. Во мне родилась самонадеянная мысль, вместе с Тимофеевым и Бернетом, завладеть хоть одним клочком этого наследства. Чтоб достигнуть этого, я писал стихи, так сказать, запоем, каждый день задавая себе новую тему и, во что бы то ни стало, выполняя ее. Воспитатели ловили меня в этих занятиях и безжалостно предавали поруганию, прочитывая во всеуслышание произведения моей музы. Товарищи, в свою очередь, загадочно переглядывались между собой и сначала шепотом, а потом громче и громче стали называть меня «умником».

Название «умник» далеко не пользовалось почетом в «заведении», отражавшем в себе, «как в малой капле вод», настроение тогдашнего, не любившего умников, общества. Начальство преследовало умников, воспитанники смотрели на них как на людей, занимавшихся несвойственными дворянскому званию занятиями. Именно так взглянули мои товарищи и на меня. Это были простодушные и совершенно неразвитые юноши, которым едва ли даже приходило когда-нибудь на мысль спросить себя: что такое ум и годен ли он на какое-нибудь употребление? «Мы не умники!— говорили они,— мы стихов не пишем! мы умных книг не читаем!» — и не только не скорбели, но даже как бы гордились

таким упрощенным взглядом на деятельность человеческого ума. Для них гораздо интереснее было знать, кто лучше шьет штаны, Маркевич или Брунст (знаменитые в то время военные портные), нежели спорить о том, кто лучше пишет стихи, Подолинский или Бернет. Поэтому известие о том, что в их среду затесался умник, произвело на них совершенно то же впечатление, как если бы в «заведении», среди воспитанников, вдруг оказался сын вольного художника или арфиста. Это было впечатление изумления.

К сожалению, все это бесило меня и вызывало с моей стороны бессильный протест. Я совершенно серьезно принял кличку «умника» и, полный сознанием своего умственного превосходства, перестал вытерживать заданные уроки, сделался неряшливым, презирал выправку и грубил воспитателям. На холодность товарищей я ответил пренебрежением, которое, однако ж, далеко не было так искренне, как я хотел это показать. Чтоб уязвить их, я написал басню под названием: «Философ и стадо ослов», в которой выставил себя в выгодном свете «философа», а товарищам предоставил играть роль «ослов». Но даже и это не тронуло их, а только вызвало с их стороны довольно безвредные шутки, в которых напоминалось мне, что Тредьяковский был избит Волынским и что он же получил от императрицы Анны Ивановны всемилостивейшую оплеушину (это были единственные сведения о русской литературе, которые были в ходу в нашем «заведении»). Тогда я обиделся не на шутку и, оставив всякую сдержанность, обратился к ним в упор.

— Я умник,— сказал я,— а вы глупые. Да, глупые! глупые! глупые! Но вас, глупых, ласкают и балуют, а меня, умного, преследуют и наказывают! И когда вы, глупые, выйдете из «заведения», то вас сделают камер-юнкерами, а может быть, и помпадурами, а я, умный, буду изнывать в это время в регистратуре и облизываться при виде ваших расшитых золотом фалд! Скажите, справедливо ли это?

Это было с моей стороны и назойливо и непоследовательно. Назойливо — потому что хотя мои товарищи и не видели ничего дурного в глупости, но все-таки не желали, чтоб им слишком явно напоми-

нали об ней. Непоследовательно — потому, что в упреке моем сказывалась зависть и тайное вожделение вышитых золотом фалд, которые я, в качестве «философа», должен бы был презирать. Поэтому меня сразу осадили, сказав:

— Вместо того чтоб завидовать и считаться, лучше бы ты на свои руки посмотрел! Ведь это срам — всегда все в чернилах! Ты не забудь, что ты воспитываешься в одном с нами «заведении» и что твой срам падает на всех нас! А сапоги-то! Messieurs! посмотрите, какие у него сапоги! Sapristi! Ça devient intolérable![1]

Выслушивая эти отповеди, я бледнел и дрожал! Увы! как ни храбрился я, как ни хвастался своею изолированностью среди «глупеньких мальчиков», дух корпорации действовал и на меня. Незаметно въедался он в мою жизнь и подрывал мой напускной стоицизм. Я видел сны, в которых представлял себя прекрасным молодым человеком, разъезжающим на лихачах, ликующим с юнкерами в кофейных и расшаркивающимся с ловкостью опытнейшего камер-юнкера. Я прислушивался к рассказам о воскресных подвигах товарищей, и, к удивлению, они уже не казались мне глупыми, как прежде. В довершение метаморфозы, казенная куртка, казенная шинель, казенное мыло сделалось мне положительно нестерпимыми и ненавистными.

В то время я уже ходил по праздникам к вдовствующей тетеньке Клеопатре Аггеевне, которая нанимала квартиру где-то на дворе в Канонерском переулке и на тысячу рублей в год содержала многочисленное семейство. Я скучал у нее и голодал, но, возвращаясь в «заведение», представлялся совершенно удовлетворенным и беспечно ковырял в зубах. При посредничестве тетеньки, всякими правдами и неправдами, я вытянул из Вышневолоцкого уезда небольшое число денег и справил себе на них «собственный» мундир и «собственную» шинель. Это была уж почти победа. Никогда не вздыхал я так сладко, как в ту минуту, когда увидел себя в новой одежде!

Однако ж это «переодевание» привело меня совсем не к тем результатам, каких я ожидал. Преж-

---

[1] Черт возьми! Это становится несносным!

де, в казенной, подбитой ветром шинели, с испачканными в чернилах руками, с взъерошенными волосами, я хотя и не представлял образца изящного молодого кавалера, но был, как говорится, самим собой. Теперь, в «собственной» шинели, с вымытыми дочиста руками, с головой, обремененной помадой, я был похож на мещанина, собравшегося в праздник к обедне. Ничто не укрылось от проницательности знатоков-товарищей: ни то, что на мундире у меня было не семи-, а четырехрублевое сукно, ни то, что на воротник шинели был поставлен не настоящий, а польский бобер, ни то, наконец, что все это было шито не Маркевичем и даже не Брунстом, а каким-то маленьким портным с Офицерской улицы...

Но что всего важнее: вступление на путь франтовства было замечено и сделалось предметом самых язвительных комментарий. Стало быть, я совсем не «философ», если на скудные вымученные из вышневолоцких мужиков деньги поспешил приобрести не хрестоматию Галахова, но шинель с польскими бобрами! стало быть, я только прикидывался умником, а в сущности был дрянной и завистливый мальчишка, втайне сгоравший теми же самыми вожделениями, которыми горели и прочие егермейстерские и шталмейстерские дети! Подметив во мне эту черту, товарищи решились эксплуатировать ее и сделать из меня шута. И я должен сознаться, что эти невежественные дурачки, не знавшие хорошенько, кто разрубил гордиев узел, Александр Македонский или князь Александр Иванович Чернышев, принялись за дело моего вышучивания с тактом и талантливостью, которых я даже не подозревал в них.

Сдержанный смех встретил меня в моем новом наряде. Но я уже опьянел и не понял смысла этого смеха. Я серьезно вообразил себя франтом и охотно дозволил сделать из себя героя дня. Мой мундир рассматривали и хвалили доброту и атласистость сукна; мой воротник щупали и уверяли, что его никак нельзя отличить от настоящего бобрового; показывали друг другу мое мыло и, в порыве энтузиазма, зараз измылили весь кусок. Товарищи, наперерыв друг перед другом, приглашали меня по воскресеньям к себе, называли «поэтом», удивлялись, как до

сих пор они не заметили, что я лихой малый, заставили меня вместе с ними курить в печку и очень мило смеялись, когда я, выкурив сряду две папиросы, почувствовал, с непривычки, тошноту.

В самое короткое время я совершенно очутился в их власти. Я катался на чужой счет на лихачах, кутил на чужой счет в кофейных, курил, как капрал, пил ром, коньяк и играл в карты, без надежды заплатить свой проигрыш. Я с самым дурацким видом рассуждал о рысаках и о сравнительных достоинствах той или другой камелии и при этом лгал и хвастал немилосердно. Я уверял, что по воскресеньям выпивал за обедом целую бутылку шампанского; что у тетеньки Клеопатры Аггеевны платье шелковое, а шлейф бархатный; что она фрейлина, занимает целый дом и платит сто рублей в месяц французу-повару. Не помню наверное, но, кажется, я прибавлял, что у ней на содержании два куафера. Не сознавая ни слов, ни поступков своих, я приглашал всех к себе, то есть к тетеньке, и совершенно бессовестно присовокуплял: si vous venez, messieurs, je vous ferai manger d'un certain gigot, dont vous me direz des nouvelles![1] Словом сказать, не будучи рожден шалопаем и не имея никакого права быть таковым, я лез из кожи, чтоб сравняться в этом отношении с моими товарищами. Это была уже столь явная дерзость с моей стороны, которая, конечно, не могла не возмущать их.

Дети жестоки, в особенности же те, которые начинают выходить из детского возраста и которым, быть может, никогда не суждено вырасти в меру человека. Вводя меня в свой круг и делая участником своих праздничных кутежей, товарищи ни на минуту не забывали, что я умник и что поэтому меня следует проучить. В сущности, впрочем, все мое тогдашнее существование было непрерывною цепью проучиваний, и только громадное самомнение не позволяло мне замечать те беспрерывные уколы и поддразнивания, которые преследовали меня на каждом шагу. Увы! я так искренно желал пленить моих мучителей, что сам первый поверил успеху моих усилий.

Чтоб отрезвить меня, мало было простых уколов:

[1] если приедете, господа, я угощу вас такой бараниной, что вы ее долго помнить будете!

требовались удары более сильные, такие, после которых для меня не оставалось бы ни малейшей лазейки, чтоб обмануть самого себя. И эти удары не заставили ждать себя.

В одно из воскресений я был у тетеньки Клеопатры Аггеевны и обедал. Как сейчас помню: вслед за гороховым супом подали жареного гуся. Тетенька, по обыкновению, роптала на дороговизну провизии (причем искоса взглядывала на мою тарелку) и жаловалась на папеньку, что он обещал ей и индеек и уток и, вместо того, прислал одних гусей, да и то откормленных дурандой. Я, с своей стороны, тоже роптал, потому что, после тонких обедов у товарищей, гусь, отзывающийся льняной избоиной, казался мне кушаньем, могущим играть роль где-нибудь на постоялом дворе, а никак не в столовой благовоспитанных людей. И вдруг, среди этих ропотов, в передней раздается гвалт, звяканье шпаг, споры с кухаркой, и через минуту в нашу скромную столовую врывается целая гурьба веселых молодых людей.

Мгновенно перед моим умственным взром пронеслись все мои недавние хвастовства. И тетенькино фрейлинство, и куаферы, и француз-повар, и знаменитое «gigot, dont vous me direz des nouvelles»[1]. Тетенька испуганно вращала зрачками, дети ревели, не позволяя обтереть замазанные соусом личики. Я страдал невыносимо, но и среди страданий меня не оставляла мысль, что на лестнице у нас воняет, что в передней темно и что, наконец, на столе стоит... гусь!

— Тетенька! ради Христа... одну бутылку шампанского... одну! — сказал я, не помня сам, что́ говорю.

Громовый хохот веселой толпы был ответом на мою мольбу.

— Madame! ne vous dérengez pas![2] — выступил вперед Simon Накатников, самый глупейший и в то же время самый злейший из моих преследователей, — mais... Dieu me pardonne![3] — она, кажется, даже не понимает по-французски! Как же ты уверял, душа моя, что она фрейлина? Messieurs! regar-

---

[1] «баранина, которую вы долго помнить будете».
[2] Сударыня! не беспокойтесь!
[3] Но... прости меня, боже!

dez-moi cette demoiselle d'honneur, qui a tout l'air d'une maquerelle![1] А! умник (сказав это, он потрепал меня по носу пальцем) так вот как! так у твоей тетеньки бархатный шлейф! так она платит повару сто рублей в месяц! Madame! Je vous demande pardon, mais vous comprenez bien, que ce n'est pas pour vos beaux yeux que nous nous trouvons dans ce taudis:[2] он сам звал нас; он сказал, что накормит нас d'un certain gigot... ce'tte blague![3] А затем, госпожа фрейлина, наше вам-с! С пальцем девять, с огурцом пятнадцать! — закончил он, пародируя известную гостинодворскую поговорку автора Григорьева и уводя за собой веселую толпу.

Вечер этого дня я провел как в тумане. Я сидел за своей конторкой, уткнув глаза в книгу и ничего не понимая. Кругом меня шел шепот и сдержанный, наполнявший мое сердце болезненными предчувствиями, смех. На этот раз, однако ж, сверх моего ожидания, дело обошлось благополучно. На другой день Simon Накатников первый подошел ко мне и подал руку.

— Мир! — сказал он, — все это немножко глупо вышло, и я первый сознаюсь в этом. Но согласись, что и ты отчасти виноват. Tu as été présomptueux et blagueur, mon ange![4] Блягировать можно, но в известных границах, а ты третировал нас, как глупцов! Ты уверял, что твоя тетенька, cette vénérable vieille, qui a l'air d'une maquerelle[5], — шутка сказать, фрейлина! Sais-tu, que c'est presqu'un crime, ça?[6] Потому что ведь фрейлина — это такой пост (c'est une charge d'état, mon cher, souvenez-vous en![7]), о котором нам с тобой всуе разговаривать не приходится... N'est-ce pas, cher?[8] Ну, а затем, все-таки мир! Не так ли?

Увы! я не только подал руку, но даже проникся благоговением к великодушию прекрасных молодых

---

[1] Господа! взгляните на эту фрейлину, которая похожа на сводню!

[2] Сударыня! Прошу извинения, но вы сами понимаете, что не ради ваших прекрасных глаз находимся мы в этой конуре.

[3] бараниной... что за бахвальство!

[4] Ты был тщеславен и хвастлив, мой ангел!

[5] почтенная старуха, похожая на сводню.

[6] Знаешь ли ты, что это почти преступление?

[7] это государственная должность, мой милый, помните!

[8] Не правда ли, дорогой?

людей, которые прощали моему недостоинству. Я и не подозревал, что у них уже созрел план более обширный: план окончательно выжить меня из «заведения».

В следующее же воскресенье план этот был выполнен. Я не знаю, как это случилось; помню только, что мы кутили где-то в задней комнате какой-то фруктовой лавки и что я, чтобы загладить мое недавнее недостойное поведение, пил вдвое больше против обыкновенного. Со мной шутили, меня поощряли и затем, напоивши допьяна, предательски оставили одного. Вечером я был привезен в «заведение» в сопровождении квартального надзирателя в бесчувственном положении.

Через неделю я был в Вышневолоцком уезде, в деревне Проплёванной, и выслушивал выговоры раздраженного отца...

Новые декорации и новый сон. Происшествия едва прожитого дня вновь вытесняют отголоски детства и выступают на первый план. Я вижу давешний суд,— и подсудимым оказываюсь на этот раз я сам.

Долгое время сдерживали Ваню узы живых воспоминаний об общих предках-корнетах, но я, так сказать, воочию уже видел, как он постепенно эмансипируется от связей родства, как накопляется и зреет в нем идея о каком-то «долге», как идея эта мало-помалу выясняется и втягивает в себя все его существо и как, наконец, он вступает в тот жизненный фазис, когда человеку постылеет свет и ничего другого не остается, как разом разрубить гордиев узел и освободить душу от массы всяческих стеснений, накопившихся вследствие вторжения в жизнь совершенно новых элементов.

И он сделал это.

Процесс моего порабощения представляет одну из тех страдальческих историй, рассказ о которых надрывает сердце человека. В древности не знали усовершенствованных способов вымучивания — это плод современной цивилизации. В старину самые проницательные люди не шли дальше физических страданий, то есть рубили, жгли, топили, и лишь тогда, когда нужно было что-нибудь доподлинно вы-

знать или добиться раскаяния, прибегали к некоторым утонченностям, то есть: вытягивали жилы, мешали спать, заставляли ходить по спицам и т. п. Нынче даже самый глупый человек знает, что вымучивание физическое — не больше как шалость в сравнении с вымучиванием нравственным. Нынче даже самый сущий осел — и тот норовит забраться в сокровеннейшие тайники человеческого существования и там порыться своими копытами.

Утонченность нравов породила *наслаждение* вымучиванием, наслаждение чрезвычайно сложное и прихотливое и в то же время, по свойствам своим, доступное даже людям наименее развитым. Современный мучитель требует, во-первых, чтобы вымучиваемый субъект предъявлял известную гарантию чувствительности и, во-вторых, чтобы самый процесс вымучивания был не моментален, а занимал более или менее обширный период времени. Древние ослы нападали большею частью друг на друга и друг друга залягивали всмерть, но перед высшими организмами они ощущали страх. Современный осел не только не бросается на своего собрата, но приветствует его веселым мычанием и вступает с ним в союз именно в виду того сравнительно высшего организма, перед которым трепетал его пращур. Этот высший организм самым существованием своим напоминает ослу об его ушах и, следовательно, оскорбляет его. Отмстить за оскорбление, которого нет ни в намерениях, ни в поступках мнимого оскорбителя, — вот цель всех усилий осла. Чтоб достичь этой цели, он действует и в одиночку, и в союзе с себе подобными, и так как во всех этих действиях нет ни малейшего смысла, то нападение всегда застает свою жертву врасплох и, следовательно *всегда* увенчивается успехом. Процесс порабощения совершается с помощью таких нехитрых средств, которые могут вызвать только изумление или улыбку сожаления. Но эти нехитрые средства обманчивы и напоминают собой басню о комаре, залезшем в нос к льву. Вот и силен лев, а дрянной комаришко победил его. Он забрался в укромное место и вызудил-таки из него жизнь...

В отношении ко мне случилось все точно так, как я угадывал в те минуты скорбного бодрствования, которые предшествовали моим снам (зри

выше). Я предчувствовал, что Ваня поработит меня, — и он действительно поработил в самом реальном значении этого слова. Едва я пришел с ним в соприкосновение, как уже почувствовал себя на самом дне того особенного, овошенно-циркистского мира, в котором он процветал. Я сопротивлялся, сколько мог, но самое сопротивление только глубже и глубже увлекало меня вниз. Если б я не сопротивлялся, я прямо попал бы куда надлежит и наравне с другими чувствовал бы себя гражданином преисподней. Это, во всяком случае, избавило бы меня от излишних унижений. Но сопротивление сделало из меня парию. Меня стащили в преисподнюю с некоторыми усилиями, и когда наконец крышка надо мной хлопнула, то посадили меня на цепь и стали дразнить.

Ах! это был ужаснейший сон, который вдобавок до того походил на действительность, что весь мой организм болезненно трепетал под гнетом его!

Встретившись с Ваней, я добровольно пошел за ним в «закусочную», в которой он состоял в качестве habitué[1]. Там он лег с ногами на дырявый диван, а я сел напротив него, через стол, на стуле. Я потому так живо помню эти подробности, что именно с этого момента и началось мое порабощение. Устроившись сам, он начал убеждать меня, что гораздо более лучше, если и я, оставив стул, лягу с ногами на диване.

— Mais regardez donc, mon oncle, comme je suis bien comme cela![2] — говорил он мне, принимая всевозможные позы, то есть держась на локте, перевертываясь на другой бок и ложась на спину, — советую и вам, право, советую последовать моему примеру. Таким образом, мы оба устроимся очень комфортабельно, не будем женировать друг друга и поведем разговор по душе. Mais permettez! je vais vous arranger cela moimême![3]

С этими словами он подошел к дивану, стоявшему у противоположной стены, отодвинул стол и собственноручно меня уложил.

Я помню, как мне противно было ложиться на эту мебель, в которой, казалось, не было ни одного

---

[1] завсегдатая

[2] Но посмотрите же, дядюшка, как я хорош!

[3] Но позвольте! Я сам вам устрою это!

непроплеванного места; но, за всем тем, я лег. Мгновенно родившееся чувство гадливости мгновенно же и прошло, уступив место какому-то нелепому желанию во что бы то ни стало показать себя добрым малым, даже в ущерб бокам и чистоплотности.

Затем мало-помалу «закусочная» начала наполняться другими Ванями, точь-в-точь такими же, как и мой друг. На всех диванах лежали распростертые люди; те же, которым недоставало диванов, составляли кресла и тоже укладывались с ногами. Задымились папиросы, началось закусыванье, глотанье устриц, откупоривание бутылок. Через полчаса в комнате стоял густой дым, в облаках которого едва мерцали газовые рожки и виднелись дебелые тела Ваней, снявших с себя сюртуки. А между тем обмен мыслей шел своим чередом.

— Il n'u a rien d'aussi efficace pour restaurer les forces comme un bon petit verre de cognac pris à jeun! Après une nuit de bamboche — c'est presque miraculeux![1] — ораторствовал один из Ваней в одном углу комнаты.

— А я так, признаюсь, всем на свете предпочитаю рюмку доброго, забористого абсента! — возражал тут же другой Ваня.

— Что абсент имеет свои достоинства, и притом очень фундаментальные, — этого я никогда не отрицал и не буду отрицать. Но для того, чтобы реставрировать силы, и притом натощак, — je vous demande pardon, mon cher, mais il n'y a que le cognac pour opérer ce miracle[2]. Поэтому у меня так заведено: как только я просыпаюсь — чтобы коньяк был уж на столе! И при этом маленький кусочек сахару — непрррременно!

— Да, уж если коньяк, то маленький кусочек сахару — это conditio sine qua non![3] И при этом немножко цедры... un soupçon![4] Но я все-таки утверждаю, что натощак и абсент... parlez-moi de ça![5]

---

[1] Нет ничего столь действительного для восстановлени сил, как рюмочка коньяку натощак! После ночного кутежа это почти чудотворно!

[2] прошу прощения, дорогой, но только коньяк может произвести это чудо!

[3] непременное условие.

[4] крошечку!

[5] прекрасно!

В другом углу шел спор о кобыле «Джальма», недавно выведенной в цирке.

— Нет, ты меня извини, это не лошадь! Да ты взгляни на нее! всмотрись, ведь у нее зад шилом!

— Ну, нет! «Шилом» — c'est trop dire![1] Что у нее зад не образцовый — это так; но зато ноги! c'est une divinité![2] Ведь это сталь, mon cher! ведь тут каждая жилка говорит! Это копыто! эта щетка!

— Не спорю, копыто настоящее... ну, и нога... Есть огонек, есть игра... il n'y a rien à dire![3] Но зад! этот зад! И притом... у кобылы? Mais je vous demande un peu si c'est permis![4]

В третьем углу:

— Ну, хочешь пари — сто рублей! Хочешь пари, что я сейчас же туда еду — и за пятьдесят рублей получу!

— Меньше полутораста — ни-ни!

— Послушай! кому же ты, наконец, это говоришь! А я тебе повторяю: хочешь на пари сто рублей! Из них я пятьдесят отдаю по принадлежности и представляю ясные доказательства выигрыша, на остальные пятьдесят — дюжину! Подснежников! да уверь же хоть ты наконец этого наивного человека!

В четвертом углу:

— Покуда не будет ангажирована Эмма — я в цирк ни ногой! En voilà une femme — quelle croupe![5] А то, помилуй, двухголового соловья выписывают! Ну, черта ли мне в нем, спрашиваю я вас!

— А я так, право, не знаю: как будто только и света в окне, что Эмма! По-моему, Пальмира была лучше... au moins, elle avait des cuisses, celle-là![6] А то что ж! круп да круп — и ничего больше!

— Ты потому так говоришь, что ты только любитель, а не знаток, mon cher! Настоящий знаток что́ ценит в женщине? — он ценит посадку и устой! Главное, чтоб устой был хорош: широкий, крепкий, как вылитый! А то нашел: «les cuisses»! Ну, что такое твоя Пальмира? Разве это наездница! разве это настоящая наездница?

---

[1] это слишком!
[2] это божество!
[3] тут ничего не скажешь.
[4] Скажите на милость, допустимо ли это!
[5] Вот женщина — какой круп!
[6] по крайней мере, у ней были такие ляжки!

— Однако ж и в то время бывали знатоки, которые...

— Какие тогда были знатоки? Настоящий, заправский знаток народился только теперь, а тогда были amateurs de cuisses[1] — и больше ничего. Laissez-moi en paix avec vos «cuisses», mon cher! C'est pitoyable![2]

По временам Вани обращались ко мне, называя меня «cher intrus» или «aimable provincia»[3], я отшучивался, как мог, лежа в дыму, чувствуя, как немеют мои бока, но совершенно гордый сознанием, что столько добрых малых так добры, что и меня включают в число добрых малых...

Пролежав таким образом до семи часов, я выпил множество рюмок, наглотался всякого сырья и съел из настоящей пищи только отбивную котлетку, принесенную от кухмистера Саламатова, тут же, через двор. Котлетка лежала на захватанной пальцами, отпотевшей от холоду тарелке и плавала в бульоне, покрытом кружками застывшего жира. При этом я вытирал себе губы салфеткой, которою, наверно, вытиралось не меньше трех-четырех поколений корнетов.

В семь часов — в цирк.

Что было в цирке и после цирка — я не помню. Помню только, что я снимал шубу и опять надевал, потом вновь снимал и вновь надевал...

На другой день, едва успел я ощутить страстную потребность хватить рюмку коньяку, как уже в двери моего номера стучался «молодец» из лавки и от имени Вани извещал, что «господа» собрались.

На третий и на четвертый день то же. На пятый я спохватился и велел сказать, что не приду. На столе у меня лежали газеты за четыре дня и письмо от Менандра. «Амедей отказался! Я еду в Испанию узнать, что и ка́к. Мартос, Фигверас, Кастелляр — какое сцепление! Вопрос: что скажет Олоцага? Надеюсь, что в мое отстутствие ты твердо выскажешься за единую и нераздельную республику, если, впрочем, не предпочитаешь ей республику федеральную. Прощай; спешу в Мадрид!»

---

[1] любители ляжек.

[2] Оставьте меня в покое с вашими «ляжками», мой милый! Вы достойны сожаления!

[3] «милый пролаза», «любезный провинциал».

Амедей отказался! О, превратность судеб! О, тщета величия! И все это случилось в те четыре дня, которые я провел в закусочной!

Но всякое явление имеет и худую и хорошую сторону. Жаль Амедея — слова нет, но сколько передовых статей можно написать по его поводу — этого ни в сказках сказать, ни пером описать! Таков закон судеб: валится сильный мира — а бедному человеку, смотришь, что-нибудь да и выпало! Сейчас же бегу к Мелье́, и завтра же, с божьею помощью, настрочу статью. В этой статье будет огненными чертами изображено: «с одной стороны, должно сознаться, что отказ Амедея был новою неожиданностью в ряду бесчисленных неожиданностей, которыми изобилует современная история; но с другой стороны, нельзя не признаться, что ежели взглянуть на дело пристальнее, то окажется, что отказ этот подготовлялся издалека и мог казаться неожиданностью лишь для тех, которые слишком поверхностно смотрят на неизбежный ход исторических событий. Все связано в этом мире»...

Но в ту минуту, как я, надевая калоши, расспланировывал мою будущую статью, вошел Ваня. Он был видимо взволнован и даже слегка рассержен.

— Вы, дядя, может быть, пренебрегаете нашим обществом? — сухо спросил он, глядя на меня в упор.— У вас, может быть, есть *более умные* занятия?.. ведь вы, кажется, *ученый,* mon oncle... n'est-ce pas?[1]

— Нисколько, мой друг! Я сейчас... я только вот хотел... можно ли так истолковывать мои действия! Кстати: ты знаешь, конечно, что Амедей отказался!

— Какой еще Амедей! Que me dites-vous là![2]

— Амедей, испанский король, мой друг. Он отказался, и я хочу...

— То есть, вы хотите сказать, что теперь вас занимает Амедей... Согласитесь, однако ж, что это только отговорка, дядя! И притом, отговорка совсем неловкая, потому что кому же, наконец, не известно, что в Испании Isabeau, а совсем не Амедей!

[1] дядюшка... не правда ли?
[2] Что вы говорите!

— Христос с тобой, душа моя! Isabeau давным-давно...

— Trève de mistifications, mon oncle![1] Вы не с ребенком говорите. Я спрашиваю вас совершенно серьезно: хотите ли вы провести день с нами, как вчера и третьего дня? Ежели хотите, то надевайте шубу, и идем; ежели же не хотите, то я жду объяснения, что́ именно заставляет вас выказывать такое пренебрежение к нам?

— Но клянусь же, друг мой... право, я с удовольствием. Я хотел только узнать, как это Амедей... после двухлетнего, почти блестящего...

— En bien, vous nous raconterez tout cela nous[2], в нашей закусочной. Я знаю, что вы «ученый», mon oncle, и уже рассказал это всем. Послушайте! ведь если Амедей уж отказался — j'espère que c'est une raison de plus pour ne pas s'en inquiéter![3]

Затем он пошел вперед, а я последовал за ним.

В этот день я рассказывал Ваням об Амедее. Что он был добрый, что он полюбил новое отечество совершенно так, как будто оно было старое, и что теперь ему предстоит полюбить старое отечество совершенно так, как будто оно новое. Потом, я в кратких словах упомянул о Дон-Карлосе, об Изабелле и матери ее Христине, о непреоборимо преданном Марфори, о герцоге Монпансьерском и в заключение выразил надежду, что гидра будет подавлена и Марфори восторжествует.

— Ну-с, а теперь ложитесь, mon oncle! Подснежников уступает вам свой диван! Vous serez notre président![4]

Надоразумение на этот раз улеглось, но черная кошка уже пробежала между нами. Я сделал очень важную ошибку, высказав разом столько познаний по части испанской истории, потому что с тех пор меня уже не называли иначе как «профессором» и «ученым». И как мне показалось, названия эти были употребляемы не в прямом смысле, а в ироническом.

Дни проходили за днями, требуя новых и новых

---

[1] Бросьте мистификации, дядюшка!

[2] Хорошо, вы нам расскажете все это у нас.

[3] надеюсь, это еще одна причина, чтобы не беспокоиться о нем.

[4] Вы будете нашим председателем!

компромиссов. Я все посещал закусочную и с невероятною быстротой устремлялся в бездну. Я давно забыл об Амедее и помнил только одно: что мне предстоит выпить в день от двадцати до тридцати рюмок коньяку и заесть их котлеткой от Саламатова.

Наконец, в одно прекрасное утро, я имел удовольствие услышать, как меня в глаза назвали нигилистом.

— Любезнейший нигилист! Правда ли, что вы статеечки пописываете? — бесцеремонно обратился ко мне Ваня Поскребышев.

Это было тем более обидно, что Поскребышев был простой фендрих, который просто-напросто думал, что «нигилист» значит «мормон» или что-нибудь в этом роде. На этот раз я счел долгом даже протестовать, но — о, ужас! — по мере того как я приводил это намерение в исполнение, мой протест, незаметно для меня самого, постепенно превращался в самое заискивающее ласкательство! Это до того поощрило моих новых друзей, что один из них тут же потихоньку насыпал мне в рюмку пеплу от сигары.

Так длился целый месяц. Я не раз порывался бежать, но с меня уже не спускали глаз, так что я, совершенно незаметно, очутился в положении арестанта. У меня отняли даже возможность протестовать, потому что эти люди обладали каким-то дьявольским тактом в деле пакостей. Они устраивали пакость таким образом, что она, будучи пакостью в самом обширном значении этого слова, не переставала в то же время иметь вид шутки в несколько размашистом русском тоне. Они выдергивали из-под меня стул и тут же обнимали меня; они щипали меня за обе щеки — и тут же целовали.

— Обиделся! — говорил Ваня Подснежников, — ну, помиримся! Согласись сам, чем же я виноват, что у тебя такие пухлые щеки! Нигилист! душка! ну, позволь же! позволь еще раз ущипнуть! Не хочешь! жестокий! Господа! нигилист обиделся! надо утешить его! возьмем его на руки и станем качать!

И меня брали на руки и высоко взбрасывали, рискуя разбить о потолок мою голову. Мне кажется, что, ежели бы они сразу меня искалечили, я

был бы счастлив, потому что это избавило бы меня от них...

Наконец меня объял ужас. Но вместо того чтоб бежать от моих друзей на край света, я, как и все слабохарактерные, только усложнил свое положение. Я скрылся не на край света, а в безвестный ресторанчик на Вознесенской, куда по моим расчетам ни один из Ваней не имел основания заглянуть.

Я забирался туда с раннего утра, когда заспанные гарсоны еще не начинали уборки комнат, пропитанных промозглым табачным дымом, когда заплеванные и заслякощенные полы были буквально покрыты окурками папирос и сигар, когда в двери ресторана робко выглядывали нищие и выпрашивали вчерашних черствых пирогов. Я уходил в дальнюю комнату, пил кофе и читал газеты. Затем ресторан наполнялся завсегдатаями, я завтракал, смотрел, как играют в биллиард, обедал и оставался до той минуты, когда ресторан запирался окончательно. Через неделю я сделался тут «своим»; игроки в биллиард спрашивали у меня советов, гарсоны — слегка заигрывали.

В одно прекрасное утро я углубился в созерцание биллиардных шаров и ничего не ждал. И вдруг чувствую, что кто-то тронул меня по плечу. Обертываюсь: передо мной Ваня, который, возвращаясь с ученья, заехал в ресторанчик выпить рюмку коньяку...

Он ничего не сказал мне, а только поманил пальцем...

Это было до того странно, что многие тут же выразили уверенность, что я «скрывался», что меня «накрыли» и повели теперь к судебному следователю.

Мы ехали молча; наконец сани остановились у знакомого подъезда «закусочной». Мы прошли мимо бочек с миндалем и орехами, сопровождаемые приветливыми улыбками «молодцов», и вступили в преисподнюю. Все Вани были в сборе.

— Décidément, mon oncle, vous nous méprisez?![1] — не то вопросительно, не то утвердительно обратился ко мне Ваня.

— Какой вздор! Может ли предполагать...

[1] В самом деле, дядюшка, вы нас презираете?!

— Trève de subterfuges, mon oncle! Je vous demande, si vous nous méprisez, oui ou non?[1]

. . . .

И он взял с первого попавшегося под руку блюда за хвост селедку и слегка потрепал ее по моему носу.

— Vous êtes un coeur d'or, Jean![2] — раздалось где-то, но так как-то смутно, что я не мог даже разобрать, один ли голос выразил эту похвалу или много.

В глазах у меня завертелись зеленые круги, во рту вдруг высохло. Я не знал, на что мне решиться: броситься ли на моего обидчика или самому себе разбить голову. Но, должно быть, я бросился вперед, потому что в эту минуту раздался неистовый взрыв хохота.

— Le nihiliste! je crois, Dieu me pardonne, qu'il veut faire des façons![3] — воскликнул Ваня Подснежников, — милейший! позвольте заметить вам, что вы совсем не так смотрите на это дело! Не мы, а вы оскорбили нас, и селедка есть только то должное, чего заслуживал ваш поступок. И вместо того чтоб смириться, вы лезете... Это уже новое оскорбление, и, конечно, мы не оставим его без возмездия. Trève de condescendances! En place, messieurs![4] Не угодно ли вам будет судить новый поступок господина нигилиста!

Через пять минут я был осужден. Я видел, как принесли громадную банку килек и как вся эта ватага, внезапно одичав и утратив человеческий образ, бросилась на меня...

Когда я проснулся, было уже позднее утро. Я стоял среди моего номера в одном нижнем белье и кричал во всю мочь. Меня окружали больничные сторожа; из дверей выглядывали испуганные лица помешанных. Тут же стоял главный доктор, одного мания которого было бы достаточно, чтоб заключить меня в горячечную рубашку.

---

[1] Бросьте увертки, дядюшка! Я спрашиваю, презираете вы нас! Да или нет?

[2] Вы золотое сердце, Жан!

[3] Нигилист! прости господи, он, кажется, хочет поломаться!

[4] Бросьте снисходительность! По местам, господа!

— Весьма вероятно, — сказал он мне иронически, — что вы и теперь будете утверждать, что умственные ваши способности находятся в нормальном состоянии?!

III[1]

⟨1⟩[2]

Волей-неволей я должен был покориться...

Я заговаривался, я видел сны, которые, несмотря на свою нелепость, до такой степени тяготели надо мной, что почти сливались с моей обыденной жизнью. В глазах психиатра, требующего от человека лишь официального здравомыслия, но зато уже не допускающего ни малейших в этом смысле от-

---

[1] Печатаются три фрагмента из сохранившейся рукописи незаконченной главы III. См. текстологический комментарий.— *Ред.*

[2] См. «Отечественные записки» №№ 2 и 4 нынешнего года. Ввиду того что между появлением второй главы и настоящей прошло шесть месяцев, считаю долгом возобновить в памяти читателя некоторые факты. «В больнице для умалишенных» составляет продолжение «Дневника провинциала», печатавшегося в 1872 году. В конце «Дневника» провинциал вследствие «разнообразий петербургской жизни» попадает в больницу для умалишенных. Здесь он встречается со своим родственником, офицером Ваней Поцелуевым, который, будучи умалишенным, без всякого стыда изливает перед ним всю суть своего внутреннего офицерского существа. Поцелуев играет очень видную роль в обществе сумасшедших, чем он обязан непреклонности и цельности своих убеждений, и «провинциалу» невольно приходит на мысль: что было бы, если б судьба вынудила его вечно проводить жизнь среди Поцелуевых? Сумел ли бы он покорить этих людей, или, напротив того, сам был бы покорен ими? По некоторым соображениям, второй исход оказывается более вероятным, а отсюда — понятный ужас, который овладевает «провинциалом». К довершению всего, в больнице происходит суд, на котором один из умалишенных обвиняется в «замарании халата». Это еще более возбуждающим образом действует на нервную систему впечатлительного «провинциала». Он видит страшные сны. Встревоженная его мысль рисует перед ним все перипетии, через которые проходит история его подчинения Поцелуевым, и которая разрешается судом за уклонение от посещения фруктовой лавки Одинцова, служащей обычным местопребыванием Поцелуевых. По суду «провинциал» присуждается к обмазыванию кильками, наказанию очень странному, почти фантастическому, однако же не беспримерному в истории. Понятно, что сон этот заставляет его вскочить с постели в величайшем страхе. Происшествие это заставляет «провинциала», до сих пор упорно протестовавшего против своего помещения в больницу, сознаться, что он попал туда совершенно правильно. *(Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

ступлений, этот факт представлял слишком достаточный повод, что[б] признать меня сумасшедшим.

Меня самого до крайности мучило это беспрерывно теряющееся смещение кажущегося с действительным. В самом ли деле существует то, что́ я сознаю существующим, или только мне кажется, что оно существует? — вот в чем весь вопрос. Может ли, например, существовать такой суд, по решению которого я был бы присужден к обмазанию кильками с головы до ног? — На этот вопрос, с точки зрения *официального* здравомыслия, я, конечно, должен был ответить отрицательно, но в то же время мне совершенно отчетливо представлялось (да и теперь еще представляется), что такой суд не только *может* существовать, но что он даже *несомненно* где-то существует и что календари, лишь по упущению или страха ради иудейска, не показывают его адреса. Или: может ли существовать такое общество молодых людей, для которых безразлично быть гонведами, папскими зуавами, тюркосами, башибузуками и которые, ничего не зная об отречении короля Амедея, все свои досуги употребляют на изучение игры лядвий Эммы Чинизелли, Пальмиры Анато и других? — И на этот вопрос, как человек *официяльно* здравомыслящий, я *не имею права* отвечать иначе как отрицательно, но, клянусь, я не только убежден, но могу, в случае надобности, даже доказать, что таких обществ существует бесчисленное множество, что я сам видел их, этих гонведо-зуаво-башибузуков не то в театре Берга, не то в овощеной лавке Одинцова, не то, в передобеденное время, на солнечной стороне Невского проспекта, и что календари не упоминают об этих обществах единственно потому, что, руководясь старой рутиной, они под рубрикой «общества» разумеют только те, которые носят официальное клеймо.

Но как бы я ни был прав с точки зрения психологических тонкостей, я все-таки вынужден был сознаться, что мое *официяльное*, календарное здравомыслие представлялось очень сомнительным. Я захватывал несколь[ко] больше, нежели сколько нужно для обыденной жизненной практики. Если б я разделял общества на ученые, благотворительные, промышленные и т. д. — всякий сказал бы обо мне: вот человек, который если захочет плюнуть, то, на-

верное, плюнет на пол, а не в тарелку! Но я до такой степени расширил пределы общественной инициятивы, что даже прозрел общество для изучения лядвий девицы Чинизелли, — не ясно ли, что такого рода проницательность мог выказать только помешанный!

Ни одно губернское правление в целом мире, конечно, не согласилось бы признать меня здравомыслящим, если б я вздумал перечислять перед ним все судебные учреждения, которые, как мне это достоверно известно, ютятся в петербургских закусочных, вполне независимо от официяльных судебных учреждений, и в то же время вполне самостоятельно. Представьте себе следующего рода картину. Приводя меня в губернское правление и, по обыкновению, сначала обыскивают в сторожевской, потом в канцелярии и затем уже вводят в присутствие. В присутствии председательствует генерал, который одним своим видом устраняет всякую мысль о возможности какого-либо иного суда, кроме скорого. Пошептавшись предварительно с доктором и перелистовав наблюдательный журнал, председатель приступает к допросу.

— А нуте, не угодно ли вам перечислить судебные учреждения, находящиеся в столичном городе Санкт-Петербурге! — обращается он ко мне и в то же время подмигивает прочим присутствующим, как бы говоря: «J'espère, que nous allons rire!»[1]

— Судебных учреждений в столичном городе Санкт-Петербурге — бесчисленное множество, — отвечаю я, твердо и звонко отчеканивая каждое слово, — во-первых, суд по вопросам о замарании халата — имеет главное местопребывание в фруктовой лавке такой-то (имярек), и сверх того имеет постоянно действующие отделения и в других лавках, занимающихся продажею овощеных и колонияльных товаров; во-вторых, суд по вопросам, кто кого перепьет, имеющий главное местопребывание в ресторане Дюссо и отделения во всех других заведениях, производящих торговлю питьями распивочно и навынос; в-третьих, суд по вопросам о нормальных размерах женских устроев и лядвий — главное местопребывание: зимой в театре Берга, ле-

[1] Надеюсь, мы посмеемся!

том на Минерашках; отделения: в русском семейном саду, в Орфеуме, в Эльдорадо, Шато-де-флер и других; в-четвертых...

— Очень хорошо. По сущей ли справедливости вы говорите это? — прерывает председатель поток моего красноречия.

— Не токмо по сущей справедливости, но так точно, как бы мне в том...

— Достаточно, не трудитесь продолжать. Теперь не угодно ли вам будет объяснить присутствию, какие существуют в столичном городе Санкт-Петербурге общества, обязанные своим возникновением частной инициятиве!

— Таких обществ множество. Во-первых, общество карманной выгрузки, рассеянное по конторам акционерных и промышленных компаний; во-вторых, общество юных шалопаев космополитов, под фирмою «Разорву!», рассеянное во всех тех местах, где имеют местопребывание сейчас мною названные суды; в-третьих...

Но председатель уже не смеется и не подмигивает; напротив, он негодует, он весь бледен от гнева. В ответе моем он видит не результат моей житейской прозорливости, а почти что преступление. Он даже жалеет, что тут примешалось умственное расстройство, которое волей-неволей он должен принять во внимание в качестве смягчающего обстоятельства.

Весь в поту от охватившего его волнения он быстро вскакивает с места и громовым голосом возглашает:

— Признать этого негодяя сумасшедшим навсегда! Лечить его! Посадить его на цепь! Надеть на него горячешную рубашку! Лить ему на темя холодную воду! и никогда не представлять никуда для переосвидетельствования!

Вот приговор, которого я должен был ожидать за то, что не довольствовался календарным здравомыслием, но прозревал! Весьма естественно, что подобная перспектива не могла не умерить мою строптивость. Я весь был во власти главного доктора больницы. Он мог написать обо мне что хотел в наблюдательном журнале, и он же как хотел руководил допросом при свидетельстве. Поэтому всякий протест против помещения моего в больницу

не только был бесполезен, но даже мог рассердить его и косвенным образом послужить к отягощению моей участи. Сообразив все это, я решился смириться.

Как только стихло впечатление, произведенное моею утреннею выходкой[1], я подошел к доктору и, приняв на себя личину смирения, сказал ему:

— Доктор! я вижу, что упорство, с которым я отрицал свое умопомешательство, принесло вам очень много огорчений, а для меня осталось без малейшей пользы. Теперь я решился больше не огорчать вас. Я болен и сознаюсь в этом.

Сознание это приятно изумило его. На минуту, однако ж, он как бы усумнился и пытливо взглянул мне в лицо. Но на лице моем было столько искреннего раскаяния, что самый придирчивый скептицизм счел бы себя обезоруженным.

— Очень рад! — отвечал он,— рад и за себя и за вас, потому что, как я уже имел честь однажды объяснить вам, успех нашего лечения во многом зависит от того, обладает ли пациент сознанием своей болезни или не обладает им. Вы сознаете себя помешанным — это уже признак! Да-с, это очень-очень хороший признак, с которым я от всей души поздравляю вас!

— Об одном только я попросил ⟨бы⟩ вас, доктор... Я публицист и... пенкосниматель! Я не могу обойтись без того, чтоб не написать хотя одну передовую статью в день! Если я буду лишен этого утешения — я непременно впаду в уныние!

— Вот это-то и есть именно та вещь, которой я ни под каким видом допустить не соглашусь. Ни читать, ни писать. Да и неужели вам не надоело это пенкоснимательство! Слушайте! когда вы выздоровеете, я дам вам сочинение доктора Тиссота по этому предмету — вы увидите, до чего может довести эта изнурительная страсть! Верьте мне, что это именно она погубила вас. На днях я прочитал в «Старейшей Всероссийской Пенкоснимательнице» вашу статью... помните, ту, которая трактует об удлинении цепей мировых судей... скажите, пожалуйста, для чего вы начали ее словами: «Поста-

[1] Выходка эта заключалась в страшном крике, который поднял «провинциял», вследствие виденного им сна. *(Примеч. М Е. Салтыкова-Щедрина.)*

раемся представить себе, какой ход приняла бы всемирная история, если б Западная Римская империя не пала под ударами варваров»?

— Помилуйте, доктор, ведь это эрудиция?

— Извините меня, а по-моему, это просто бездельничество. Но пусть это будет эрудиция: спрашиваю вас, какая масса умственного напряжения была необходима, чтоб от Западной Римской империи перейти к значкам мировых судей?

— Формально никакой. Повторяю: это эрудиция — и больше ничего.

— Гм... стало быть, у вас есть нечто вроде складочного магазина, из которого...

— Так точно, доктор. Я каждый день хожу в этот магазин, отыскиваю в нем факт или даже фразу и приурочиваю к ним современность. В тот самый день, когда я очутился здесь, у меня уже скомпоновалась в голове целая статья, которая должна была начаться так: «Постараемся представить себе, что Вашингтон действовал не в Америке, а где-нибудь у нас, например, в качестве председателя Новосильской земской управы»... И поверьте, что я свел бы концы с концами без всякого умственного напряжения!

— Гм... если это так легко... о нет! все, кроме этого! Повторяю вам: нет вещи более изнурительной, как пенкоснимательство, и в вашем положении...

— Но что же я буду делать, доктор? ведь я пропаду со скуки!

— Не пропадете. Здесь всякий из ваших товарищей — такая живая книга, читая которую вы, незаметно для самого себя, забудете и про Западную Римскую империю в применении к значкам мировых судей, и про Вашингтона в применении к Новосильской земской управе. Вон видите, в углу сидит субъект в синем вицмундире, который делает рукою движение, как будто закупоривает? Это педагог. У него имеется целый педагогический план, ближайшая цель которого — истребление идей. Не одних только «вредных» идей, а идей вообще. Он пробовал даже применить этот план в одном из здешних воспитательных заведений, но задача оказалась до того грандиозною, что он первый пал под ее тяжестью и очутился в числе моих пациентов.

Товарищи по больнице его недолюбливают и боятся: он слишком беспощаден, слишком логичен в своем помешательстве. Один только господин Поцелуев не только не боится его, но смеется над ним и называет не иначе, как старым, изъеденным молью треухом. И что всего замечательнее, педагог не только не обижается этим, но говорит, указывая на вашего племянника: вот мой идеал! вот чем, по моему плану, должно бы быть *все* молодое поколение!

Действительно, в углу комнаты сидел небольшой и до крайности мизерный человечек, который проворно делал руками загадочные движения, как будто закупоривал ими какой-то воображаемый сосуд. Закупорит один сосуд — и отбросит в сторону, потом примется закупоривать другой сосуд — и опять отбросит. И в то же время другою рукою шарит в воздухе около себя, как будто ищет, не спряталось ли где-нибудь еще что-нибудь, что можно было бы закупорить. По наружности этого субъекта нельзя было определить его лета. Лицо у него было старческое, дряблое, усталое, но глаза молодые, которые так и бегали по всему пространству комнаты.

— Господин Елеонский! потрудитесь пожаловать к нам! — обратился к нему доктор.

Человек встал как встрепанный и, повиливая спиною, мелкими шажками подбежал к нам.

— Ну-с, много сегодня закупорили молодых людей!

— Понемножку, господин доктор! понемножку — хе-хе! по мере слабых моих сил! — отвечал Елеонский необыкновенно мягким, почти женским голосом, от которого, несмотря на его мягкость, меня подрал по коже мороз. — Я-то свое дело делаю, — вот другие-то плохо содействуют! Один за всех-с!

— Ну, вы и без помощников выполните свою задачу! А покуда оставьте-ка на время ваши занятия да расскажите господину «провинциялу», в чем заключается ваш педагогический план.

— Хе-хе! это насчет мальчиков-с? Извольте, сударь, извольте!

И прежде нежели я мог произнести слово, доктор удалился, оставив меня в жертву этому странному существу.

III[1]

С раннего утра в больнице царствует загадочное движение. Сумасшедшие в агитации перебегают от одного к другому и о чем-то таинственно между собой шепчутся. В качестве новичка я остаюсь в стороне от общего движения, но, по долетающим до меня отрывочным фразам, довольно легко догадываюсь, что движение это имеет политический характер и что в больнице готовится что-то вроде бунта. По-видимому, самый бунт уже решен в принципе, но существуют подробности, которые производят в мире умалишенных раскол. Консерваторы требуют, чтоб о бунте был предупрежден доктор, либералы, напротив того, настаивают, чтоб затея была выполнена без дозволения. По обычаю всех политических партий противники горячатся, обмениваются ругательствами и упрекают друг друга в измене.

— Уж если бунтовать, так бунтовать без позволения! иначе, какой же это будет бунт! — говорят либералы.

— Бунтовать без позволения — значит показывать кукиш в кармане,— возражают консерваторы,— как вы ни вертитесь, а это единственная форма бунта без позволения, которая нам доступна. Но скажите по совести: разве это бунт?

— Позвольте-с. Что мы не можем бунтовать иначе, как показывая кукиш в кармане,— это так. Но это печальное требование времени — и ничего больше. Это скудная форма современного [русского] бунта, которая, однако ж, отнюдь не предрешает вопроса о форме и содержании бунтов в будущем. Тогда как, вводя элемент позволения, вы прямо уничтожаете самую сущность бунта, вы, так сказать, самое слово «бунт» вычеркиваете из лексикона!

— И прекрасно-с. Мы совсем не о полноте лексикона хлопочем, а о том, чтоб был бунт. Достигнуть же этого можно лишь в том случае, когда бунт будет поставлен нами, так сказать, на законную почву, то есть снабжен всеми необходимыми разрешениями. А как он там будет называться: бунтом или чрезвычайным собранием — до этого нам нет дела!

---

[1] Вариант второй.— *Ред.*

— Но это будет не бунт — поймите!

— В таком случае назовем его чрезвычайным собранием — и дело с концом!

Слыша эти загадочные речи, видя этих людей, которые озабоченно ходят взад и вперед, размахивая полами халатов и усиленно нюхая табак, я начинаю чувствовать невольную оторопь. Недавние заседания международного статистического конгресса и последовавший за ними политический процесс в Отель-дю-нор — все это слишком живо в моей памяти, чтоб навсегда не расхолодить во мне охоту к [новым] политическим [подвигам] треволнения. И вдруг, впереди — еще целый бунт... и быть может, даже без позволения! Зачем, спрашивается, приехал я в Петербург? Затем ли, чтобы в конце концов быть взятым с оружием в руках... в сумасшедшем доме?!

С самых юных лет я представлял себе бунт не иначе как в форме вторжения чего-то совершенно непрошеного, ненужного в обычное спокойное течение человеческой жизни. Все учебники, изданные для руководства в военно-учебных заведениях, единогласно свидетельствуют в этом смысле, а известно, что ничто так прочно не залегает в человеческую память, как хорошо вытверженный в детстве учебник. Испокон веку во всех странах мира обыкновенно бунтовала только подлая чернь, и притом всегда без позволения. Из-за чего бунтовала — этого не знает ни один учебник, но бунтовала самым неблаговоспитанным и, можно даже сказать, почти нецелесообразным способом. Придет, перевернет вверх дном привычки, комфорт, сладкое far niente[1], а назавтра, смотришь, опять как ни в чем не бывало обратится к обычным занятиям. [Что тут хорошего!] Сидит, например, человек в халате, пьет чай, читает «Старейшую Всероссийскую Пенкоснимательницу» (в которой тоже все: и редакторы и сотрудники сидят в халате и пьют чай) — и вдруг бунт! Вбегают бунтовщики, чай проливают, булки топчут, над «Пенкоснимательницей» производят надругательство... И вот, надо снимать халат, надевать сапоги и идти бунтовать вместе с прочими! А на дворе слякоть, холод, тротуары, по случаю бун-

[1] ничегонеделание.

та, нигде не посыпаны песком... Не успел отбунтовать, сел за обед, не доел пирожного — опять бунт! И таким образом целый день, пока самих бунтовщиков не сморит сон... Разумеется, сном бунтовской хмель пройдет, и к утру бунтовщики будут как встрепанные: и дворы мести, и лед на улицах скалывать, и тротуары песком посыпать — хоть куда! Как же тут не возражать! как не сказать: господа! ужели для того, чтобы завтра опять «обратиться к обычным занятиям», необходимо тревожить покой партикулярных людей!

Таково впечатление, производимое рассказами о бунтах, помещаемыми в учебниках, издающихся для военно-учебных заведений.

Тем не менее, ежели бы дело ограничивалось только временным нарушением комфорта — с этим можно было бы еще примириться. Ну, не дали допить чай, вырвали из рук «Пенкоснимательницу» — не драгоценность же, в самом деле! Но беда в том, что когда бунты оканчиваются, то вслед за тем обыкновенно начинается переборка,— а это уж такое скверное препровождение времени, какого не дай бог никому. Вы сидели в халате и пили чай, а оказывается, что вы обязывались воспрепятствовать и не воспрепятствовали. Вы из учтивости сняли халат и надели сапоги, а оказывается, что вы не только не воспрепятствовали, но даже выразили готовность и содействие... И те же самые люди, которые не дали вам доесть пирожное, которые выгнали вас из теплой комнаты на слякость и стыть,— они же и обличают вас в невоспрепятствовании! «Да,— говорят они,— он не воспрепятствовал! он ни одним словом, ни одним жестом не отклонил нас от наших преступных намерений, хотя — бог видит наши сердца! — мы ждали только доброго, прочувствованного слова, чтоб изумить мир обширностью нашего раскаяния!»

И вот, начинается переборка. Преступники разбиваются на категории, в числе которых есть одна под наименованием: «преступники, пившие во время бунта чай». Нет слова, само начальство относится к подобным преступникам как к наименее скомпрометированным, но ведь для того, чтобы доказать, что вы не бунтовали, не подстрекали, не укрывали, а просто только пили чай,— сколько времени надобно

прошататься по следствиям и по судам! какую сумму выслушать сквернословия! сколько выразить чувств, которых в обыкновенное, мирное время, быть может, и сам в себе не подозревал! И все это не для того, чтоб совсем очиститься, а для того, чтоб быть по суду утвержденным в звании преступника, «пившего во время бунта чай»! Подите суньтесь куда-нибудь в этом звании! Вы желаете получить место на казенной службе, вам говорят: ба! да ведь вы тот самый, который в таком-то году не воспрепятствовал! Вы ходатайствуете насчет железнодорожной концессии — вам объявляют: послушайте! разве вы не помните, что в таком-то году вы оказывали содействие! Заметьте: вы уж не «тот, который пил чай», а тот, который «не воспрепятствовал» и «оказывал содействие»! Оправдывайтесь! восстановляйте истину! Покуда вы доказываете да представляете факты — глядь, ан концессию-то уж подтибрил Губошлепов!

Ввиду этих последствий всякий поймет, что вопрос о том, в чью пользу решится возникший спор, то есть консерваторы или либералы возьмут верх, получал для меня первостепенную важность. Как ни странным кажется «дозволение», примененное к слову «бунт», но на практике подобные странности далеко не невозможны. Отчего бы начальству, в воспитательных или иных целях, не допустить эту новую методу бунтов в пределах своего ведомства, ведь и бунтуя можно выразить непреоборимую преданность, и бунтуя можно доказать, что только беспредельное начальстволюбие вынуждает нас ввергаться в бездны оппозиции! «Начальство слишком снисходительно!», «Начальство недостаточно строго разыскивает корни и нити!» — вот темы для бунтов, против которых, конечно, ни одно начальство в мире не найдет сказать ни одного слова! И это настолько известно опытным бунтовщикам, что они не только не избегают благонамеренных бунтов, но даже ожидают от них для себя повышений и наград...

Но покуда я рассуждал таким образом, опасения мои разрешились гораздо проще, нежели я мог ожидать. В самый разгар обличений и суеты в залу вошел доктор и сразу угадал, в чем дело.

— Вы, господа, вероятно, бунтовать желаете? — совершенно спокойно обратился он к обществу сумасшедших.

⟨III⟩[1]

— Да, Иван Карлыч, желательно бы! — с дерзостью выступила вперед одна из тех личностей, которых на воле обыкновенно называют коноводами и зачинщиками.

— Что ж... это можно! — разрешил доктор, даже нимало не подумав,— разумеется, однако ж, с условием, чтоб бунт происходил в порядке! Не правда ли, господа?

— Помилуйте, Иван Карлыч! Не в первый раз бунтовать! Кажется, знаем!

— Ну да, я вполне убежден, что вы не употребите во зло моим доверием. Но, знаете, на всякий случай все-таки лучше, если кто-нибудь будет руководить бунтом. Господин Морковкин! вы так долго служили предводителем до поступления в наше заведение, что порядки эти должны быть вам известны в подробности. Я назначаю вас главным бунтовщиком!

Из толпы вышел простоватый детина со всеми внешними признаками дозволенного бунтовщика: с желудком, начинавшимся чуть не у подбородка, и с жирным затылком, на котором, казалось, вытерлась от долгого лежанья шерсть. Он осмотрелся исподлобья кругом, словно поднюхивал, нет ли где съестного.

— Отобедать бы прежде нужно! — сказал он угрюмо.

— Совершенно справедливо. Итак, мы сначала пообедаем, господа, а между тем вы постараетесь уяснить себе цель бунта и вероятные последствия его. До свидания, messieurs, и бог да просветит сердца ваши!

Сказав это, доктор приблизился ко мне и, взяв меня под руку, отвел в сторону.

— Вот вам и развлечение,— сказал он,— а вы еще жалуетесь! наверное, вы никогда не видали бунтов!

— Помилуйте! жить в провинции — и не видать

[1] Вариант третий.— *Ред.*

бунтов! — обиделся я, — да у нас там такие бывают бунты! такие бунты! Одни помпадуры сколько, от нечего делать, набунтуют!

— Да, но это бунты казенные, а у нас бунт вольный!

— И вольные бунты бывают — помилуйте! У нас, доктор, в рязанско-тамбовско-саратовском клубе сойдутся двадцать человек — сейчас бунт! Одни бунтуют, другие содрогаются.

— Ну, стало быть, приятное воспоминание возобновите!

Мы сделали несколько шагов молча.

— А что, доктор, — начал я, несколько конфузясь, — позволю я себе вас спросить... последствий... никаких не будет?

Он остановился и изумленными глазами взглянул на меня.

— Объяснитесь, пожалуйста, я не совсем понимаю вас.

— Да так... после бунтов обыкновенно переборка бывает... А между тем мои чувства... у меня, доктор, такие чувства, что если б вы могли заглянуть в мое сердце... Теплота-с! Да не просто теплота, а именно самая настоящая!

— Я вижу, вы опасаетесь ответственности... разуверьтесь же, друг мой! Наши бунты хорошие, доброкачественные бунты, и предмет их таков, против которого никогда бунтовать не запрещается. Но, впрочем, чтоб успокоить вас окончательно, я познакомлю вас с одним из ваших товарищей, который разъяснит вам и значение наших бунтов, и порядок их производства, и вероятные их последствия. Мсьё Соловейчиков! Позвольте попросить вас уделить полчаса времени вашему новому товарищу!

По вызову доктора к нам приблизился необыкновенно унылого вида старец, белый как лунь, с потухшими глазами, с пепельным цветом лица и с глухим, словно могильным звуком голоса.

— Я старейшая развалина в этом мире развалин... — начал он карамзинским слогом, потрясая медленно головой.

— Вы расскажете это после. Рекомендую. Сергей Павлович Соловейчиков, самый старый из моих пансионеров. Он с лишком тринадцать лет (со времени рескриптов на имя виленского генерал-губернато-

ра — помните?) находится в заведении и знает все наши порядки. Сергей Павлыч! — продолжал доктор, обращаясь к Соловейчикову, — наш новый друг несколько опасается предстоящего бунта. Вы постараетесь успокоить его, объяснив как значение этой игры, так и способ ее производства. Никто лучше вас не может сделать это. Итак, объяснитесь, господа, переговорите, и, вероятно, все недоразумения уладятся сами собой. Я бы и сам охотно зашел взглянуть на бунт, но у меня такое правило: предоставлять каждому бунтовать без малейших стеснений! Я практикую это правило очень давно и ни разу не имел случая раскаяться в том. До свидания, господа!

«Я старейшая развалина в этом мире развалин», — начал Соловейчиков, когда мы расположились в моем номере. Я помню время, когда сословие сумасшедших освещало мир своими доблестями, когда [дворянские] наши собрания были людны и шумны, когда [помещичьи усадьбы] наши дома гремели весельем, когда [помещичьи] наши жены были белы, [помещичьи] наши дочери румяны, [помещичьи] наши стада тучны, [помещичьи] наши рабы верны и когда крепостной труд наполнял вселенную своими благоуханиями!

О! как много я помню, и сколько мук я терплю от того, что так много и так отчетливо помню! Я видел, как рушилось построенное веками здание, как люди лукавили и лгали, чтоб задержать уходившую от них жизнь, и как, назло всем усилиям, мир с ужасающей быстротой наполнялся могилами. На моих глазах нежданно упала загадочная завеса, которая разом закрыла и наше прошлое, и наше будущее. Застигнутые врасплох, мы тщетно обращали друг к другу вопрошающие взоры: увы! мы не нашли в этих взорах ничего, кроме изумления!

Те из нас, которые были сильны духом, поняли, что им ничего больше не остается, как умереть. Все, что составляло обаяние жизни, что заставляло дрожать в груди сердце — все разом перестало жить. Даже нити, привязывавшие к отечеству, — и те как бы порвались. Мы видели перед собой Россию, но не ту, которую привыкли любить. Любить эту *новую*

Россию мы не могли принудить себя, ненавидеть ее — не имели решимости. Повторяю: лучше всего было умереть. Но — увы! смерть безжалостна даже в пощадах своих. Она щадит именно тех, которые всего более нуждаются в забвении могилы. Одного из таких несчастных, которых не тронула ее коса — вы видите перед собой...

КОММЕНТАРИИ

«Дневник провинциала в Петербурге» печатается по тексту Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20-ти т. Т 10 М Худож. лит., 1970, с. 269—553; в основу этого текста положено 3-е отдельное издание: Спб., 1885. Впервые опубликовано в журн. «Отечественные записки», 1872, № 1—6, 8, 10—12.

Стр. 15. *...Александр Прокофьич (он же «Прокоп Ляпунов»)...* — Этот персонаж, занимающий одно из центральных мест в «Дневнике провинциала», далее называется просто Прокопом. Уподобление героя романа Прокопию Петровичу Ляпунову, политическому деятелю XVII в., подчеркивает преемственность традиций «высшего в империи сословия», то есть дворянства; присущие салтыковскому крепостнику-фрондеру беспринципность, наглость, лукавство, готовность к любому компромиссу и даже преступлению ради корыстных целей приобретают благодаря этому сопоставлению характер обобщения.

...в фуражках с красными околышами и с кокардой над козырьком. — Русскому дворянству в 1832 г. была присвоена униформа Министерства внутренних дел. Салтыков нередко употреблял выражение «красные околыши» для обозначения дворян

Стр. 16. *...сеятелями, деятелями...* — Салтыков иронически отзывается здесь о «земцах-либералах», деятельность которых сводилась к крохоборческой политике «малых дел».

Кайданов удостоверяет, что древние авгуры не могли удерживаться от смеха, встречаясь друг с другом. — По свидетельству Цицерона, древнеримские гадатели (авгуры) зная истинную цену своим предсказаниям, втайне посмеивались над легковерием римлян. Салтыков шутливо приписывает это общеизвестное высказывание Цицерона своему лицейскому учителю профессору И. Кайданову, упоминающему об авгурах в «Руководстве к познанию всеобщей политической истории», ч. 1 (Спб., 1823, с. 139).

...у Елисеева, Эрбера и Одинцова... — Широко известные в то время магазины фруктово-колониальных товаров на Невском проспекте, при которых имелись отдельные «закусочные» комнаты ресторанного типа «с распивочной продажей напитков».

Стр. 17. *...насчет концессии одной...* — Далее изображается концессионная горячка, охватившая в начале 1870-х гг. не только промышленно-коммерческие, но и помещичьи круги, а также высшую бюрократию и земство. В 1868 г. Тамбовское и Саратовское земства получили концессию на постройку Тамбовско-Саратовской железной дороги. Возможно, что это обстоятельство отчасти отразилось на салтыковском определении земства как «рязанско 〈...〉-саратовского клуба».

...от земства... — Как отмечалось в печати того времени,

многие земские деятели, руководствуясь корыстными побуждениями, были одержимы страстью строить железные дороги даже в таких местах, где строительство не могло быть оправдано деловыми соображениями. На это растрачивались даже суммы, предназначавшиеся для народного продовольствия во время голода (см.: Отечественные записки, 1869, № 4, отд. II, с. 318 и т. 7, с. 368).

Стр. 17. *...все мы, то есть вся губерния, останавливаемся в Grand Hôtel...* — «Гостиницы столицы никогда не были так набиты, как теперь,— сообщал в 1869 г. из Петербурга корреспондент «Московских ведомостей»,— все этажи наполнены железнодорожными предпринимателями или, вернее, теми, что желали бы сделаться таковыми»,— людьми, «которые на действительный или мнимый капитал испрашивают какую угодно концессию, будь она на юге или на севере, на востоке или на западе империи» (цит. по: Отечественные записки, 1869, № 4, отд. II, с. 311).

твердость Муция Сцеволы... — Мифический древний римлянин Кай Муций Сцевола добровольно положил руку в огонь, чтобы доказать тюремщикам свое презрение к физическим мукам и смерти.

Стр. 20. *И у Бубновина был, и у Мерзавского был, и у сына Сирахова был!* — Под фамилией Бубновин, намекающей на «бубновый туз» каторжника, выведен богатый железнодорожный концессионер «из мужичков» П. И. Губонин, который пользовался постоянной поддержкой высокопоставленных лиц, получавших от него огромные субсидии. Мерзавским Салтыков именует видного железнодорожного концессионера А. М. Варшавского. Прозвищем «сын Сирахов» Салтыков указывает на национальность богача С. С. Полякова — еврея, игравшего огромную роль в многочисленных железнодорожных предприятиях тех лет (в состав Библии входит «Книга премудрости Иисуса сына Сирахова»).

Тандрессы — нежности (фр. tendresses).

Стр. 21. *...на биржу к Елисееву...* — магазин «фруктово-колониальных товаров» купца Елисеева с ресторанным залом, помещавшийся на Биржевой линии.

Стр. 24. *...жандарм и какой-то партикулярный молодой человек.* — В это время правительство производило многочисленные аресты среди революционной молодежи, ссылая без суда в северные губернии России. Салтыков иронически указывает на то, что проектируемые железные дороги дадут возможность правительству более оперативно доставлять революционеров к местам ссылки.

...господин Латкин с свежею печорскою семгою и кедровой шишкой в руках... — Золотопромышленник Н. В. Латкин деятельно выступал в печати, пропагандируя освоение природных богатств Сибири и Крайнего Севера.

Стр. 25. *...не выпить ли на ночь прощёную!* — то есть последнюю (подразумевается рюмка водки).

Стр. 26. *Хазовый* — казовый, то есть выставленный напоказ (от татарского слова «хаз»).

...посещать лекции профессора Сеченова... — И. М. Сеченов в начале 1870-х гг. прочел в Петербургском Клубе художников несколько курсов лекций, пользовавшихся в демократических кругах огромным успехом.

...bivons, chantons, donsons et aimons! — часто употреблявшееся Салтыковым выражение, которым он характеризовал жизненное кредо светских бездельников. Эти «программные глаголы» заимствованы из популярных опер-буфф Жака Оффенбаха, либ-

ретто А. Мельяка и Л. Галеви — «Прекрасная Елена», 1864— хор из д. III, сц. I и «Герцогиня Герольштейнская», 1867 — хор из д. I, сц. I.

Стр. 26. *...исследуя вопрос о пришествии варягов или о месте погребения князя Пожарского...* — Намек на историка М. П. Погодина, полувековой юбилей литературной и научной деятельности которого был отпразднован с большой помпой в Москве 29 декабря 1871 г. Предметом многочисленных исследований Погодина был вопрос о пришествии в России на княжество варягов. Приняв в 1852 г. участие в разыскании места погребения кн. Д. М. Пожарского и в водружении ему надгробного памятника в Суздале, Погодин опубликовал по этому поводу подробный мемуар.

...О «Ярославль-сребре»... — «Ярославль-сребро» — древнерусская монета.

Стр. 27. *...выпьем из той самой урны, в которой хранился прах Овидия!* — Древнеримский поэт Овидий умер в Молдавии, куда был сослан императором Августом. Место его погребения остается неизвестным. С 7 по 20 декабря 1871 г. в Петербурге проходил Второй археологический съезд, обсуждавший преимущественно малозначительные вопросы, связанные с археологией классических древностей. Этим, вероятно, и объясняется ирония Салтыкова.

Boulotte ⟨...⟩ Comme elle se gratte... les jambes... — В опере-буфф Жака Оффенбаха «Синяя борода», 1868 (либретто А. Мельяка и Л. Галеви) роль крестьянки Бюлотты исполняла знаменитая французская опереточная актриса Гортензия Шнейдер, гастролировавшая в петербургском театре-Буфф в конце 1871 — начале 1872 г.

«Dites-lui» — ария из «Герцогини Герольштейнской». С. Н. Худеков в фельетоне, напечатанном в «Петербургской газете» под псевдонимом «Сережа» (1871, № 180, 19 дек.), писал: «Ходил по Невскому, в тот самый час, когда наша плешивая юность прогуливает себя для возбуждения аппетита перед обедом. Гуляли цилиндры, бобры, соболя, кепи и треуголки... Большинство из них пело «Dites-Lui»!»

Стр. 31. *«Le Sabre de mon père».* — Под этим названием шла в Петербурге «Герцогиня Герольштейнская», в которой изображались «галантные» подвиги Екатерины II. Эта оперетта и исполнявшая главную роль Гортензия Шнейдер вызвали у русских современников настолько живой интерес, что даже Александр II, правнук Екатерины II, приехавший в 1867 г. в Париж на Всемирную выставку, чуть ли не прямо с вокзала устремился в театр Variété (см.: Герцен А. И. Собр. соч.: В 30-ти т. Т. 19. М., 1960, с. 282).

Стр. 32. *...товарищи мои ⟨...⟩ изнемогали, таяли, извивались...* — Кн. В. П. Мещерский в статье «У театра-Буфф» описывал какого-то офицера, который, «высунувшись из ложи руками и половиною туловища», «впивался в сцену и в каждое движение г-жи Шнейдер до того соблазнительно, что обращал на себя внимание многих» (Гражданин, 1872, № 5, 31 янв.) Эта сценка как бы дополняет салтыковскую характеристику посетителей театра-Буфф во время гастролей Шнейдер.

...борелевские татары... — В самых модных ресторанах того времени прислуга набиралась преимущественно из татар.

Стр. 34. *...кокодессов...* — Слово «cocods», появившееся во французском языке в начале 1860-х гг., означает «фат», представитель «золотой молодежи», «прожигатель жизни».

...без начала, без конца, без середки... — Содержателю частного театра-Буфф Егареву запрещено было в то время ставить на своей сцене музыкальные спектакли полностью, поэтому оперетты шли у него как полуспектакли-полуконцерты и вдобавок немилосердно искажались.

Стр. 35. *...красоулю...* — чашу.

...в отъезжее поле... — на псовую охоту.

Стр. 36. *...из Александринки...* — Петербургский императорский драматический (Александринский) театр.

...охранение только одного-единственного права... — крепостного права.

Стр. 37. *...периодически, через каждые три года, бушевал в губернском городе...* — то есть участвуя в дворянских выборах.

Стр. 38. *Если б кто-нибудь взял на себя труд обстоятельно написать историю этих пикировок...* — см. об этом в «Помпадурах и помпадуршах» Салтыкова (глава «На заре ты ее не буди»).

Стр. 39. *Реприманд* — здесь: угроза (фр. reprimande).

Стр. 41. *Мы даже m-lle Филиппо не можем заставить спеть «L'amour ce n'est que cela»...* — Салтыков приводит припев из песенки «Любовь». Шансонетная певица Луиза Филиппо выступала в течение нескольких лет в «Увеселительном заведении искусственных минеральных вод» Излера. Она сумела «три года подряд привлекать ежедневно тысячу человек, распевая неизменно одну-единственную песню «L'Amour», где и слов почти нет, кроме «Oh Robin! oh la la, ola li! oh la la» и т. д. (Спб. ведомости, 1872, № 181, 5 июля). В апреле 1871 г. Филиппо привлекалась к суду за то, что, исполняя эту песню, «производила на сцене бесстыдные телодвижения», и в результате подверглась денежному штрафу (Спб, ведомости, 1871, № 126, 9 мая).

Стр. 42. *Есть наслаждение и в дикости лесов...* — первая строка стихотворения К. Н. Батюшкова (без названия; 1819—1820).

...отставным козы барабанщиком... — устаревшее шутливое выражение о человеке потерявшем свое прежнее (крайне незначительное) служебное положение.

Стр. 43. *...мой друг Сеня Бирюков...* — Этот салтыковский персонаж является действующим лицом «Сатир в прозе» и «Помпадуров и помпадурш».

...по утвердившемуся на улице понятию... — «Улица» в терминологии Салтыкова-Щедрина — это мир искаженных, примитивных, обывательских представлений.

Risum teneais, amici! — часть пятого стиха из «Науки поэзии» Горация.

Стр. 48. *Вон головорезы-то, слышали, чай! — миллион триста тысяч голов требуют...* — Во время первого заседания Петербургской судебной палаты по «нечаевскому делу» — «о заговоре, составленном с целию ниспровержения существующего порядка управления в России», была процитирована прокламация «Народная расправа», в которой говорилось о необходимости истребления «тех извергов в блестящих мундирах, обрызганных народною кровью, что считаются столпами государства», «целой банды грабителей казны» и т. п. (Правительствен-

ный вестник, 1871, № 156, 2 июля). Желая дискредитировать участников революционного движения, III Отделение распускало провокационные слухи о намерении «нигилистов» истребить всех дворян, то есть миллион с лишним человек. Слух этот повторяет в разных вариантах ряд персонажей Салтыкова (например, Персианов в «Господах ташкентцах»).

Стр. 48. *...сорок миллионов поясниц заполучить желанием!* — Подразумевается дворянское право телесного наказания крестьян (к концу 1860-х гг. крестьянское население России составляло около пятидесяти миллионов человек). Законом от 17 апреля 1863 г. телесные наказания «низших сословий», широко распространенные в судебной практике дореформенной России, были резко ограничены, что вызывало недовольство среди закоренелых крепостников.

...даже прожект о расстрелянии... — то есть о резком усилении правительственных репрессий против оппозиционных и революционных элементов — вплоть до их полного физического истребления.

...прожект о расточении... — Вероятно, имеется в виду широкое применение административной ссылки (в старинном словоупотреблении «расточать» означало «рассеивать, разгонять»).

Стр. 49. *...с Домиником.* — Как указывалось в одном из путеводителей по Петербургу, ресторан Доминика на Невском проспекте был известен своими пирожками и вообще доброкачественностью съестных припасов.

Нас встретил хозяин... — В сатирическом портрете князя Оболдуй-Тараканова современники угадывали черты реакционного беллетриста и публициста кн. В. П. Мещерского, изъявлявшего претензию на роль идейного вождя русской консервативно-помещичьей партии.

Стр. 51. *...государственных семинаристов.* — Речь идет о чиновниках Синода, в частности департамента иностранных исповеданий, вице-директором которого был ранее гр. Д. А. Толстой.

...к догмату о папской непогрешимости. — Папа Пий IX провозгласил в 1867 г. догмат о полной непогрешимости «наместника Христа», то есть самого папы, во всех вопросах. Передовые общественные круги Европы были в высшей степени возмущены этими средневековыми акциями, целью которых было усиление клерикализма; тем не менее в 1870 г. этот догмат был утвержден Ватиканским собором.

...мотивы, побудившие императора Наполеона III начать мексиканскую войну. — Целью военной авантюры, предпринятой в 1862—1867 гг. Наполеоном III, было уничтожение республики в Мексике и замена ее империей, предназначенной стать оплотом против Северо-Американских Соединенных Штатов. Экспедиция эта закончилась полным провалом и ускорила крах наполеоновского режима.

...ососов... — поросят-сосунков.

Petit oiseau! qui es-tu? — По-видимому, пародируется «нравоучительное» стихотворение аббата Ашиля Девуаля «Нищий и птичка» («Où vas-tu, petit oiseau?»).

Стр. 52. *«Zaïre»* — трагедия М.-А. Вольтера (1732).

«Излюбленные»... — избранные на какую-нибудь общественную должность (термин русского обычного права). Салтыков, возможно, намекает на высказывание славянофила А. И. Кошелева, писавшего, что для обсуждения всех проектов законов следо-

вало бы направлять в столицу из губерний «гласных, избираемых на сей предмет губернскими земскими собраниями» (Беседа, 1871, № 8, с. 171—172).

Стр. 53. *...nous dansons sur un volcan...* — приобретшее широкую известность восклицание французского политического деятеля гр. А. де Сальванди на балу в Париже 31 мая 1830 г.— за два месяца до Июльской революции.

...то посредники... то акцизные... то судьи... — Мировые посредники, на обязанности которых при проведении в жизнь крестьянской реформы 1861 г. лежало регулирование взаимоотношений крестьян и их бывших владельцев, являлись в первое время объектом ненависти со стороны крепостников; их называли «поджигателями и подвергали травле на дворянских собраниях. Вскоре, однако, доходную и влиятельную должность мирового посредника сумело заполучить множество бывших крепостников, и это примирило их как с самой реформой, так и с институтом посредников. В 1863 г. в России были ликвидированы винные откупа и заменены вольной продажей вина, обложенного правительственным акцизом. Чиновники, контролировавшие правильность проведения этой реформы, подвергались травле со стороны крупных помещиков, характеризовавших этих, в сущности, «благонамеренных» чиновников как «нигилистов» и даже «коммунистов».

Стр. 54. *...куда же можно прийти, кроме... Но я не произношу этого страшного слова...* — Имеется в виду революция.

Стр. 55. *А суд, ваше превосходительство, между тем оправдывает-с!* — Намек на ряд оправдательных приговоров, вынесенных петербургским судом книгоиздателям, против которых цензурными органами было возбуждено судебное преследование.

Стр. 56. *...со временем покойного Николая Михайловича...* — то есть Н. М. Карамзина, умершего в 1826 г.

...увидел тут все... — Приводится ходовой набор обвинений реакционно-охранительной печати по адресу демократических органов, в особенности «Отечественных записок» и публиковавшихся там произведений Салтыкова.

Стр. 57. *У нас была одно время газета...* — Имеется в виду политическая и литературная газета «Весть», редактировавшаяся В. Д. Скарятиным и Н. Н. Юматовым. Это был орган крепостников, добивавшихся передачи административной власти над крестьянами в руки помещиков. «Весть» выходила с 1863 по 1870 г., имея ничтожное число читателей; прекратилась, как сообщалось в последнем номере, «вследствие полного истощения денежных средств».

...мы решились издавать новую газету под юмористическим названием «Шалопай»... — Здесь и далее высмеивается реакционно-консервативный еженедельник — «политический и литературный журнал-газета» «Гражданин», незадолго до того (с января 1872 г.) начавший выходить в Петербурге под фактической редакцией кн. В. П. Мещерского.

...пренумерантов... — подписчиков.

Как мы относимся к прогрессу? — Пародируется передовая статья кн. В. П. Мещерского «Вперед или назад» (Гражданин, 1872, № 2, 10 янв.).

«Сила совершившихся фактов, без сомнения, не подлежит отрицанию». — Пародируется следующее место из статьи Мещер-

ского: «В России не может быть движения назад, потому что движение вперед объявлено всенародным,— в марте 1856 года, русским государем; в русском государстве немыслимо движение назад, потому что движение вперед стало жизнью, органическою потребностью России».

Стр. 59. *...должен ли повторяться этот едва совершившийся факт безгранично? 〈...〉 что ежели бы рядом с совершившимся фактом было поставлено благодетельное т и р е́...*— Пародируется высказывание из той же статьи Мещерского: «Но если движение назад немыслимо, а движение вперед есть такая же потребность для России, как жизнь, то из этого не следует, чтобы последнее, то есть движение вперед, могло бы быть пестройным, порывистым и управляемым не потребностями всех, а капризами нескольких, кто бы они ни были 〈...〉 К реформам основным надо поставить точку, ибо нужна пауза, пауза для того, чтобы дать жизни сложиться 〈...〉 Лихорадочно скачущие вперед создают упорно оттягивающих назад: и те и другие вне истины, вне России, России же нужна разумная средина, мир внутренний, мир безусловный...» В своих позднейших воспоминаниях кн. Мещерский писал: Эпизод с *точкою* вызвал против меня целый ураган. Он заключался в фразе, которую я дерзнул тогда сказать в одном из первых №-ров «Гражданина» о необходимости поставить к либеральным реформам *точку*. С этим словом все для меня кончилось, как будущность, и анафема надо мною произнесена была полная» (кн. М е щ е р с к и й В. П. Мои воспоминания, ч. II (1865—1881). Спб., 1898, с. 169). Незнакомец (А. С. Суворин) прозвал кн. Мещерского в одном из своих фельетонов «князем точкой, или точкой печального образа» (Спб. ведомости, 1872, № 304, 5 нояб.).

Стр. 61. *...со времени известного происшествия...*— то есть отмены крепостного права.

Стр. 63. *...У председателя общества чающих движения воды, действительного статского советника Стрекозы.*— По евангельской легенде, «чающими движения воды» назывались больные и обессиленные люди, ожидавшие близ купальни Вифезда в Иерусалиме момента, когда появится ангел и приведет ее воды в волнение. Первому вошедшему за ним в воду это сулило исцеление (Иоанн, 5, 2—4). Персонажи с именем Стрекозы проходят через многие произведения Салтыкова — от «Губернских очерков» до «Современной идиллии».

...с вавилонскою блудницей.—«Вавилонская блудница»— выражение из Апокалипсиса («Откровение св. Иоанна Богослова», 17, 1 и 5).

«Как лебедь на брегах Меанда...»— начало «Оды на восшествие на престол Александра I» М. М. Хераскова (Спб., 1801). В подлиннике: вместо «на брегах»—«на водах».

...из всей этой плеяды остался только господин Срахов!— В журн. «Заря» (1870, № 10) Н. Н. Сраховым была напечатана под псевдонимом Н. Косица статья «Вздох на гробе Карамзина». Называя автора «Бедной Лизы» «великим писателем, создателем русской истории, зачинателем нового периода нашей литературы», Страхов писал: «Я вам открою, что я воспитан на Карамзине, что мой ум и вкус развивался на его сочинениях. Ему я обязан пробуждением своей души, первыми и высокими умственными наслаждениями» (с. 207).

...к Шухардину...— Трактир на Литейном с садом, в котором

давались «музыкальные вечера», упоминавшиеся современниками с неизменной иронией.

Стр. 65. *...к Балабину...* — «Балабинская гостиница, на Б. Садовой улице. При ней был ресторан.

Стр. 68. *...посылать какого-нибудь Андрюшку-пьяницу или Ионку-подлеца в часть!* — До крестьянской реформы помещики, жившие в городе, имели право направлять своих дворовых для порки в полицейский участок.

И вот, о реформы, горькие ваши плоды! — Намек на выражение из «Недоросля» Д. И. Фонвизина: «Вот злонравия достойные плоды!» (заключительная реплика Стародума — д. 5, яв. 8).

Стр. 70. *...розоперстую аврору...* — поэтический синоним утренней зари, часто встречающийся в поэмах Гомера.

Стр. 71. *«...о необходимости оглушения... «о переформировании десиянс академии...»* — Об этих «прожектах» см. примеч. к. с. 93.

Стр. 72. *Был момент, когда мы искренно поверили...* — Имеется в виду время, предшествовавшее крестьянской реформе, которая казалась большинству дворян-помещиков непоправимой катастрофой.

...la grandeur d'âme est à l'ordre du jour ⟨...⟩ *alea jacta est...* — Знаменитую фразу, произнесенную, по преданию, Юлием Цезарем при переходе через реку Рубикон — «Жребий брошен», — поэт и политический деятель А. Ламартин процитировал 6 октября 1848 г. в своей речи во французском Национальном собрании, посвященной вопросу о том, как должен быть избран президент республики — палатой депутатов или всеобщим голосованием: «Alea jacta est! Да выскажутся бог и народ! Что-нибудь должно быть предоставлено и Провидению!» К этому крылатому выражению Салтыков присоединил высокопарную сентенцию о «величии души» из декрета об отмене смертной казни за политические преступления, провозглашенного 26 февраля 1848 г. французским Временным правительством, членом которого был Ламартин: «Временное правительство, убежденное, что величие души — это высшая политика...» Салтыков резко отрицательно относился к политической деятельности Ламартина, сыгравшего пагубную роль в февральской революции 1848 г.

Стр. 73. *...на последнем я листочке напишу четыре строчки.* — Банальные стишки, которыми обычно завершались альбомы «уездных барышень».

Стр. 74. *...это были дни нашего несчастия..* — время подготовки и проведения крестьянской реформы.

Стр. 76. *... это оттанде...* — термин карточной игры· «Погодите, не мечите, я ставлю» (от фр. attendez).

...юдоль скорбей... — библейское выражение (Псал., 83, 7) означающее «земная жизнь» («юдоль» по-церковнослав.— «долина»).

...женерозна... — великодушна, благородна (от фр. généreuse)

Стр. 77. *...палладиумом...* — оплотом (от лат. palladium)

Стр. 80. *...господина Токевиля (удерживаю фамилию этого писателя в том виде, как она является в плодах деревенских досугов)...* — В фамилии французского публициста А. де Токвиля (Toqueville) средняя буква «е» — немая и выпадает из русского написания и произношения. Архаическая транслитерация подоб-

ного рода фамилий (например. Дидерот вместо Дидро) продолжала частично бытовать в России XIX в.

Стр. 80. *Токевиль положительно сделался популярнейшим из публицистов в наших усадьбах.*— В своих известных книгах «Демократия в Америке» (1835—1840) и «Старый порядок и революция» (1856) Токвиль коснулся проблем, актуальных для пореформенной России: представительного правления, централизации и т. п. Перевод обеих книг Токвиля вышел на русском языке в начале 1860-х гг.

...Наполеон III ⟨...⟩ диктовал свои мероприятия относительно расстреляния? — Имеются в виду мероприятия Наполеона III по установлению и упрочению режима жестокой личной диктатуры.

Стр. 81. *И Хлобыстовские приедут, и Дракины...*— Салтыков впервые изобразил этих «зубров-крепостников» в своем сочинении «Признаки времени».

О необходимости децентрализации.— В этом «прожекте» Салтыков подвергает осмеянию децентрализаторско-крепостнические устремления дворян-землевладельцев, требовавших от правительства усиления своей помещичьей власти и охраны государством их имущественных и сословных интересов. Одним из конкретных объектов пародии является, по-видимому, докладная записка, поданная в 1866 г. Александру II министром внутренних дел П. А. Валуевым, министром государственных имуществ А. А. Зеленым и шефом жандармов гр. П. А. Шуваловым, об усилении власти губернаторов на местах (см.: О минувшем. Ист. сборник. Спб., 1909, с. 100—109). Значительное усиление власти губернаторов было проведено через Комитет министров. «Сущность этого проекта заставляет опасаться, что в силу его вся Россия отдается под полицейский надзор...— записал в своем дневнике 27 января 1870 г. А. В. Никитенко.— Ничего чудовищнее, кажется, не было придумано в это бестолковое время, где самые пошлые личные интересы самолюбия, честолюбия и трусости уже даже перестали с некоторых пор прикрываться личиною забот о народных интересах» (Никитенко А. В. Дневник, т. 3. М., 1856, с. 167).

Токевиль выражается о сем прямо: «Централизация есть зло».— Вопросы, связанные с централизацией и децентрализацией власти, занимают заметное место в работах Токвиля, особенно в книге «Демократия в Америке».

Монтескью, подтверждая сие мнение, прибавляет: «Зло, с трудом поправимое даже деспотизмом».— Нелепость этой ссылки невежественного автора прожекта на Шарля Монтескье заключается в том, что он заставляет мыслителя, жившего за столетие до Токвиля, подтверждать изречения последнего.

...английский писатель Джон Стуарт выражается так: «Централизация есть остаток варварства».— Автор «прожекта» имеет в виду известного экономиста Джона Стюарта Милля, но по невежеству принимает его двойное личное имя за имя и фамилию. В заключительной части своей книги «Oh Liberty» («О свободе», 1859) Милль резко осудил тенденции к централизации, проявляющиеся в европейских странах, в частности в наполеоновской Франции.

...«солнце наше вкруг нас ходит, да мы в безмятежии почиваем...» — неточная цитата из речи Георгия Конисского в честь Екатерины II («Речь на прибытие ее императорского величест-

ва в город Мстиславль, говоренная синодальным членом, преосвященным Георгием, архиепископом могилевским, мстиславским и оршанским генваря 19 дня 1787 года»).

Стр. 83. *Наши заатлантические друзья...* — см. примеч. к с. 225.

...даже Наполеон III нередко ⟨...⟩ *о сем поговаривал в секретных беседах с господином Пиетри.* — Иронический намек на попытки Наполеона III в конце своего царствования несколько «либерализировать» правительственный режим, который основывался на строгой централизации и полицейско-бюрократическом регламентировании всех сторон жизни французского народа. *Ж. Пиетри* — префект парижской полиции с 1867 г.

Стр. 84. *Известный криминалист Сергий Баршев говорит: «Ничто так не спасительно, как штраф, своевременно налагаемый, и ничто так не вредно, как безнаказанность».* — Профессор Московского университета С. Баршев писал в книге «О мере наказаний» (М., 1840), которую он в предисловии назвал своим «исповеданием»: «...на людей грубых и необразованных, каковы, большею частию, преступники, всего более действует страх наказания» (с. 123). В другой своей книге «Общие начала теории и законодательств о преступлениях и наказаниях» (М., 1841) Баршев посвятил целый раздел вопросу «О денежных наказаниях», подчеркивая целесообразность денежных штрафов в случае «маловажных преступлений» (разд. II, с. 81—83).

Стр. 85. *...ларчик просто открывался!!!* — заключительный стих басни И. А. Крылова «Ларчик» (1807).

Стр. 86. *...предоставить* ⟨...⟩ *издавать правила...* — К. К. Арсеньев замечал по поводу этого проекта: «Это напечатано в 1872 году, а в 1876 или 1877 году администрации на самом деле дано и впоследствии еще более расширено право издавать обязательные постановления. То, что прежде казалось утрировкой, является, таким образом, простою прозорливостью; Г. Салтыкову удается иногда подметить «тень, отбрасываемую грядущим» (the shadow of coming things), как картинно выражаются англичане» (Вестник Европы, 1883, № 2, с. 730). Прожект «О децентрализации» был почти полностью воплощен в жизнь правительством Александра III в 1880-х гг.

...и моего тут капля меду есть... — из басни И. А. Крылова «Орел и Пчела» (1811).

Отставной корнет Петр Толстолобов. — В этом персонаже, фигурирующем также в «Помпадурах и помпадуршах», отражены некоторые черты лицейского товарища Салтыкова, «жестоковыйного человека», «ташкентца высшего полета» гр. Д. А. Толстого, который ознаменовал свое многолетнее пребывание на посту министра народного просвещения, а затем министра внутренних дел рядом мероприятий по «помрачению просвещения в России».

Стр. 88. *О необходимости оглушения в смысле временного усыпления чувств.* — «Прожект» направлен против разработанной правительством программы «классического образования».

Стр. 90. *...азбуки в том первоначальном виде, в каком оную изобрел Таут...* — Финикийцу Тауту легенда приписывала изобретение «письменных букв». Намек на введенное в классических гимназиях обязательное обучение древнегреческому языку.

...эфиопского языка... — Намек на эту же «реформу».

Стр. 93. *О переформировании де сиянс академии.*— «Де сиянс академия» — Академия наук (от фр. Académie de Sciences). Салтыков предполагал представить в «оправдательных документах» к «Истории одного города» написанную «градоначальником Двоекуровым» «Записку о необходимости учреждения в Глупове академии», которая занималась бы не изучением, а «рассмотрением» наук. Какие-то причины помешали ему реализовать это намерение в «Истории одного города», и он сделал это в «Дневнике провинциала».

Стр. 95. *...как свидетельствует газета «Гражданин», одна дочь оставила одного отца...*— сатирическая реплика в адрес кн. В. П. Мещерского, выступавшего против равноправия женщин. В передовой статье газеты «Гражданин» (1872, № 9, 28 февр.), озаглавленной «Наш женский вопрос», рассказывалось о том, как «в одном помещичьем имении, в глуши Смоленской губернии, жил семидесятилетний старик с двадцатипятилетней дочерью», которая под влиянием брата, окончившего Петровскую сельскохозяйственную академию, бросила отца, переехала в Петербург «с обстриженными волосами» и заняла должность «свободной, самостоятельной наборщицы». Мещерский патетически описывал горе «покинутого отца».

Стр. 96. *...распространительница бездельных мыслей, весьма даже пагубная, называемая «Психологией».*— У передовой русской молодежи глубокий интерес вызывали сочинения по естествознанию, посвященные связи физиологических и психических явлений,— книги Л. Фейербаха, К. Фогта, Я. Молешотта, Ф. Бюхнера и др. Герцен писал К. Фогту 9 мая 1866 г.: «...в доносах Каткова упоминается и ваше имя. Он утверждает, что именно ваши сочинения, которые переводились ad hoc, и книги Молешотта развращали молодое поколение» (Герцен А. И. Собр. соч., т. 28, с. 185). Ad hoc — здесь: для данного случая (лат.).

Стр. 99. *...маймистов...*— так прозвали финнов, живших в окрестностях Петербурга (искаженное «Эй мой-ста» — «Не понимаю»).

...я должен сказать несколько слов о сновидениях...— Далее следует пародийная характеристика антикрепостнического протеста либерально-оппозиционных кругов дворянского общества 1840-х гг.; в нее Салтыков ввел ряд автобиографических реминисценций, в том числе воспоминания о своих дебютах в литературе, упоминание о своем крепостном слуге Григории («собрат моего камердинера и раба Гриши») и др.

Лампопо — анаграмма слова «пополам»: напиток из пива с лимоном и гренками.

Стр. 100. *...alma mater...*— студенческое наименование университета (в данном случае — Московского).

...«Маланьей»...— см. примеч. к с. 146.

О Росс! о род непобедимый // О твердокаменная грудь! — из оды Г. Р. Державина «На взятие Измаила» (1790—1791). В подлиннике: «О Росс! О род великодушный!»

Стр. 101. *...помещика Пеночкина!* — Аркадий Павлович Пеночкин — главный персонаж рассказа И. С. Тургенева «Бурмистр» (1847) из цикла «Записки охотника».

Стр. 102. *...увлеченный артельными сыроварнями...*— Начиная со второй половины 1860-х гг. помещик Н. В. Верещагин деятельно пропагандировал создание в России густой сети

артельных сыроварен, которые должны были, по его мнению, значительно поднять благосостояние крестьянского населения. Рациональность повсеместного распространения сыроварен оспаривал на страницах «Отечественных записок» известный теоретик и практик агрономии профессор А. Н. Энгельгард, указывавший, что для многих крестьянских семей сыроварни явятся источником дополнительных лишений. В полемику между «Отечественными записками» и «С.-Петербургскими ведомостями» по этому вопросу был втянут и Салтыков (см. «Благонамеренные речи»).

Стр. 102. *...местного комитета по улучшению быта крестьян.*— «Комитеты по улучшению быта крестьян» были созданы в 1858 г. из дворян-помещиков каждой губернии для разработки условий отмены крепостного права.

Стр. 103. *...председатель исчез неведомо куда, но «в сопровождении»...*— Намек на административную ссылку в Вятку (в сопровождении жандарма) председателя Тверского губернского комитета, друга Салтыкова, А. М. Унковского в 1860 г.

Стр. 104. *Итак, я видел сон.*— В основу «сна» положены факты нашумевшего процесса братьев Мясниковых, обвиненных в подделке духовного завещания купца Беляева. Саркастическому анализу этого дела посвятил большую часть своего ежемесячного обзора «Наши общественные дела» Н. А. Демерт в мартовской книжке «Отечественных записок» 1872 г., то есть за месяц до появления в этом журнале настоящей главы «Дневника провинциала». После внезапной смерти (в 1858 г.) купца К. В. Беляева, ведавшего делами офицеров — братьев А. и И. Мясниковых, первый из них, бывший в это время адъютантом начальника III Отделения, тотчас же перевез к себе все бумаги Беляева. Спустя три недели жена Беляева предъявила для засвидетельствования духовное завещание покойного мужа, написанное не по форме, причем подлинность подписи Беляева возбудила большие сомнения. Осенью 1859 г. племянник Беляева Мартьянов возбудил дело о подложности этого завещания, но умер еще до разбора своей жалобы. В 1868 г. родственники и наследники Мартьяновых подали в прокуратуру прошение о возбуждении уголовного дела против Мясниковых. Мясниковское дело, разбиравшееся в феврале 1872 г. в Петербургском окружном суде, закончилось полным оправданием обоих братьев, чему, как предполагалось, содействовало служебное положение старшего брата в высшем органе политической полиции и, быть может, даже подкуп присяжных заседателей (эти предположения неоднократно высказывались в периодической печати). Большое влияние на исход процесса оказала «интересная, исключительно глубокая по содержанию и замечательная по ее юридическому анализу» речь защитника А. Мясникова — К. К. Арсеньева (см.: Судебные речи известных русских юристов.— 2-е изд.— М., 1957, с. 223—224). Вторичное судебное разбирательство, произведенное в Москве, также закончилось полным оправданием обвиняемых. Подробностями этого сенсационного процесса Салтыков воспользовался как материалом для сатирической характеристики и обличения общественного быта и нравов 1870-х гг.

...что я был когда-то откупщиком...— Беляев также был винным откупщиком.

...выкупное свидетельство.— Выкупные свидетельства представляли собой своего рода облигации, которые выдавались поме-

щикам после реформы 1861 г. за земли, входившие в крестьянский надел.

Стр. 106. *...всем мужикам вольные дал, да всех их к купцу на фабрику и закабалил.*— Намек на так называемую «Хлудовскую историю» — аферу с крепостными крестьянами, устроенную несколькими помещиками Рязанской губернии и богатейшими фабрикантами той же губернии Хлудовыми. Афера эта была разоблачена Салтыковым во время его вице-губернаторства в Рязани.

Стр. 107. *...чтоб бутылка за семью печатями была!* — то есть чтобы вино не оказалось отправленным.

Стр. 110. *Многие вот так-то обещают, а после, гляди, свидетелев-то на тот свет угодить норовят.*— Намек на обстоятельства, связанные с делом Мясниковых, когда несколько наследников Беляева, а также свидетелей умерли один за другим в больнице, сумасшедшем доме и пр.

Стр. 111. *...что в моей шкатулке оказалось всего-навсего две акции Рыбинско-Бологовской железной дороги да старинная копеечка...*— Намек на мясниковское дело. В кабинете Беляева после его смерти полиция обнаружила только триста пятьдесят рублей наличными деньгами и двадцать пять серебряных монеток старинной чеканки. Все остальное было увезено и припрятано Мясниковым.

Пришли, понюхали — и ушли.— Из «Ревизора» Гоголя (реплика городничего): «... мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы 〈...〉 пришли, понюхали — и пошли прочь» (д. I, явл. 1).

Сипация — искаженное слово «эмансипация», то есть «освобождение» крестьян.

Стр. 117. *...на острове Голодае?* — Близ острова Голодая (ныне остров имени Декабристов), на краю Смоленского кладбища в Петербурге хоронили нищих.

Стр. 118. *...мои таланты...*— здесь в смысле: деньги. В одной из евангельских притч упоминается раб, получивший от своего хозяина денежную сумму («один талант»); вместо того чтобы пустить ее в прибыльный оборот, раб зарыл этот талант в землю, чем вызвал негодование рабовладельца (Матф., 25, 15—30).

Стр. 120. *Искариот* — предатель (от евангельского персонажа Иуды Искариота, предавшего на казнь Христа).

Стр. 122. *Надо нам от этого Гаврюшки освободиться!* — Здесь, по-видимому, содержится намек на одно из обстоятельств мясниковского дела. Помощник Беляева А. А. Караганов, подделавший подпись Беляева по просьбе Мясникова, во время судебного процесса находился почти в невменяемом состоянии. По утверждению прокурора А. Ф. Кони, Мясниковы нарочно спаивали его, чтобы избавиться от опасного свидетеля обвинения.

Стр. 132. *...о подоходном налоге...*— В начале 1872 г. Комиссия для пересмотра системы податей и сборов рассматривала проект всесословного подоходного налога после обсуждения его на губернских и уездных земских собраниях. «С.-Петербургские ведомости» писали по этому поводу 22 февраля: «Единственным выходом из такого положения представляется полная и окончательная отмена особенно неуравнительных податей: подушной, государственного земского сбора, общественного сбора и государственного земского сбора с гильдийских свидетельств. Существующую систему прямых налогов следует заменить иною, в

основании которой лежал бы принцип всесословного налога...»

Стр. 132. *...о всесословной рекрутской повинности.*— Дворянское сословие еще в 1762 г. было освобождено от обязательной воинской повинности, которую отбывали в России только крестьяне и мещане. В начале 1870-х гг. периодической печатью обсуждалась реформа, вводившая всеобщую воинскую повинность. Утверждена она была в 1874 г.

Стр. 133. *...с других!* — то есть податных сословий — крестьян, мещан, негильдийского купечества.

Да ведь д р у г и х - т о и порют! — Телесным наказаниям в 1860—1870-х гг. подлежали крестьяне, арестанты, ссыльнокаторжные и ссыльнопоселенцы. Дворяне, купцы первой и второй гильдий и «именитые граждане» не могли быть подвергнуты телесным наказаниям.

Стр. 135. *...с чего только бесятся!* — Прокоп имеет в виду губернские и земские собрания, обсуждающие проект всеобщего подоходного налога.

Стр. 138. *В надежде славы и добра // Иду вперед я без боязни!* — из «Стансов» А. С. Пушкина (1826). В подлиннике вместо «иду» — «гляжу».

...налоги, равномерно распределяемые, суть единственные...— см. примеч. к с. 224.

Стр. 140. *Пушнина* — здесь: хлеб с мякиной.

...бунте на коленях.— «Бунт на коленях» — выражение Герцена в статье «Сечь или не сечь мужика?», напечатанной в «Колоколе» (1857, л. 6, 6 дек.).

Безе — в переводе с французского эта фамилия означает «поцелуй» (le baiser).

...подарил все дворы через двор...— Подобную же злую шутку проделал, по рассказу Салтыкова в «Пошехонской старине», помещик Захар Капитонович, поделивший между своими двумя сыновьями вперемежку двадцать три крестьянских двора.

Стр. 141. *Вицы* — шутки (от нем. Witz).

Стр. 143. *...реки Пряжки...*— Пряжка — небольшая речка в Коломне, истекающая из Мойки, впадающая в Финский залив.

Стр. 146. *Менандр Прелестнов...*— В образе либерального публициста Менандра Прелестнова современники узнавали черты издателя-редактора «С.-Петербургских ведомостей» В. Ф. Корша. Именем «Менандр» Салтыков, вероятно, не случайно связал своего персонажа с действующим лицом сатиры А. Д. Кантемира «О различии страстей человеческих», где изображен сплетник, жадно собирающий всякого рода слухи (см.: А н т и о х К а н т е м и р. Собрание стихотворений. М.; Л., 1956, с. 92—93).

...еще в университете написал сочинение на тему «Гомер как поэт, человек и гражданин».— Этим намеком Салтыков подчеркивает тесную связь Менандра Прелестнова с его реальным прототипом: В. Ф. Корш в 1840-х гг. учился на историко-филологическом факультете Московского университета. Увлеченность античной, и в частности греческой, литературой он сохранил до конца жизни.

«Старейшая Всероссийская Пенкоснимательница».— Главным объектом сатиры Салтыкова послужили здесь «С.-Петербургские ведомости», начавшие выходить еще в 1728 г. Редактором-издателем этой газеты с 1863 г. был В. Ф. Корш.

Экземпляр «Маланьи», отлично переписанный и великолепно переплетенный, и доднесь хранится у меня ⟨...⟩ время «Мала-

ний» прошло... — Здесь явный элемент авторской иронии: в личном архиве Салтыкова несколько десятилетий хранилась переплетенная в «изящный шагреневый переплет» рукопись его раннего рассказа «Брусин».

Стр. 149. *...в Шемахе произошло землетрясение?* — 16 февраля 1872 г. сильным землетрясением был почти полностью разрушен город Шемаха и несколько окрестных селений. Этому событию в «С.-Петербургских ведомостях» был посвящен ряд телеграмм и корреспонденций.

«Башмаков еще не износила!» — восклицание Гамлета в трагедии Шекспира «Гамлет, принц Датский» (перевод Н. А. Полевого, 1837, д. 1, сц. 2).

Стр. 151. *Ссудо-сберегательные кассы.* — Ссудо-сберегательные товарищества начали появляться в России с 1870 г. Целью этих финансовых учреждений, поддерживавшихся земскими управами, было оказание помощи крестьянам-землевладельцам дешевым кредитом. На деле это свелось к финансированию зажиточных слоев крестьянства.

...об интернационалке... — В 1864 г. было создано возглавлявшееся Карлом Марксом Международное товарищество рабочих — I Интернационал. По-французски «Internationale» женского рода, и в русском языке того времени это слово сохраняло женский род и иногда передавалось термином «международка».

...вследствие свободы печати... — С 6 апреля 1865 г. в России было введено временное законодательство о печати, которое хотя и освобождало ряд изданий от предварительной цензуры, но вместе с тем давало возможность правительству применять самые суровые санкции.

...в продолжение целого часа было видимо северное сияние... — В конце января 1872 г. северное сияние наблюдалось не только в европейской части России, но даже в Южной Европе.

...образовалось общество, под названием «Союз Пенкоснимателей»... но ради бога, чтоб это осталось между нами! — Здесь впервые встречается у Салтыкова ставший классическим термин «пенкосниматели», который фигурирует и в произведениях: «Господа ташкентцы», «Недоконченные беседы» и др. Слово «пенкосниматели» («пенкоснимательство») получило широкое распространение в русской демократической публицистике для обозначения российского либерализма. Им не раз пользовался в своих произведениях В. И. Ленин (см.: Лит. наследство. М., 1933, т. 11—12, с. 400, 419, 420). Предупреждение Прелестнова о необходимости соблюдать «тайну «Союза Пенкоснимателей» — сатирический прием, подчеркивающий полную безобидность для правительства либералов и всех их объединений.

Стр. 153. *...настоящая ли разбойничья, или так, вроде оффенбаховской, при которой Менандр разыгрывает роль Фальзакаппы?!* — В опере-буфф Жака Оффенбаха «Разбойники», либретто А. Мельяка и Л. Галеви, 1870, шедшей на петербургских сценах, представлена шайка наглых, но незадачливых грабителей, возглавляемых Эрнесто Фальзакаппо, который изображен либреттистами и композитором в подчеркнуто гротесковом плане.

Стр. 154. *В журнале «Вестник Пенкоснимания»...* — В этой и следующих главах «Дневника провинциала» называется множество пародийных заглавий столичных либеральных органов; некоторые из этих сатирических выпадов, вероятно, направлены по определенному и очевидному для современников «адресу».

Под «Вестником Пенкоснимания», вероятно, подразумевался либеральный ежемесячный журнал «Вестник Европы», тесно связанный с «С.-Петербургскими ведомостями».

Стр. 154. *«...перед судом общественной совести»...* — Пародируется высказывание из обвинительной речи прокурора А. Ф. Кони на процессе Мясниковых: «...приговоры общественного мнения по этому делу не могут и не должны иметь значения для вас. Есть другой, высший суд — суд общественной совести. Это ваш суд, господа присяжные».

В сих печальных обстоятельствах... — Намек на цензурный террор после покушения Д. В. Каракозова.

...задал такую работу близнецам «Московских ведомостей»? — то есть М. Н. Каткову и П. М. Леонтьеву, которые, по словам самого Каткова, «были неразлучны» «до последних тайников мысли и сердечных движений» и семнадцать лет «жили, почти не расставаясь, под одним кровом» (Московские ведомости, 1875, № 97, 20 апр.). Катков и Леонтьев полемизировали с «С.-Петербургскими ведомостями», «Вестником Европы» и др., обвиняя их (совершенно неосновательно) в революционности.

Стр. 155. *Вертоград* — старинное название сада, часто употреблявшееся в переносном значении.

Пора, наконец, убедиться, что наше время — не время широких задач... — одна из главнейших «формул» салтыковского обличения идеологии либералов, взятая из их основного органа — «С.-Петербургских ведомостей». Ср. в передовой статье «С.-Петербургских ведомостей» 1873, № 317, 17 ноября: «Несколько лет тому назад наша газета сделала верное замечание о настоящем времени, сказав, что наше время — скорее время практических, чем общих, широких, теоретических задач ⟨...⟩ В литературе появилось немалое число статей и беллетристических очерков, разрабатывавших ту же самую тему». Далее редакция отмечала, что «один из наших толстых журналов», то есть «Отечественные записки», «вот уже два или три года» цитирует эту «безвредную фразу», «сопровождая свои цитаты грубыми и вздорными толкованиями». Об этом «кредо» пенкоснимателей-либералов см. также в «Недоконченных беседах». Герой «Похорон» Пимен назвал это изречение либералов «распутной фразой», обвиняя ее автора — Менандра Прелестнова — в измене всему прошлому русской литературы. «Тут скудоумие, тут и распутство, и желание сказать нечто приятное».

Стр. 156. *...дабы полуда на посуде в трактирных заведениях всегда находилась в исправности...* — обвинение либеральной прессы в крохоборстве.

Стр. 157. *«Зеркало Пенкоснимателя»...* — Возможно, что имеются в виду «Биржевые ведомости», ведшие в то время ожесточенную полемику с «С.-Петербургскими ведомостями».

Стр. 159. *...третье предостережение.* — После третьего предостережения периодические издания подвергались временной приостановке или полному запрещению.

...обличать городовых. — В качестве примера подобных «обличений» можно указать на статью, появившуюся в то время, когда писалась пятая глава «Дневника провинциала». «Все двинулось у нас вперед за последнее время; одной только провинциальной полиции это движение, по-видимому, не коснулось вовсе или коснулось очень мало. Грубые нравы, немыслимые при нашем

новом законодательстве, в ее среде еще не утратили своей дикой первобытности. От души желаем, чтобы наши губернские начальства обратили серьезное внимание на это важное обстоятельство и тем предотвратили на будущее время возможность подобных историй» (Спб. ведомости, 1872, № 116, 29 апр.).

Стр. 160. *...внезапность обстоятельств, изменившая все к наилучшему (см. соч. Токквиля: «L'ancien régime et la Révolution».)* — Намек на французскую революцию 1789 г.

Стр. 161. *...изданиям общества распространения полезных книг...* — В 1861 г. в Москве было организовано Общество распространения полезных книг, находившееся под покровительством императрицы, жены Александра II, и ставившее своей целью пропагандировать среди народа «полезных сведений в религиозно-нравственном направлении». Салтыков считал деятельность этого общества не только бесполезной, но и вредной.

...сын туманного Альбиона... — англичанин.

...«новое слово» когда-нибудь будет сказано. — Термин «новое слово» был введен в литературный оборот Аполлоном Григорьевым, поэтом, критиком, сотрудником петербургских журналов «Время», «Эпоха».

...инкюлькированием... — вдалбливанием в голову (от фр. inculquer).

...заношенное исподнее белье его соседа! — Салтыков высмеивает крайности славянофилов 1870-х гг., которые, по его мнению, готовы были утверждать, что «пользоваться общечеловеческой цивилизацией значит носить чужие подштанники и сморкаться в чужой платок» (письмо Салтыкова к С. А. Юрьеву от 8 февраля 1871 г.).

Стр. 162. *...стоит подуть жестокому аквилону...* — реминисценция из стихотворения Пушкина «Аквилон» (1824). В подлиннике: «грозный аквилон».

Стр. 165. *...славословят и поют хвалу?* — Имеется в виду превознесение органами либеральной прессы реформаторской деятельности правительства и ее мнимых результатов.

Стр. 166. *...время господства «Британии» и эстетических споров* — то есть 1840-е — начало 1850-х гг. См. выше примеч. к с. 66.

Никодим редижировал какую-то казенную газету, при которой ⟨...⟩ имелся и литературный отдел. — Никодима Крошечкина Салтыков наделил некоторыми чертами личности М. Н. Каткова и фактами его биографии. В начале 1850-х гг. Катков стал редактором «Московских ведомостей». «Насколько зависело от Каткова,— отмечал впоследствии его биограф,— он оживил казенную газету. В ней стали принимать участие московские профессора; был заведен постоянный литературный отдел». Вследствие этих мер тираж газеты за время редактирования ее Катковым поднялся вдвое (см.: Неведенский С. Катков и его время. М., 1888, с. 98—99). Помощником, а затем преемником Каткова на посту редактора «Московских ведомостей» был В. Ф. Корш (до 1862 г.).

Стр. 168. *...мудрый Натан...* — главный герой одноименной драмы Г.-Э. Лессинга (1779).

Стр. 169. *...благорастворение воздýхов...* — крылатое выражение, источником которого является литургия Иоанна Златоуста (молитва «великая ектинья» — «О благорастворении воздýхов,

о изобилии плодов земных и временах мирных»). Употребляется в значении «чудесная погода».

Стр. 169. *...не об этих ли птицах писал Страбон?..* — В своем описании Италии и Средиземного моря известный древнеримский географ Страбон упоминает, что на одном из пустынных островов спутники мифического героя Диомеда были превращены в птиц, которые ведут там «в некотором роде человеческую жизнь» (Страбон. География в 17 книгах. М., 1964, с. 260).

Стр. 170. *...написал когда-то повесть, на которую обратил внимание Белинский!..* — В письме к В. П. Боткину от 4—8 ноября 1847 г. Белинский назвал первую повесть Салтыкова «Противоречия» «идиотской глупостью». Этот отзыв мог стать известным Салтыкову, по-видимому, не ранее конца 1860-х гг., когда было опубликовано упомянутое письмо Белинского. Салтыков в письме к С. А. Венгерову от 28 апреля 1887 г. упоминает о том, что Белинский назвал «Противоречия» «бредом младенческой души», а в главе VI «Дневника провинциала» вложил в уста Белинского аналогичную характеристику «Маланьи»: «бред куриной души».

...Иван Николаевич Неуважай-Корыто, автор «Исследования о Чурилке»! — В этом «пенкоснимателе», носящем гоголевскую фамилию (Петр Савельевич Неуважай-Корыто — крепостной помещицы Коробочки), сатирически заострены некоторые черты характера и научно-литературной деятельности сотрудника «С.-Петербургских ведомостей» известного критика и искусствоведа В. В. Стасова. Стасов принадлежал тогда к числу наиболее рьяных и последовательных сторонников компаративистской (сравнительно-исторической) теории. Крайности ее и высмеивает прежде всего Салтыков в образе Неуважай-Корыта. В своей объемистой монографии «Происхождение русских былин» (Вестник Европы, 1868, № 1—4, 6—7), выводы которой получили непосредственное отражение в настоящем эпизоде, Стасов доказывал иностранное просхождение наиболее выдающихся памятников русского народного эпоса и его основных героев — Еруслана Лазаревича, Добрыни Никитича, Ильи Муромца и др.

Семен Петрович Нескладин, автор брошюры «Новые суды и легкомысленное отношение к ним публики»! — В этом персонаже воплощены некоторые черты известного юриста и публициста К. К. Арсеньева, которому принадлежал ряд передовиц на судебные темы в «С.-Петербургских ведомостях», а также брошюры «Предание суду и дальнейший ход уголовного дела до начала судебного следствия» (Спб., 1870), «Судебное следствие» (Спб., 1871) и др. Заголовок пародирует содержание передовых статей «С.-Петербургских ведомостей», посвященных юридическим вопросам. Впоследствии Арсеньев написал первую биографию Салтыкова (Вестник Европы, 1890, № 1—2) и ряд статей о его творчестве, вышедших отдельным сборником (Салтыков-Щедрин. Спб., 1906).

...Петр Сергеич Болиголова, автор диссертации «Русская песня: Чижик! чижик! где ты был? — перед судом критики»! — В этом персонаже также воплощены крайности компаративистского метода, наиболее рельефно выраженного в трудах Александра Николаевича Веселовского. 7 мая 1872 г., то есть за месяц до появления в печати этой главы «Дневника провинциала», им была защищена в Петербургском университете докторская диссертация «Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе и

западные легенды о Морольфе и Мерлине» (Спб., 1872). Веселовский в течение нескольких лет занимался научными изысканиями в европейских библиотеках и архивах, в том числе и испанских. Это обстоятельство далее особенно акцентируется сатириком.

Стр. 170. *Вячеслав Семеныч Размазов, автор статьи «Куда несет наш крестьянин свои сбережения?»...* — По-видимому, высмеивается публицист Ф. Ф. Воропанов, автор передовых статей на экономические темы в «С.-Петербургских ведомостях».

...Репиманда... — выговора (фр. reprimande).

Стр. 171. *...Чуриль, а не Чурилка, был не кто иной, как швабский дворянин седьмого столетия.* — Салтыков пародирует следующие утверждения В. В. Стасова в его монографии «Происхождение русских былин»: «Наш Еруслан Лазаревич есть не кто иной, как знаменитый Рустем персидской поэмы «Шах-Намэ» (Вестник Европы, 1868, № 1, с. 175); «Наш Добрыня — не кто иной, как индийский Кришна 〈...〉 Похождения нашего Добрыни — это не что иное, как те же самые рассказы 〈...〉, которые посвящены описанию похождений Кришны...» (№ 2, с. 644) и т. п. Стасов, как и Веселовский, в течение продолжительного времени работал над историческими источниками во многих зарубежных библиотеках. В «Вестнике Европы» (1872, № 4) было помещено два стихотворения В. П. Буренина под общим заглавием «Из русских былин»: «Чурило Пленкович» и «Ссора Ильи Муромца с князем Владимиром». С этим, возможно, связаны упоминания Салтыкова о Чурилке и Илье Муромце.

...колебания, «ни в каком случае не достойным науки». — Пародируется полемический выпад Стасова против «общих рассуждений» защитников теории оригинального характера русских былин, удовлетворяющих, по его мнению, «только патриотическим чувствам, но не научным требованиям» (Вестник Европы, 1868, № 4, с. 652).

Совопросник — собеседник (церковнослав.).

Стр. 172. *...придет новый Моисей и извлечет из этого кремня огонь.* — По библейской легенде, пророк Моисей, ударив жезлом по скале, извлек из нее воду, утолившую жажду возроптавших израильтян (Исход, 17, 5—6).

Стр. 173. *Существуют два проекта: один об уничтожении, другой об упразднении.* — В 1872 г. в Государственном совете разрабатывались новые цензурные правила «пресечения злоупотреблений печатным словом», возбуждавшие сильное волнение и беспокойство в литературных кругах. 7 июня 1872 г., за неделю до фактического выхода в свет журнала с настоящей главой, были утверждены правила, разрешавшие министру внутренних дел задерживать выход в свет книг и периодических изданий и проводить через совет министров постановления об их окончательном запрещении.

Но тайный советник Кузьма Прутков!! ужели он допустит до этого?! — В Петербурге вскоре стали циркулировать слухи, будто в образе Козьмы Пруткова (известного персонажа, созданного А. Н. Толстым и братьями А. М. и В. М. Жемчужниковыми) Салтыков задел М. Н. Лонгинова, незадолго до того назначенного на пост председателя комитета по делам печати.

Стр. 175. *...задали 〈...〉 вы задачу московским буквоедам!* — Монография Стасова вызвала ряд возражений со сторо-

ны московских ученых, в частности профессора Ф. В. Буслаева. Стасов ответил на них статьей «Критика моих критиков» (Вестник Европы, 1870, № 2, с. 897—935).

Стр. 175. *Парис преле-е-стный // Судья изве-е-стный!* — из оперы-буфф Жака Оффенбаха «Прекрасная Елена».

Стр. 176. *Ведь я не го! // Сударственный преступник!* — реплика дона Гуана в первой сцене оперы А. С. Даргомыжского «Каменный гость» на текст одноименной «маленькой трагедии» Пушкина. Перенесением слога «го» в первый стих сатирик подчеркивает неверную, по его мнению, акцентировку этой музыкальной фразы композитором, претендовавшим на точную передачу средствами речитатива интонаций живой речи (аналогичным образом высмеял эту реплику и В. С. Курочкин в рецензии «Русский театр в Петербурге».— Отечественные записки, 1872, № 12, с. 398). Еще более резкий выпад против новаторских исканий Даргомыжского см. в «Недоконченных беседах» Салтыкова. Премьера «Каменного гостя» состоялась в петербургском Мариинском театре 16 февраля 1872 г.

Я только однажды в жизни был в подобном положении, и именно, когда меня представляли одному сановнику... — Возможно, намек на представление Салтыкова великому князю Константину Николаевичу в Твери в середине августа 1860 г. Н. А. Белоголовый вспоминал об этом: «А после обеда подошел к Салтыкову один из свитских и сказал, что великий князь Константин Николаевич желает с ним познакомиться 〈...〉 Вскоре действительно великий князь вышел и прямо подошел к Салтыкову с вопросом: «Как ваша фамилия?» — а потом надел пенсне и, осмотрев с головы до пяток, шаркнул ногой и со словами «честь имею кланяться» молодцевато удалился. Салтыков передавал эту сцену с удивительным юмором» (М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников. М., 1957, с. 54—56).

Свистун — «Свистунами» реакционная печать 1860-х годов называла в первую очередь сотрудников «Современника» (по названию сатирического отдела журнала «Свисток»), а также всех «нигилистов».

Стр. 177. *...все на свете сем превратно, все на свете коловратно...* — реминисценция из «Оды на суету мира» А. П. Сумарокова (1763): «Во всем на свете сем премена // И все непостоянно в нем 〈...〉 // Воззри на красоты природы // И коловратность разбери».

Стр. 179. *Что налоги, равномерно распределенные...* — Пародируется стиль передовых статей «С.-Петербургских ведомостей» на экономические и юридические темы. Одна из них, например, начиналась словами: «Что наши гражданские законы нуждаются в тщательном пересмотре и в коренных улучшениях — эта истина давно уже высказывается и обществом, и юристами» (№ 130, 13 мая).

...мы с гомерическим хохотом... — Намек на выражение из статьи «С.-Петербургских ведомостей» (1872, № 104, 15 апр.): «При всем нашем отвращении к полемике, не осмысленной, бесцельной и грубой, мы не могли удержаться от гомерического хохота, читая в апрельской книжке «Отечественных записок» статью г. Д〈емерта〉, направленную против «С.-Петербургских ведомостей».

...литературные приличия... — Вероятно, пародируется высказывание редакции «Вестника Европы» при публикации материа-

лов по нечаевскому процессу (протицировано Салтыковым в статье «Так называемое «нечаевское дело» и отношение к нему русской журналистики»): «Чувство нравственного приличия, понятное всем порядочным людям, не дозволяло бы нам употребить гласность для обсуждения вины...» (Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч., т. 9, с. 222).

Стр. 179. *...лучшие крайние сроки для взноса налогов суть сроки* ⟨...⟩ *мы же, напротив того, утверждали, что сроки эти надлежит на две недели отдалить...* — Ср. в передовой статье «С.-Петербургских ведомостей» (1872, № 120, 3 мая): «Мы уже заметили выше, что Положение о выкупе (статья 121) дает крестьянам двухнедельный льготный срок для взноса платежей за вторую половину года, так что они, не будучи недоимщиками, могут внести эти платежи 15 января следующего года, а это изменяет весь расчет. Таким образом, при существовании недоимок, правильнее будет не признавать указанную сумму в долгу в 1870 году, когда она должна быть уплачена в 1871 году, и тогда окажется не дефицит в 4 миллиона, а остаток в 5 миллионов».

Стр. 180. *...наши бесшабашные свистуны...* — Пародируется высказывание из передовой статьи «С.-Петербургских ведомостей» об «Отечественных записках» и их обозревателе Н. Демерте: «Мы не станем возвращаться к этому благовоспитанному джентльмену ⟨...⟩ Он пускается в оценку нашей газеты вообще, которая представляется ему «безалаберною» ⟨...⟩, «запасающеюся сотрудниками-чиновниками из всех возможных ведомств ⟨...⟩ Нам с своей стороны нет дела до того, имеются ли в редакции «Отечественных записок» чиновники, служащие или вышедшие в отставку; но отныне мы будем знать, что между ее сотрудниками есть истинные башибузуки с заднего двора литературы, для которых ничего не значит нагородить десятки страниц невообразимой ерунды и которых мы не пустили бы в нашу «безалаберную» газету (Спб. ведомости, 1872, № 104, 15 апр.).

...чтоб поднять нас на смех, подобно тому как уже и поступили они на днях с одним из наших уважаемых сотрудников... — Откликаясь на заявление «С.-Петербургских ведомостей» о том, что один из ее сотрудников, К. К. Арсеньев, выступавший в качестве защитника на процессе Мясниковых (см. примеч. к с. 104), «пользуется безукоризненною репутацией», Михайловский в «Литературных и журнальных заметках» писал: «Спрашивается, за что «С.-Петербургские ведомости», усердствуя в возвеличении одного из этих адвокатов, набрасывают неблаговидную тень на остальных двух? ⟨...⟩ Ясно, что «С.-Петербургские ведомости» связаны безупречною репутацией некоторого таинственного незнакомца, скажем, к примеру, г. Арсеньева, по рукам и ногам, и ни к одному делу, в котором принимает участие этот адвокат, свободно относиться не могут. Безупречная репутация человека есть, конечно, известная гарантия, но ее неудобно выставлять напоказ. Тем более что ведь Адам пользовался безукоризненною репутацией до съедения запрещенного плода древа познания добра и зла» (Отечественные записки, 1872, № 5, отд. II, с. 64).

Стр. 181. *...что нас постигло уже два предостережения, тогда как другие журналы, быть может менее благонамеренные по направлению ... еще не получили ни одного.* — Намек на следующее высказывание из редакционной статьи «С.-Петербургских

ведомостей» об «Отечественных записках». «Никаким невзгодам они себя не подвергали, и в числе периодических — изданий, пораженных известного рода карами, мы напрасно стали бы искать «Отечественные записки» рядом с нашею газетой» (Спб. ведомости, 1872, № 138, 21 мая).

Стр. 183. *Вы находитесь слишком в исключительном положении относительно известных сфер...* — Намек на правительственные дотации, получавшиеся некоторыми органами печати, например «Голосом».

...почему предостережения постигают именно нас, а не «Истинного Пенкоснимателя», например? Ни для кого не тайна, что эта газета, издаваемая без цензуры, тем не менее пользуется услугами таковой... — Намек на газету А. А. Краевского «Голос», которая с 1867 г. подвергалась «негласному «домашнему» цензурованию» Ф. М. Толстым. Вместе с тем здесь содержится иронический отклик на высказывание «С.-Петербургских ведомостей» (1872, № 138, 21 мая) об «Отечественных записках», также подвергавшихся, по инициативе Н. А. Некрасова, «профилактической» цензуре Ф. М. Толстого, не одобрявшейся Салтыковым: «...еще недавно в литературных кружках было известно, что многие статьи почтенного журнала предварительно просматриваются кем-то и что мы, с своей стороны, лишены этого предохранительного средства от возможных крушений».

Стр. 184. *Мы и журналы издаем, и на суде защищаем, а быть может, участвуем и в акционерных компаниях.* — Намек на то, что крупнейшие петербургские адвокаты К. К. Арсеньев, Е. И. Утин и др. сотрудничали в «С.-Петербургских ведомостях» — газете, тесно связанной с финансовыми и железнодорожными воротилами акционерами, интересы которых она рьяно защищала. Н. Демерт в одном из обзоров «Наши общественные дела» упомянул, что «С.-Петербургские ведомости» сделались «органом Абрама Моисеевича Варшавского и К°» (Отечественные записки, 1872, № 6, отд. II, с. 242).

Факты эти мы надеемся изложить в целом ряде статей... — Редакционные статьи «С.-Петербургских ведомостей» часто завершались словами: «мы не замедлим поговорить о том...», «мы постараемся доказать это на днях...», «мы поговорим на днях и о других курьезах, в изобилии предлагаемых «Отечественными записками» своим читателям» и т. д. (№ 16, 18, 138 от 16, 18 янв. и 21 мая 1872 г.).

Стр. 186. *В заголовке, во-первых, Санктпетербург, во-вторых, 30-го мая...* — Передовые статьи в «С.-Петербургских ведомостях» и в других газетах того времени начинались с обозначения города, в котором издавался печатный орган, и даты, предшествовавшей дню выхода газеты в свет.

31-го мартобря. — Этим «заголовком» характеризуются умственные способности автора передовой статьи. Мартобря — название месяца в «Записках сумасшедшего» Гоголя (1835).

Стр. 187. *А ведь я должен был объявить, что автор ее, все тот же Нескладин, один из самых замечательных публицистов нашего времени!* — см. примеч. к с. 170.

Я хотел тогда поместить ее в «Московском наблюдателе», но Белинский сказал... — Журн. «Московский наблюдатель» издавался под фактической редакцией В. Г. Белинского в 1838—1839 гг.

Стр. 187. *«История маленького погибшего дитяти».*— В этой сатирической «новелле» отражены некоторые подробности карьеры В. Ф. Корша.

Стр. 188. *...у нас обозреватель один есть...*— Имеется в виду фельетонист «С.-Петербургских ведомостей» В. П. Буренин, бывший сотрудник «Современника» и «Свистка». В своих еженедельных обозрениях «Журналистика», подписанных инициалом Z, Буренин подвергал разбору (нередко издевательскому) все выступления Салтыкова в печати.

Стр. 190. *«О типе древней русской солоницы»* ⟨...⟩ *«К вопросу о том: макали ли русские цари в соль пальцами или доставали оную посредством ножей?»* — Сатирический отклик на монографию московского историка И. Е. Забелина «Домашний быт русских царей» и «Домашний быт русских цариц», в которой скрупулезно воспроизводились все детали царской обстановки и обихода.

...«веселого мая»...— из «антинигилистического» стихотворения А. К. Толстого «Баллада с тенденцией» («Порой веселой мая...»).

Стр. 191. *...тут есть одно недоразумение!* — Вероятно, намек на то, что Кюи, так же как и Стасов, являлся сотрудником «С.-Петербургских ведомостей», где регулярно вел отдел музыкальных обозрений, подписываясь знаком ***. Музыкальные вкусы Салтыкова (как и многих других его современников старшего поколения) сформировались преимущественно под влиянием итальянской и французской «большой оперы», что мешало ему оценить по достоинству «новую русскую музыкальную школу» и ее выдающихся представителей — Даргомыжского, композиторов «Могучей кучки», равно как и декларации теоретика и пропагандиста этой школы В. В. Стасова. Отсюда сатирически заостренная тенденциозность ряда суждений и характеристик в этой главе «Дневника провинциала». Какие основания имел Салтыков приписывать «Неуважай-Корыту» враждебные чувства к Даргомыжскому и Кюи — неясно. В VII главе Салтыков подчеркнул, что «Неуважай-Корыто» — единственная личность среди пенкоснимателей, «к которой можно чувствовать симпатию», потому что это «человек убеждений» и что «притворство не в его характере». В то же время нельзя не отметить, что в переписке Стасова последующих лет (разумеется, неизвестной Салтыкову) находится несколько отрицательных отзывов о Даргомыжском, которого он характеризовал как «недостаточно русского», и о Кюи как о «ренегате кучкизма». «Я его самого все больше и больше терпеть не могу»,— писал Стасов о Кюи (Стасов В. Письма к родным, т. 1, ч. 2. М, 1954, с. 279). «Свойственная Кюи половинчатость, его постоянные компромиссы, поощряемые холодным скептизмом, никак не могли удовлетворить цельного, горячего Стасова» (Кремлев Ю. Русская мысль о музыке, т. II. Л., 1958, с. 135).

Стр. 193. *Что внешний гнет играл здесь немалую роль — в этом не может быть ни малейшего сомнения. Но* ⟨...⟩ *сопровождалось ли это вынужденное измельчание какой-нибудь попыткой ускользнуть от него?..*— Вероятно, это высказывание является ответом на выпад В. П. Буренина в обзоре «Журналистика» (Спб. ведомости, 1872, № 170, 24 июня) по поводу V и VI глав «Дневника провинциала».

Стр. 184. *...стенографические отчеты.*— Имеются в виду

отчеты о судебных заседаниях, регулярно печатавшиеся в столичных и провинциальных изданиях после судебной реформы.

Стр. 196. *...к так называемым утопиям* — то есть к социалистическим учениям и вообще ко всем программам радикального переустройства общественных отношений.

Стр. 197. *...у тех харьковских юношей, которые от хорошего житья задумали убить ямщика...*— В начале мая 1872 г. в Харькове закончился судебный процесс над двумя шестнадцатилетними юношами из состоятельных семейств Н. А. Полозовым и И. А. Эдельбергом, которые, решив стать профессиональными разбойниками, убили молодого извозчика. «Эта мысль родилась и развивалась под влиянием романов, в которых действующими лицами были разбойники»,— объяснял Полозов мотив своего преступления. Убийство извозчика совершено было, по его словам, для того, чтобы испытать себя, то есть насколько он годится для того дела, которому хотел себя посвятить; Полозов заметил, что «считает себя вправе убить человека, если это может принести ему пользу» (Спб. ведомости, 1872, № 146, 29 мая). Несмотря на то что состав преступления был полностью доказан, присяжные заседатели признали обоих юношей невиновными; для этого им пришлось отрицательно ответить на вопрос относительно самого факта убийства, в котором обвиняемые откровенно сознались. А. С. Суворин не без основания отмечал, что если бы вместо богатого Полозова перед судом сидел «крестьянский сын», «присяжные отправили бы его в Сибирь, долго не размышляя» (Спб. ведомости, 1872, № 185, 9 июля).

Стр. 198. *Фаланстер* — дворец и мастерские, в которых, согласно утопическому учению Шарля Фурье, должны были жить и работать члены социалистического общества.

Икария — страна, описанная в утопическом романе Э. Кабе «Путешествие в Икарию» (1840) как прообраз будущего коммунистического общества.

Стр. 199. *...как живали некогда целые поколения людей с хозяйственными наклонностями, прокармливаясь около Исакиевского собора.*— Исаакиевский собор в Петербурге строился в течение сорока лет — с 1818 по 1858 г. На его строительство и содержание правительством отпускались колоссальные средства, что давало возможность предприимчивым поставщикам и интендантам наживаться в течение долгих лет.

Стр. 200. *Василиск* — мифологическое чудовище полуптица-полузмея, которое одним своим взглядом способно было убивать людей.

...заглянул в Лесной, но вспомнил, что здесь главный очаг наших революций... — В Лесном помещался Петербургский земледельческий институт; там же обычно устраивались студенческие сходки.

...довлели сами себе... — то есть были достаточными для самих себя — старинное выражение, встречающееся у Герцена и других критиков и публицистов 1840-х гг.

Стр. 201. *Говорят, что расплывчивость сороковых годов породила множество монстров, которые и дают себя знать теперь в качестве неумолимых гонителей всякого живого развития.*— Одним из наиболее ярких примеров подобной эволюции, который Салтыков в первую очередь имел в виду, являлся М. Н. Катков.

Стр. 203. *...через Валдайские горы однажды перешел!* — Иро-

ния заключается в том, что самая высокая вершина Валдайских «гор» едва достигает трехсот метров.

Стр. 203. *Через Балканские — это прежде бывало...* — Намек на переход русских войск через Балканы в 1829 г. во время русско-турецкой войны, когда тридцать пять тысяч солдат форсировали неприступные горные перевалы.

Стр. 204. *...обедать к Дороту...* — Ресторан Дорота помещался на Черной речке. Писатель В. О. Михневич в книге «Наши знакомые» охарактеризовал его как «загородный притон для фешенебельного обжорства и пропойства», в котором угощаются «гуляющие богатые «саврасы» и «ташкентцы» да ворующие кассиры».

...Минералы 〈...〉 Каких, брат, там штучек с последними кораблями привезли! — «Увеселительное заведение искусственных минеральных вод» Излера в Новой деревне, на окраине Петербурга, нередко упоминаемое в произведениях Салтыкова, Зрелища в «минерашках» отличались специфическим характером. В. А. Слепцов отмечал в романе «Хороший человек», что у Излера в это время «можно видеть голых женщин» (Отечественные записки, 1871, № 2, с. 330).

Стр. 205. *...в Белобородовском полку состоял...* — В Белобородовском гусарском полку служил персонаж комедии Салтыкова «Смерть Пазухина» и «Книги об умирающих» — Живновский, а также герой глуповского распутства Ферапонт Сидорович, утверждавший, что там в ходу было рукоприкладство.

Стр. 207. *Боговдухновенный* — вдохновенный богом (церковнослав.).

«Правило веры, образ кротости, воздержания учителю!» — из тропаря Святителю Николаю (Мир Ликийских епископа — IV в.). Впоследствии прилагалось и к другим «святителям». Тропарь — песнопение в честь какого-либо святого.

Стр. 208. *...двести лет сряду в плену у себя нас держат!* — Весной 1872 г. в России широко отмечался двухсотлетний юбилей Петра I, в царствование которого выходцы из Германии и прибалтийских губерний стали занимать особенно видное положение в правительственно-бюрократических сферах.

Стр. 209. *...в Калуге семнадцать гимназистов повесились? 〈...〉 Не хотят по-латыни учиться...* — Самоубийства гимназистов вызывались в это время главным образом казарменным режимом, введенным в средних учебных заведениях министром народного просвещения гр. Д. А. Толстым, а также внедрением классических языков: неуспеваемость по ним лишала гимназистов шанса на поступление в университет. Число «семнадцать» — явное преувеличение.

Стр. 210. *...то нигилизм, то сепаратизм...* — Наиболее частыми объектами нападок Каткова являлась революционная молодежь, ее «нигилистическое» направление и так называемый сепаратизм. С середины 1863 г. Катков неоднократно выступал с утверждениями, будто на Украине существуют сепаратистские тенденции, подогреваемые «иезуитскими интригами», идущими из Польши, и называл сепаратизм «внутренней язвой», которая в своем развитии может стать «неизлечимым недугом».

...кулеврину... — старинную пушку (от фр. coulevrine).

Стр. 211. *Шато-д-Флёр* — кафешантан на Каменноостровском проспекте.

Стр. 211. *Малоярославский трактир* — известный петербургский ресторан «Малоярославец» на Большой Морской улице.

Стр. 212. *Чертог сиял...* — начало первого стиха импровизации в «Египетских ночах» А. С. Пушкина.

Клеопатры из Гамбурга. — Салтыков сопоставляет с героиней «Египетских ночей» царицей Клеопатрой, предлагавшей купить «ценою жизни» ее ночь, публичных женщин-немок, доставлявшихся в Петербург преимущественно из Гамбурга. О «гостеприимных принцессах вольного города Гамбурга» Салтыков упоминает в ряде своих произведений.

Стр. 213. *...присутствовал при защите педагогических рефератов...* — Петербургское Педагогическое общество устраивало регулярные публичные заседания, во время которых зачитывались и обсуждались рефераты на педагогические и методические темы (например, «О преподавании французского языка по генетическому методу», «О воспитательном значении отечественной истории в курсе средних учебных заведений» и т. п.). Отчеты о заседаниях печатались в крупнейших петербургских газетах.

...видел в «Птичках певчих» Монахова... — Известный драматический актер И. И. Монахов выступал время от времени и в оперетте. Под названием «Птички певчие» шла в Александринском театре с 1870 г. опера-буфф Жака Оффенбаха «Перикола», 1868, либретто А. Мельяка и Л. Галеви.

«Fanny Lear» — драма А. Мельяка и Л. Галеви «Фанни Лир» (1868). Премьера ее состоялась на сцене французского Михайловского театра при участии гастролировавшей в Петербурге французской актрисы А. М. Паска (для которой пьеса и была написана), в бенефис актера А. Ф. Дьёдонне 9 сентября 1871 г. (см. о ней в статье П. Д. Боборыкина «Петербургское театральное искусство». — Отечественные записки, 1871, № 11, отд. II, с. 72—74).

...в Артистическом был даже свидетелем скандала... — Художественный клуб» — Петербургское собрание художников (Троицкий переулок, дом Руадзе), основанный в 1865 г. «с целью служить, главнее всего, местом для собрания артистов, литераторов, художников...». «Несмотря на точную определенность своей основной, чрезвычайно плодотворной идеи, он вскоре свернул с ее колеи и превратился в чисто увеселительное заведение, каким и поднесь пребывает» (Михневич Вл. Петербург весь на ладони, с. 232). О скандалах и драках в Артистическом клубе не раз сообщалось в это время в периодической печати.

...радужную бумажку... — сторублевку.

Стр. 214. *импетом...* — напором (от лат. impeto).

...помпадуром... — губернатором. От имени влиятельной фаворитки французского короля Людовика XV в России середины XIX века возникло нарицательное слово «помпадурша», применявшееся к любовницам разных вельмож и влиятельных лиц. Словом «помпадур» Салтыков начал заменять слово губернатор в цикле «Помпадуры и помпадурши», подчеркивая этим, что действия начальников губернии нередко определялись не их самоличной волей, а влиянием их любовниц.

Стр. 215. *«Le Sire de Porc-Epic»* — музыкальная буффонада Эрве (Ф. Ронже), ставившаяся на сцене «Увеселительного заведения искусственных минеральных вод» в 1871—1872 гг.

Стр. 217. *Медиатор* — посредник (лат. mediator).

Стр. 219. *...тройка, увлекающая двоих пассажиров (одного — везущего, другого — везомого)...* — то есть революционера и жандарма, сопровождающего его к месту ссылки.

...тихое пристанище... — Так Салтыков назвал свою незаконченную повесть начала 1860-х гг., в которой отразились его впечатления от города Сарапула Вятской губернии («Срывный»).

Служители Марса — офицеры (Марс — бог войны в римской мифологии).

Стр. 220. *Мафусаилов век.* — По библейскому преданию, патриарх Мафусаил прожил 969 лет.

Стр. 222. *...VIII международного статистического конгресса...* — Восьмая сессия Международного статистического конгресса проходила в Петербурге с 10 по 18 августа 1872 г. В ней участвовало около двухсот иностранных делегатов, среди которых находились и всемирно известные статистики А. Кетле (Бельгия), В. Фарр (Англия), Ц. Коррепти (Италия) и Е. Левассёр (Франция), избранные вице-председателями конгресса.

...опаснейшего тайного общества, имевшего целию ниспровержение общественного порядка... — Официальная терминология правительственных сообщений и обвинительных актов по делам о «государственных преступниках», в частности по недавнему процессу нечаевцев.

Корподибакко... — Фамилия этого персонажа — одно из распространенных итальянских ругательств (Corpo di Bacco).

...эмиссары от интернационалки... — Как отмечал Б. П. Козьмин в книге «Русская секция Первого Интернационала» (М., 1957), «в русском обществе второй половины 60-х годов при наличии большого интереса к Интернационалу наблюдалось отсутствие правильного представления о задачах этой организации. На страницах русской прессы того времени Интернационал часто изображался 〈...〉 как союз таинственных заговорщиков, готовящихся потрясти весь мир» (с. 54). Так, в передовой статье «С.-Петербургских ведомостей» (1872, № 116, 29 апр.) отмечалось: «Под влиянием страха пресловутому Международному обществу уже приданы там какие-то мифические размеры. Оно чуть не везде присутствует в виде шапки-невидимки и чуть не летает по всему миру на ковре-самолете. Всякое тревожное событие непременно исходит от него...»

Стр. 224. *...«чему хохочете! над собой хохочете!»* — перефразировка заключительного монолога городничего в «Ревизоре» Гоголя. В подлиннике: «Чему смеетесь? над собою смеетесь!..» (д. V, явл. 8).

Стр. 225. *...то «братья», то «друзья», то «гости».* — В мае 1867 г. в связи с торжественным открытием в Москве большой этнографической выставки в Россию съехались представители различных славянских стран, находившихся под владычеством Турции и Австро-Венгрии. Приезд их послужил поводом для продолжительных дружественных манифестаций. Александр II, которому делегаты были представлены в Царском Селе, приветствовал их как «родных славянских братьев на родной славянской земле». Выражения «славянские братья», «славянские гости» долго не сходили со страниц газет.

...роскошного пира науки... — Салтыков, возможно, пародирует одно из высказываний передовой статьи «С.-Петербургских ведомостей» (1872, № 213, 6 авг.) по поводу статистического конгресса.

Стр. 225. *...кадетами цивилизации...*— Многие органы западноевропейской печати с пренебрежением относились к России и русскому народу, нередко характеризуя последний как «кадетов цивилизации», в смысле «младших детей», еще не доросших до вершин культуры. Некоторые русские либералы присоединялись к этой оценке.

...заатлантические друзья!...— Под именем «заатлантических друзей» и просто «друзей» в русской прессе фигурировала американская дипломатическая миссия во главе с посланником конгресса Густавом Фогтом, прибывшая в Петербург 25 июля 1866 г. Делегация привезла адрес Александру II с выражением «сочувствия и уважения всей американской нации» в связи с покушением Каракозова. «Всякий здравомыслящий человек, глядя на тогдашнее наше беснованье,— писал фельетонист Экс (А. П. Чебышев-Дмитриев),— должен был подумать, что мы в уме повредились, и он был бы прав. Мы бегали за ними, не давая ни на минуту покоя, целовались с ними до изнеможения сил, закормили было их до смерти, заморили было их своими любовными спичами...» (Русские ведомости, 1872, № 138, 21 мая).

Стр. 226. *...предметом его может быть только коротенькая статистика...*— Сходные мысли высказал Е. Карнович в статье «Предстоящий международный статистический конгресс в Петербурге» (Отечественные записки, 1872, № 7). Ряд вопросов был снят с повестки дня конгресса по политическим мотивам — например, вопрос о сокращении вооруженных сил европейских держав.

...учреждения, обязанность которых главнейшим образом заключается в наблюдении...— Имеются в виду органы цензуры.

Стр. 227. *...о неприкосновенности или общедоступности домашнего очага.*— Салтыков подразумевает обыски, ставшие в России 1870-х гг. частым, почти повседневным явлением.

Стр. 228. *...«в зобу дыханье сперло»...*— из басни И. А. Крылова «Ворона и Лисица» (1807).

...стало быть, и я не лыком шит...— В списке русских делегатов съезда значилось свыше шестисот имен — министров, губернаторов, директоров департаментов, редакторов газет, профессоров и пр. Делегатов же более низкого ранга и из провинции было сравнительно мало.

Стр. 229. *Конгресс помещался в саду гостиницы Шухардина...*— VIII статистический конгресс проходил в помещении Петербургского дворянского собрания. Этим объясняется выражение о «странности помещения конгресса» и сопоставление его с трактирным заведением третьего разряда.

...в залах у Марцинкевича...— Танцевальное заведение Марцинкевича, в залах которого происходили публичные балы, нередко упоминается в произведениях Салтыкова.

...арфисток...— имеются в виду участницы ресторанных увеселений.

Веретьев, с которым я провел столько приятных минут в «Затишье»!— Один из персонажей повести Тургенева «Затишье» (1854), отставной гвардии поручик Веретьев, охарактеризованный Салтыковым в рецензии на роман К. Н. Леонтьева «В своем краю» как «цыган-шалопай ⟨...⟩, который у Тургенева пленяет дам залихватскими русскими песнями, подражением жужжанию мухи и другими такой же силы талантами». Веретьев выведен

Салтыковым также в «Помпадурах и помпадуршах» в качестве чиновника особых поручений при помпадуре Кротикове.

Стр. 230. *Топилась, да вытащили. После вышла замуж за Чертопханова...* — Героиня «Затишья» — Марья Павловна Ипатова, дочь помещика, утопившаяся в пруду от несчастной любви; Пантелей Еремеич Чертопханов — герой рассказа Тургенева «Чертопханов и Недопюскин» (1848), из цикла «Записки охотника». В этом рассказе изображена любовница Чертопханова — цыганка Маша, ничего общего не имеющая с Марьей Павловной Ипатовой из «Затишья».

...даже Фет — и тот от нее бегать стал! — Поэт А. А. Фет напечатал в начале 1860-х гг. два публицистических очерка «Из деревни» (Русский вестник, 1863, № 1 и 3). Изобразив помещиков жертвами «обнаглевших после реформы» крестьян, он делился с читателями своим опытом «обуздания» бывших крепостных при помощи системы штрафов.

...И. С. Тургенев совершенно иначе рассказал конец Чертопханова в «Вестнике Европы» за ноябрь 1872 г. — В рассказе И. С. Тургенева «Конец Чертопханова» цыганка Маша бросила Чертопханова.

...молодой Кирсанов... — Далее Салтыков характеризует идейную эволюцию Аркадия Кирсанова, слегка намеченную в «Отцах и детях» самим Тургеневым. Аркадий Кирсанов фигурирует также в «Признаках времени».

Берсенев — один из героев романа Тургенева «Накануне».

Ваш батюшка? Дяденька? — Николай Петрович и Павел Петрович Кирсановы — персонажи «Отцов и детей».

Стр. 231. *Феничку мы пристроили...* — Речь идет о персонаже «Отцов и детей», возлюбленной Николая Петровича Кирсанова. Салтыков, вероятно, забыл, что Феничка в конце романа выходит замуж за Николая Петровича Кирсанова, следовательно, необходимости «пристраивать» ее при живом муже не было.

...на Кате Одинцовой... — Катя Одинцова — персонаж «Отцов и детей».

Базаров — главный герой «Отцов и детей».

Рудин! да вы с ума сошли! ведь вы в Дрездене на баррикадах убиты! — Как указывает Тургенев в эпилоге к роману «Рудин», главный герой его романа погиб на парижских баррикадах в 1848 г. Заменив в данном контексте Париж Дрезденом, Салтыков подчеркнул общеизвестный факт, что прототипом этого тургеневского образа отчасти послужил М. А. Бакунин, сражавшийся на баррикадах в дни дрезденского восстания 1849 г. В цикле «В среде умеренности и аккуратности» Салтыков снова связывает судьбу Рудина с Дрезденом.

Стр. 232. *...«права человека»...* — один из основных принципов, выдвинутых Великой французской буржуазной революцией.

Лаврецкий — главный герой тургеневского «Дворянского гнезда». В «Помпадурах и помпадуршах» Салтыков характеризует его как человека, который раскаялся в былом либерализме и до того разжирел, что с трудом отличал уже теперь либеральные идеи от консервативных (т. 8, с. 182).

Лиза — героиня «Дворянского гнезда» Тургенева.

...Марка Волохова. — Анализу образа «нигилиста» Марка Волохова из «Обрыва» Гончарова Салтыков посвятил большую часть своей статьи «Уличная философия».

Стр. 233. *...фигура Собакевича.*— Этот персонаж из «Мертвых душ» Гоголя фигурирует также в одном из «Писем к тетеньке» Салтыкова, где он женится на Коробочке, чтобы воспользоваться ее имением.

...рипостировал...— ответил (от фр. riposter).

Первое заседание прошло шумно и весело ⟨...⟩ мы заключили наш avant-congrès...— Салтыков намекает на «Предварительное совещание официальных делегатов» статистического конгресса, состоявшееся 4 августа под почетным председательством Л. А. Кетле. На этом заседании делегаты были разбиты на пять отделений.

Завтрашний день начать осмотром Казанского собора...— Для делегатов VIII статистического конгресса в Петербурге было организовано множество развлечений и экскурсий. Они осматривали Павловск, Петергоф, Кронштадт, дворцы, музеи, соборы и пр. Генерал Трепов пригласил делегатов конгресса посетить даже больницу для умалишенных. 16 августа делегаты присутствовали на смотре пожарных команд.

...имеет быть обеденный стол.— «В воскресенье членам Международного статистического конгресса будет предложен от имени его императорского величества государя императора обеденный стол в Царском Селе»,— сообщалось в петербургских газетах.

Стр. 234. *...«la république ⟨...⟩ il n'y a que, ça!»*— пародия на припев шансонетки «L'amour ce n'est que ça», часто приводимый Салтыковым.

...покажем-ка мы иностранным гостям Москву!— Делегаты VIII статистического конгресса после окончания его работы выехали в полном составе в Москву, где в их честь состоялся ряд обедов и всякого рода увеселений, выдержанных в духе той программы, которую излагает ниже Прокоп. Часть делегатов отправилась затем в Троице-Сергиеву лавру, часть — в Нижний Новгород. Все уехали «очень довольные приемом, оказанным им в России, который, конечно, был роскошнее, нежели прием, сделанный где-либо Международному статистическому конгрессу» (Спб. ведомости, № 232, 25 авг.).

Стр. 236. *...от такого ж, имевшего свое местопребывание в Гааге.*— VII Международный статистический конгресс состоялся в Гааге в 1869 г.

...встал Левассёр ⟨...⟩ — Messieurs,— сказал он,— l'espionnage...— Салтыков воспроизводит речь Левассёра по-французски, вероятно, рассчитывая придать обличению политической полиции и ее тайных агентов-осведомителей более безопасный в цензурном отношении характер.

Déjà l'antique j'eroboam promettait des scorpions à ses peuples — неточная ссылка на текст Библии (Третья кн. Царств, 12, 11), где сын царя Соломона, Ровоам, заявляет Иеровоаму и другим представителям израильского народа: «Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами» (скорпионы — плети с несколькими хвостами, снабженными наконечниками).

...nous trouvons dans Aristophane des preuves irrécusables que les Grecs ⟨...⟩ donnèrent aux espions le surnom sonore des sycophantes.— Профессиональные доносчики и клеветники встречаются в ряде комедий Аристофана («Птицы», «Плутос» и др.). В эписодии тринадцатом комедии «Птицы» выведен «потомствен-

ный» сикофант, чей «отец, дед и прадед» занимались тем же грязным ремеслом.

Стр. 236. *Au dure de Tacite ⟨...⟩ il n'y avait presque pas un seul homme ⟨...⟩ qui ne fût espion ou ne désirât de l'être.*— Здесь резюмируются в шаржированном виде некоторые утверждения из «Истории» и «Летописи» Тацита.

Стр. 238. *Прокоп, по обыкновению, ошибся и крикнул: vive Henri IV!*— Прокоп, вероятно, хотел провозгласить здравицу в честь графа Шамбора, которого французская монархическая партия в это время надеялась возвести на престол под именем Генриха V.

...lassassine...— Русское слово «лососина» звучит сходно с французским «l'assassine» — женщина-убийца.

Стр. 239. *«Эльдорадо»*— «танцевальное» заведение в Петербурге, пользовавшееся репутацией «злачного места».

C'est ici que le sort du matheureux von-Zonn a été décidé!— В ночь с 7 на 8 ноября 1869 г. содержатель притона Максим Иванов встретился в «Эльдорадо» с отставным надворным советником Н. X. фон Зоном и, заманив его на свою квартиру, зверски убил при участии нескольких молодых людей и проституток. Судебный процесс над убийцами фон Зона проходил в Петербургском окружном суде 28—29 марта 1870 г. Защитником Иванова выступал К. К. Арсеньев. О судьбе фон Зона упоминает Достоевский в «Подростке» и в «Братьях Карамазовых».

меридиональною...— южною (от фр. mèridionale).

Стр. 240. *...заметил на континенте особенный вид проступков, заключающийся в вскрытии чужих писем.*— На одном из заседаний четвертого отделения конгресса (14 августа) обсуждался доклад о международных почтовых сообщениях; при этом был затронут вопрос о перлюстрации иностранных писем.

Стр. 241. *...инсулярному...*— островному (от фр. insoulaire).

Стр. 242. *Петропавловским собором иностранные гости остались довольны...*— В этом соборе погребены русские цари, начиная с Петра I.

В сей местности воздух есть нездоров!— На территории Петропавловской крепости, как известно, размещалась главная тюрьма для политических противников самодержавия, отличавшаяся исключительно тяжелым режимом.

...я докладывал свою карту, над которой работал две ночи сряду (бог помог мне совершить этот труд без всяких пособий!)...— Салтыков иронизирует над графическим методом в сравнительной статистике, рекомендованным конгрессом. «Эту отрасль нужно оставить в полном господстве фантазии и ума,— заявили докладчики.— Пусть прилагают однообразие тем, где оно приложимо, но пусть оставят нашим статистическим диаграммам их национальные и индивидуальные формы»; «Дело автора — найти средства рельефнее выставить простую или сложную мысль, какую он желает выразить: ответственность, как и слава труда, должна остаться все-таки за ним».

Стр. 243. *...самый вид Марсова поля действует на него неприятно.*— На Марсовом поле в Петербурге проходили военные парады, демонстрировавшие военную мощь царской империи.

...всегда был сторонником Парижской коммуны...— Левассёру, оказавшемуся (см. ниже) отставным корнетом Шалопуто-

вым, Салтыков придал некоторые черты Н. А. Шевелева — агента-провокатора, доносившего версальскому правительству о действиях революционных органов Парижской коммуны (см.: Ланский Л. Загадочная история одного персонажа.— Лит. Россия, 1976, № 5).

Стр. 243. *Ma femme est une pétroleuse...*— Реакционная печать во Франции и в других странах старалась опорочить активных участниц Парижской коммуны, называя их «петролейщицами» («петрольщицами») и распуская слухи, будто они поджигали общественные и частные здания, поливая их предварительно керосином (фр. pétrole). Щедринский «помпадур» Феденька Кротиков также называл русских «нигилисток» «петролейщицами».

Стр. 244. *Коммуналист* — участник Парижской коммуны (коммунар).

Блягировать — привирать (от фр. blaguer).

Стр. 245. *Калужское тесто* — тестообразная масса, в состав которой входят растертые ржаные сухари, мед и пряности.

Речь, сказанная профессором Морошкиным ⟨...⟩ «Об Уложении и его дальнейшем развитии».— Речь была произнесена 10 июня 1839 г. и вскоре же издана отдельной брошюрой. Приведенная здесь Салтыковым цитата не раз повторяется в его произведениях.

Я сказал, господа!— перевод заключительной древнеримской ораторской формулы «dixi» — «Все необходимое сказано».

Стр. 246. *Иван Иванович Перерепенко* — персонаж из «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Гоголя; упоминается также в «Признаках времени» и в сказке «Вяленая вобла».

«...А может, тебе и мяса, небога, хочется?»— вопрос, который гоголевский Иван Иваныч Перерепенко обычно задавал нищенке. Приводится неточно.

Довгочхун — Иван Никифорович Довгочхун — персонаж той же повести Гоголя.

Стр. 249. *Оттого-то немцы вас и побивают!*— Намек на результаты недавней франко-прусской войны.

Тогда мы начали толкать его вперед и кончили, разумеется, тем, что враги столкнулись.— Реминисценция знаменитой «сцены примирения» в главе VII «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Гоголя.

...из газет достоверно известно, что японцы уже прибыли.— Среди участников VIII статистического конгресса было несколько японских представителей.

...осмотр сфинксов.— Имеются в виду установленные у Петербургской Академии художеств в 1832 г. два дневнеегипетских сфинкса.

Стр. 252. *«С тех пор ⟨...⟩ как Рим сделался нашей столицей...*— После занятия Папской области итальянскими войсками Рим 26 января 1871 г. был объявлен столицей объединенной Италии.

Стр. 253. *...в списки сочувствующих...*— то есть в досье III Отделения, заведенные для лиц, сочувствующих «противогосударственным замыслам».

...в книгу живота!— в книгу жизни (церковнослав.: живот — жизнь). Так в библейских преданиях называется книга, в которую вносятся записи о благих и дурных деяниях человека, будто бы зачитываемые на Страшном суде. В данном

случае имеется в виду зачисление в списки «неблагонамеренных» и подлежащих политическим репрессиям.

Стр. 253. *должно признаться 〈...〉 хотя, с другой стороны, нельзя не сознаться...* — одна из наиболее известных салтыковских «формул», обличающих общественно-политическую беспринципность либеральной публицистики. В основу ее, вероятно, легли следующие строки из редакционной статьи «С.-Петербургских ведомостей» (1872, № 300, 1 нояб.): «С таким мнением меньшинства нельзя не согласиться, точно так же как трудно не признать...» и т. д. Эта формула Салтыкова, часто им употреблявшаяся, приобрела характер крылатого выражения. Ее неоднократно цитировал В. И. Ленин.

Стр. 255. *...тем рыцарям современной русской журналистики, которые, не имея возможности проникнуть в «храм удовлетворения», накидываются друг на друга...* — Пародируя банальную фразеологию писателей XVIII — начала XIX века («храм славы», «храм утех»), Салтыков называет «храмом удовлетворения» правительственные дотации, которых добивались многие газеты, но получали только отдельные претенденты. Обойденные органы печати нередко вступали в полемику, упрекая друг друга в погоне за казенным пирогом.

...ни «хамами», ни «клопами», ни одним из тех эпитетов, которыми так богата «многоуважаемая редакция «Старейшей Русской Пенкоснимательницы»... — См. фельетон В. П. Буренина «Журналистика» (Спб. ведомости, 1872, № 170, 24 июня), где он относил автора «Дневника провинциала» к «непочтительным Хамам», «игривым Хамам» и т. п. (ср. передовую статью: Спб. ведомости, 1872, № 162).

Стр. 456. *Астахов* — герой рассказа Тургенева «Затишье» (см. примеч. к с. 229). С Веретьевым он находился во враждебных отношениях; они чуть не стрелялись на дуэли.

«Человек он был!» — реплика Гамлета о своем отце — из трагедии «Гамлет, принц Датский» Шекспира в переводе Н. А. Полевого (д. 1, сц. 2).

Стр. 257. *Ты вспомни-ка, что ты с Базаровым, лежа на траве, разговаривал!* — Имеется в виду эпизод из главы XXI «Отцов и детей», когда Базаров и Кирсанов, лежа «в тени небольшого стога сена», дружески беседовали, причем Базаров не скрыл от Кирсанова, что придерживается «отрицательного направления».

...эта история с Феничкой! — Эпизод из «Отцов и детей»: Базаров, поцеловавший в сиреневой беседке Феничку, был вызван на дуэль Павлом Петровичем Кирсановым.

Стр. 258. *Как ты дворян-то на очные ставки с хамами ставил?* — При проведении в жизнь крестьянской реформы помещики вели непосредственно переговоры со своими бывшими крепостными в присутствии мирового посредника.

...вызвал воинскую команду в деревню Проплёванную... — Намек на кровавые усмирения бывших крепостных, выражавших недовольство результатами крестьянской реформы.

...об эмиссарах... — Подразумеваются «эмиссары» I Интернационала и Парижской коммуны.

Стр. 259. *...что необходимо Семипалатинской области дать особенное, самостоятельное устройство?* — Пародируется официальное обвинение привлеченных к «нечаевскому делу» студентов-сибиряков П. М. Кошкина и А. В. Долгушина в «образовании кружка сибиряков с целью ниспровергнуть правитель-

ство в некоторой части государства (отделить Сибирь), каковой умысел открыт правительством заблаговременно, при самом оного начале» (Обвинительное заключение. См.: Правительственный вестник, 1871, № 205, 28 авг.). Адвокат В. Д. Спасович разъяснил в своей речи на процессе «ребяческий характер» приписываемого студентам замысла. Источникам пародии могло служить и более раннее дело о «сибирских сепаратистах» Г. Н. Потанине, Н. М. Ядринцеве и др.

Стр. 259. *Фонарный переулок* — переулок, в котором находились публичные дома и «торговая баня» Воронина.

...в Полтавскую губернию лапу засунет... — Здесь и несколько ниже (см. обвинение Перерепенко в намерении отделить Миргородский уезд от Полтавской губернии) Салтыков высмеивает постоянные обвинения официальной прессой и катковскими изданиями «украинофилов» и сепаратистских тенденциях.

Стр. 261. *...«русская сирота» — это «Ольга».* — На сцене Александринского театра в это время шел водевиль Э. Скриба «Ольга, русская сирота» (перевод Н. П. Мундта); в главной роли выступала известная танцовщица Мариинского театра А. Ф. Вергина.

Стр. 262. *...молодой человек в сюртуке военного покроя...* — жандармский офицер.

...о происшествии, когда-то случившемся на Рогожском кладбище, где тоже приехали неизвестные мужчины, взяли кассу и уехали... — В ночь с 5 на 6 сентября 1866 г. контора богадельни старообрядческого Рогожского кладбища в Москве была ограблена мошенниками, переодевшимися в офицерские и жандармские мундиры. Ими был произведен обыск и увезен якобы для представления московскому генерал-губернатору денежный ящик с суммой, превышавшей 50 000 рублей.

...кажется, через Троицкий мост сейчас переезжать станем... — Через Троицкий мост лежал путь из центра Петербурга к Петропавловской крепости. На последнее обстоятельство Прокоп и намекает.

Стр. 263. *...где едят, там и судят!* — ироническая перефразировка русской поговорки «Где едят, там и гадят».

...презуса... — председателя военного суда.

Стр. 264. *Покуда вы не осуждены законом — вы наши гости, messieurs!* — Вероятно, пародия на заключительное высказывание судьи, во время нечаевского процесса обратившегося к лицам, признанным невиновными, с подчеркнутой любезностью.

Стр. 266. *...дом Вяземского на Сенной площади-с!* — Огромная ночлежка, принадлежавшая кн. П. А. Вяземскому. Д. Д. Минаев писал о ней:

«Что за развалина! Скажите, мой любезный!
Тут разве крысы могут только жить!» —
«В нем столько жителей, что городок уездный
Не в состоянье всех их приютить».

(Искра, 1872, № 4, с. 59)

...вместо того, чтобы изгонять «этих дам» из Парижа... — Парижская коммуна вела последовательную борьбу с проституцией.

...очистить от них бельэтаж Михайловского театра-с! —

А. С. Суворин отмечал в одном из своих фельетонов: «В настоящее время в Петербурге необыкновенный урожай на кокоток ⟨...⟩ В ложах вы можете видеть женщин всех наций» (Спб. ведомости, 1872, № 30, 30 янв.).

Стр. 266. *...положить в России начало революции введением обязательного оспопрививания!* — Закон о введении в России обязательного оспопрививания был опубликован еще 6 августа 1865 г. В начале 1870-х гг. в земских собраниях обсуждался проект Медицинского совета о мероприятиях, необходимых для реализации ранее принятого закона. Салтыков высмеивает здесь тенденцию русских либералов подменять революционные преобразования крохоборческой политикой «малых дел».

Стр. 267. *...Москву упразднить, а вместо нее сделать столицею Мценск.* — Насмешка над обвинениями в «сепаратистских» тенденциях, являвшихся навязчивой идеей М. Н. Каткова.

Стр. 268. *Я до сих пор не могу опомниться от стыда!* — «Провинциал» был подвергнут телесному наказанию. Слухи, что в III Отделении арестованных секут и пытают, широко распространенные в русском обществе, не были лишены оснований. Так, причиной покушения Веры Засулич на петербургского градоначальника генерала Ф. Ф. Трепова (в 1877 г.) было наказание розгами политического заключенного Боголюбова.

...уже прошедших сквозь искус. — Возможно, что в этом эпизоде содержится намек на угрозу некоего петербургского (вероятно, мифического) «Департамента Правосудия» из «Общества Спасения», который объявил о своем намерении «наказать на первый раз двадцатью ударами розог» фельетониста «С.-Петербургских ведомостей» А. С. Суворина. Экзекуция должна была состояться в трактире «Лондон» на Васильевском острове, куда Суворина обязывали явиться. Об этой проделке опасных «шутников» Суворин поспешил сообщить читателям «С.-Петербургских ведомостей» (1872, № 4, 4 янв.).

...ces petits colifichets... — Вероятно, имеются в виду порнографические картинки.

Стр. 269. *...с фениями...* — Фении — ирландские республиканцы, члены заговорщицкого «Ирландского революционного братства», основанного в 1858 г. для борьбы за независимость Ирландии от Англии. В 1867 г. они организовали ряд восстаний, закончившихся полным поражением.

Стр. 271. *...при нынешней свободе книгопечатания, чего доброго, она даже и пройдет...* — см. примеч. к с. 180.

Стр. 272. *...они прививали оспу совсем не туда, куда следует.* — «Китайский способ прививки непривлекателен, так, китайцы вкладывали оспенные струпья в нос (вместе с мускусом или камфорою) или превращали их в порошок и затем уже вдували» (Эуленбург А. Реальная энциклопедия медицинских наук. Медико-хирургический словарь, т. 14. Спб., 1895, с. 66).

...сажусь и с божьею помощью пишу. — Вероятно, здесь содержится намек на статью «Оспа и оспопрививание», помещенную за подписью X в «С.-Петербургских ведомостях» (1872, № 265, 27 сент.); в ней подробно описывалась история эпидемии оспы.

«Вестник Пенкоснимательства» — см. примеч. к с. 154.

Стр. 273. *...нет, г. Сури (автор статьи «La Dèlia de Tibulle», помещенной в «Revue des Deux Mondes» (1872 года)...* — Имеется в виду статья «Очерк античных нравов. Делия Тибулла», Жюля

Сури, напечатанная в парижском журнале (1872, 1 сент., с. 68—104). Подвергая разбору пять знаменитых элегий из первой книги Тибулла, целиком посвященных Делии, автор пытался воссоздать личность возлюбленной поэта и историю их взаимоотношений.

Стр. 276. *Просвети мой ум глупопониманием!*— Пародируется библейское выражение «Господи, просвети тьму мою» (2 Цар., 22, 29).

Стр. 277. *...простое, не гарантированное правительством предприятие...*— Почти одновременно с процессом Мясниковых в Лондоне проходило судебное разбирательство по делу о наследстве богача Тичборна. «Дело Тичборна ведет свое начало издалека, как и дело Мясниковых»,— сообщалось в «С.-Петербургских ведомостях».— При его возникновении пущены были в ход всевозможные слухи в пользу неизвестного искателя богатого аристократического семейства; для ведения дела нужны были деньги, и, при отсутствии их у претендента, образовалась компания на акциях, проданы ей паи будущего богатого наследства, из которого не много бы, пожалуй, досталось в руки претендента после всех издержек, понесенных на собирание сведений, вызов свидетелей, наем адвокатов и печатание статей в различных журналах. В течение нескольких месяцев длился этот процесс; акции претендента то возвышались, то падали...» (1872, № 66, 7 марта). Этот редкий в судебной практике случай, видимо, лег в основу комментируемого эпизода. Схожая ситуация сложилась и у наследников Беляева в деле Мясниковых.

...миллион в тумане...— Намек на название «романа-фельетона без начала и конца» А. С. Суворина (Незнакомца) «Миллиард в тумане», печатавшегося в «С.-Петербургских ведомостях» в конце 1871 — начале 1872 г. «Миллиардом в тумане» называлась и статья В. А. Кокорева (Спб. ведомости, 1859, № 5—6, 8—9 янв.), упоминаемая Салтыковым в «Нашей общественной жизни».

...«покупатели» $71^3/_4$, «продавцы» $72^1/_8$, «сделано» $71^7/_8$.— Пародируются сводки биржевых сделок, ежедневно печатавшиеся в газете «Биржевые ведомости» под рубрикой «С.-Петербургская биржа».

Стр. 279. *...судить обвиняемого Прокопа во всех городах Российской империи по очереди, начав таковую с города Срединного...*— Намек на ход «мясниковского дела», которое, после кассации сенатом первого приговора (в апреле 1872 г.), вторично разбиралось в Москве («городе Срединном», как называет его сатирик) в октябре 1872 г., причем присяжные снова безоговорочно оправдали подсудимых. Защитник К. К. Арсеньев указал во время московского процесса Мясниковых, что он «просил правительствующий сенат на случай отмены решения передать его именно в Москву», так как думал, что «в этом городе, отдаленном от того, где возникло это дело и где происходили различного рода движения, открытие тайн по этому предмету, у всякого состава присяжных хватит достаточно спокойствия и беспристрастия для того, чтоб взглянуть на дело это, как и на всякое другое» (Спб. ведомости, 1872, № 284, 16 окт.). Вероятно, это высказывание и имел в виду Салтыков.

...с белозерского сужа, которому до сих пор были подсудны только снетки!— то есть самая мелкая «рыбешка».

Стр. 280. *Было время, когда Срединный чуть-чуть не сделал-*

ся русскими Афинами ⟨...⟩ *впоследствии афинство в нем мало-помалу обратилось в свинство...* — Москва являлась в начале XIX века центром русского просвещения. «Московский университет,— писал Герцен в «Былом и думах»,— вырос в своем значении вместе с Москвою после 1812 года ⟨...⟩ В ней университет больше и больше становился средоточием русского образования. Все условия для его развития были соединены — историческое значение, географическое положение и отсутствие царя» (Герцен А. И. Собр. соч., т. VIII, с. 106). Однако при Александре II дворянская и ученая Москва превратилась «в главный оплот реакционного патриотизма» (там же, т. 18, с. 203—206). Салтыков намекает на неблаговидную роль, сыгранную профессорами и ретроградной частью студенчества в период реакции 1860-х гг., когда в университете в честь М. Н. Муравьева («Вешателя») устраивались многочисленные манифестации, подписывались верноподданнические адресы и т. п.

Стр. 280. *...от откупов непосредственно перешел к либерализму.*— Вероятно, намек на московского питейного откупщика-миллионера В. А. Кокорева, либеральные поползновения которого неоднократно служили объектом сатирических обличений Салтыкова.

Я помню наш дом...— Ср. гл. XII—XV «Пошехонской старины», где подробно описан быт семьи Затрапезных во время их пребывания в Москве 1830-х гг.

...пóнитках...— зипунах из домотканой материи.

Стр. 282. *...современное европейское равновесие...*—В результате франко-прусской войны 1870—1871 гг., приведшей к разгрому Франции и возникновению мощной Германской империи, произошла перегруппировка европейских держав, образование новых союзов для установления и поддержания равновесия сил. Реваншистские настроения, усиливавшиеся в это время во Франции, создавали серьезные сомнения в стабильности установившегося порядка.

Сиверки — сиверка (сивер) — холодный северный ветер с дождем.

Стр. 283. *Поленишевка* — настойка из ягоды паленики (княженики).

Стр. 284. *...нынче над ними начальники в судах поставлены.*— В соответствии с судопроизводством, введенным в 1864 г., контроль над деятельностью присяжных поверенных осуществлял совет, имевший право подвергать адвокатов различным взысканиям.

Стр. 286. *...по десяти процентов с рубля...*— Присяжные поверенные получали вознаграждение от своих клиентов за ходатайство по делу с суммы свыше 500 рублей (до 2000 рублей) — 10 процентов.

...князь Серебряный (вот тот, что граф Толстой еще целый роман об нем написал!)..— Главный герой «исторической повести времен Иоанна Грозного» гр. А. К. Толстого «Князь Серебряный» (1862) — Никита Романович Серебряный. Рецензию Салтыкова на роман А. К. Толстого см. в т. 5, с. 352—362.

Стр. 290. *...res nullius* ⟨...⟩ *occupanti...*— вещь принадлежит тому, кто первый ее захватит (лат.) — положение из римского частного права, зафиксированного в кодификации Юстиниана (VI в. н. э.).

Стр. 292. *Давали «Жидовку»* — оперу французского композитора Ф. Галеви, либретто Э. Скриба (1835).

Опреснюки — лепешки из пресного теста (маца), которые, по религиозному ритуалу, евреи должны есть в пасхальные дни — в память об исходе их предков из Египта.

Каширная овца — овца, заколотая по особым правилам еврейского ритуала.

Иуда Стрельников... — В Иуде Стрельникове, как и в Шалопутове-Корподебакко, отражены некоторые черты Н. А. Шевелева, «ташкентца III Отделения», который был связан с русской революционной эмиграцией 60-х гг. В 1871 г., после разгрома Парижской коммуны, в которой Шевелев «участвовал» в роли провокатора-осведомителя, он был арестован французской полицией и по просьбе русских властей выдан им.

Стр. 293. *Стегно* — бедро, ляжка (церковнослав.).

...гешвинд! — быстро! (нем. geschwind).

Стр. 294. *...телеграфировал в Ярославль с требованием скупить у тамошних баб все билефельдское полотно...* — Намек на то, что широко рекламировавшиеся распродажи билефельдского полотна (Билефельд — город в Пруссии, славившийся изготовлением тонких сортов полотна и батистов) часто представляли собой мошеннические аферы, а само так называемое билефельдское полотно было не чем иным, как ярославским домотканым изделием.

Стр. 297. *...касательство в Версали-с...* — то есть отправляясь в Версаль со шпионскими сведениями о Коммуне.

Стр. 299. *...даже Верхотурье увидело гласный суд в стенах своих.* — Судебная реформа 1864 г. проводилась постепенно, так что в начале 1870-х гг. северная и юго-восточная окраины страны продолжали оставаться при старом судебном устройстве.

...nunc dimittis. — Это евангельское выражение употребляется при избавлении от тяжкого бремени (Лука, 2, 29).

Стр. 300. *...даже пастухи, охраняя вверенные им стада, очень удовлетворительно склоняют mensa...* — ироническая оценка будущих «успехов» классической системы образования.

В колонну! ⟨...⟩ скорей! — солдатская песня, которая здесь, как и в «Истории одного города», символизирует военные экзекуции.

Податная комиссия, выдав 501-й том своих трудов, выработала наконец устав, которым все остались довольны. — В 1862 г. при министерстве финансов была учреждена особая, так называемая податная комиссия, которая должна была разработать новые принципы налоговой системы в России. Отчеты о ее работе публиковались время от времени в виде правительственных сообщений и сборников «Трудов». В 1872 г. вышел в свет XXII том «Трудов комиссии, высочайше утвержденной для пересмотра системы податей и сборов» (в двух книгах). Такое обилие печатной документации представляло резкий контраст убожеству результатов работы комиссии. К числу «пророческих» предсказаний Салтыкова должно быть отнесено и утверждение, что и четверть века спустя податная комиссия не завершит разработки вопроса о едином подоходном налоге. Этот вопрос так и не был разрешен до самой революции 1917 г.

Стр. 301. *Австрию мы предоставили ее собственной судьбе...* — «Лоскутная империя» Австрия пользовалась поддержкой, а затем благожелательным нейтралитетом России, что помогло ей

удерживать в течение нескольких десятилетий одно из ведущих мест в Европе и предотвращало ее неизбежный распад.

Стр. 301 *...ежели Пий IX будет упорствовать в своих заблуждениях...* — После занятия Рима войсками короля Виктора Эммануила и уничтожения в 1870 г. светской власти пап Пий IX отказался признать новое итальянское правительство, объявил себя «ватиканским узником» и пытался восстановить свое прежнее влияние на положение дел в Италии, усиливая позиции клерикализма во всем мире.

Византия еще не покорена. — Намек на экспансионистские устремления царской России, издавна строившей планы захвата Босфорского пролива и Константинополя.

...действие единства касс... — В связи с финансовой реформой 1862—1866 гг. были уничтожены кассы и казначейства отдельных ведомств и учреждено «единство кассы». Все ассигнования должны были поступать из кассы министерства финансов.

Котёлок — котёлка — кренделя, варимые в котлах.

Стр. 302. *...«запахом миллиона»...* — Возможно, намек на следующее высказывание адвоката Громницкого, заявившего во время процесса Мясниковых в Москве: «Вы знаете, насколько вообще миллионы соблазнительны; если они соблазнительны в провинции, то вы хорошо понимаете, что в Петербурге еще более народа, который при одном слове «миллион» решится на такие действия, перед которыми остановился бы, если бы дело шло о чем-нибудь другом».

Стр. 303. *«Часы»* — богослужение в православной церкви.

Потом выйдет на сцену прокурор, скажет для проформы: «Ах, какое негодование возбуждает в душе моей этот ужасный преступник...» — Намек на речь прокурора А. Ф. Кони, заявившего во время процесса Мясниковых, что обвиняет А. К. Мясникова в составлении подложного завещания. В то же время он просил присяжных заседателей признать Мясникова и А. А. Караганова «заслуживающими полного снисхождения». В своих воспоминаниях Кони писал: «Окончание моей речи вызвало в печати ядовитые выходки ⟨...⟩ Один ⟨писатель⟩, имевший крупную известность в беллетристике, искусный улавливатель общественных настроений, даже назвал в своем фельетоне мое обвинение защитительною речью» (Кони А. Ф. Собр. соч., т. 1. М., 1913, с. 153). Возможно, Кони имел в виду именно это место в «Дневнике провинциала»

Стр. 305. *...киосков для проходящих...* — то есть общественных уборных.

Стр. 307 *...Губошлепова...* — Салтыков, вероятно, иронизирует здесь по поводу сообщений печати о создании на средства купца П. И. Губонина «комиссаровской технической школы» и других учебных заведений для неимущих.

...Невтонов и быстрых разумов Платонов... — из оды М. В. Ломоносова (1747). В подлиннике: «Собственных Платонов // И быстрых разумом Невтонов».

Стр. 308. *..чур не шуметь! ⟨...⟩ наймите-ка латинского учителя подешевле, да за книжку! Покуда зады-то твердите — ан хмель-то из головы и вышибет!* — Намек на студенческие волнения 1860-х гг., а также на систему классического образования, в котором правительство видело средство для обуздания революционных настроений в среде молодежи.

Стр. 309. *..древние нежинские греки...* — Эпитет «нежинские»

вставлен здесь Салтыковым для комического эффекта (в городе Нежине с XVII в. жила довольно многочисленная греческая колония).

Стр. 309. *Согласно с обстоятельствами дела! Согласно! Поступили бы!..* — см. примеч. к с. 104.

Стр. 311. *...кажется, это было в Ахалцихе Кутаисском...* — Намек на подкупы присяжных заседателей. «Еще в начале этого года,— сообщалось в «Отечественных записках»,— правительствующий сенат действительно вел расследование по делу о лихоимстве присяжных заседателей в одной из южных губерний» (Отечественные записки, 1872, № 4, отд. II, с. 269.)

Стр 312. «*Tricoche et Cacolet*» — водевиль А. Мельяка и Л. Галеви (1871). В нем изображено, между прочим, агентство, о характере которого дает представление следующий его проспект: «Фирма, заслуживающая доверия; расследования, производимые в семейных интересах. Устройство на работу слуг обоего пола. Продажа фондовых ценностей в Париже и вне его. Различные объединения, браки и прочее. Особая служба для встревоженных мужей, наблюдение за их дамами — до, во время и после; то же в отношении мужей, и вообще предприятия всякого рода». Комедия эта шла в Петербургском французском Михайловском театре в 1872 г.

Стр. 313. *...это не люди, а жертвы...* — то есть «жертвы» исторического развития.

...один, к которому можно относиться апологетически ⟨...⟩ другой — к которому можно сколько угодно относиться критически, но неудобно отнестись апологетически... — В первом случае подразумеваются деятели революционно-демократического лагеря («новые люди»), во втором — лица из официального мира и из охранительного лагеря. Правдивое изображение тех и других было невозможно в цензурных условиях 1870-х гг.

Стр. 314. *...новых людей»...* — революционно-демократическая молодежь; по определению Н. Г. Чернышевского, назвавшего свой роман «Что делать?» «рассказами о новых людях».

...современных беллетристов, лавреатов и нелавреатов... — Имеются в виду авторы так называемых «антинигилистических» романов 1860—1870-х годов В. П. Авенариус («Поветрие») В. П. Клюшников («Марево»), Вл. Крестовский («Панургово стадо») и др. К этим третьестепенным писателям-«нелавреатам» (нелауреатам) Салтыков причисляет также и «лавреатов» — А. Ф. Писемского («Взбаламученное море»), И. А. Гончарова («Обрыв»), Ф. М. Достоевского («Бесы»). К «лавреатам» Салтыков тогда относил и И. С. Тургенева как создателя образа «типичного нигилиста» Базарова.

Стр. 316. *...полное воспоминаний о недавних торжествах...* — Имеется в виду разгул правительственного террора и торжество общественной реакции над революционно-демократическим движением 1860-х гг.

...fin de non-recevoir — французский правовой термин, означающий отказ от признания судебного иска. В данном случае имеется в виду отказ по чисто внешним мотивам.

Стр. 318. *...отдать свои права первородства...* — Согласно библейской легенде, сын пророка Исаака Исав, изнемогая от голода, продал своему младшему брату-близнецу право первородства за блюдо чечевичной похлебки (Кн. Бытия, 25, 31—34).

Стр. 319. *...всуе труждающихся...* — из выражения «всую труждаются зиждущие» («напрасно трудятся строящие») (Псал., 126, I), часто цитировавшегося Салтыковым.

...самого самоотверженного человека... — то есть человека, всецело преданного революционному делу.

...«ветхого человека»... — Имеются в виду помещики-крепостники, консерваторы всех родов. В основе этого термина лежит евангельское выражение «совлечь с себя ветхого человека» или «ветхого Адама» и «облечься в нового» (Послание апостола Павла к римлянам (6, 6), ефесянам (4, 22) и колоссянам (3, 9).

Стр. 321. *То было время образцовых мировых посредников.* — В первый состав мировых посредников вошел ряд гуманно настроенных помещиков, например Л. Н. Толстой, декабристы А. Е. Розен, Г. С. Батеньков, братья Бакунины и др.

одиноко раздававшиеся голоса Н. Безобразова и Г. Б. Бланка... — Реакционные дворянские публицисты Н. А. Безобразов и Г. Б. Бланк в конце 1850 — начале 1860 г. открыто выступали против крестьянской реформы.

Стр. 323. *...потерял свою Эвридику...* — то есть потерял свое счастье. Словами «потерял я Эвридику» начинается известная ария Орфея из оперы Хр.-В. Глюка «Орфей и Эвридика» (1762), написанная на сюжет древнегреческого мифа о певце Орфее, который в поисках своей умершей жены Эвридики спускается живым в преисподнюю (аид, ад). Этот же сюжет подвергся пародийному переосмыслению в знаменитой оперебуфф Жака Оффенбаха «Орфей в аду», либретто А. Мельяка и Л. Галеви (1858).

Физикат — врачебная управа.

Стр. 325. *Я не только у вас, но и у господа бога моего объедком быть не хочу.* — Реминисценция известного выражения из письма М. В. Ломоносова к И. И. Шувалову от 19 января 1761 г., впервые опубликованного в альманахе «Урания» на 1826 г. «Не токмо у стола знатных господ или у каких земных владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого господа бога, который мне дал смысл, пока разве отнимет» (Ломоносов М. В. Полн. собр. соч.: т. 10. М.; Л., 1957, с. 546).

Стр. 326. *...Михайлом Никифоровичем...* — Катковым.

Стр. 331. *...нет места на жизненном пире.* — Намек на известное высказывание английского экономиста Т. Р. Мальтуса и его сочинении «Опыт о законе народонаселения» («An Assay on the Principle of Population», 1798), содержащее утверждение, будто «человек, пришедший в занятый уже мир, если родители не в состоянии прокормить его или если общество не в состоянии воспользоваться его трудом, не имеет права требовать себе пропитания ⟨...⟩ На великом жизненном пире для него нет места».

...кимвал бряцающий... — выражение из «Первого послания апостола Павла к коринфянам»; «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал бряцающий» (13, 1). Кимвал — музыкальный инструмент, издающий пронзительные звуки.

Стр. 333. *je m'en fiche, contrefiche...* — По-видимому, слова из какой-то французской шансонетки. Салтыков цитирует их в ряде своих произведений.

Стр. 338. *...порутирует...* — достанется (от фр. router).

Стр. 340. *Орфеум* — кафешантан на Владимирской улице в

Петербурге, в который, как отмечал А. С. Суворин, был «свободен вход для милых, но погибших созданий» (Спб. ведомости, 1872, № 30, 30 янв.).

Стр. 341. ...*«нраву моему не препятствуй»*...— выражение купца-самодура из «Сцен купеческого быта» И. Ф. Горбунова (1861). В подлиннике: «ндраву».

Стр. 342. *Эффигия* — изображение (лат. effigies). Здесь Салтыков намекает на средневековый обычай публичной казни изображения преступника, в случае когда ему удавалось скрыться от правосудия. Предполагалось, что эта позорная процедура окажет соответствующее влияние на личную судьбу преступника.

Стр. 343. *Новый «ветхий человек»*...— Салтыков имеет в виду вновь народившегося хищника капиталистического типа, пришедшего на смену старому «ветхому человеку», обреченному на гибель, то есть помещику-крепостнику.

...*«не расплывайтесь!», «не забудьте, что наше время — не время широких задач!»*...— см. примеч. к с. 155.

ДНЕВНИК ПРОВИНЦИАЛА В ПЕТЕРБУРГЕ

В больнице для умалишенных...

Печатается по тексту: Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20-ти т.— Т. 10. Издательство Худож. лит., М., 1970.— С. 588—657. Впервые опубликовано в журнале «Отечественные записки», раздел «Современное обозрение», 1873, № 2, стр. 344—370 (глава I) и № 4, стр. 293—316 (глава II); незавершенная глава III впервые опубликована Б. М. Эйхенбаумом в Полном собрании сочинений М. Е. Салтыкова-Щедрина, т. 10, Гослитиздат. М.-Л.: 1936, стр. 645—652.

I

Стр. 350. ...*термин*... Здесь: срок (лат. terminus).

Стр. 351. *У нас три категории больных.*—В своей характеристике больницы для умалишенных Салтыков, несомненно, использовал появившиеся в печати сообщения об открытом в октябре 1871 года «Приюте государя наследника для неизлечимо помешанных» (вблизи Земледельческого училища). «Приют устроен по мысли и на средства государя наследника ⟨...⟩ Внутреннее устройство приюта подчинено самым строгим требованиям современной науки, с разделением больных на категории. Каждая категория имеет отдельные помещения» («Русский календарь на 1872 год» А. Суворина, Спб. 1872, стр. 363).

...*«Десять лет счастливейшего пристанодержательства»*.— Выпад против В. Ф. Корша: в начале 1873 года исполнилось десять лет его деятельности как издателя-редактора «С.-Петербургских ведомостей», взятых им в аренду в 1863 году (пристанодержателями по уголовному праву назывались укрыватели преступников). Салтыков пользуется здесь выражением Герцена, отметившего в «Колоколе» от 1 сентября 1863 года двадцатипятилетие «пристанодержательства в русской литературе» А. А. Краевского, прежнего издателя «С.-Петербургских ведомостей» (см. Герцен, т. XVII, стр. 252).

...*иск игуменьи Митрофании с наследниками скопца Со-*

лодовникова? — Игуменья Серпуховского Владычно-Покровского монастыря Митрофания, рожденная баронесса Розен, была в 1873 году обвинена в крупных денежных злоупотреблениях. Непосредственным поводом к судебному процессу, состоявшемуся только в октябре — ноябре 1874 года, явилось представление игуменьей к оплате векселей, подписанных московским миллионером М. Г. Солодовниковым и признанных его наследниками подложными. По свидетельству Н. А. Демерта, «с самого открытия новых судебных учреждений не было еще такого громкого, шумного, возбудившего такой общий, всероссийский интерес, как это» (ОЗ, 1874, № 11, отд. II, стр. 256). Дело игуменьи Митрофании упоминается также в гл. I цикла «В среде умеренности и аккуратности» (т. 12) и в ряде других произведений Салтыкова 70-х годов.

Стр. 352. *...будто дважды два равняются стеариновой свечке.*— Выражение из романа И. С. Тургенева «Рудин»: «...мужчина может, например, сказать, что дважды два — не четыре, а пять или три с половиной; а женщина скажет, что дважды два — стеариновая свечка» (гл. II, реплика Пигасова).

«Какую роль в русской литературе играл бы воронежский литератор Де-Пуле, если б он писал в начале царствования императора Александра Благословенного?» — Речь идет о статье М. де-Пуле «Нечто об оскудении литературных талантов (письмо в редакцию «С.-Петербургских ведомостей» — Спб., вед., 1872, № 351, 22 декабря). Де-Пуле утверждал в этой ретроградной статье, будто в последние пятнадцать лет в России не появилось «ни одного крупного дарования». Салтыков, в частности, был им отнесен к числу малозначительных литераторов конца 50-х годов (см. в ОЗ, 1874, № 1, отд. II, отклик Н. К. Михайловского на статью де-Пуле).

...наш знаменитый историограф, господин Богданович...— Салтыков намекает на обширный труд М. И. Богдановича «История царствования императора Александра I и Россия в его время» (1869).

Стр. 354. *Требуются нравственные гарантии, да еще чтоб курс юридических наук был пройден, а насчет умственных гарантий ничего не упомянуто.*— Согласно 354 статье Судебных уставов от 20 ноября 1864 года присяжными поверенными могли быть «лица, имеющие аттестаты университетов или других высших учебных заведений об окончании курса юридических наук». По статье 380 в звании присяжного поверенного отказывалось всякому лицу, которое «хотя и удовлетворяет требованиям закона, но, по собранным в нем сведениям, не имеет нравственных качеств, необходимых для правильного отправления адвокатских обязанностей» (см. К. К. Арсеньев. Заметки о русской адвокатуре, ч. II, Спб., 1875, стр. 1 и 23).

Стр. 355. *Суп протоньер-с...*— «весенний» суп (искаж. франц. printanière).

Стр. 356. *...вас будут свидетельствовать в губернском правлении...*— Сам Салтыков по должности вице-губернатора не раз присутствовал в Рязанском и Тверском губернских правлениях при освидетельствовании душевнобольных.

Стр. 357. *...гонвед...* («защитник родины» — венгр.) — офицер или солдат особого венгерского ополчения, созданного в Австро-Венгрии в 1868 году.

...оттеснить господина Марфори...— то есть занять место

фаворита при испанской королеве Изабелле — дона Карлоса Марфори.

Стр. 357. *...общекавалерийский романс «La donna é mobile»* — куплеты герцога Мантуанского из оперы Дж. Верди «Риголетто», либретто Пиаве, 1853 («Сердце красавицы»).

Стр. 358. *...за кокардою...* — Имеется в виду дворянская кокарда.

Стр. 360. *...Beist, qui a écril ce livre* ⟨...⟩ *«Maniel du laquais cosmopolite»...* — Реакционный политический деятель граф Ф. Ф. фон Бейст начал свою административную карьеру в Саксонском королевстве; однако в октябре 1866 года он перешел на службу к австрийскому королю, заняв пост министра иностранных дел, а затем — премьер-министра. Названием мнимого сочинения Бейста «Руководство для лакея-космополита» Салтыков подчеркивает глубокую беспринципность и цинизм этого политического деятеля.

Sa Majésté Trés Dualistique! — форма обращения к императору Францу-Иосифу — главе преобразованной в 1867 году двуединой монархии Австро-Венгрии.

Стр. 361. *...toute la vérité, rien que la vérité!* — слова присяги во французском судопроизводстве.

...старый девиз Австрии: tu, felix Austria, nube! — этот латинский стих процитировал Н. Я. Данилевский в своем труде «Россия и Европа». «Австрийские земли соединялись в одно целое посредством ряда наследств и брачных договоров»,— отмечал Данилевский (глава «Место Австрии в восточном вопросе».— «Заря», 1869, № 8, стр. 30).

Стр. 362. *...то самое, что в наших газетах известно под именем «иностранной политики»?* — Русская периодическая печать того времени уделяла много места личной жизни зарубежных «царственных особ», особенно смакуя альковные похождения испанской королевы Изабеллы II и подробности ее отношений со своим фаворитом — дон Карлосом Марфори.

...развод с церемонией. — Развод караула в императорской Австрии совершался с пышным церемониалом.

Эскуриал — королевский дворец вблизи Мадрида.

Стр. 363. *...сделаем в вашу пользу pronunciamiento...* — См. прим. к стр. 364.

...aux Miloutines! — то есть в «Милютином ряду» Гостиного двора в Петербурге, где торговали фруктами и так называемыми «колониальными товарами».

...en conversation criminelle avec la mére Patrocinia — Монахиня Патросинио, фаворитка Изабеллы II, известная своими интригами, внушала королеве мысль о необходимости начать гражданскую войну для подавления оппозиционных сил.

Стр. 364. *...это проказы изменника Серрано!* — Генерал Серрано-и-Доминос был участником заговора против королевы Изабеллы II; во время переворота в сентябре 1868 года он возглавил войска, двинувшиеся на Севилью.

...называется по-здешнему гишпанскою революцией! — Салтыков высмеивает буффонаду дворцовых переговоров в Испании, так называемых pronunciamiento. В данном случае — намек на события сентября 1868 года, когда в результате переворота Изабелла II вынуждена была бежать из Испании вместе со своим фаворитом Марфори. Как отмечают историки, Изабелла «могла,

быть может, еще примириться с подданными, но для этого необходимо было принести в жертву Марфори. На это она, однако, не могла решиться» («История XIX века» под ред. проф. Лависса и Рамбо, т. 5, М. 1938, стр. 364). В «Отечественных записках» (1872, №№ 9 и 11, и 1873, №№ 2 и 6) были напечатаны «Письма об Испании В. А. Зайцева, в которых ярко обрисована трагикомическая история революций в Испании XIX века. Возможно, что чтение этой статьи натолкнуло Салтыкова на создание «испанского эпизода» в «Больнице для умалишенных». Нарваэса Зайцев характеризовал как «простого Угрюм-Бурчеева» (№ 11, отд. II, стр. 155).

Стр. 365. *...египетская тьма...*— По библейской легенде, пророк Моисей погрузил на три дня Египет в «осязаемую» густую тьму (Исход, 10, 22).

...la candidature Nohenzollern va faire le reste! — После отречения от престола королевы Изабеллы II (23 июня 1870 года) одним из берлинских банкиров была выдвинута кандидатура немецкого принца Леопольда Гогенцоллерна-Зигмаринского, давшего согласие стать королем Испании. Этот проект, приобретший широкую известность (но не осуществленный), явился непосредственным поводом к франко-прусской войне 1870—1871 годов.

...дул по обе стороны на плечи...— намек на погоны.

Стр. 368. *«Тайны мадридского двора»...*— роман Г. Борна, русский перевод которого был выпущен в 1870 году в Петербурге. Вскоре это название приобрело характер крылатого выражения, означающего разоблачение сенсационных секретов.

пензенские корнеты...— В незаконченном рассказе Салтыкова «Приятное семейство» Пенза характеризуется как город, «сплошь населенный отставными корнетами», предающимися чревоугодию и старающимися «веселиться так, как умеют веселиться только корнеты».

...je conclue un emprunt à la manière austriaque...— В австрийских финансах второй половины XIX века государственный дефицит сделался хроническим явлением, а после австро-прусской войны 1866 года финансовое положение страны стало совсем катастрофическим. «Эта несчастная война довершила финансовое расстройство, начатое в давние годы частными займами, чрезмерным выпуском бумажных денег и обременительными, и нецелесообразными расходами...» (Н. Кутейщиков. Вопрос о национальностях в Австрии и политика Бейста.— ОЗ, 1871, № 7, отд. II, стр. 138). Только на уплату процентов по старым долгам в это время уходило около 49 процентов всего национального дохода Австрии, сами же долги не погашались (см. там же, № 5, стр. 139).

Печатание объявлений о распродаже настоящих голландских и билефильдских полотен...— См. прим. к стр. 294.

Стр. 369. *Здесь я должен оговориться. В одном из органов еврейской журналистики достопочтенный г. Хволос напечатал письмо к г. Некрасову...*— О выступлении Хволоса см. на стр. 280. Взгляд Салтыкова на еврейский вопрос изложен им в позднейшей статье, озаглавленной «Июльские веяния» (ОЗ, 1883, № 8), вошедшей в качестве шестой главы в «Недоконченные беседы» (т. 14). Ср. прим. к сказке «Пропала совесть»— т. 15.

Стр. 370. *...в год от разорения Иерусалима 5001.*— Иерусалим разрушен в 70 г. н. э. войсками римского императора Тита.

Стр. 372. *...телесные наказания уничтожены...— См. прим. к стр. 132.*

Стр. 373. *...фюить!* — Решения суда не являлись обязательными для органов политической полиции; в административную ссылку могло быть отправлено любое лицо, оправданное по суду.

...Царицынского луга.— Царицын, или Царицынский луг (затем Марсово поле) в Петербурге — плац, где производились военный парады (теперь площадь Жертв Революции).

Стр. 374. *...генерала Дитятина...*— Популярный герой устных (впоследствии напечатанных) рассказов И. Ф. Горбунова, самодур времен Николая I, оппозиционно настроенный по отношению к военным реформам 60-х годов.

Стр. 375. *Tout s'enchaine et se lie dans mon système...*— это банальное изречение Салтыков цитирует в разных вариантах, относя его к «ламартиновскому словесному распутству» (ср. «Пестрые письма», т. 16).

Стр. 378. *Содержание судоговорения будет предметом особенной статьи, имеющей войти в настоящий «Дневник».*— Это намерение осталось не исполненным.

Стр. 379. *...noblesse oblige!* — ставшее крылатым выражением герцога Гастона Пьера Марка де Леви.

Стр. 381. *Ты, по выражению Фета, никогда не знаешь, что будешь петь...*— Имеются в виду заключительные строки стихотворения А. А. Фета «Я пришел к тебе с приветом» (1843): «Я не знаю сам, что буду // Петь,— но только песня зреет».

...ubi bene, ibi Patria! — Это крылатое выражение приписывается римскому трагику Пакувию. Сходное выражение встречается и в комедии Аристофана «Богатство».

Стр. 382. *Вчера, например, отечество немцев кончалось у Страсбурга, а нынче вон оно уж Мец захватило.*— В результате франко-прусской войны 1870—1871 годов Эльзас и Лотарингия, вместе с городами Страсбургом и Мецем, отошли от Франции к Германии.

II

Стр. 390. *...delenda est Capthago!*— Вариант известного афоризма римского государственного деятеля Катона Старшего, который, по утверждению Плутарха, каждую свою речь в сенате заканчивал словами: «Карфаген должен быть разрушен» («Carthaginem esse delendam»).

Стр. 391. *...в «замарании халата».*— Сатирическое переосмысление так называемой «офицерской морали», не допускавшей «запятнания мундира» (или «чести мундира»).

Стр. 393. *...ведите его на конюшню!* — Во времена крепостного права это означало «подвергнуть телесному наказанию».

Стр. 394. *Мне снятся годы ранней юности, тяжелые годы, проведенные под сенью «заведения».*— В следующую далее сатирическую характеристику привилегированных учебных заведений Салтыков ввел немало личных воспоминаний, относящихся к его пребыванию в московском Дворянском институте и в Царскосельском (Александровском) лицее. См. об этом в кн.: С. Макашин. Салтыков-Щедрин, цит. изд., стр. 95—170.

Стр. 396. *...наше пустое и жалкое поколение...*— Реминисценция из «Думы» Лермонтова (1838): «Печально я гляжу на наше поколенье! // Его грядущее — иль пусто, иль темно!»

Стр. 399. *...кто разрубил гордиев узел, Александр Македонский или князь Александр Иванович Чернышев...* — По древней легенде, фригийским царем можно было стать, только распутав сложный узел, завязанный царем Гордием. Александр Македонский остроумно разрешил эту задачу, разрубив гордиев узел мечом. Салтыков иронически сопоставляет Александра Македонского с другим военачальником — Александром Ивановичем Чернышевым, военным министром при Николае I, человеком весьма ограниченных умственных способностей.

Стр. 400. *...два кауфера.* — Кауфер — парикмахер (франц. coiffeur).

Стр. 402. *С пальцем девять, с огурцом пятнадцать! Закончил он, пародируя известную гостинодворскую поговорку автора Григорьева.* — О происхождении этой поговорки см. в статье В. В. Виноградова «Из истории русских слов и выражений» («Русский язык в школе», 1940, № 2, стр. 36—37).

Стр. 404. *...басню о комаре, залезшем в нос к льву.* — Басня И. А. Крылова «Лев и комар» (1809).

Стр. 408. *Амедей отказался* 〈...〉 *Что скажет Олоцага.* — Амедей Савойский, сын итальянского короля Виктора-Эммануила, избранный королем Испании 16 ноября 1870 года, отрекся от престола 11 февраля 1873 года, в разгар гражданской войны, охватившей Испанию. В «С.-Петербургских ведомостях» (1873, № 35, 4 февраля) сообщалось: «Сегодня в Палате депутатов прочитано послание короля Амедея 〈...〉 Все дальнейшие попытки к умиротворению он считает тщетными, а потому и слагает с себя корону». В том же номере была напечатана телеграмма из Мадрида: «Испанское правительство просило Олоцагу остаться испанским послом в Париже». На следующий день в «С.-Петербургских ведомостях» были опубликованы сведения о составе нового правительства: министр-президент — Фигверас; министр иностранных дел — Кастеряри. Президентом Национального собрания был избран Мартос.

Стр. 410. *...что он полюбил новое отечество совершенно так, как будто оно было старое, и что теперь ему предстоит полюбить старое отечество...* — Испанский король Амедей приехал в Испанию в конце 1870 года, совершенно не зная ни ее «истории, ни языка, ни учреждения, ни нравов, ни партий, ни людей» (История XIX века под ред. проф. Лависса и Рамбо, т. 7.— М., 1939.— С. 312).

Стр. 411. *...фендрих...* — шутливо-пренебрежительное наименование молодого офицера.

...«мормон»... — член американской религиозной секты, разрешающей многоженство.

III

Стр. 418. *...сочинение доктора Тиссота по этому предмету — вы увидите, до чего может довести эта изнурительная страсть!* — Имеется в виду изданная в Петербурге в 1787 году книга: «О здравии ученых людей, сочинение Г. Тиссота, Доктора и Профессора Медицины Лондонского Королевского Социетета, Базельской физикомедической Академии и Бернского Економического общества члена, переведенное с Немецкого языка на Российский и с подлинником французским поверенное Доктором Медицины А. Ш.», с эпиграфом из Плиния: «Болезнию и то

почитается, чтоб умереть от наук». В книге доказывается, что «болезни ученых имеют два главные источника: неусыпные ума томления и всегдашняя тела недвижимость» (стр. 18). Подробно описывая бедствия, претерпеваемые учеными «от сильного ума напряжения», автор приводит множество курьезных фактов, подтверждающих его высказывания,— о женщине, «которой вдруг приключилась жестокая колика, как скоро хотела умом что-нибудь сделать» (24), об «одном заслугами славном муже, который чрез прилежное учение потерял свое здоровье: он впадал в обморок, как скоро было станет со вниманием слушать какую-либо историю или хотя маловажную повесть» (23) и т. п.

Стр. 419. *...в углу сидит субъект в синем вицмундире* ⟨...⟩ — *Это педагог* ⟨...⟩ *ближайшая цель которого — истребление идей.*— В изображении действий педагога Елеонского обличается направление системы классического образования, ставившего своей целью предохранение учащейся молодежи («закупориванье») от участия в общественно-политической жизни страны и от возникновения революционных настроений.

Стр. 423. *...начинается переборка...*— то есть аресты всех причастных к революционному движению и проверка «благонадежности» лиц, так или иначе связанных с участниками этого движения.

Стр. 425. *...вы так долго служили предводителем* ⟨...⟩ *что порядки эти должны быть вам известны в подробности.*— Речь идет о нередких в те годы случаях проявления дворянской оппозиции крестьянской реформе.

Л. Р. Ланский

СОДЕРЖАНИЕ

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

ДНЕВНИК ПРОВИНЦИАЛА В ПЕТЕРБУРГЕ

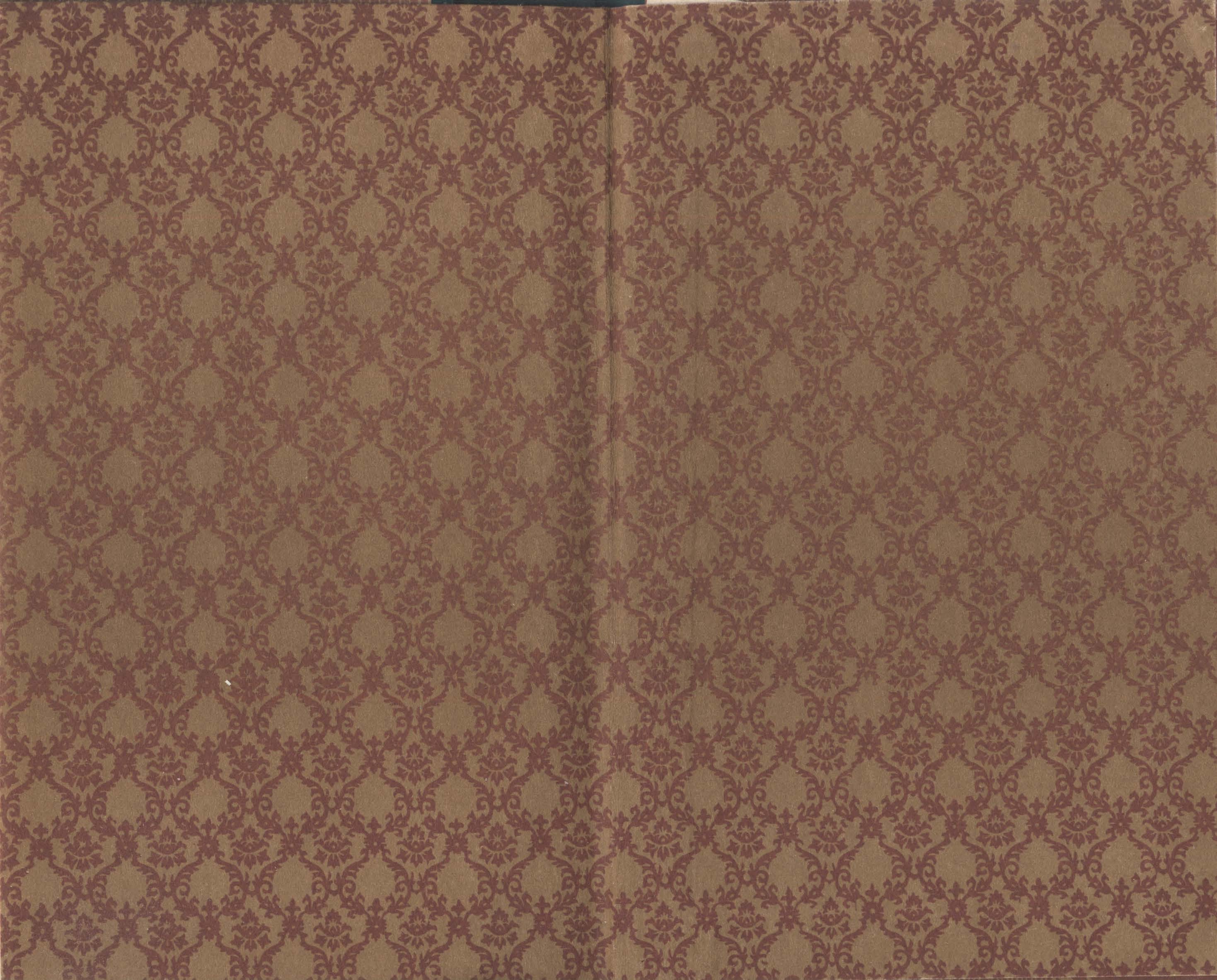
Редактор *В. М Курганова*
Художественный редактор *Г В Шотина*
Технические редакторы *Г П Мартьянова, Т С Маринина*
Корректоры *Н В Бокша, С В Мироновская, Г М Ульянова, Т А Лебедева*

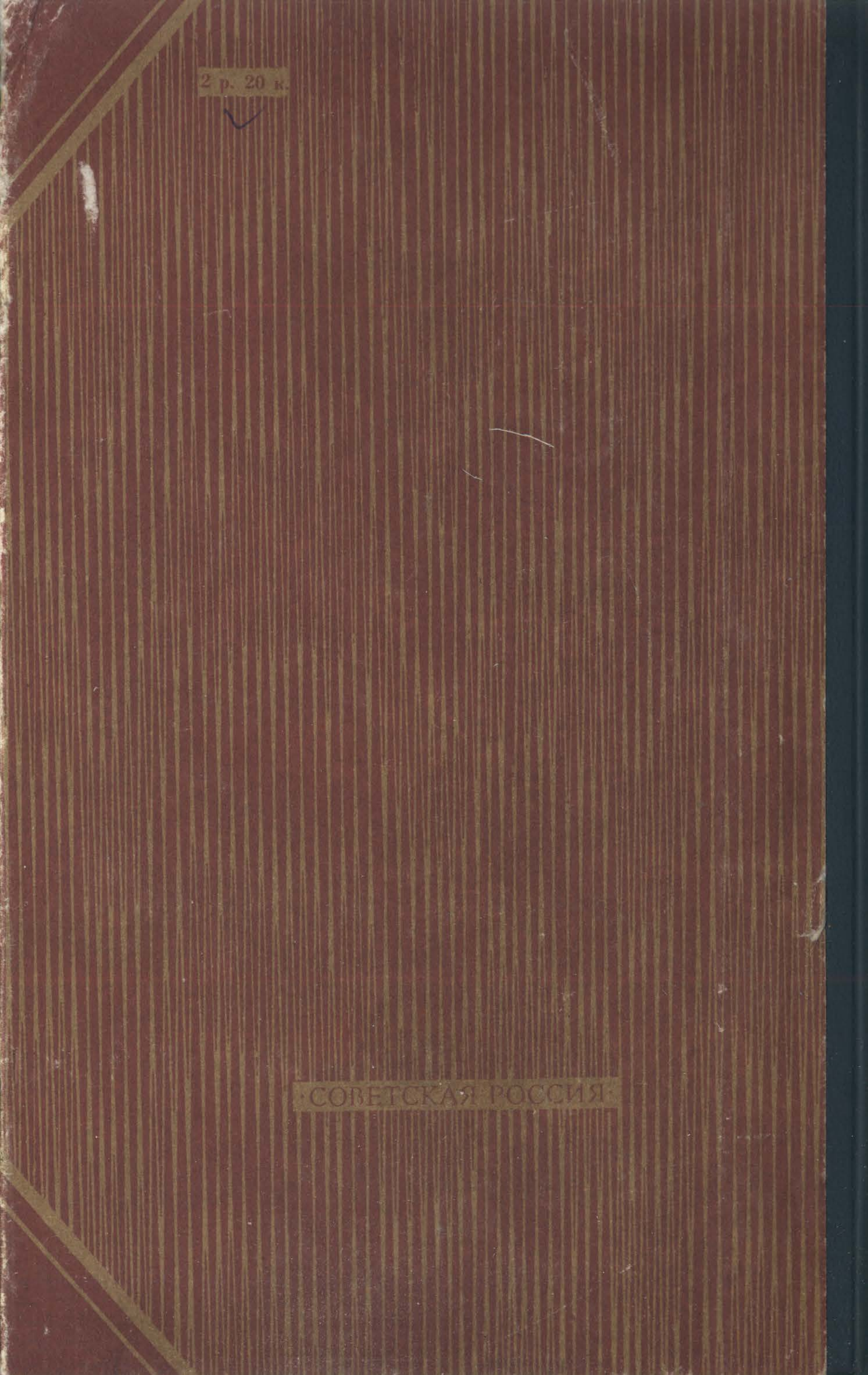
ИБ № 4578

Сдано в набор 30 05 86 Подписано в печать 05 11.86 Формат $84 \times 108/_{32}$. Бумага типогр. № 1. (на вкл — мелован) Гарнитура обыкновенная новая Печать высокая. Усл. п. л 25,31 (в том числе на вкл.— 0,11) Усл. кр.-отт 25,94 Уч.-изд. л. 27,22 (в том числе на вкл.— 0,04) Тираж 1 000 000 экз. (1-й завод 1—900 000 экз). Зак № 1008. Цена 2 р 20 к Изд. инд. ЛХ—95.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР. 170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.




2 р. 20 к.
СОВЕТСКАЯ РОССИЯ